ISSN 0130 – 6545

8. 1988

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Спящая муза» (1910). Бронза.

Цветные иллюстрации номера — работы румынского скульптора Константина Брынкуша

На 1-й и 4-й страницах обложки —
«Барышня Погани» (1931). Мрамор.
«Адам и Ева» (1916—1921). Дуб, каштан, известняк.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8 август 1988

Содержание

УМБЕРТО ЭКО — Имя розы *(Роман. Перевод с итальянского Е. Костюкович. Предисловие Вячеслава В. Иванова)* 3

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ — Два стихотворения *(Перевод с английского Владимира Корнилова)* 89

ЧЖАН СЯНЛЯН — Мимоза *(Повесть. Перевод с китайского Ильи Смирнова)* 95

БРЕЙТЕН БРЕЙТЕНБАХ — Стихи *(Перевод с африкаанс Е. Витковского. Вступление Аполлона Давидсона)* 170

Публицистика

ПЕТЕР ШЮТТ — Поездка в Иран *(Главы из книги. Перевод с немецкого В. Брун-Цехового)* 177

ЛАСЛО ДЮРКО — 1956 *(Предварительное исследование и прагматическое изложение событий. Главы из книги. Перевод с венгерского и комментарий П. Бондаровского. Окончание)* 190

Критика

Классика и мы

Т. МОТЫЛЕВА — Перечитывая Льва Толстого 216

ЮРИЙ КАРЯКИН — Две войны за небытие, или О службе последней черты 223

К нашим иллюстрациям

И. Истратова — Константин Брынкуш 232

Среди книг

Издано в СССР

И. Дюшен. Лев Озеров — Связь времен и культур *(Pr. Mérimée — А. С. Пушкин. С. Великовский. В скрещенье лучей. Групповой портрет с Полем Элюаром)* ✦ Е. Злобина — Основания для надежды *(Джойс Кэрол Оутс. Делай со мной что захочешь. Венец славы. Ангел света)* ✦ С. Зенкин — Жизнь и смерть утопии *(Марио Варгас Льоса. Война конца света)* 234

Издано за рубежом

М. Березкина — «Биеньем пульса измеряя время...» *(Мануэл Алегри. Вавилон)* ✦ Н. Богомолова — Приближение к герою *(Мария Эстер Васкес. Борхес, его дни и время)* 241

Из месяца в месяц 245

Авторы этого номера 252

Информация о планах журнала на 1989 год 254

© «Иностранная литература», 1988

УМБЕРТО ЭКО

Имя розы

РОМАН

Перевод с итальянского Е. КОСТЮКОВИЧ

Огонь и роза

Когда в начале 1981 года роман «Имя розы» стал завоевывать читателей на родине автора (которому вскоре предстояла и общеевропейская и мировая литературная слава), Умберто Эко не исполнилось еще и пятидесяти лет. Год его рождения — 1932-й, он принадлежит к тому поколению писателей, которые у нас долго числились молодыми. Но до того времени его знали только как известного специалиста по новой науке о знаках — семиотике, которую он до сих пор преподает в Болонском университете. К числу самых новых его научных книг относится «Семиотика и философия языка» (вышла в 1984 году одновременно по-итальянски и в английском и немецком переводах), где без труда можно найти продолжение размышлений, начатых в романе: о лабиринте как символе культуры, о методе логического вывода, которым так успешно пользуется монах-сыщик Вильгельм. Как ученый — семиотик, литературовед, историк культуры — Эко плодовит, его перу принадлежит больше десяти книг, посвященных таким, казалось бы, разнородным темам, как поэтика Джойса (бесспорно оказавшая влияние на языковую сторону его романа, всего труднее поддающуюся переводу), эстетические проблемы у Фомы Аквинского, роль читателя в повествовании. Но если внимательнее присмотреться, можно увидеть, что темы ранних его сочинений прямо связаны друг с другом (например, «Поэтика Джойса», по собственным признаниям писателя, сложилась под влиянием чтения Аристотеля и Фомы Аквинского), а их переплетение подготовило и определило тот интеллектуальный контрапункт, который для многих читателей составляет суть романа Эко.

Лет двадцать назад Умберто Эко приезжал в Москву в составе группы итальянских писателей для обсуждения с нашими литературоведами методов изучения текстов. Как и другие западные исследователи, он был тогда увлечен достижениями Проппа и других наших ученых, еще в 20-х годах наметивших пути, по которым позднее шли Эко и его коллеги. Занимали его и работы по семиотике, развернувшиеся в Москве и Тарту с 60-х годов. В те годы (теперь мягко именуемые «застойными») Союз писателей не нашел в Москве тех наших специалистов по семиотике, с которыми Эко больше всего хотел встретиться, но его собственных сыскных способностей хватило на то, чтобы разыскать находящийся в двух шагах от Союза писателей Институт славяноведения, бывший в то время средоточием бурно начатых и подвергавшихся столь же интенсивным гонениям семиотических работ. Мы внезапно увидели молодого, оживленного Эко, полного энтузиазма и расположенности к нашим начинаниям, и провели несколько часов в беседах с ним. Позднее он редактировал вышедший в Италии сборник советских семиотических работ, а сравнительно недавно меня и Эко сделало соавторами издательство «Мутон-де-Грейтер», издавшее вместе наши статьи о карнавале — одной из тем, имеющих особое значение для понимания романа «Имя розы».

Когда я думаю об этом романе, мне вспоминается эссе Олдоса Хаксли, где тот утверждал, что есть две категории читателей: одни читают только детективы, а другие — только философскую литературу для высоколобых. Но, по словам Хаксли, возможно и соединение двух этих видов чтения. Поскольку «Имя розы» еще не было тогда написано, в качестве примера — достаточно спорного по детективной части — Хаксли привел Достоевского. Умберто Эко одним из первых добился совмещения в одной книге нескольких противоположностей, которые раньше критики-авангардисты, в том числе и сам Эко в своей молодости, рассматривали как полюса, символизирующие разные подходы к литературе. Книга Эко — детектив и как каноническое произ-

© 1980 Gruppo Editoriale Fabbri-Bompiani, Sonzogno, Etas S. p. A.

ведение этого жанра рассчитана на сколь угодно широкий круг читателей. Ее невиданно долгий успех как бестселлера (по которому поставлен популярный фильм и которому грозят все мыслимые и немыслимые формы разменивания на массовую или псевдокультуру — вплоть до недавно напечатанного в немецком журнале «Кобикас» «семиотического кроссворда „Уильям фон Баскервиль"») показывает, что этот расчет оправдывается. Читателю импонирует, пусть данный в слегка иронической, полупародийной форме, традиционный образ сыщика, напоминающего Шерлока Холмса не одним лишь фамильным именем, но и самым стилем демонстрации своих выкладок, которые касаются не только раскрытия преступлений, но и более обычных житейских дел. Образ Вильгельма — философа, который предвосхищает или продолжает британскую эмпирическую науку, воплощаемую Бэконом, и одновременно детектива, который даже своими причудами и странностями (чуть ли не склонностью к наркотически действующим травам) воспроизводит стереотип Шерлока Холмса,— позволил Эко органически соединить сыскной роман с философским. Идея соединения в одном лице философа и детектива продиктована нашим временем. В недавно напечатанной статье известного финского (живущего в США, но часто бывающего и в нашей стране) логика Я. Хинтикки утверждается, что логическая концепция вывода (дедукции) Шерлока Холмса заслуживает внимания философов и логиков. Умберто Эко еще до Хинтикки в своем романе — и почти одновременно с ним в нескольких научных публикациях — всерьез отнесся к логике детективного рассуждения. В самом деле, значительная и едва ли не самая увлекательная, причем не только для специалиста, часть современных научных исследований в разных дисциплинах (от космогонии до молекулярной теории эволюции и сравнительного языкознания) обращена к реконструкции прошлого по некоторым, иногда скудным следам. Великий психолог Л. С. Выготский, одним из первых (в одном из тех своих сочинений, которые опубликованы недавно с опозданием на полвека) обративший внимание на эту особенность новейшей науки, отмечал важность ее для исследования человека. Если угодно, детективный роман можно рассматривать как способ тренировки умения реконструировать ранее случившееся. Поскольку в «Имени розы» Вильгельм предстает не только как сыщик, но и как приверженец определенной школы мысли, роман дает дополнительное основание зачислить детективный стиль рассуждения в разряд особой философии.

Есть еще одна сторона современного детектива как жанра, которая может сблизить его с вполне «серьезной» прозой. Реконструкция прошлого происходит обычно на основании некоторых подробностей, замеченных внимательным сыщиком и служащих ему для построения или проверки гипотез. В начале романа Вильгельм удивляет обитателей монастыря, описывая им путь сбежавшей лошади и ее вид; разбор самим Вильгельмом способа, который он использовал при построении этой догадки, можно считать как бы общедоступным введением в его метод. Значимость каждой подобной детали для детектива превращает ее в существенную часть обстановки, она как бы подается крупным планом. В этом отношении детективная проза объединяется с тем направлением современной прозы, которое на техническом языке современной поэтики именуется «метонимическим», то есть ориентированным на метонимию — деталь, замещающую целое. Кстати, о роли детали в искусстве специально высказывались такие прозаики середины нашего века, как Сэлинджер и Генрих Бёлль; по отношению к кино сходные мысли в своих теоретических статьях развивал Андрей Тарковский.

По той же причине совершенно особую роль в романе приобретает то пространство (в частности, монастырь и его главная часть — Храмина), где происходят основные события. Это легко показать на примере того, как в романе дешифруется структура лабиринта. Дешифровка со времен Эдгара По — основателя детективного жанра в европейской и американской литературах — составляет неотъемлемую характеристику жанра. В романе Эко дан пример дешифровки закодированного текста; наряду с этим классическим образцом криптографических (дешифровальных) в собственном смысле способностей Вильгельма в романе приведены и такие сложные примеры дешифровочной работы сыщика, как отгадывание текста. Эко настолько приучил читателя к опытам расшифровки скрытых значений символических текстов, что за последние годы многие из наиболее учечых почитателей его произведения опубликовали такие гипотетические толкования «Имени розы», где — в духе современных теорий «интертекстуальных» чтений — ищется связь его романа с «Волшебной горой» Т. Манна, «Островом пингвинов» А. Франса и многими другими известными, а иногда и совсем мало известными книгами.

То обстоятельство, что детективный сюжет романа развертывается в замкнутом пространстве монастыря, не мешает ему быть привязанным и к гораздо более широкому географическому фону Италии и смежных с ней стран, выходцы из которых заселяют пестрый по этническому составу монастырь. Строго выдержанному единству пространства и единству действия отвечает и единство времени. Оно сконцентрировано вокруг тех нескольких дней, которые Вильгельм со своим спутником провели в монастыре. Внутри каждого дня время членится согласно тому монастырскому расписанию служб, которое в «Примечании автора» предпослано всей книге. Из него видно существенное отличие средневекового времени от позднейшего, послужившее в последние годы предметом специальных исследований, в том числе и нашего видного медиевиста А. Я. Гуревича, одним из первых, кстати сказать, откликнувшегося на роман Эко в научном докладе.

Роман «Имя розы» — в подлинном смысле слова исторический. Автор не только вводит читателя в суть раздиравших в XIV веке Европу конфликтов. Эко построил сюжет в его недетективной, собственно исторической части, так, что фабулой, то есть основным событийным содержанием книги, и оказываются главные социальные конфликты века. Эко и здесь верен себе: он соединяет стремление к исторической верности с теми общественными интересами, которые ближе всего современному читателю.

В романе Эко, как и в некоторых других лучших образцах современного итальянского искусства, например в некоторых из фильмов Пазолини, можно почувствовать нерастраченный заряд нравственной энергии, связанный с личностью, учением и писаниями Франциска Ассизского; это удивительное явление культуры Италии, как представляется, многими чертами созвучно русской духовной традиции.

В одном отношении картина средневековой культуры, воссозданная в романе Эко, по общему мнению западных критиков, испытала сильное воздействие современной науки. Речь идет о влиянии на него концепции карнавала и смеховой культуры, выработанной нашим великим ученым М. М. Бахтиным в его книге о Рабле. В тексте романа встречаются и прямые формулировки, описывающие карнавальную культуру как переиначенную, к чему вслед за Бахтиным (а отчасти и одновременно с ним) пришли многие западные литературоведы и культурологи. Бахтин за последнее десятилетие стал настолько известен во всем мире (итальянский перевод его книги о Рабле вышел в свет за год до окончания работы Эко над романом), что само по себе появление романа о средневековье, где заметно его влияние, неудивительно. Интересно другое: либо воздействие книги Бахтина, либо ход творческого воображения Эко, совпадающий с изложенным в этой книге, можно найти и в использовании таких произведений, как «Киприанов пир». Бахтин разбирает в своей книге раннесредневековую «Вечерю Киприана» («Киприанов пир») как начало гротескной традиции, отличающейся исключительной свободой игры с символами и священными лицами. В литературе, посвященной роману Эко, уже отмечено, что «Вечеря Киприана», подлинный автор которой остается неизвестным, здесь приписана некоему «Магистру Алькофрибасу», то есть тому лицу, под именем которого Рабле выпустил «Гаргантюа». Позволю себе пойти еще дальше в этом увлекательном розыске анахронических ссылок на Рабле в тексте, якобы созданном за два столетия до «Гаргантюа». Мне представляется, что ссылка именно на Рабле содержится в словах Вильгельма, продолжающего за трапезой в конце первого дня спор с Хорхе: «Ибо смех, как учат богословы, присущ человечеству» («Perché il riso, come insegnano i teologi, è proprio dell'uomo»). Итальянский текст этого изречения слово в слово соответствует концовке стихотворного вступления Рабле — Алькофрибаса к «Гаргантюа»: «Pour ce que rire est le propre de l'homme».

Как отмечает Бахтин в своем очерке предыстории отношения к смеху у Рабле, это изречение восходит к Аристотелю, в трактате «О душе» писавшему: «Из всех живых существ только человеку свойствен смех». Именно отношение к смеху у Аристотеля и положено в основу сюжета романа Эко.

В споре о допустимости смеха внутри церкви, о его совместимости с христианством, который ведется в романе, воплощены реально существовавшие точки зрения на смех, восходящие к Гиппократу, Аристотелю и Лукиану, с одной стороны, и к раннехристианским авторам, строго осуждавшим смеховые зрелища,— с другой. История этих взглядов и их противоборство, художественно раскрытое в книге Эко, были намечены в том же исследовании Бахтина. В определенном смысле книга Эко вся целиком вдохновлена бахтинской антиномией официальной и неофициальной, смеховой культуры.

Эко не первый писатель, связанный с идеями Бахтина в своем романном творчестве. Задолго — более чем за полвека — до него те же идеи, правда в более ранней стадии их разработки, оказали влияние на романы замечательного нашего прозаика Константина Вагинова. В одном из них — «Козлиной песни», представляющей собой «роман с ключом», у каждого из героев есть прототип, в нем выведен и сам Бахтин. Если бы нужно было еще одно доказательство тезиса о литературной плодотворности подлинного литературоведения, связь идей Бахтина с романами Вагинова и Эко могла бы служить им.

Смеховое отношение к миру — не только центр и предмет ведущихся в романе теоретических споров, но и практический принцип организации повествования у Эко; роман ироничен, отчасти и пародиен по отношению к традиционному детективу, как, скажем, Сервантес по отношению к рыцарскому роману. Он не столько продолжает традиционную форму, усвоенную массовой культурой, сколько ее переиначивает и перелицовывает. Я по установке сравнил бы это с художественной задачей, на совсем другом материале решаемой Набоковым в «Лолите». В этом сказывается, вероятно, и исконная принадлежность Эко к авангарду.

В качестве примера того, как преобразуется в новой романной структуре традиционный набор персонажей детектива, можно рассмотреть роль летописца Адсона, сходство которого с Ватсоном — наперсником Шерлока Холмса — достаточно очевидно, и инквизитора, обвиняющего совсем не виновника преступления (как это и делает обычно официальный полицейский в детективе).

Адсон выполняет роль ведущего романное повествование, традиционную для европейского романа после Достоевского и Томаса Манна. Но функция Адсона в композиции не ограничивается только этими, обусловленными жанром обязанностями. Он еще должен служить воплощением обычного средневекового отношения к

жизни. В отличие от Вильгельма, поражающего своей обращенностью в наше время, ему меньше всего позволено отклоняться от средневекового стандарта. В какой мере удалось Эко решить задачу психологической реконструкции сознания другой эпохи?

Всего интереснее подход к этой проблеме применительно к образу Вильгельма. Здесь Эко — как Брюсов в до сих пор недостаточно оцененном (хотя в последние годы не раз переизданном, в том числе и массовыми тиражами) «Огненном ангеле», где сам Брюсов, Андрей Белый и другие современные персонажи спроецированы на мистическо-магический средневековый фон романа,— меньше всего себя ограничивает. Писали даже о возможной автобиографичности этого образа. Вильгельм у Эко рационалистичен, он больше человек науки и скепсиса, чем веры. Недаром с ним связываются и такие чудесные, с точки зрения Адсона, технические новшества, как очки и магнит. Мы ведь уже на пороге Возрождения, во всяком случае в Италии. И Эко позволяет Вильгельму быть в какой-то мере гостем из будущего: герой говорит словами не только Рабле, жившего в XVI веке, но и нашего старшего современника, австрийского логика и властителя дум конца XX века, Людвига Витгенштейна. В то же время он старается придать национальную или этническую достоверность британскому эмпирическому рационализму своего героя. Вместе с тем Вильгельм по авторскому замыслу должен принадлежать и своему времени. Еще недавно он был инквизитором, хотя потом сознательно отказался от этих обязанностей. По биографии и сознанию Вильгельма Баскервильского проходит граница, отделяющая новое время от средневековья. Недаром он преуспевает в рационалистическом объяснении многочисленных загадочных явлений, пугающих не только Адсона, но и легковерного читателя, который благодаря им частично погружается в атмосферу таинственности, как во многих детективных вещах Честертона. Но в этом романе вера в колдовство и ведьм, уже далеко не всеми персонажами разделяемая, принадлежит к приметам времени.

Эко хорошо знает средние века. С медиевистики он начинал свою научную деятельность, и его преподавательская работа до сих пор делится между семиотикой (в истории которой он постоянно помнит о средневековом опыте изучения знаков, из чего и вырос его роман) и историей средневековой литературы. Глубокое проникновение в суть средневековой культуры сказалось в том, что в центре фабулы романа находится библиотека и скрипторий монастыря. Для современного исследователя, озабоченного информационными и семиотическими проблемами нашего времени, которое от века переработки энергии семимильными шагами идет к наступающей эре переработки информации, самый выбор этой фабулы может быть знáком современности исторического романа Эко. Но вместе с тем фабула отвечает и исторической истине. Если пытаться дать в терминах современной науки описание средневековой культуры (годящееся не только для западного и восточного христианства, но и для буддизма в Центральной и Восточной Евразии), то скорее всего можно определить ее через наличие монастырских центров хранения и переработки информации. В только что переизданной издательством «Книга» замечательной «Истории письма в средние века» О. А. Добиаш-Рождественской подчеркивается, что в этих центрах деятельность была сосредоточена на бережном хранении старых сочинений и на их «пережевывании» — эта метафора приобретает зловещий реальный смысл в финале романа. В какой мере историей, а не нашим временем, когда тоталитарные режимы ограничивают доступ к книгам, а то и сжигают их, навеяна идея монастырского «спецхрана» и образ пожара библиотеки? По поводу огня, уничтожающего книги, критики вспоминали исторические и литературные примеры — от пожара Александрийской библиотеки до эпизода уничтожения книг смеющимся книжником в романе Э. Канетти «Ослепление», возможно повлиявшего на аналогичную сцену у Эко. Признаюсь, что собственный биографический опыт — увы, продолжающийся — не позволяет мне смотреть на пожар библиотеки только как на литературную игру. С того дня, как я увидел обгорелые корешки старинных книг — все, что осталось от сгоревшей во время войны огромной библиотеки моего отца, писателя Всеволода Иванова, великого собирателя и ценителя книг, я знаю, какой страшный враг знания — огонь. И когда в феврале этого года случай привел меня в ленинградскую Библиотеку Академии наук в день, когда она была полна запахом гари, я еще раз испытал эту боль, связанную с ощущением хрупкости нашей книжной цивилизации. Эко, как столько современных художников, как Андрей Тарковский в «Жертвоприношении», как Р. Стуруа в спектакле «Король Лир», вкладывает в финальную сцену явную символическую значимость, адресованную нашему времени. И здесь, как и во всем существенном, его роман — между прошлым и будущим.

С символикой библиотеки толкователи романа связывают причудливую (мне, признаюсь, до сих пор не совсем по сути понятную) игру имен и атрибутов, заставляющую как-то соотнести Хорхе в романе с великим писателем Борхесом. Возможно, что эта (в данном случае бьющая через край и допускающая любые критические толкования) игра понадобилась Эко для того, чтобы отчетливее выявить в Хорхе испаноязычное начало. Для фабулы романа вообще важно противостояние разных национальных групп и фракций внутри монастыря, явным образом не согласующееся с христианской идеей (при всей противоречивости позиции Эко и его героев по отношению к религии я вижу в этом такую же дань позднейшей ретроспективной критике монастырской жизни, как и в подчеркивании существенной для фабулы темы мужеложства у многих персонажей; в романе даже и аскеты, как Убертин, полны неисчерпанных плотских чувств). Многоязычие и разноэтничность монахов в их мона-

стырском общении скрадывается употреблением латыни. Но именно эта особенность языка романа труднее всего передается на русский язык. Соотнесение латинского языка как официального, сакрального и итальянского как языка рассказа (хотя и не языка рассказчика, который родом из Германии) в искусном переводе Е. А. Костюкович (получившей известность и как толкователь романа, чья статья включена в изданный в Италии сборник лучших работ об «Имени розы») заменено везде, где это возможно, аналогичным противоположением церковнославянского и русского языков, хотя они для нас и связаны с совсем иными традициями. Особенно же трудно передать своеобразие мешанины романских языков в речи Сальватора, где мне мерещится явное влияние на Эко любимого произведения всего современного поставангарда — «Поминок по Финнегану» Джойса.

Роман Эко, как дружно отмечают критики,— образец лексической и символической многозначности. Одни символы, как уже упоминавшийся огонь, носят достаточно общепонятный характер. Другие, как излюбленный в средние века символ розы (напомню хотя бы его разбор Веселовским), нуждаются в культурно-исторических пояснениях, которые отчасти содержатся в публикуемых «Заметках на полях „Имени розы"» самого Эко [1]. Но именно символическая и философская нагруженность «Имени розы» делает книгу Эко не просто историческим романом (и тем более не рядовым детективом), а сочинением особого жанра, возникшего на пересечении нескольких ранее существовавших, но в этом окончательном виде представляющего собой изобретение, успех и достижение Умберто Эко.

ВЯЧЕСЛАВ В. ИВАНОВ

Разумеется, рукопись

16 августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Адсона из Мелька, переведенные на французский язык по изданию отца Ж. Мабийона» (Париж, типография Лясурсского аббатства, 1842) [2]. *Автором перевода значился некий аббат Валле. В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV века, разысканной в библиотеке Мелькского монастыря знаменитым ученым семнадцатого столетия, столь много сделавшим для историографии ордена бенедиктинцев. Так найденный в Праге (выходит, уже в третий раз) раритет спас меня от тоски в чужой стране, где я дожидался той, кто была мне дорога. Через несколько дней город был занят советскими войсками. Мне удалось в Линце пересечь австрийскую границу; оттуда я легко добрался до Вены, где наконец встретился с той женщиной, и вместе мы отправились в путешествие вверх по Дунаю.*

В состоянии нервного возбуждения я упивался ужасающей повестью Адсона и был до того захвачен, что сам не заметил, как начал переводить, заполняя замечательные большие тетради фирмы «Жозеф Жибер», в которых так приятно писать, если, конечно, перо достаточно мягкое. Тем временем мы оказались в окрестностях Мелька, где до сих пор на утесе над излучиной реки высится многократно перестраивавшийся Stift [3]. *Как читатель, вероятно, уже понял, никаких следов рукописи отца Адсона в монастырской библиотеке не обнаружилось.*

Незадолго до Зальцбурга одной проклятой ночью в маленьком отеле на берегах Мондзее разрушился наш союз, прервалось путешествие, и моя спутница исчезла; с нею улетучилась и книга Валле, в чем безусловно не было злого умысла, а было лишь проявление сумасшедшей непредсказуемости нашего разрыва. Все, с чем я остался тогда,— стопка исписанных тетрадей и абсолютная пустота в душе.

Через несколько месяцев, в Париже, я вернулся к разысканиям и довольно скоро выяснил, что никакой аббат Валле ничего не публиковал в типографии Лясурсского аббатства; похоже, что и типографии при Лясурсском аббатстве никогда не было.

(...) Не так уж много, надо признать, имеется аргументов в пользу опубликования этого моего итальянского перевода с довольно сомнительного французского текста, который в свою очередь должен являть собой переложение с латинского издания семнадцатого века, якобы воспроизводящего рукопись, созданную немецким монахом в конце четырнадцатого.

Как следовало решить вопрос стиля? Первоначальному соблазну стилизовать перевод под итальянский язык эпохи я не поддался: во-первых, Адсон писал не по-старотальянски, а по-латыни; во-вторых, чувствуется, что вся усвоенная им культура (то есть культура его аббатства) еще более архаична. Это складывавшаяся многими столетиями сумма знаний и стилистических навыков, воспринятых позднесредневековой латинской традицией. Адсон мыслит и выражается как монах, то есть в отрыве от развивающейся народной словесности, копируя стиль книг, собранных в описанной им библиотеке, опираясь на святоотеческие и схоластические образцы. Поэтому его повесть (не считая, разумеется, исторических реалий XIV века, которые, кстати говоря, Адсон приводит неуверенно и всегда понаслышке) по своему языку и набору цитат могла бы принадлежать и XII или XIII веку.

Кроме того, нет сомнений, что, создавая свой французский в неоготическом вкусе перевод, аббат Валле довольно свободно обошелся с оригиналом — и не только в смысле стиля. К примеру, герои беседуют о траволечении, ссылаясь, по-видимому, на

[1] Эссе У. Эко предполагается опубликовать в № 10 «ИЛ» за 1988 г.

[2] Le manuscrit de Dom Adson de Melk, traduit en français d'après l'édition de Dom J. Mabillon. Paris, Aux Presses de l'Abbaye de la Source, 1842. *(Прим. автора.)*

[3] Монастырь *(нем.). (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, прим. перев.)*

так называемый «Травник Альберта Великого», текст которого, как известно, на протяжении веков сильно трансформировался. Адсон может цитировать только списки, существовавшие в четырнадцатом столетии, а между тем некоторые выражения подозрительно совпадают с формулировками Парацельса или, скажем, с текстом того же Альбертова травника, но в значительно более позднем варианте — в издании эпохи Тюдоров [1]. *Однако разве исключается возможность наличия в списках, доступных Адсону и другим монахам, вариантов, не вошедших в окончательный корпус памятника, затерявшихся среди глосс, схолий и прочих приложений, но использованных последующими поколениями ученых?*

Наконец, еще одна проблема: оставлять ли латинскими те фрагменты, которые аббат Валле не переводил на свой французский (возможно, рассчитывая сохранить аромат эпохи)? Мне не было резона следовать за ним — только ради академической добросовестности, в данном случае, надо думать, неуместной. От явных банальностей я избавился, но кое-какие латинизмы все же оставил и сейчас боюсь, что вышло как в самых дешевых романах, где, если герой француз, он обязан говорить «parbleu!»[2] *и «la femme, ah la femme!»*[3].

В итоге, налицо полная непроясненность. Неизвестно даже, чем мотивирован мой собственный смелый шаг — призыв к читателю поверить в реальность записок Адсона Мелькского. Скорее всего, странности любви. А может быть, попытка избавиться от ряда навязчивых идей.

Переписывая повесть, я не имею в виду никаких современных аллюзий. В те годы, когда судьба подбросила мне книгу аббата Валле, бытовало убеждение, что писать можно только с прицелом на современность и с умыслом изменить мир. Прошло больше десяти лет, и все успокоились, признав за писателем право на чувство собственного достоинства и что писать можно из чистой любви к процессу. Это и позволяет мне рассказать совершенно свободно, просто ради удовольствия рассказывать, историю Адсона Мелькского, и ужасно приятно и утешительно думать, до чего она далека от сегодняшнего мира, откуда бдение разума, слава богу, выдворило всех чудовищ, которых некогда породил его сон. И до чего блистательно отсутствуют здесь любые отсылки к современности, любые наши сегодняшние тревоги и чаяния.

Это повесть о книгах, а не о злосчастной обыденности; прочитав ее, следует, наверное, повторить вслед за великим подражателем Кемпийцем: «Повсюду искал я покоя и в одном лишь месте обрел его — в углу, с книгою».

5 января 1980 г.

Примечание автора

Рукопись Адсона разбита на семь глав, по числу дней, а каждый день — на эпизоды, приуроченные к богослужениям. Подзаголовки от третьего лица с пересказом содержания глав скорее всего добавлены г-ном Валле. Однако для читателя они удобны, и поскольку подобное оформление текста не расходится с италоязычной книжной традицией той эпохи, я счел возможным подзаголовки сохранить.

Принятая у Адсона разбивка дня по литургическим часам составила довольно существенное затруднение, во-первых, оттого, что она, как известно, варьируется в зависимости и от сезона, и от местоположения монастырей, а во-вторых, оттого, что не установлено, соблюдались ли в XIV веке предписания правила Св. Бенедикта точно так, как сейчас.

Тем не менее, стремясь помочь читателю, я отчасти вывел из текста, отчасти выявил путем сличения с расписанием служб, взятым из книги Эдуара Шнайдера «Часы бенедиктинцев» [4], следующую таблицу соотношения канонических и астрономических часов:

Полунощница (Адсон употребляет и более архаичный термин **Бдение**) — от 2.30 до 3 часов ночи.

Хвалитны (старинное название — **Утреня**) — от 5 до 6 утра; должны кончаться, когда брезжит рассвет.

Час первый — около 7.30 незадолго до утренней зари.

Час третий — около 9 утра.

Час шестый — полдень (в монастырях, где монахи не заняты на полевых работах, зимой, это также час обеда).

Час девятый — от 2 до 3 часов дня.

Вечерня — около 4.30, перед закатом (по правилу, ужинать следует до наступления темноты).

Повечерие — около 6. Примерно в 7 монахи ложатся.

При расчете учитывалось, что в северной Италии в конце ноября солнце восходит около 7.30 и заходит примерно в 4.40 дня.

---

[1] Liber aggregationis seu liber secretorum Alberti Magni, Londinum, juxta pontem qui vulgariter dicitur Fletebrigge, MCCCCLXXXV *(прим. автора)*. (Книга сведений, или же Книга тайн Альберта Великого. Лондон, подле моста в просторечии именуемого Флетербриджем. 1485 год.)

[2] Черт побери! *(франц.)*.

[3] Женщина, о! женшина! *(франц.)*.

[4] Schneider Edouard. Les heures bénédictines (Paris, Grasset, 1925). *(Прим. автора.)*

Объяснение ряда реалий, встречающихся в романе, содержится в «Кратком глоссарии» в конце текста. *(Прим. ред.)*

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Час **первый**, где описано прибытие к подножию Аббатства, причем Вильгельм проявляет величайшую проницательность.
Час **третий**, где Вильгельм с Аббатом имеют содержательнейшую беседу.
Час **шестый**, где Адсон изучает портал церкви, а Вильгельм после долгой разлуки видится с Убертином Казальским.
Перед **часом девятым**, где Вильгельм ведет ученейший диалог с травщиком Северином.
После **часа девятого**, где при посещении скриптория состоялось знакомство со многими учеными, копиистами и рубрикаторами, а также со слепым старцем, ожидающим Антихриста.
Вечерня, где осматриваются прочие постройки, Вильгельм предлагает версию гибели Адельма и ведется беседа со стекольным мастером о стеклах для чтения и острастке для тех, кто слишком любит читать.
Повечерие, где Вильгельма и Адсона ожидают щедрое угощение Аббата и суровая отповедь Хорхе.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Полунощница, где краткие часы мистического восторга оканчиваются самым кровавым образом.
Час **первый**, где Бенций Упсальский кое-что рассказывает, еще кое-что рассказывает Беренгар Арундельский и Адсон узнает, каково подлинное раскаяние.
Час **третий**, где невежи бранятся, Имарос Александрийский кое о чем намекает и Адсон задумывается о природе святости и дьяволовом дерьме. Затем Вильгельм и Адсон подымаются в скрипторий, Вильгельм находит нечто любопытное, в третий раз дискутирует о позволительности смеха, но в конце концов не успевает рассмотреть, что нужно.
Час **шестый**, где Бенций ведет странные речи, из каковых выясняются не слишком приглядные подробности жизни обители.
Час **девятый**, где Аббат выхваляется богатствами обители и опасается злодейств еретиков, и в конце концов Адсон сожалеет, что решился повидать мир.
После **вечерни**, где, невзирая на краткость главки, старец Алинард сообщает много интересного о лабиринте и как в него попадают.
Повечерие, где открывается Храмина, в ней оказывается загадочный лазутчик, обнаруживается записка некромантским тайным шифром, а также на мгновение показывается и снова исчезает книга, которую предстоит искать во многих последующих главах; в довершение неприятностей украдены Вильгельмовы очки.
Ночь, где удается наконец попасть в лабиринт, увидеть непонятные видения и, как положено в лабиринтах, заблудиться.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

От **утрени до часа первого**, где обнаруживается кровавая простыня в келье Беренгара — и это все.
Час **третий**, где Адсон философствует об истории своего ордена и о судьбе различных книг.
Час **шестый**, где Адсон выслушивает признания Сальватора (которые двумя словами не перескажешь), отчего и погружается в тревожащие раздумья.
Час **девятый**, где Вильгельм рассказывает Адсону о великом еретическом течении, о пользе простецов для церковного дела, о своих сомнениях относительно умопостижности законов бытия и походя упоминает, что расшифровал некромантские записи Венанция.
Вечерня, где имеет место новая беседа с Аббатом, Вильгельм высказывает хитроумные догадки, как проникнуть в тайну лабиринта, и дело решается самым рациональным способом. Затем предлагается отведать сыра под одеялом.
После **повечерия**, где Убертин рассказывает Адсону историю брата Дольчина, другие подобные истории Адсон припоминает и читает самостоятельно, а после этого встречается с девицей прекрасною и грозною, как выстроенное к битве войско.
Ночь, где ошеломленный Адсон исповедуется Вильгельму и размышляет о месте женщины в мироздании, пока не натыкается на труп мужчины.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Хвалитны, где Вильгельм и Северин осматривают тело Беренгара, и язык оказывается черным, что необычно для утопленника; потом идет диспут об опаснейших ядах и рассказ о давней пропаже.

Час первый, где Вильгельм вынуждает сперва Сальватора, а затем келаря припомнить прошлое, Северин находит украденные очки, Николай приносит еще одни и шестиглазый Вильгельм удаляется разбирать выписки Венанция.

Час третий, где Адсон исходит любовными мучениями, потом является Вильгельм со своей запиской, которая и после расшифровки остается такой же зашифрованной.

Час шестый, где Адсон отправляется за трюфелями, а возвращается с миноритами, и те держат с Вильгельмом и Убертином совет, на котором много неутешительного говорится об Иоанне XXII.

Час девятый, где появляются кардинал Поджеттский, Бернард Ги и другие авиньонцы, а потом всякий делает что хочет.

Вечерня, где Алинард сообщает, кажется, важнейшие сведения, а Вильгельм демонстрирует свой метод продвижения к проблематичной истине через последовательность заведомых ошибок.

Повечерие, где Сальватор повествует о любовной ворожбе.

После повечерия, где снова имеет место посещение Храмины и обнаруживается предел Африки, но войти туда не удается, так как неизвестно, что такое первый и седьмой в четырех, а в конце концов Адсон переживает новый приступ — на сей раз высоконаучный — своей любовной болезни.

Ночь, где Сальватор жалчайшим образом попадается Бернарду Ги, девушка, любимая Адсоном, захвачена как ведьма, и все засыпают еще более несчастными и перепуганными, чем проснулись.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Час первый, где разворачивается братская дискуссия о бедности Христа.

Час третий, где Северин сообщает Вильгельму о необычной книге, а Вильгельм сообщает делегатам необычные воззрения на проблему мирской власти.

Час шестый, где находят убитого Северина, но не могут найти книгу, которую он нашел.

Час девятый, где вершится правосудие и создается неприятное ощущение, что неправы все.

Вечерня, где Убертину приходится бежать, Бенций начинает почитать законы, а Вильгельм делится некоторыми соображениями о разных видах сладострастия, встреченных в этот день.

Повечерие, где звучит проповедь о явлении Антихриста и Адсон открывает для себя значение имен собственных.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Полунощница, где князи восседают, а Малахия валится на землю.

Хвалитны, где назначается новый келарь, но не новый библиотекарь.

Час первый, где Николай повествует о самых разных вещах, показывая гостям крипту с сокровищами.

Час третий, где Адсон, слушая Dies irae, видит сон, или, скорее, видение.

После третьего часа, где Вильгельм толкует Адсону его сон.

Час шестый, где расследуется история библиотеки и кое-что сообщается о таинственной книге.

Час девятый, где Аббат отказывается выслушать Вильгельма, а предпочитает говорить о языке драгоценностей и требует, чтобы расследование печальных происшествий в монастыре было прекращено.

От вечерни до повечерия, где коротко рассказывается о долгих часах замешательства.

После повечерия, где почти случайно Вильгельм разгадывает тайну, как войти в предел Африки.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Ночь, где, если перечислять все потрясающие разоблачения, которые тут прозвучат, подзаголовок выйдет длиннее самой главы, что противоречит правилам.

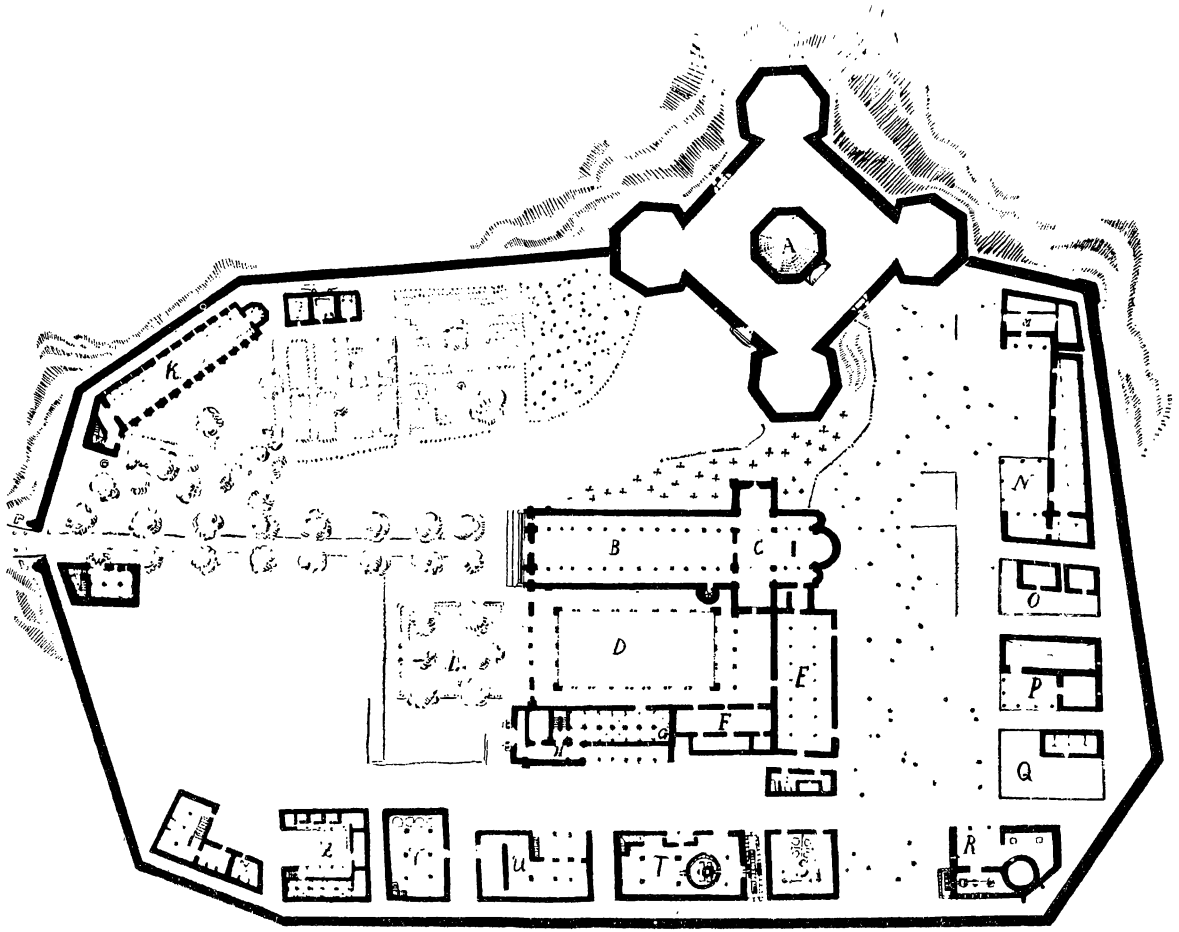
Ночь, где случается мировой пожар и из-за преизбытка добродетелей побеждают силы ада.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

N
↑
S

АББАТСТВО

K — *Лечебница*
J — *Купальни*
A — *Храмина*
B — *Церковь*
D — *Церковный двор*
F — *Спальный корпус*
H — *Капитулярная зала*
M — *Выгребная яма*
N — *Конюшня*
R — *Кузни*



Пролог

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот что было в начале у Бога, дело же доброго инока денноночно твердить во смирении псалмопевческом о том таинственном непререкаемом явлении, чрез кое неизвратимая истина глаголет. Однако днесь ее зрим токмо per speculum et in aenigmate[1], и оная истина, прежде чем явить лице пред лице наше, проявляется в слабых чертах (увы! сколь неразличимых!) среди общего мирского блуда, и мы утруждаемся распознавая ея вернейшие знаменования также и там, где они всего темнее и якобы пронизаны чуждою волею, всецело устремленною ко злу.

Близясь к закату грехóвного существования, в сединах одряхлевая, подобно этой земле, в ожидании, когда ввергнусь в бездну божественности, где одно молчание и пустыня и где сольешься с невозвратными лучами ангельского согласия, а дотоле обременяя тяжкой недужною плотию келью в любимой Мелькской обители, приуготовляюсь доверить пергáменам память о дивных и ужасающих делах, каковым выпало мне сопричаститься в зеленые лета. Повествую verbatim[2] лишь о доподлинно виденном и слышанном, без упования проницать сокрытый смысл событий и дабы лишь сохранились для грядущих в мир (Божиею милостью, да не предупреждены будут Антихристом) те знаки знаков, над коими пусть творят молитву истолкования.

Сподобил меня Владыка небесный стать пристальным свидетелем дел, творившихся в аббатстве, коего имя ныне умолчим ради благости и милосердия, при скончании года Господня 1327, когда вошед император Людовик в Италию готовился, согласно промыслу Всевышню, посрамлять подлого узурпатора, христопродавца и ересиарха, каковой в Авиньоне срамом покрыл святое имя апостола (сие о грешном душой Иакове Кагорском, ему же нечестивцы поклонялись как Иоанну XXII).

Дабы лучше уяснили, в каких делах я побывал, надо бы вспомнить, что творилось в начале века — и как я видел все это живя тогда, и как вижу сейчас, умудрившись иными познаниями,— если, конечно, память справится с запутанными нитями из множества клубков.

В первые же годы века папа Климент V переместил апостольский престол в Авиньон, кинув Рим на грабеж местным государям; постепенно святейший в христианстве город стал как цирк или лупанарий; победители его разрывали; республикой именовался, но ею не был, преданный на поруганье, разбой и мародерство. Церковнослужители, неподсудные мирским властям, командовали шайками бандитов, с мечом в руках бесчинствовали и нечестиво наживались. И что делать? Столица мира, естественно, стала желанной добычей для тех, кто готовился венчаться короною священной империи римской и возродить славу высшей светской власти, как было при цезарях.

На то и избрали в 1314 году пять немецких государей во Франкфурте Людовика Баварского верховным повелителем империи. Однако в тот же день на противном берегу Майна палатинский граф Рейнский и архиепископ города Кельна на то же правление избрали Фредерика Австрийского. На одну корону два императора и один папа на два престола — вот он, очаг злейшей в мире распри.

Через два года в Авиньоне был избран новый папа Иаков Кагорский, старик семидесяти двух годов, и нарекся Иоанном XXII, да не допустит небо, чтобы еще хоть один понтифик взял это мерзкое благим людям имя. Француз и подданный французского короля (а люди

---

[1] В зеркале и в загадке; в отражении и иносказании *(лат.)*.

[2] Дословно *(лат.)*.

той зловредной земли всегда выгадывают для своих и неспособны понять, что мир—наше общее духовное отечество), он поддержал Филиппа Красивого против рыцарей-храмовников, обвиненных королем (полагаю, облыжно) в постыднейших грехах; все ради их сокровищ, кои папа-вероотступник с королем присвоили. Вмешался и Роберт Неаполитанский. Чтобы сохранить свое правление на итальянском полуострове, он уговорил папу не признавать ни одного из двоих немцев императором и сам остался главным военачальником церковного государства.

В 1322 году Людовик Баварский разбил своего соперника Фредерика. Испугавшись единственного отныне императора еще сильнее, чем боялся двух, Иоанн отлучил победителя, а оный в отместку объявил папу еретиком. Надо знать, что именно в тот год в Перудже собрался капитул братьев францисканцев, и их генерал Михаил Цезенский, склонив слух к требованиям «мужей духа» — «спиритуалов» (о последних еще расскажу), провозгласил как истину веры положение о бедности Христа, который со своими апостолами если и владел чем-либо, то только usus facti[1]. Достойнейшее утверждение, призванное оберечь добродетель и чистоту братства. Папа же был недоволен, вероятно почуяв угрозу своим притязаниям, ибо готовился как единоличный глава церкви воспретить империи избирать епископов, при этом сохранивши за собою прерогативу коронования императоров. Так или иначе, в 1323 году он восстал против доктрины францисканцев в своей декреталии Cum inter nonnullos.

Людовик, видимо, тогда же разглядел во францисканцах, отныне враждебных папе, мощных соратников. Провозглашая бедность Христа, они усиливали позиции имперских богословов—Марсилия Падуанского и Иоанна Яндунского. И за несколько месяцев до событий, кои будут описаны, Людовик, заключив с разбитым Фредериком союз, вступил в Италию, принял корону в Милане, подавил недовольство Висконти, обложил войском Пизу, назначил имперским наместником Каструччо, герцога Луккского и Пистойского (и напрасно, думаю, ибо не встречал более жестокого человека — кроме Угуччона из Фаджолы), и быстро пошел на Рим, куда призывал Шарра Колонна, господин той области.

Такова была пора, когда я, приняв послушание в бенедиктинской обители в Мельке, был взят из монастырской тишины волею отца, бившегося у Людовика в свите и не последнего меж его баронами, каковой рассудил везти меня с собою, дабы узнал чудеса Италии и в будущем наблюдал бы коронацию императора в Риме. Но как сели под Пизой, привело ему отдаться воинской заботе. Я же, оным побуждаясь, и от досуга и ради пользы новых зрелищ осматривал тосканские города. Однако, по мнению батюшки и матушки, житье без занятий и уроков не годствовало юноше, обещанному к созерцательному служению. Тогда-то по совету полюбившего меня Марсилия и был я приставлен к ученому францисканцу Вильгельму Баскервильскому, отправлявшемуся в посольство по славнейшим городам и крупнейшим в Италии аббатствам. Я сделался при нем писцом и учеником и никогда не пожалел, ибо лицезрел дела достойные увековечения — ради чего и тружусь ныне — в памяти тех, кто придет за нами.

Я тогда не знал, чего ищет брат Вильгельм, по правде говоря — не знаю и сейчас. Допускаю, что и сам он не знал, а движим был единственной страстью — к истине, и страдал от единственного опасения — неотступного, как я видел, — что истина не то, чем кажется в данный миг. Впрочем, к главнейшим своим занятиям, развлеченный тяжкими заботами эпохи, он тогда не прикасался. Поручение его мне было неизвестно до конца путешествия, то есть Вильгельм о нем не говорил. Только слыша урывками его беседы с аббатами монастырей,

[1] Временно *(лат.)*.

я догадывался о роде его задач. Но подлинные цели мне открылись в конце путешествия, о чем скажу позже. Двигались мы на север, однако не прямым путем, а от монастыря к монастырю. Поэтому мы отклонились к западу (хотя цель лежала на востоке), а затем пошли вдоль гребня гор, тянущихся от Пизы до перевала Св. Иакова, покуда достигли земли, коей имя ныне, в преддверии рассказа о бывших там ужасах, воздержусь называть, но скажу все же, что тамошние правители были верны империи и местные аббаты нашего ордена, объединившись, противились еретику и святокупцу папе. Всего пути вышло две недели, и с такими событиями, в которых я смог лучше узнать (хотя все же недостаточно) нового учителя.

Впредь не займу сии листы описанием внешности людей — кроме случаев, когда лицо либо движение предстанут знаками немого, но красноречивого языка. Ибо, по Боэцию, всего мимолетней наружность. Она вянет и пропадает, как луговой цвет перед осенью, и стоит ли вспоминать, что его высокопреподобие аббат Аббон взором был суров и бледен ликом, когда и он, и все с ним жившие ныне прах, и праха цвета, смертного цвета их тела? (Только дух, волею господней, сияет в вечно негасимом свете.) Вильгельма все же я опишу раз и навсегда, так как обычнейшие черты его облика мне казались дивно важными. Так всегда юноше, привязавшемуся к старшему и более умудренному мужчине, свойственно восхищаться не только умными его речами и остротой мысли, но и обликом, дорогим для нас, как облик отца. От него мы перенимаем и повадку, и походку, ловим его улыбку. Но никакое сладострастие не пятнает сию, возможно единственную чистую, разновидность плотской любви.

В мое время люди были красивы и рослы, а ныне они карлики, дети, и это одна из примет, что несчастный мир дряхлеет. Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке, землю перевернули с ног на голову, слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть, птицы падают не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут. Мария не хочет созерцательной жизни, Марфа не хочет жизни деятельной, Лия неплодна, Рахиль похотлива, Катон ходит в лупанарии, Лукреций обабился. Все сбились с пути истинного. И да вознесутся бессчетные Господу хваления за то, что я успел восприять от учителя жажду знаний и понятие о прямом пути, которое всегда спасает, даже тогда, когда путь впереди извилист.

Видом брат Вильгельм мог запомниться самому рассеянному человеку. Ростом выше обыкновенного, он казался еще выше из-за худобы. Взгляд острый, проницательный. Тонкий, чуть крючковатый нос сообщал лицу настороженность, пропадавшую в моменты отупения, о коих скажу позже. Подбородок также выказывал сильную волю, хотя длиннота лица, усыпанного веснушками — их много у тех, кто рожден меж Ибернией[1] и Нортумбрией[2],— могла означать и неуверенность в себе, застенчивость. Со временем я убедился: то, что казалось в нем нерешительностью, было любопытством, и только любопытством. Однако сперва я не умел ценить этот дар, считая его проявлением душевной развращенности. Тогда как в разумную душу, думал я, любопытству нет доступа, и она питается лишь истиной, которая, как я был убежден, узнается с первого взгляда.

Меня, мальчишку, сразу поразили клочья желтоватых волос, торчавшие у него в ушах, и густые светлые брови. Он прожил весен пятьдесят и, значит, был очень стар. Однако телом не ведал усталости, двигаясь с проворством, не всегда доступным и мне. В периоды оживления его бодрость поражала. Но временами в нем будто что-то ломалось, и вялый, в полной прострации, он лежнем лежал в келье, ничего не отвечая или отвечая односложно, не двигая ни единым муску-

[1] Ирландией.
[2] Нортумберлендом (самое северное графство Англии).

лом лица. Взгляд делался бессмысленным, пустым, и можно было заподозрить, что он во власти дурманящего зелья — когда бы сугубая воздержность всей его жизни не ограждала от подобных подозрений. Все же не скрою, что в пути он искал на кромках лугов, на окраинах рощ какую-то траву (по-моему, всегда одну и ту же), рвал и сосредоточенно жевал. Брал и с собою, чтоб жевать в минуты высшего напряжения сил (немало их ждало нас в монастыре!). Я спросил его, что за трава, он засмеялся и ответил, что добрый христианин, бывает, учится и у неверных. Я хотел попробовать, но он не дал со словами, что как в речах к простецам различаются paidikoi, ephebikoi и gynaikoi [1], так и с травами: что здорово старику францисканцу, негоже юному бенедиктинцу.

Пока мы были вместе, суточный распорядок исполнять не удавалось. Даже в монастыре мы бдели ночью, а днем валились от усталости и к отправлениям службы Божией являлись нерегулярно. В дороге он все же после повечерия бодрствовал редко. В привычках был умерен. В монастыре днями пропадал на огороде, рассматривая травы, как рассматривают хризопразы и изумруды. А в крипте, в сокровищнице походя глянул на ларец, усыпанный изумрудами и хризопразами, как будто на дикую шалей-траву в поле. Целыми днями он листал рукописи в большом зале библиотеки — можно подумать, только для удовольствия (а кругом в это время все множились трупы зверски убитых монахов). Я застал его гуляющим в саду без всякой видимой цели, как если б он не был обязан отдавать отчет Господу во всех действиях. В братстве учили иначе расходовать время, о чем я ему и сказал. Он же отвечал, что краса космоса является не только в единстве разнообразия, но и в разнообразии единства. Сей ответ я принял за невежливый и полный эмпиризма. Лишь позже я осознал, что люди его земли любят описывать важнейшие вещи так, будто им неведома просвещающая сила упорядоченного рассуждения.

Пока мы жили в аббатстве, руки его были вечно перепачканы книжной пылью, позолотой невысохших миниатюр, желтоватыми зельями из лечебницы Северина. Он как будто мыслил руками, что, на мой взгляд, пристало скорее механику (меня же учили, что всякий механик — moecus [2], прелюбодей, изменяющий умственной жизни, с коей чистейшим сочетавался браком). Но руки его, когда он трогал что-то непрочное — свежайшие, еще сырые миниатюры или съеденные временем листы, ломкие, как опресноки,— двигались с необыкновенной ловкостью, и так же он трогал свои орудия. Ибо в дорожном мешке он хранил особые предметы, кои звал «чудными орудиями». Орудия, говорил он, родятся от искусства, которое обезьяна натуры и в новых формах воссоздает различные действия природы. Так он объяснил мне чудотворные свойства часов, астролябии и магнита. Однако сперва я боялся, что это нечисто, и прикидывался спящим в ясные ночи, когда он с помощью таинственного треугольника следил за звездами. Прежде я встречал францисканцев в Италии и в моей земле, и это были простые, часто неграмотные люди. Я сказал Вильгельму, что восхищен его образованностью. Он со смехом ответил: «У нас на островах францисканцы из особого теста. Рогир Бэкон, наш чтимый наставник, учил, что в некий день промысел Господен обратится к механизмам, они же суть орудия природной священной магии. Тогда из природных средств создадутся орудия судоходства такие, коих силою корабль пойдет под водительством одного лишь человека, притом пуще нежели ходят под парусом или на веслах. Явятся и повозки „без тварей борзо влекомы нутряным напором такожде махины на воздусех плывущи ими же муж воссед правит дабы крыла рукотворны били бы воздух по образу летучих птах». И малейшие орудия,

[1] Обращения к детям, подросткам и женщинам *(греч.)*.
[2] Распутник *(греч.)*.

способные подъять несметный груз, и колесницы, странствующие по дну морскому».

Я спросил, где же эти орудия, на что он ответил: «В древности они были сделаны, а иные и в наше время, за вычетом воздухоплавательной махины, каковую ни я не видал, ни кто-либо из людей мне встречавшихся. Но знаю ученого мужа, об оной махине помышляющего. Можно выстроить и мост через всю реку без свай и иных опор, и прочие неслыханные сооружения. Ты не тревожься, что доселе их нет. Это не значит, что их и не будет. Я скажу тебе: Господу угодно, чтобы были они, и истинно уже существуют они в Его помысле, хотя мой друг Оккам и отрицает вероятность подобного существования идей. Но отрицает не оттого, что отгадывать помыслы Божии предосудительно, а напротив, оттого, что число отгадок неограниченно». Это было не первое противоречивое высказывание Вильгельма. Даже и ныне я, постарев и умудрившись, все-таки не могу понять, почему он, столь ценя суждения своего друга Оккама, одновременно преклонялся и перед доктринами Бэкона. Хотя следует признать, что в ту неспокойную пору умному человеку приходилось думать, бывало, взаимоисключающие вещи.

Вот, рассказал я о брате Вильгельме — видимо, бестолково; хотелось в начале повести собрать обрывки разрозненных наблюдений, сделанных по дороге в аббатство. Кто был Вильгельм и чем интересовался, ты, о добрый читатель, лучше выведешь сам из его действий в те дни в монастыре. Не сулил и не сулю тебе исчерпывающей картины. Могу дать лишь перечень фактов, но предивных и престрашных, это несомненно.

Таким-то образом, день ото дня узнавая учителя и провождая бесконечные переходы в длительнейших с ним беседах (их вспомяну при случае), я вдруг обнаружил, что путь наш скончался и впереди высится гора, а на ней то самое аббатство. Ступай же вперед и ты, моя повесть, и да не дрогнет перо, прикасаясь к рассказу обо всем, что случилось затем.

День первый

Первого дня
ЧАС ПЕРВЫЙ,

где описано прибытие к подножию Аббатства,
причем Вильгельм проявляет
величайшую проницательность

Было ясное утро конца ноября. Ночью мело, но не сильно, и слой снега был не толще трех пальцев. Затемно, отстояв хвалитны, мы слушали мессу в долинной деревушке. Потом двинулись в гору навстречу солнцу.

Мы подымались по крутой тропе, огибавшей гору. Вдруг аббатство встало перед нами. Меня поразила не толщина стен — такими стенами огораживались монастыри во всем христианском мире,— а громадность постройки, которая, как я узнал позже, и была Храминой. Восьмиугольное сооружение сбоку выглядело четырехугольником (совершеннейшая из фигур, отображающая стойкость и неприступность Града Божия). Южные грани возвышались над площадью аббатства, а северные росли из склона горы и отважно повисали над бездной. Снизу, с некоторых точек, казалось, будто не постройка, а сама каменная скала громоздится до неба и, не меняя ни материала, ни цвета, переходит в сторожевую башню: произведение гигантов, родственных и земле и небу. Три пояса окон сообщали тройной ритм ее вертикали, так что, оставаясь на земле физическим квадратом,

в небе здание образовывало спиритуальный треугольник. Подойдя ближе, я увидел, что на каждом углу квадратного основания стоит башня-семигранник, из семи сторон которой пять обращены вовне, так что четыре стороны большого восьмигранника превращены в четыре малых семигранника, которые снаружи представляются пятигранниками. Не может быть человек равнодушен к такому множеству священных чисел, полных, каждое, тончайшего духовного смысла. Восемь — число совершенства любого квадрата, четыре — число евангелий, пять — число зон неба, семь — число даров Духа Святого. Величиной и планом Храмина походила на виденные мной позднее в южных краях Италии замок Урсино и замок даль Монте, но была еще неприступнее, и робость охватывала всякого идущего к аббатству путника. Добро еще в то ясное утро у постройки был не такой мрачный вид, как в ненастную погоду.

Однако не скажу чтоб она выглядела приветливо. Мною овладел страх, и появилось неприятное предчувствие. Бог свидетель, что не от бредней незрелого разума, а оттого, что слишком заметны были дурные знаки, проявившиеся на тех камнях еще в давние времена, когда они были во власти гигантов, задолго, задолго до того, как упрямые монахи взялись превратить проклятые камни в святое хранилище слова Божия.

Наши мулы вскарабкались на последний уступ взъезда. Отсюда расходились три тропы. Вдруг учитель остановился и осмотрелся, кинув взгляд и на кромку дороги, и на дорогу, и поверх дороги, где несколько вечнозеленых пиний, сойдясь, касались кронами, образуя что-то вроде седого от снега навеса.

«Богатое аббатство,— сказал он.— Аббату нравится хорошо выглядеть на людях».

Я так привык к неожиданности его суждений, что не удивился и ничего не спросил. И некогда было спрашивать: за поворотом послышались крики и навстречу высыпала возбужденная толпа монахов и челяди. Один, завидев нас, отделился от остальных, свернул с пути и любезно приветствовал:

«Пожалуйте, отец мой,— сказал он,— и не удивляйтесь, что я знаю, кто вы, ибо о вашем приезде известили. Я Ремигий Варагинский, келарь этого монастыря. Если вы тот самый, кем я вас счел, то есть брат Вильгельм из Баскавиллы, надо доложить настоятелю. Ты,— обратился он к кому-то из свиты,— ступай наверх и объяви, что ожидаемый гость вступает в стены обители!»

«Благодарю, отец келарь,— учтиво отвечал учитель,— и тем более тронут, что вижу: ради меня вы прервали погоню. Но не огорчайтесь. Конь действительно поскакал в эту сторону и свернул на правую тропку. Далеко уйти он не должен: добежит до помойки и остановится. С откоса спускаться не будет — слишком умен».

«Вы когда его видели?» — спросил келарь.

«А мы его не видели, верно, Адсон? — Вильгельм повернулся ко мне с лукавой усмешкой.— Но это неважно, так как ваш Гнедок именно там, где я говорю».

Келарь помялся, взглядывая то на Вильгельма, то на тропу, и в конце концов не выдержал: «Откуда вы знаете, как его зовут?»

«Уж знаю,— ответил Вильгельм.— Вы ищете Гнедка, это любимец настоятеля, лучший скакун на конюшне, черной масти, ростом без восьми вершков в сажень, хвост пышный, копыто малое и круглое, однако на скаку ровен. Голова некрупна, уши остры, глаза очень велики. Подался он направо, как я уже сказал, и в любом случае советую поторопиться».

На мгновение келарь застыл в полной растерянности, затем махнул остальным и бросился вниз по правой тропинке, а наши мулы

снова затрусили в гору. Я был вне себя от любопытства, но Вильгельм знаком велел обождать и не задавать вопросов. И впрямь через минуту послышались ликующие вопли и из-за поворота вывалились монахи и служки, удерживая в поводу жеребца. Они обогнали нас, очумело озираясь, и скрылись в воротах аббатства. Допускаю грешным делом, что Вильгельм мешкал не случайно, а давая им время рассказать о происшествии. Я ведь видел уже и ранее, что учитель, во всем прочем образец высочайших добродетелей, попускает одному своему пороку — славолюбию, особенно когда показывает проницательность. Зная его тончайший дипломатический ум, я понял также, что он хочет явиться в монастырь уже овеянный славой мудреца.

«А теперь откройте,— не утерпел я,— как вы догадались?»

«Добрейший Адсон,— отвечал учитель.— Всю поездку я учу тебя различать следы, по которым читаем в мире, как в огромной книге. Сказал же Алан Лилльский:

> Всей вселенной нам творенье —
> будто бы изображенье,
> книга или зеркало,—

и судил о неисчерпаемом обилии символов, коими Господь чрез посредство творений своих глаголет к нам о вечной жизни. Однако Вселенная еще красноречивей, чем казалось Алану, и говорит она не только о далеких вещах (о них всего туманней), но и о самых близких, и о них — яснее ясного. Даже стыдно повторять все то, что ты сам обязан был увидеть. На развилке, на свежем снегу, были четкие следы копыт, уходившие на левую тропу. Отпечатки правильные, равномерно расположенные, копыто маленькое, круглое. Поскок ровный. А это означает, что лошадь чистокровная и шла спокойно, а не летела сломя голову. Далее. Там, где сросшиеся пинии образуют что-то вроде навеса, было сломано несколько ветвей — именно на высоте пяти футов, как я и сказал келарю. Ты видел ежевичник у развилки? Там конь свернул направо, помахивая своим пышным хвостом, и оставил на шипах несколько длинных черных-пречерных волос... Наконец, не скажешь же ты, что не догадывался про эту помойку. Мы ведь вместе видели на нижнем уступе горы поток нечистот, лившихся из-под восточной башни и пятнавших снег. А от развилки правая тропа может вести только туда».

«Да,— кивнул я.— Но маленькая голова, острые уши, большие глаза...»

«Не знаю, что там на самом деле. Но безусловно монахи должны в это верить. Сказано же Исидором Севильским, что лучшего коня „стать такова: невелика глава и плотно шкурою до кости облеплена, кратки и остры уши, очи зело громадны, широки ноздри, шея пряма, грива и хвост густы, подбитые копыта кругловидны". Если бы жеребец, чей путь я выследил, не был и вправду лучшим на конюшне, как объяснить, что его ищут не только конюхи, но и сам отец келарь? А монах, когда он считает, что конь великолепен и превосходит все природные совершенства, видит в нем только то, что предписано видеть. Особенно если этот монах,— тут он иронически улыбнулся, явно по моему адресу,— если это ученый бенедиктинец».

«Ладно,— сказал я.— Но почему Гнедок?»

«Да ниспошлет Святой Дух в твою башку хоть капельку мозгов, сын мой! — воскликнул учитель.— Ну какое другое имя может носить эта лошадь, если даже сам великий Буридан, готовясь вступить в ректорскую должность в Париже и произнося речь об образцовом коне, не находит более оригинальной клички!»

Вот каков был учитель. Не только читал он великую книгу натуры, но умел угадать и то, что вычитывают другие в книгах культу-

ры и что они мыслят. Эта способность, как увидим, немало раз ему пригодилась в последующие дни. Что же до вильгельмова доказательства, то к концу оно показалось мне настолько простым, что вместо стыда за свою недогадливость я ощутил гордость, как некий соучастник расследования, и почти готов был восхищаться собственной смекалкой. Таковы свойства всего истинного, которое, как и все доброе, легко находит путь в душу. И да славится святейшее имя Господа нашего Иисуса Христа ради сего чудесного ниспосланного мне открытия.

Но вернись к брошенной нити, моя повесть, ты, которую этот дряхлый монах задерживает, копаясь в маргиналиях! Лучше расскажи, как подошли мы к главным воротам аббатства, и как Настоятель встречал нас на пороге с двумя послушниками, поднесшими полную воды золотую мису, и как мы спешились, а он вымыл в мисе руки Вильгельму, и обнял, и поцеловал в уста, даруя святым благословением; а келарь в это время принимал меня.

«Я благодарен вам, Аббон,— сказал Вильгельм,— великая радость войти в обитель, осененную вашей властью и прославленную по обе стороны гор. Пилигримом я прихожу, во имя нашего Господа, и как таковой сподобился от вас немалых почестей. Однако в то же время я являюсь и от имени земного повелителя, о чем свидетельствует вручаемая при сем грамота, и от его имени также хотел бы выразить вам благодарность за теплый прием».

Беря письмо с имперскими печатями, Аббат отвечал, что так или иначе о визите Вильгельма он был предупрежден членами своего братства (и это доказывало, отметил я с тайной гордостью, что бенедиктинского аббата невозможно застать врасплох). Затем Настоятель велел келарю показать нам отведенные помещения, конюхам — принять наших мулов, а сам удалился, обещав прийти позднее, когда мы отдохнем и восстановим силы. Нас же повели на парадный двор, окруженный постройками аббатства, плавно вписанными в рельеф. Верхушка горы представляла собой покатую впадину в виде чаши — «альпы». Вот в этой чаше и размещался монастырь (...).

Первого дня
ЧАС ТРЕТИЙ,

где Вильгельм с Аббатом имеют содержательнейшую беседу

Отец келарь был толстоват и простоват, но радушен; немолод, но крепок; невзрачен, но расторопен. Он довел нас до странноприимных палат и показал кельи, вернее келью, приготовленную для учителя. Для меня, пообещал он, в течение суток выделят особый покой, поскольку я, хотя всего лишь послушник, но гость монастыря и буду размещен с положенными удобствами. А первую ночь мне предстояло провести в покое Вильгельма, в глубокой и просторной нише, где была постлана хорошая свежая солома. Это место, пояснил келарь, устраивается для челяди тех господ, которые привыкли спать не расставаясь с охраной.

Монахи внесли вино, козий сыр, оливы, хлеб и превосходный изюм и оставили нас. Мы ели и пили с удовольствием. (...) Для богословских диспутов в тот день у меня не было сил. Еле добравшись до ниши, я завернулся в одеяло и провалился в глубочайший сон.

Всякому входящему должно было казаться, что это не человек, а какой-то тюк. Обманулся, видимо, и Аббат, когда пришел к Вильгельму около третьего часа. Так и вышло, что я незамеченный присутствовал при первой их беседе, разумеется без тайного умысла, а лишь оттого, что внезапно открыться было бы менее пристойно, нежели затаиться со смирением. Что я и сделал.

Итак, Аббон вошел. Извинившись за вторжение, он снова приветствовал Вильгельма и объявил, что хочет говорить с глазу на глаз о довольно неприятном деле.

Начал он с похвал догадливости Вильгельма, выказанной в истории с лошадью. Как же все-таки удалось описать никогда не виденное животное? Вильгельм кратко повторил разъяснение, и Аббат пришел в восторг. Меньшего, сказал он, нельзя ждать от человека, чья мудрость вошла в легенду. Теперь к делу. Он получил от настоятеля Фарфской обители письмо, где речь идет не только о тайной миссии, порученной Вильгельму императором (ее, разумеется, предстоит обсудить особо), но и о том, что в Англии и в Италии Вильгельм провел как инквизитор несколько процессов, прославившись проницательностью — но в то же время и великодушием.

«Особенно,— добавил Настоятель,— я рад был узнать, что во многих случаях вы выносили оправдательный приговор. Я верю, а в эти скорбные дни наипаче, что в жизни Зло присутствует неотступно,— тут он быстро оглянулся, словно искал Врага прямо в нашей комнате,— но верю и что Зло любит действовать через посредников. Оно наущает своих жертв вредительствовать так, чтобы подозрение пало на праведных, и ликует, видя, как сжигают праведника вместо его суккуба. Часто инквизиторы, доказывая усердие, любой ценой вырывают у подследственного признание, как будто хорошим следователем может считаться тот, кто, чтоб удачно закрыть процесс, нашел козла отпущения...»

«Значит, и инквизитор бывает орудием дьявола»,— сказал Вильгельм.

«Возможно,— уклончиво ответил Аббат,— ибо неисповедимы Господни пути. И все же не мне бросать тень подозрения на достойнейших особ. И менее всего на вас, как на одного из них, в чьей помощи я сейчас нуждаюсь. В моем аббатстве случилось нечто требующее вмешательства и совета такого человека, как вы: умного и скромного. Достаточно умного, чтоб многое открыть, и достаточно скромного, чтобы скрыть (по необходимости) то, что откроется. Ведь часто приходится устанавливать вину особ, обязанных славиться святостью. Тогда мы пресекаем зло тайно, не предавая дело огласке. Если пастырь оступился, пусть другие отойдут от него. Но горе, когда паства перестает доверять пастырям».

«Ясно»,— сказал Вильгельм. Я уже знал, что кратким и вежливым ответом он обычно прикрывает, приличия ради, свое несогласие или удивление.

«И посему,— продолжал Аббат,— я убежден, что разбирать вину пастыря может только человек вашего склада, умеющий отличать и доброе от злого, и — прежде всего — существенное от несущественного. Я рад был узнать, что вы осуждаете преступников лишь в тех случаях...»

«...когда доказана действительная вина: отравление, растление малолетних или иная мерзость, кою мой язык не решается поименовать...»

«...вы осуждаете преступников лишь в тех случаях,— продолжал Аббат, будто не слыша,— когда присутствие злого духа в обвиняемом очевидно для всех, и потому оправдание может выглядеть еще возмутительнее, чем само преступление».

«Я осуждаю преступников только в тех случаях,— сказал Вильгельм,— когда доказано, что они действительно совершили преступления настолько тяжкие, что я с чистой совестью могу отдать их гражданским властям».

Поколебавшись, Настоятель спросил: «Почему, говоря о преступлениях, вы упорно умалчиваете об их причине — дьявольском наущении?»

«Потому что судить о причинах и следствиях достаточно трудно, и я думаю, что Господь единый вправе о них судить. Мы же пока не можем установить связь даже между столь очевидным следствием, как обгоревший ствол, и столь явной причиной, как ударившая в него молния. Поэтому плести длиннейшие цепочки неверных причин и следствий, по-моему, такое же безумие, как строить башню до самого неба...» (...)

«Однако помнится, три года назад на процессе в Килкенни по делу о попрании нравственности был вынесен приговор, гласивший, что в подсудимых вселился дьявол; и вы его не оспаривали».

«Не я составил его. Я и не оспаривал, это правда. Кто я, чтобы судить о путях распространения зла? В особенности если,— и Вильгельм голосом подчеркнул, что это главный довод,— если в ходе процесса все, кто возбудил расследование — и епископ, и городские власти, и население, и, надо думать, сами подсудимые,— все действительно жаждали обвинить в преступлении дьявольскую силу? Вот, по-моему, единственное веское доказательство работы дьявола: это упорство, с которым люди, причастные к процессам, обычно твердят, будто узнают нечистого по делам его».

«Значит,— с тревогой спросил Аббат,— по-вашему, во многих процессах дьявол движет не только преступниками, но также — или даже в первую очередь — судьями?»

«Да разве можно утверждать подобное? — переспросил Вильгельм. И я отметил: вопрос построен так, чтобы Аббату было неудобно настаивать на своем. Воспользовавшись его замешательством, Вильгельм сменил тему: — Но все это давние дела. Теперь я оставил благородные обязанности судопроизводства. Выполнял я их по велению Господню...»

«...несомненно...» — ввернул Настоятель.

«...а ныне,— продолжал Вильгельм,— занимаюсь иными, не менее щекотливыми делами. Готов заняться и вашим, как только вы расскажете, что случилось».

Настоятель был видимо рад перейти к изложению вопроса. Рассказывал он осторожно, взвешивая слова, используя длинные перифразы и где возможно обходясь намеками. Событие, о котором шла речь, случилось несколько дней назад и сильно напугало монахов аббатства. Настоятель сказал, что обращается к Вильгельму как к знатоку человеческой натуры и следопыту дьявольских ухищрений и надеется, что тот, уделив новому расследованию толику своего драгоценнейшего времени, прольет свет истины на печальную загадку. Известно было вот что. Адельма Отрантского, молодого монаха, но уже прославленного, несмотря на молодость — искуснейшего рисовальщика, украшавшего рукописи монастырского собрания великолепными миниатюрами,— рано утром нашел козопас на дне обрыва под восточной башней Храмины. Поскольку на повечерии монахи видели Адельма в хоре, а к полунощнице он не явился, предполагается, что монах упал в пропасть в самые темные часы ночи. То была ночь с бурной грозой, со снегом, и льдины вонзались в землю, как бритвы. Шел крупный град. Непогодой заправлял безудержный северный ветер. Снег то таял, то снова смерзался в острые сосульки-лезвия. Избитое, изорванное тело нашли под отвесным обрывом. Бедная бренная плоть, да упокоит Господь его душу. Ударяясь о скалы, тело несколько раз меняло траекторию, и трудно сказать, из какой именно точки началось падение: то есть из какого именно окна башни, смотрящей на пропасть четырьмя стенами, в каждой по три этажа окон.

«Где вы похоронили несчастное тело?» — спросил Вильгельм.

«Разумеется, на кладбище,— ответил Настоятель.— Оно располагается от северной стены церкви до Храмины и огородов».

«Понятно,— сказал Вильгельм.— Понятно и ваше дело. Если бы

несчастный юноша оказался, Господи упаси, самоубийцей (поелику возможность случайного падения из окна заведомо исключена),— на следующее утро вы должны были бы найти одно из окон Храмины растворенным. А между тем все окна были закрыты, и ни под одним не было потеков воды».

Настоятель, как я уже говорил, был человек в высшей степени сдержанный и дипломатичный. Но тут он от изумления растерял все ораторские навыки, которые, по Аристотелю, приличествуют важному и великодушному мужу: «Кто вам сказал?»

«Вы,— ответил Вильгельм.— Если бы окно было открыто, вы знали бы, откуда он упал. Как я заметил при осмотре снаружи, речь идет о больших окнах с матовым остеклением. Такие окна в подобных массивных зданиях отворяются выше человеческого роста. Следовательно, совершенно исключено, чтобы пострадавший выглянул и случайно потерял равновесие. Поэтому открытое окно недвусмысленно указывало бы на самоубийство. И вы бы не могли допустить погребения его в освященной земле. Но он похоронен как христианин. Это значит, что все окна были заперты. А поскольку они были заперты; и поскольку ни разу, даже в процессах о ведовстве, я не видел, чтобы непокаявшийся мертвец, при помощи Бога ли, или же диавола выбрался из пропасти ради того, чтоб замести следы собственного преступления,— я должен заключить, что предполагаемый самоубийца скорее всего был вышвырнут из окна человеческой рукой или, если вам так больше нравится, дьявольской. И теперь вы теряетесь в догадках, кто бы это мог его, ну если не в самом деле выбросить из окна, то хотя бы загнать, сопротивляющегося, на высокий подоконник. И неудивительно, что вы неспокойны, покуда в аббатстве свободно промышляет злая воля, естественная или сверхъестественная — дело не в этом...»

«Да-да...— откликнулся Аббат, но я не понял, соглашается ли он с последними словами Вильгельма или же перебирает в уме доводы, которые Вильгельм так изумительно выстроил.— Да. Но откуда вы знаете, что ни под одним окном не было воды?»

«От вас. Дул австр. А окна открываются на восток».

«Мало мне рассказали о вашем уме,— проговорил Настоятель.— Все было так, и воды под окнами не нашли, и я не мог понять почему, а сейчас понимаю. Поймите и вы мою тревогу. Достаточно тяжко было бы уж и если один из моих монахов дошел до богомерзкого греха самоубийства. Однако есть причины полагать, что второй из них повинен в грехе не менее вопиющем. И не только...»

«Прежде всего, почему — второй из них? В аббатстве достаточно посторонних — конюших, козопасов, прислуги...»

«Да, наша обитель хоть небольшая, но зажиточная,— важно подтвердил Аббат.— У нас на шестьдесят братьев сто пятьдесят человек челяди. Но прислуга ни при чем. Ведь преступление совершено в Храмине. Устройство Храмины вам, должно быть, уже известно: в нижнем этаже поварни и трапезная, в двух верхних скрипторий и библиотека. После вечернего стола Храмину замыкают, и доступ туда строжайше запрещен...— Тут Вильгельм, по-видимому, собрался что-то спросить, потому что Аббат угадал его вопрос и добавил, хотя и очень неохотно:—...Запрещен всем, включая, разумеется, монахов, но...»

«Но что?»

«Но... Для прислуги это совершенно, понимаете, совершенно невозможно: осмелиться войти в Храмину ночью...— Тут по лицу Аббата пробежала какая-то вызывающая улыбка, но тут же угасла, как угасает ночная зарница.— Что вы! Они смертельно этого боятся. Понимаете, когда хочешь что-то оборонить от простецов, запрет надо усилить угрозой: убедить, что с тем, кто нарушит, произойдет нечто ужасное, скорее всего потустороннее. Простецы верят; а вот монахи...»

«Ясно».

«Кроме того, у монаха может быть какая-то надобность проникнуть в запретное для других место. Надобность, как бы это выразиться? объяснимая, хотя и противозаконная...»

Вильгельм заметил, что Аббат не знает, как продолжить, и задал новый вопрос, однако еще сильнее смутил собеседника.

«Говоря о предполагаемом убийстве, вы добавили: и не только... Что еще имелось в виду?»

«Я так сказал? Ну... Никто не убивает без причины, пусть самой извращенной. И мне страшно помыслить об извращенности причины, способной толкнуть инока на убийство собрата. Вот. Это все».

«Все?»

«Все, что я могу рассказать».

«То есть все, что вам позволено рассказать?»

«Прошу вас, брат Вильгельм, прошу тебя, брат...» — Оба слова, и «вас», и «тебя», Аббат особо выделил голосом. Вильгельм сильно покраснел и пробормотал:

«Вижу: ты служитель Господен».

«Спасибо, Вильгельм», — отвечал Аббат.

О Боже милостивый, какой же непозволительной тайны коснулись в тот миг мои увлекшиеся наставники, один по велению отчаяния, другой по велению любопытства! Ведь даже я, жалкий послушник, не причастный еще таин святого служения Господня, я, недостойный мальчишка — понял, что Аббат имеет в виду нечто услышанное на исповеди. С уст исповедующегося дошло до него некое греховное признание, по-видимому сопряженное с трагической кончиной Адельма. Потому-то, наверное, Аббат и просил Вильгельма раскрыть злодеяние, о котором он, Аббат, уже знал, не имея права ни обвинить, ни наказать преступника. Он надеялся, что мой учитель силою разума прольет свет на то, что сам он обязан укутывать тьмою во имя наивысшей силы — милосердия.

«Ладно,— сказал Вильгельм.— Я могу опросить монахов?»

«Можете».

«Я могу свободно перемещаться внутри аббатства?»

«Вы получите доступ повсюду».

«О моих полномочиях известят братьев?»

«Всех и сегодня же вечером».

«В таком случае я начну немедленно, до оповещения. Кроме всего прочего, я давно предвкушал и даже полагал не в малой степени целью своего путешествия посещение вашей библиотеки, о которой во всех монастырях христианского мира говорят как о чуде».

Тут Аббат вскочил на ноги. Лицо его окаменело. «Я обещал вам доступ во все постройки аббатства, это правда. Но, разумеется, это не касается верхнего этажа Храмины — библиотеки».

«Почему?»

«С этого объяснения следовало бы начать. Но я думал, что вы уже знаете... Дело в том, что наша библиотека отличается от остальных...»

«Да; в ней больше книг, чем в любой библиотеке христианства. В сравнении с вашими собраниями хранилища братств Боббио и Помпозы, Клюнийского и Флерийского аббатств покажутся школьной комнатой мальчишки, долбящего азбуку. Шесть тысяч кодексов Новалесской библиотеки, которыми она выхвалялась более ста лет назад, мелочь по сравнению с вашим собранием, и, надо думать, многие из тех кодексов уже перекочевали к вам. Я знаю, что эта библиотека — единственный наш светоч; это лучшее, что может противопоставить христианский мир тридцати шести библиотекам Багдада, десяти тысячам томов визиря Ибн аль-Альками; знаю, что число ваших Библий сравнимо с двумя тысячами четырьмястами каирскими Коранами (...)».

«Да, это так, благодарение Господу (...)».

«Аминь,— благочестиво заключил Вильгельм.— Но какое отношение все это имеет к запрету на вход в библиотеку?»

«Видите ли, брат Вильгельм,— отвечал Аббат.— Для того, чтобы вершился святой неохватный труд, обогащающий эти стены,— и кивнул на громаду Храмины, видневшуюся из окна и возвышавшуюся над самыми большими постройками, даже и над церковью,— для этого благочестивые люди работали веками, соблюдая железную дисциплину. Библиотека родилась из некоего плана, который пребывает в глубокой тайне, тайну же эту никому из иноков не дано познать. Только библиотекарю известен план хранилища, преподанный ему предшественником, и еще при жизни он должен заповедать его преемнику, чтобы случайная гибель единственного посвященного не лишила братство ключа к секретам библиотеки. Их знают двое, старый и молодой, но уста обоих опечатаны клятвой. Только библиотекарь имеет право двигаться по книжным лабиринтам, только он знает, где искать книги и куда их ставить, только он несет ответ за их сохранность. Прочие монахи работают в скриптории, где они могут пользоваться списком книг, хранимых в библиотеке. В списке одни названия, говорящие не слишком много. И лишь библиотекарь, понимающий смысл расстановки томов, по степени доступности данной книги может судить, что она содержит — тайну, истину или ложь. Он единолично решает, когда и как предоставить книгу тому, кто ее затребовал, и предоставить ли вообще. Иногда он советуется со мной. Ибо не всякая истина — не всякому уху предназначается, и не всякая ложь может быть распознана доверчивой душой. Да и братья, по уставу, должны в скриптории заниматься заранее обусловленными работами, для которых потребны заранее оговоренные книги — и никакие иные. Нечего потакать всякому порыву безрассудного любопытства, рожденного слабостью ли духа, опасной ли гордынею, либо дьявольским наущением».

«Значит, в библиотеке есть книги, содержащие лжеученья?»

«И природа терпит чудищ. Ибо они часть божественного промысла, и через немыслимое их уродство проявляется великая сила Творца. Так же угодно божественному промыслу и существование магических книг, иудейской каббалы, сказок языческих поэтов и лживых учений, исповедуемых иноверцами. Верой столь незыблемой, столь святой одушевлялись те, кто воздвиг наше аббатство и учредил в нем библиотеку, что полагали, будто даже в клеветах ложных писаний око мудрого и набожного читателя способно прозреть свет — пусть самый слабый — свет божественного Знания. Но и для таких читателей библиотека пусть остается заповедищем. Именно по этим причинам, как вы понимаете, в библиотеку нельзя допустить всех и всякого. К тому же,— добавил Аббат, как бы понимая, до чего непрочен последний аргумент,— книга так хрупка, так страдает от времени, так боится грызунов, непогоды, неумелых рук! Если бы все эти сотни лет всякий, кто хочет, мусолил наши кодексы, большая часть не дожила бы до нынешних времен. Библиотекарь оберегает тома не только от людей, но и от природных сил, посвящая жизнь борьбе с губительным Забвением, этим вековечным врагом Истины».

«Значит, никто, кроме двух человек, не входит в верхний этаж Храмины».

Аббат улыбнулся. «Никто не должен. Никто не может. Никто, если и захочет, не сумеет. Библиотека защищается сама, она непроницаема, как истина, которую хранит в себе, коварна, как ложь, в ней заточенная. Лабиринт духовный — это и вещественный лабиринт. Войдя, вы можете не выйти из библиотеки. Я изложил вам наши правила, и прошу вас соблюдать правила аббатства».

«Но вы допускаете, что Адельм упал в пропасть из окна библиотеки. Как могу я расследовать обстоятельства его гибели, если не осмотрю предполагаемое место преступления?»

«Брат Вильгельм,— отвечал Настоятель примирительным тоном,— человек, который смог описать моего Гнедка, никогда не видев его, и гибель Адельма, ничего не зная о ней, без труда сумеет судить о месте, куда доступ ему воспрещен».

Вильгельм ответил поклонившись: «Ваше высокопреподобие и строгость свою облекает мудростью. Да будет как вам угодно».

«Если я когда-либо, волею Господа, и бывал мудр, это оттого, что умею быть строгим»,— ответил Аббат.

«И наконец,— сказал Вильгельм.— Убертин?»

«Он здесь. Ждет вас».

«Когда?»

«В любое время,— улыбнулся Настоятель.— Вы его знаете. Несмотря на великую ученость, он равнодушен к библиотеке. Зовет ее преходящим обольщением. Проводит дни в церкви, молится, размышляет...»

«Стар он?» — поколебавшись, спросил Вильгельм.

«Вы давно его не видели?»

«Много лет».

«Он устал. Отрешен от наших посюсторонних забот. Ему шестьдесят восемь лет. Но душа, его кажется, молода, как и прежде».

«Спасибо, отец настоятель. Я разыщу его немедленно».

Аббат пригласил нас трапезовать с братией после шестого часа. Вильгельм ответил, что совсем недавно позавтракал, и очень сытно, и что предпочтет немедленно увидеться с Убертином. И Аббат откланялся.

Когда он открывал дверь, со двора донесся душераздирающий вопль — так кричат смертельно раненные. Затем — другие крики, не менее ужасные. «Что это?» — вздрогнул Вильгельм. «Ничего,— ответил улыбаясь Аббат.— Об эту пору у нас колют свиней. У скотников много работы. Не эта кровь должна вас заботить».

Так он сказал, и не оправдал свою репутацию прозорливца. Ибо на следующее утро... Но сдержи нетерпение, ты, разнузданный язык! Ведь еще в тот день, о коем речь, и еще до ночи свершилось много такого, о чем нужно поведать скорее.

Первого дня

ЧАС ШЕСТЫЙ,

где Адсон изучает портал церкви,
а Вильгельм после долгой разлуки видится
с Убертином Казальским

Церковь была не так великолепна, как осмотренные мной позднее храмы Страсбурга, Шартра, Бамберга и Парижа. (...) Когда глаза свыклись с полумраком, вдруг немой разговор резного камня, обращенный к зрению и следом прямо к душе (ибо картина, се простецов писание), поразил мой взор и увел меня в мечту, каковую и ныне язык затрудняется передать.

Взглянул я как бы в духе, и вот, престол стоял на небе и на престоле был Сидящий. Лицо Сидящего было сурово и скорбно, распахнутые очи жгли человечество, пришедшее к пределу земного существования. (...) И я видел пленников в огненном лесу, горячее их дыхание чуял на щеках. Их окружали, с ними смешивались, на них громоздились и пластались под ними странные лики и члены тела: муж с женою, вцепившись друг другу в волосы; два аспида, высасывая очи у грешника; борец, который скалясь разрывал скрюченными руками пасть гидры; и все твари бестиария Сатаны, сошедшиеся собором, дабы хранить и венчать престол тот и поражением своим его восславить — сатиры, андрогины, шестипалые уроды, сирены, гиппокентавры, горгоны, гарпии, инкубы, змеехвосты, минотавры, рыси,

барсы, химеры, мышевидки с сучьими мордами, из ноздрей пускавшие пламя, зубатки, сколопендры, волосатые гады, саламандры, змеи рогатки, водяные змеи, ехидны, двуглавцы с зазубренными хребтами, гиены, выдры, сороки, крокодилы, гидрофоры с рогами как пилы, жабы, грифоны, обезьяны, псиглавцы, круготенетники, мантихоры, стервятники, лоси, ласки, драконы, удоды, совы, василиски, чрепокожие, гадюки, бородавконогие, скорпионы, ящеры, киты, змеи-посохи, амфисбены, летучие удавы, дипсады, мухоловки, хищные полипы, мурены и черепахи. Все исчадия ада будто сошлись тут в преддверии, в сумрачном лесу, в степи печальной и дикой, к явлению Сидящего на фронтоне, к лику его многообещающему и грозному. Те, кто сражен на Армагеддоне, стали пред тем, кто пришел окончательно разделить живых и мертвых. Обомлев от видения и не сознавая, нахожусь ли в покойном месте либо же в долине Страшного Суда, я совсем потерялся и силился сдержать слезы, и мнилось, будто слышу (или слышал взаправду?) тот же голос и зрю те же видения, которые мне являлись в отрочестве, в послушничестве, когда впервые отдавался чтению Священного Писания, в ночи медитаций в Мелькском хоре. И затем, обмирая всеми чувствами, и прежде некрепкими, а ныне еще против прежнего ослабленными, я услышал громкий голос, как бы трубный, говоривший: «То, что видишь, напиши в книгу» (чем ныне я и занят), и увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы были белы, как белая шерсть, как снег, очи — как пламень огненный. Ноги были подобны бронзе, раскаленной в печи. Голос подобен шуму вод многих, и в деснице он держал семь звезд, а из уст его выходил обоюдоострый меч. И вот, дверь отверста на небе, и Сидящий, лицом подобный камням яспису и сардису, и радуга вилась вокруг его престола, и исходили от престола молнии и гласы. И Сидящий, гляжу, берет в руки острый серп и восклицает: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела», и повергает серп свой на землю, и вот уже земля пожата.

Тут я понял, что не об ином гласит видение, как о происходящем в монастыре. О том самом, что с неохотой открыли уста Аббата. И как часто в последующие дни ни приходил смотреть на портал, всегда убеждался, что переживаю страсти, им предреченные. И тогда же я понял, что мы взошли в оное место, дабы стать свидетелями великой богоугодной жертвы.

Я трепетал, как под зимним ледяным дождем. И тут послышался второй глас, но этот звучал позади меня и был совсем иным, так как шел с земли, а не из лучезарного средоточия моей мечты. И так чуждо звучал, что от него видение пропало, а Вильгельм (теперь я вспомнил о его присутствии), прежде углубленный в созерцание, обернулся на крик, как обернулся и я.

Тот, кто стоял за нами, походил на монаха, хотя его одежда была замарана и ветха, как у бродяги, а что до лица — оно не сильно отличалось от харь, испещривших капители. Во всю жизнь ни разу мне не довелось испытать то, что испытывали многие собратья — явление диавола. Но я уверен, что если выпадет однажды ему предстать передо мною, тот, кого Господь по счастию не допускает полностью упрятывать свое естество под обликом человека, предстанет именно в таком обличье, какое имел наш тогдашний собеседник. Череп, лишенный волос — но не от епитимьи, а вследствие какой-то гноеточивой сыпи. Лоб до того низкий, что если бы голова не облысела, мохнатые дикие брови сомкнулись бы с волосами. Круглые глаза с крошечными, очень подвижными зеницами, а взгляд то бесхитростный, то зловещий, в разные минуты по-разному. Носа, сказал бы я, не было вообще. Но все же какой-то хрящ торчал у него между глазами, чуть

выступая вперед, однако сразу и оканчиваясь. Под ним на гладком месте были две черные дырки — огромные, заросшие густым волосом ноздри. От этих дыр ко рту шел рубец. Уродливая перекошенная пасть была скривлена вправо, и между отсутствующей верхней губою и нижней — выпяченной, мясистой — виднелись неровные черные зубы, заостренные, как собачьи клыки.

Когда мы обернулись, рот стоявшего расползся в улыбке (по крайней мере мне так показалось), и он, предостерегающе воздев перст, промолвил:

«Всепокайтеся! Зряще како змию жрать твой дух! Смерть на нас! Возмоли! Святый да папа свобождает от греха! (...) Сальватор вразумевши. Возмолите Отца! На другое начихать бы. И аминь. Так?»

Не раз еще придется, вперед подвигая повесть, рассказывать, и немало, об этом уроде, и передавать его речи. Признаюсь, что это очень трудно, так как ни тогда я не понимал, ни сейчас не пойму, на каком языке он изъяснялся. Это не была латынь — язык, употреблявшийся в монастыре меж нами, образованными людьми. Это не было и наречие местности, окружавшей монастырь. И наречием какого-либо другого края это, сколько я могу судить, тоже не было. (...) Позднее я убедился, что Сальватор владел всеми языками — и ни одним. Он выстроил собственный язык из наречий тех мест, где бывал. (...) Позднее я также узнал, что он добросердечен и покладист. Позднее я еще узнал... Но нет, расскажу по порядку. К тому же не успел незнакомец обратиться к нам, как Вильгельм, заметно заинтересованный, сам приступил к нему с вопросами.

«Почему ты говоришь „всепокайтеся"?» — спросил он.

«Господине отче брате благ душою,— отвечал Сальватор, сгибаясь в каком-то странном поклоне. — Исус грядущ и в человецех покаяние бы. Так?»

Вильгельм пристально смотрел на него: «Ты что, из монастыря миноритов?»

«Не вразумел...»

«Я спрашиваю: ты, верно, жил у братьев Святого Франциска, встречался с так называемыми апостолами?»

Сальватор побледнел — вернее сказать, смуглая звероподобная рожа его посерела. Отвесив Вильгельму поясной поклон, он прошипел что-то вроде «Изыди», истово перекрестился и бросился прочь, непрерывно озираясь.

«О чем вы его спросили?» — обратился я к Вильгельму.

Тот стоял в задумчивости. «Неважно. Объясню после. Сейчас идем в церковь. Я хочу видеть Убертина».

(...) О многом думал я, подходя к легендарному Убертину. Учитель меня представил. Старец тронул мне щеку горячими, будто горящими пальцами. Этим прикосновением объяснилось все, что слыхал я о святейшем муже, все, что прочел сам в его «Древе жизни». Я понял, каким мистическим жаром он пылал с тех пор, как, обучаясь в Париже, предался спекулятивному богословию и перевоплотился в кающуюся Магдалину, и что за страстная сила влекла его к святой Ангеле из Фолиньо, к той, кто открыла ему сокровища мистической жизни и поклонения кресту, после чего власти ордена, напуганные горячностью его проповедей, срочно выслали Убертина в Верну.

Вглядываясь в лик, нежный, как у святой, с коей тесно он был соединен братской возвышеннейшей связью, я подумал, что в иные времена эти черты, наверное, бывали решительными и жесткими. К примеру, когда в 1311 году Венский собор своей декреталией Exivi de paradiso сместил руководителей францисканского ордена, преследовавших спиритуалов, но в то же время потребовал от последних смиренного подчинения ордену. И тогда Убертин (воплощенное самоотречение!) не принял хитрого компромисса и восстал, требуя учредить независимый орден спиритуалов — «мужей духа» — с максималь-

но суровым уставом. Отважный боец, он проиграл свою битву, ибо именно в те годы Иоанн XXII предпринял крестовый поход на последователей Петра Иоанна Оливи (к которым некогда сам принадлежал), разгромив общины Нарбонны и Безье. Но Убертин бестрепетно выступил против папы, защищая память друга. Папа же, по великой святости Убертина, не посмел отдать его под суд — хотя соратников истребил. Более того, в создавшемся положении папа даже действовал во спасение Убертина, сперва рекомендовав, а после приказав ему войти в клюнийский монастырь. Убертин, который при всей своей хрупкости и беззащитности умудрялся находить единомышленников и покровителей везде, в том числе при папском дворе, для виду согласился вступить в Геймблахскую обитель во Фландрии, однако, по-моему, ни разу там и не показался, а остался в Авиньоне, под прикрытием кардинала Орсини,— защищать интересы францисканцев.

Однако в последнее время возникли слухи, будто звезда его при дворе закатилась и он бежал из Авиньона, а папа объявил розыск этого неукротимого гневливца как еретика, «вскую шаташеся». Но следы его, по тем же слухам, потерялись. Из сегодняшнего разговора Вильгельма с настоятелем я понял, что прославленный Убертин укрывается в здешнем аббатстве. И вот сейчас я видел его воочию.

«Вильгельм,— говорил тем временем старик,— они хотели меня убить, знаешь? Я убежал от них ночью».

«Кто хотел твоей смерти? Иоанн?»

«Нет. Иоанн никогда меня не любил, но чтил всегда. Это ведь именно он десять лет назад спас меня от суда, заставив поступить к бенедиктинцам. Так всем врагам заткнули рты. Но долго они злословили обо мне, издевались: вот-де, поборник бедности, а входит в богатейший орден, живет на хлебах кардинала Орсини... Ты-то знаешь, Вильгельм, что́ для меня все их земные блага. Но только таким образом я мог быть в Авиньоне и помогать собратьям. Папа боится Орсини, он и волоса бы моего не тронул. Еще три года назад он доверял мне посольство к арагонскому королю...»

«Так кто же преследовал тебя?»

«Все. Курия. Дважды пытались меня убить. Чтоб я замолчал. Ты ведь знаешь, что было пять лет назад. За два года до того осудили нарбоннских бегинов, после чего Беренгар Таллони, хоть и был судьею на том процессе, обратился к папе с воззванием. Время было плохое. Иоанн выпустил две буллы против спиритуалов, и даже Михаил Цезенский сдался. Кстати, когда ты его ждешь?»

«Он будет здесь через два дня».

«Михаил... Давно я его не видел. Сейчас он думает иначе. Он понял, чего мы тогда хотели. Перуджийский капитул поддержал нас. Но это сейчас. А тогда, в 1318 году, он поддался папе и уступил ему пятерых спиритуалов из Прованса, отказавшихся подчиниться францисканскому чину. Их сожгли, Вильгельм... Ох, какой ужас...» — Старик закрыл лицо руками.

«Но все-таки что же произошло после воззвания Таллони?» — спросил Вильгельм.

«Иоанну пришлось снова объявить дискуссию, понимаешь? Он был вынужден. Потому что колеблющиеся были даже в курии. Даже куриальные францисканцы, эти фарисеи, гробы повапленные, готовые продаться за пребенду,— даже они тогда сомневались. И Иоанн велел мне составить записку о бедности. Это была хорошая записка, Вильгельм, да не накажет Господь меня за гордыню...»

«Я читал, Михаил мне показывал».

«Сомневающихся было много. И среди наших тоже. Провинциал Аквитании, кардинал Сан Витале, епископ Каффский...»

«Идиот»,— сказал Вильгельм.

«Да покоится в мире. Господь прибрал его два года назад».

«Не был Господь так милостив. Это ложный слух, идущий из

Константинополя. Болван Каффа до сих пор с нами, и, скорее всего, явится сюда с делегацией, спаси Господь и помилуй наши души».

«Но он за Перуджийский капитул»,— сказал Убертин.

«Вот именно. Он принадлежит к тому роду людей, которые просто находка для неприятеля».

«Честно сказать,— заметил Убертин,— он и тогда не слишком помог нашему делу. И вообще все кончилось ничем. Но все-таки идею не признали еретической, и это немаловажно. Вот чего они мне не могли простить. Вредили как могли. Говорили, что я был в Саксенгаузене три года назад, когда Людовик объявил Иоанна еретиком. При том, что всем известно, что я в июле был в Авиньоне у Орсини... Говорили, что в декларации императора использованы мои идеи. Безумные домыслы...»

«Ничего безумного,— сказал Вильгельм.— Эти идеи подсказал императору я, почерпнув их частью из твоей Авиньонской декларации, частью из Оливи».

«Ты? — воскликнул Убертин со смешанным выражением недоверия и радости.— Так ты считаешь, что я прав?»

Вильгельм, похоже, смутился. «Это были подходящие идеи для императора в тот момент»,— уклончиво пробормотал он.

Убертин смотрел с подозрением: «А-а, значит, на самом деле ты в них не поверил?»

«Рассказывай дальше,— сказал Вильгельм.— Расскажи, как ты спасся от этих сук».

«Ох, Вильгельм, и вправду суки, бешеные суки. Пришлось биться с самим Бонаграцией, понимаешь?»

«Но Бонаграция Бергамский за нас!»

«Теперь! После того как я с ним столько говорил! Только после этого он дал себя убедить и выступил против Ad conditorem canonum. А папа отправил его на год в тюрьму».

«Я слышал, что ныне он сблизился с моим другом, живущим при курии, с Вильгельмом Оккамским».

«Я его знаю. Он мне не нравится. Холодный человек, только голова, нет сердца».

«Но голова хорошая».

«Возможно. И заведет его в ад».

«Там мы с ним увидимся и будет с кем устроить логический диспут».

«Замолчи, Вильгельм,— перебил Убертин, улыбаясь с бесконечной нежностью.— Ты лучше всех твоих философов. Если б еще ты хотел...»

«Чего?»

«Помнишь, мы виделись в последний раз в Умбрии? Помнишь? Я тогда воскресал от моих недугов благодаря заботам этой дивной женщины... Клары из Монтефалько... — При ее имени лицо старика просияло. — Клара... Когда женское естество, от природы злопакостнейшее, воспаряет к святости — вот тогда может собой явить высочайшее средоточие благостыни. Ты-то знаешь, Вильгельм, что вся моя жизнь одушевлена чистейшим целомудрием, ты-то знаешь,— и конвульсивно схватил Вильгельма за руку,— знаешь, с какой свирепой (да, верное слово!), свирепой страстью к смирению я умерщвлял в себе трепет плоти, дабы стать проводником единственного чувства, любви к Христу Распятому... И все же три женщины вошли в мою жизнь как истинные посланницы небесных сил. Ангела из Фолиньо, Маргарита из Кастелло (она предвосхитила завершение моей книги, когда я еще не написал и трети) и, наконец, Клара Монтефалькская. Счастливым промыслом Божиим именно я был назначен расследовать ее чудеса. И я убеждал толпу в их святости еще до того, как на это отважилась матерь пресвятая церковь. А ведь ты был рядом, Вильгельм, и мог бы помочь в святейшем подвиге, но не захотел...»

«Святейший подвиг, к которому ты призывал,— это отправить на костер Бентивенгу, Джакомо и Джованнуччьо»,— невозмутимо вставил Вильгельм.

«Они осквернили собственной низостью ее память. А ты был инквизитор».

«И именно тогда попросил освободить меня от должности. Эта история мне не понравилась. Не нравится, честно сказать, и способ, которым ты заставил Бентивенгу признаться в его заблуждениях. Прикинулся, будто хочешь вступить в его секту — еще неизвестно, была ли секта,— вызнал все тайны, и его посадили».

«Но так и обращаются с врагами церкви! Они еретики, лжеапостолы, смердят Дольчиновою серой!»

«Они друзья Клары».

«Нет, Вильгельм, память Клары оставь в покое!»

«Но они из ее группы...»

«Они миноритьі, звавшие себя мужами духа — а надо бы их звать публичными братьями! А известно тебе, что выяснилось на следствии? Что Бентивенга из Губбио выдавал себя за апостола и вместе с Джованнуччьо из Беваньи совращал монахинь, убеждая, будто ада не существует и позывы плоти можно удовлетворять, не гневя бога, и будто можно причаститься Тела Христова, возлегши (силы небесные не прогневайтесь!) с монахиней, и что будто Господу предпочтительнее Магдалина, нежели девственная Агнесса, и будто кого зовут в народе бесом, это и есть Господь, так как бес — мудрость и Господь — также мудрость! Блаженная же Клара, наслушавшись их таковых речей, имела видение, и сам Спаситель оповестил ее, что они злонамеренные приверженцы Свободного Духа!»

«Они были миноритьі, и мозг их был воспален теми же виденьями, что у Клары. Часто от экстатического исступления до греховного один шаг»,— сказал Вильгельм.

Убертин заломил руки, в глазах его показались слезы: «Не говори так, Вильгельм. Можно ли смешивать миг экстатической любви, обжигающий нутро фимиамом, с распущенностью чувств, от коей воняет серой! Бентивенга наущал братьев, чтоб трогали нагие части тел, утверждая, будто этим добывается свобода от чувственного соблазна: наг муж с нагою женою возлег...»

«Иже друг друга не познаста...»

«Вздор! Они искали сладострастия! И когда плоть одолевала, они за грех не считали для ея успокоения мужчине лечь с женщиною, и друг друга лобызать во все места, и соединять его нагое лоно с ея нагим лоном!»

Должен сказать, что убертинова манера обличения навела меня не на праведные мысли. Учитель, наверное, заметил мое беспокойство и прервал старца:

«Ты равно горяч духом, Убертин, как в любви Христовой, так и в неприятии зла. Я только хотел сказать, что мало чем отличается жар серафимов от жара Люцифера, ибо и тот и другой воспаляются в невыносимом напряжении желания...»

«Нет, разница есть, и я ее чувствую! — вдохновенно отвечал Убертин. — Ты скажешь, что и от вожделения добра до вожделения зла один шаг: оба суть вожделения. Это неоспоримо. Однако есть великая разница в предмете вожделения, он легко различим. Тут Господь, там диавол».

«Боюсь, что я разучился различать, Убертин. Не твоя ли Ангела из Фолиньо, когда рассказывала о восторге у гроба Господня, описала, как сперва поцеловала его в перси, и видит — лежит он смеживши очи; потом в уста поцеловала и ощутила, что исходит от тех уст невыразимый сладостный запах, а через некоторое время приложилась ланитой к ланите Христовой, и Христос поднес ладонь к другой ее

ланите и крепко прижал к себе, и в этот миг ее радость — так, кажется, она выразилась — достигла предела?»

«Причем это к чувственной похоти? — сказал Убертин.— Это мистическое испытание, а тело было телом Господа нашего».

«Видно, я слишком привык к Оксфорду,— сказал Вильгельм. — Там мистические испытания выглядели несколько иначе».

«Опять только голова?» — усмехнулся Убертин.

«Скорее только очи. Господь является в виде сияния. Его видят в солнечных лучах, в зеркальных отражениях, в растворении цвета среди частиц упорядоченной материи, в блеске дневного света на мокрой листве. Разве такая любовь не ближе к проповеди Франциска, возлюбившего Господа во всех его тварях, в цветах, в травах, в воде, в воздухе? Не думаю я, чтоб такое чувство могло привести к опасным последствиям. А вот любовь, которая идет ко Всевышнему от содроганий возбужденной плоти...»

«Это святотатство, Вильгельм! Я говорил не о том! Неизмерима пропасть меж возвышенным экстазом любви к казненному Иисусу и низменным, развратным экстазом лжеапостолов монтефалькских...»

«Не лжеапостолов, а братьев Свободного Духа. Ты же сам сказал».

«Какая разница! Ты не все о них знаешь. На процессе я сам не посмел предать гласности некоторые их признания — дабы ни на миг не опоганить тенью диавольской ту атмосферу святости, которую Клара провождала около себя. Но я узнал такое, Вильгельм, такое! Они сходились по ночам в подземелье, брали новорожденного младенца и друг другу его бросали, пока он не погибал от ушибов... или от чего иного... и кому он доставался живым последнему, и в чьих руках испускал дух, тот становился главарем секты... А тело младенчика, растерзав, замешивали в тесто, чтобы готовить святотатственные просфоры!»

«Убертин,— решительно оборвал Вильгельм. — Все это говорилось много столетий назад об армянах епископах и о секте павликиан. И о богомилах...»

«Ну и что? Нечистый туп, ходит кругами, спустя тысячелетия повторяет все те же козни и соблазны, он всегда себе подобен, оттого и признан повсеместно врагом! Клянусь тебе, в пасхальную ночь они палили свечи и водили в подземелье девушек. Потом свечи гасили и бросались на девушек, даже на тех, с кем были связаны кровными узами... И если от соития рождалось дитя, снова заводили адское радение, ставши кругом полной винной чаши, потиром у них зовомой. Упивались допьяна, и резали ребеночка на части, и лили кровь в чашу, и детей еще живыми кидали в огонь, а после мешали останки детские с детскою кровью и упивались».

«Но это описано Михаилом Пселлом в трактате о хитростях бесов триста лет назад! Кто тебе все это рассказывал?»

«Они сами, Бентивенга с прочими, и под пыткой!»

«Одна вещь на свете возбуждает животных сильнее, чем наслаждение, и это боль. Под пыткой ты как бы во власти одуревающих трав. Все, о чем ты слышал и читал, оживает в памяти, и ты будто переносишься душой — если не в рай, то в ад. Под пыткой ты скажешь не только все, чего хочет следователь, но еще и все, что, по-твоему, могло бы доставить ему удовольствие. Ибо между вами устанавливается связь, и эта-то связь, думаю, действительно дьявольская... Я все это хорошо изучил, Убертин, ведь и я был среди тех, кто рассчитывает добыть истину каленым железом. Но запомни, что накал истины иной, от иного пламени. Бентивенга под пыткой мог болтать любую несуразицу, потому что в тот миг говорил не он, а его сладострастие, говорили бесы его души...»

«Сладострастие?»

«Да, есть сладострастие боли, также как сладострастие веры и даже сладострастие смирения. Если ангелам-бунтовщикам столь немногого хватило, чтоб огнь обожания и смирения стал в них огнем гордыни и бунта, что говорить о слабом роде человеческом? Ну вот, я рассказал тебе, какие мысли смущали меня при ведении следствия. Из-за них я отказался от должности. Нехватало духу преследовать слабости грешников, коль скоро у них те же слабости, что у святых».

Последнюю речь Вильгельма Убертин слушал, будто не слыша. По его лицу, исполненному искреннего и сердечного сочувствия, я понял, что он считает Вильгельма жертвой самых опасных заблуждений, но прощает, потому что очень его любит. Прервав собеседника, он сказал с горечью: «Ладно, неважно. Если были подобные мысли — хорошо, что бросил. С искушением надо бороться. Но без твоей поддержки мне пришлось туго. Вдвоем мы разгромили бы эту банду. А так — ты ведь знаешь, чем кончилось? Меня самого заподозрили в слабости к подсудимым и предъявили обвинение в еретической деятельности... А ведь речь могла идти и о твоей слабости, Вильгельм. Ты оказался слаб, не смог сразиться со злом. Зло, Вильгельм, зло повсюду... Когда избавимся от этой напасти, этой мрази, этой грязи, не дающей пить из самых чистых источников? — Он ближе пододвинулся к Вильгельму, будто опасаясь, что кто-то услышит: — Даже здесь, в святых стенах, назначенных лишь молитвам... Ты уже знаешь?»

«Знаю. Аббат ко мне обращался и просил пролить свет на эту тайну».

«Коли так, вынюхивай, выведывай, выглядывай рысьим взором, ищи две причины — сладострастие и гордыню».

«Сладострастие?»

«Сладострастие. Было что-то... от женщины, а значит, от дьявола в этом юноше, который умер. Глаза, как у девицы, вожделеющей сношения с инкубом. К тому же здесь и гордыня, гордыня ума, здесь, в этом монастыре, где все подчинено поклонению слову, похвальбе мнимой мудростью...»

«Если что-то знаешь, скажи».

«Нет, не знаю. У меня нет фактов. Но бывают вещи, которые чуешь сердцем. Спроси свое сердце, вслушайся в лица, речей не слушай... А впрочем, мы так долго говорим о мрачных вещах, совсем замучили нашего юного друга.— Он взглянул на меня своими синими глазами, поднял руку и длинными белыми пальцами дотронулся до моей щеки. Я инстинктивно дернул головой, но вовремя удержался, и правильно сделал, потому что мог обидеть старика, между тем как побуждения его были чисты.— Лучше расскажи о себе,— обратился он к Вильгельму.— Что ты делал все это время? Прошло...»

«Восемнадцать лет. Я вернулся в свои земли. Снова учился в Оксфорде. Изучал природу...»

«Природа — добро, раз она порождение Господа»,— сказал Убертин.

«Господь должен быть добр, раз он породил природу,— улыбнулся Вильгельм.— Я много работал, встречался с учеными. Потом познакомился с Марсилием. Меня привлекли его соображения о власти, о народе, его проект нового законодательства для всех государств земли, и так я примкнул к группе членов нашего ордена — советников императора. Но все это тебе известно из моих писем. Я был просто счастлив, когда в Боббио мне сообщили, что ты здесь. Мы-то боялись, что потеряли тебя... А теперь, поскольку ты с нами, ты сможешь во многом нам помочь через несколько дней, когда появится Михаил. Драка будет сильная».

«Мало что я смогу прибавить к тому, что говорил пять лет назад в Авиньоне. Кто будет с Михаилом?»

«Несколько человек от Перуджийского капитула, Арнальд Аквитанский, Хьюго Ньюкасл...»

«Кто?»— переспросил Убертин.

«Гугон из Новокастро. Прости, не могу избавиться от родного языка, даже когда стараюсь говорить на правильной латыни. Затем Вильгельм Алнуик. Из авиньонских же францисканцев люди, на которых можно рассчитывать,— это дурак Иероним Каффа и еще, наверное, Беренгар Таллони и Бонаграция Бергамский».

«На все воля Божья,— сказал Убертин.— Эти последние не слишком-то рвутся ссориться с папой. А кто будет защищать позиции курии — я имею в виду, из жесткосердых?»

«Судя по имеющимся у меня письмам, приедет Лаврентий Декоалькон».

«Вредный человек».

«Иоанн д'Анно...»

«Этот хитер в богословии, имей в виду».

«Будем иметь в виду. И, наконец, Иоанн де Бон».

«Сразу сцепится с Беренгаром Таллони».

«Да, вот я и думаю, что мы повеселимся»,— отвечал учитель в отменном расположении духа. Убертин глядел на него с улыбкой изумления.

«Не разберу, когда вы, англичане, говорите серьезно. Ничего веселого в этом деле я не вижу. Решается вопрос существования ордена. Твоего ордена, Вильгельм, а в глубине души до сих пор и моего... И все-таки я решил умолять Михаила не ездить в Авиньон. Иоанн подозрительно настойчив — зазывает его, просит, приглашает. Нельзя верить этому подлому французу. О Господи Пресвятый, в чьи руки попала твоя церковь! — И он обернулся к алтарю.— Блудницею заделалась, размякла в роскошествах, угрелась в похоти, как змея в тепле! От святой наготы вифлеемских яслей, от чистоты крестного древа — lignum vitae — к вакханалии злата и каменьев, ты видел, и здесь все то же, видел ты портал? Куда деваться от наглого великолепия этих образов? И вот наконец подходят антихристовы сроки, и я боюсь, Вильгельм! — И он озирался, заглядывая расширенными глазами вглубь темных нефов, как будто Антихрист мог оттуда показаться с минуты на минуту, и я невольно ощутил, что сам готовлюсь к этой встрече.— Наместники его явились, им подосланные, как рассылал апостолов Христос по всему свету! И попирают Град Божий, и обольщают своими прелестями, лицемерят и насильничают. Настал черед Господу выслать рабов своих Илию и Еноха, которых еще живыми поместил к себе в земной рай, чтоб они пришли и рассеяли силу Антихриста. И придут они пророчить в покаянных рясах и станут проповедовать покаяние словом и примером...»

«Они уже тут, Убертин»,— сказал Вильгельм, показывая на свою францисканскую рясу.

«Но не победили еще, и в некий час Антихрист в ярости своей велит умертвить и Еноха и Илию, дабы каждый мог видеть их трупы и видя страшился бы вторить их примеру. Так и меня чуть не убили...»

Тут я ужаснулся, подумав, что Убертин охвачен какой-то божественной горячкой, и убоялся за его разум. Ныне же, когда минули года и мне известно то, что мне известно, а именно — что спустя несколько лет он был убит в одном немецком городе при невыясненных обстоятельствах и так и не узналось, кем,— я снова леденею от ужаса, так как вижу, что в тот вечер Убертин прорицал.

«Знаешь, аббат Иоахим сказал правду. Мы подошли к шестой эре истории человечества, и теперь явятся два Антихриста, мистический и истинный, и это случится теперь, в шестую эпоху, после того как был Франциск, пресуществивший в своем теле пять стигматов распятого Иисуса. Бонифаций был мистическим Антихристом,

отречение Целестина недействительно, Бонифаций се и есть зверь из моря выходящий, чьи семь голов, это семь оскорблений смертным грехам, а десять рогов, се хуление десяти заповедям, а кардиналы ему споспешествовавшие, се саранча, а плотью он — Аполлион! Число же зверя, если сочтешь по греческим литерам,— Бенедикт!— Он посмотрел, проверяя, хорошо ли я понял, и предостерегающе воздел перст.— Бенедикт XI и был истинным Антихристом, зверем восходящим от земли! И Господь допустил, чтобы этот выродок, воплощение порока и безнравственности, правил святою церковью! Лишь ради того, чтобы достоинства его преемника ослепили бы мир!»

«Но святой отче,— пролепетал я, набравшись духу,— ведь его преемник Иоанн!»

Убертин провел рукой по лбу, как бы отгоняя предательский сон. Он задыхался, глядел мутно. «Вот именно. Мы ошиблись в расчетах. Ангелический папа все еще ожидается».(...)

«Да будет так, Убертин,— отвечал Вильгельм.— А я обязан позаботиться, как бы покуда не прогнали правителя земного. Об ангелическом папе говорил и брат Дольчин...»

«Не поминай этого змия! — взвыл Убертин, и я впервые увидел, как он меняется, из благостного становясь буйным.— Он опоганил учение Иоахима Калабрийского, превратил в грязь, смертью чреватую! Сущий прислужник Антихриста, самый что ни на есть! А ты, Вильгельм, говоришь все это, потому что на самом деле не веришь в антихристово пришествие, это твои оксфордские наставники научили тебя обожествить разум, иссушив пророческий дар в твоем сердце!»

«Ты ошибаешься, Убертин,— отвечал Вильгельм очень серьезно.— Ты ведь знаешь, что из всех учителей самый мною почитаемый — Рогир Бэкон...»

«Любивший поговорить о летающих машинах»,— язвительно вставил Убертин.

«Предупреждавший нас вполне четко и ясно об Антихристе, чьи предвестия он находил в повреждении нравов и в упадке наук. Но Рогир учил, что есть только один способ укрепиться ввиду прихода врага: изучать тайны природы, приобретать знания ради исправления человечества. Можно готовиться к приходу Антихриста, изучая целебные достоинства трав, свойства камней, даже выдумывая летающие устройства, которые тебя так смешат».

«Твоему Бэкону Антихрист, это только предлог, чтобы пестовать гордыню разума».

«Святой предлог».

«То, что нуждается в предлоге, не свято. Вильгельм, ты знаешь, как я люблю тебя. Знаешь, как я полагаюсь на тебя. Укроти разум, научись оплакивать язвы и муки Господа! Выбрось книги!»

«Все выброшу, кроме твоей»,— улыбнулся Вильгельм в ответ. Убертин тоже усмехнулся и погрозил пальцем: «Глупый англичанин. Не слишком смейся над себе подобными. Над теми, кого не можешь любить, также не смейся: лучше их бойся. И поосторожнее в этом аббатстве. Оно мне не нравится».

«Да, я как раз собирался получше его рассмотреть,— ответил Вильгельм, направляясь вон.— Идем, Адсон».

«Говорю: здесь опасно, а ты собираешься рассматривать... Ох, Вильгельм!»— крикнул вслед Убертин, неодобрительно качая головой.

«Кстати,— добавил Вильгельм уже из середины нефа,— что это за монах: смахивает на животное и говорит по-вавилонски?»

«Сальватор? — обернулся Убертин, уже ставший на колени.— Он, можно сказать, мой подарок этому монастырю. Также как и келарь. Расставаясь с францисканской рясою, я ненадолго посетил свою прежнюю обитель в Казале, где в то время несколько монахов попали в неприятное положение: братия заподозрила, что они — спиритуалы из моей секты. Так во всяком случае они выразились. Я постарался

защитить монахов и добился для них разрешения последовать моему примеру. В прошлом году приезжаю сюда и вижу двоих из них: Сальватора и Ремигия. Сальватор... Он действительно похож на скотину. Но услужлив».

Вильгельм, поколебавшись, сказал: «Я слышал от него „всепокайтеся"...»

Убертин молчал. Потом махнул рукой, отгоняя назойливую мысль: «Да нет, вряд ли. Ты ведь знаешь этих мирских братьев. Темная деревенщина. Наслушались какого-нибудь бродячего проповедника и повторяют без понятия. Сальватора есть в чем упрекнуть. Он прожорливая похотливая тварь. Но по части благонадежности вне подозрений. Нет, Вильгельм, беда этого монастыря в ином: не в тех, кто ничего не знает, а в тех, кто знает слишком много. Среди них и нищи. И не воздвигай крепость подозрений на услышанном слове».

«Это не в моих правилах,— ответил Вильгельм.— Я и из инквизиторов ушел, чтобы не делать этого. Но вообще-то слушать слова мне интересно. И думать о них».

«Слишком ты много думаешь. Юноша,— обратился Убертин ко мне,— не подражай учителю в дурном примере. Единственное, о чем стоит думать, как я убедился под конец жизни,— это о смерти. В смерти нам покой готов, завершенье всех трудов. Дайте мне помолиться».

Первого дня
ПЕРЕД ЧАСОМ ДЕВЯТЫМ,

где Вильгельм ведет ученейший диалог с травщиком Северином

Мы снова пересекли центральный неф и вышли из-под портала на улицу. Все сказанное Убертином, все его слова до сих пор грохотали у меня в голове.

«Он такой человек... Странный...» — осмелился я заметить Вильгельму.

«Он во многих отношениях великий человек — во всяком случае был... От этого и странность. Только мелкие люди кажутся совершенно нормальными. Убертин мог бы быть одним из тех еретиков, которых сжег на костре. А мог бы — кардиналом святейшей римской церкви. И был, заметь, на волосок от обоих извращений. Когда я говорю с Убертином, мне кажется, будто ад — это рай, увиденный с обратной стороны».

Я не понял, что он хочет сказать, и переспросил: «С какой стороны?»

«В том-то и дело,— грустно покачал головой Вильгельм. — Прежде всего требуется установить, существуют ли стороны и существует ли целое... Да не слушай ты меня. И не смотри больше на этот портал,— добавил он, сопровождая последние слова легким подзатыльником, ибо я изо всех сил вывернул шею, не в силах оторваться от поразивших меня скульптур у входа. — На сегодня тебя достаточно напугали. Все кто мог».

Возвратив голову в естественное положение, я увидел перед собой нового монаха. Этот был одних лет с Вильгельмом. Он с улыбкой поздоровался и представился: Северин из Сант-Эммерано, монастырский травщик, ведающий купальнями, больницей и огородом. И если нам угоден сопровождающий по монастырскому хозяйству, он к нашим услугам.

Вильгельм сказал спасибо и добавил, что при въезде в аббатство заметил прекрасные грядки, занятые, по всей видимости, не только под съедобные, но и под лекарственные растения — насколько удалось разглядеть под снегом.

«Летом или весною, когда всякий злак неповторимым соцветием изукрашен, сей огород дивным разнообразием много звонче восславляет Создателя,— отозвался Северин сокрушенным голосом. — Но и в сию пору года глаз знатока по сухим ветвям видит, что произрастает, и убеждается, что этот огород богаче, чем любые гербарии, и цветистей, чем лучшие в них миниатюры. Да к тому же разные добрые злаки растут и зимой, а иные я высаживаю в горшки и держу в лаборатории. В изобилии следует иметь корневища кислицы — они помогают от катаров, а отвар корешков шалфея идет на припарки от кожных болезней; лапушник выводит экзему, молотые и тертые отростки змеевика, или горлеца, хороши от поноса и женских недугов; дикий овес — прекрасное пищеварительное средство... (...) Кроме того, мы выращиваем валериану, добрые свойства коей вам известны».

«Разные травы требуют разного климата. Как же вам удается...»

«С одной стороны, я обязан вседневно благодарить Господа, расположившего наши угодья на гребне гор так, что посевы на южном склоне, обращенном к морю, получают много теплого воздуха, а те, что на северном склоне, глядят на более высокую лесистую гору, которая и прикрывает их и поит древесными бальзамами. С другой же стороны, я обязан ухищрениям искусства, коего сподобился, недостойный, от добрых учителей. Ибо некоторые травы растут и в неудобном климате, если хорошо подготовить почву, правильно подкармливать и ухаживать».

«А есть тут травы, которые только едят?» — спросил я.

«Мой милый проголодавшийся жеребенок, запомни, что нет съедобных растений, которые не служат для врачевания. Важно соблюдать меру. От злоупотребления болеют. Возьми тыкву. Она из влажной и холодной стихий, утоляет жажду. Но если объешься, будет понос, и придется сжимать кишки горчицей, растертой с рассолом. А луковицы? Состоя из теплой и влажной стихий, они потворствуют соитию... Разумеется, это для тех, кто не связан нашими обетами. Нам же лук тяжелит голову, с чем боремся молоком и уксусом. Вот из каких причин,— хитро добавил монах,— молодому иноку лучше в луке себя ограничить. Ешь чеснок. Сухой и горячий, он защитит от ядов. Но не излишествуй, ибо этот овощ сосет из мозга много гуморов. Фасоль гонит мочу и наращивает полноту, оба действия прекрасны для здоровья. Хотя от фасоли дурные сны... Но не такие опасные, как от иных трав, нагоняющих сонную одурь...»

«А что это за травы?» — спросил я.

«Ха-ха, наш маленький послушник слишком любопытен. Нет уж, к этому позволено прикасаться только травщику. Иначе каждый сможет вызывать видения и дурить людей зельями».

«Да достаточно пожевать крапивное семя, страстоцвет или масличник, чтоб защититься от силы сонных трав. Полагаю, в аббатстве выращиваются и эти необходимые злаки?» — сказал Вильгельм.

Северин искоса посмотрел на него. «Ты занимаешься гербаристикой?»

«Очень немного,— скромно отвечал Вильгельм. — Прочел несколько разрозненных книг... „Театр целительства" Абубхасима Бальдахского... (...)»

«Я буду несказанно рад,— отвечал на это Северин.— как-нибудь после побеседовать с тобой о свойствах трав. Мне будет это полезно».

«А мне еще полезнее,— сказал Вильгельм,— но мы нарушим правило молчания — основное в уставе ордена...»

«Устав,— сказал Северин,— в различные эпохи и в различных общинах трактовался по-разному. Изначально устав предписывал нам лишь богоугодное чтение и не поощрял изучения. А между тем ты знаешь, как процвело потом в ордене изучение священных и мирских наук. Далее. Устав требует общей спальни. Однако мы считаем, что

монахи должны иметь возможность сосредоточения и ночью. Потому у каждого особая келья. Правило молчания понимается жестко. У нас не только монахи, занятые ручными работами, но и те, которые пишут или читают, лишены права переговариваться с собратьями. Но поскольку аббатство прежде всего сообщество ученых, монахам полезно делиться накопленными сокровищами знания. Поэтому беседа, споспешествующая изучению предметов, считается законной и полезной, если только ведется не в трапезной и не во время молитвенных отправлений».

«Ты часто говорил с Адельмом Отрантским?» — внезапно спросил Вильгельм.

Северин, по-видимому, нисколько не удивился. «Значит, Аббат уже рассказал,— промолвил он. — Нет. С ним я говорил не часто. Он был занят миниатюрами. Но я слышал, как он говорил с другими монахами, с Венанцием Сальвемекским и с Хорхе Бургосским, о работе. Я-то целыми днями не в скриптории, а у себя»,— и указал на здание лечебницы.

«Так,— сказал Вильгельм. — Следовательно, ты не знаешь, были ли у Адельма видения».

«Видения?»

«Видения, какие случаются, например, от твоих трав».

Северин произнес каменным голосом: «Я сказал, что опасные зелья заперты».

«Не об этом речь,— продолжал Вильгельм. — Я спрашиваю о видениях».

«Не понимаю вопроса»,— упрямо ответил Северин.

«Я подумал, что монах, бродящий по Храмине ночью... А там, по допущению Аббата, могут происходить вещи... губительные для тех, кто приходит в запретный час... вот я и говорю, что подумал: а не явились ли ему дьявольские видения, сбросившие его в пропасть?»

«Я уже сказал, что в скрипторий не хожу — только если нужны какие-нибудь книги. Но большинство гербариев держу при больнице. И я уже сказал, что Адельм был очень близок с Хорхе, с Венанцием... и... разумеется, с Беренгаром...»

Даже я уловил в голосе Северина замешательство, не ускользнувшее, конечно, и от учителя: «С Беренгаром? А почему „разумеется"?»

«Беренгар Арундельский — помощник библиотекаря. Ну, они однолетки, вместе послушествовали... и, по-моему, естественно, что у них были темы для разговоров. Вот что я имел в виду».

«Значит, ты это имел в виду,— повторил Вильгельм. Я удивился, что он не задает дальнейших вопросов. Более того, он резко переменил разговор: — Надо бы побывать в Храмине. Проводишь нас?»

«Охотно»,— ответил Северин с видимым, слишком видимым облегчением. И повел нас в обход огородов к западному фасаду Храмины.

«С огородов входят прямо в кухню,— пояснил он.— Кухня занимает западную половину первого этажа. В восточной — трапезная. Под южным порталом, выходящим на хор церкви, есть два входа — в кухню и в трапезную. А отсюда мы поднимемся на второй этаж, в скрипторий» (...).

Первого дня
ПОСЛЕ ЧАСА ДЕВЯТОГО,

где при посещении скриптория состоялось знакомство со многими учеными, копиистами и рубрикаторами, а также со слепым старцем, ожидающим Антихриста

Поднимаясь, я заметил, что учитель осматривает окна лестницы. Я, наверное, становился не менее наблюдателен, чем он, так как сразу

определил, что подобраться к ним почти невозможно. В то же время и окна трапезной, единственные в первом этаже выходившие на откос, казались недоступными, учитывая, что высокой мебели под ними не было.

Лестница кончилась. Повернув снова, мы вступили в скрипторий из северной башни, и я вскрикнул от восхищения. Второй этаж не был разгорожен, как нижний, и открывался взору во всей поместительности. Гнутые вольты, не слишком большие (меньшие, чем в церкви, но более высокие, чем бывают в капитулярных залах), укрепленные мощными пилястрами, замыкали пространство, залитое изумительным светом от трех огромных окон в каждой большой стене и от малых окошек в каждой из пяти граней каждой угловой башни. Еще восемь вытянутых высоких окон, выходивших во внутренний восьмиугольный колодец, давали дополнительное освещение (...).

Самые светлые места были отданы антикварам, лучшим миниатюристам, рубрикаторам и переписчикам. На столах было все, что служит переписыванию и иллюстрированию: рожки с чернилами, тонкие перья, которые тут же чинили острейшими ножами, пемза для лощения пергамента, правильца для графления строк. У писцов под рукою, на гребнях покатых столешниц, были подставки, державшие переписываемые тома в открытом виде с помощью особых пластин, указывавших нужную строку. Были на столах чернила и золотые, и иных цветов. А некоторые монахи не писали, а только читали и делали заметки в тетрадях или на дощечках.

Но не было возможности вникнуть в их работу, потому что навстречу спешил библиотекарь — как мы уже знали, Малахия Гильдесгеймский. Он явно хотел выказать радушие, но я поневоле вздрогнул от его зловещего вида. Ростом он был высок и при редкостной худобе конечности имел тяжелые и неуклюжие. Когда он шагал, окутанный черным орденским платьем, в его фигуре было что-то жуткое. Капюшон, который он, войдя в помещение, не опустил, оттенял бледность кожи и мрачность огромных тоскливых глаз. На лице лежал отпечаток страстей, по-видимому усмиренных усилием воли, но вылепивших все черты, ныне бездвижные и безжизненные. Облик его дышал скорбью и суровостью, а глаза глядели так пристально, что, мнилось, проницали душу собеседника, читая тайные помыслы, и вряд ли кто бы мог выдержать испытание и не потупиться, спасаясь от вторичного взгляда в эти глаза.

Библиотекарь представил нам работавших. О каждом Малахия рассказывал, над чем тот трудится, и я с восторгом находил во всех глубочайшую преданность науке и познанию слова Божия. Так мы познакомились с Венанцием Сальвемекским, переводчиком с греческого и арабского, приверженцем того самого Аристотеля, который несомненно был и будет великомудрейшим во человецех. С Бенцием из Упсалы, юным скандинавом, знатоком риторики. С Беренгаром Арундельским, помощником библиотекаря. С Имаросом Александрийским — переписчиком книг, получаемых библиотекой на несколько месяцев из других мест. А также с миниатюристами из разных стран: с Патрицием Клонмакнойзским, Рабаном Толедским, Магном Ионским, Вальдом Герефордским.

Я мог бы продолжить этот перечень, о, всего на свете привлекательнее перечень в своей необъяснимой наглядности! Но нужно передать беседу, так как в ходе ее частично объяснилось смутное беспокойство, ощущаемое всеми, и наметилось нечто невысказанное, но подразумевавшееся в речах.

Сперва учитель похвалил Малахии красоту и удобство скриптория и спросил о порядке пользования книгами, ибо — осторожно пояснил он,— слышав множество похвал этой библиотеке, сам мечтал осмотреть ее сокровища. На это Малахия повторил то же, что мы слышали от настоятеля: что монахи просят у библиотекаря необхо-

димые книги, а тот приносит их сверху из хранилища — если находит запрос обоснованным и благочестивым. Вильгельм спросил, как же узнать названия книг, хранящихся наверху, и Малахия указал на толстый, прикованный золотой цепью к его столу кодекс, исписанный дробными столбцами.

Вильгельм сунул руки в рясу на груди, где она складывалась в некое подобие сумки, и вынул вещь, которую я в дороге уже видел и в руках у него, и на носу. Это была рогатка, приспособленная сидеть на носу у человека (в особенности на таком крупном, орлином носу, как имел учитель) — в точности как сидит всадник на коне и птица на жердочке. На концах рогатки, так чтобы находиться прямо перед глазами, держались два овальных металлических окошка, куда были вставлены стекла толщиной каждое с донце стакана. Читая, Вильгельм вздевал это на нос и заверял, что видит значительно лучше, нежели позволяют природное зрение и преклонный возраст, особенно когда дневное светило склоняется к закату. Эта снасть помогала видеть не вдаль (вдаль он и без нее видел превосходно), а вблизь, благодаря чему он мог читать самый мелкий почерк, такой, что даже я затруднялся разбирать. Он объяснил, что каждый из людей, пройдя до половины жизнь земную, даже тот, кто был знаменит отменною зоркостию ока, ощущает, что зрение его отупело и зрачки разучились прилаживаться к рассматриваемому предмету, отчего многие ученейшие мужи, проводив пятидесятую весну, считай что умерли для чтения и письма. Суровая казнь мудрецам, которые, не будь того, долгие бы еще годы являли миру цвет своей учености. И потому надо возблагодарить Господа за то, что открыт и сделан чудеснейший снаряд. Тем самым, добавлял Вильгельм, оправдывается убеждение столь почитаемого им Рогира Бэкона, что одна из задач науки — продление человечьего века.

Монахи следили за Вильгельмом с любопытством, хотя расспрашивать не решались. Однако было ясно, что даже тут, среди людей, посвятивших жизнь чтению и письму, о замечательном изобретении пока не слыхивали. И я с гордостью подумал, до чего приятно сопровождать человека, способного поразить столь многознающих, прославленных во всем мире мужей.

Уставив против глаз свой снаряд, Вильгельм склонился к кодексу. Заглянул в списки и я, и взору открылись названия как совершенно неведомых книг, так и известнейших — всех имевшихся в библиотеке.

«„О звезде Соломоновой", „Искусство изъяснения на еврейском языке и постижения оного", „О свойствах металлов" Рогира Герефордского, „Алгебра" аль-Хорезми, переложенная на латынь Робертом Англом, „Пунические войны" Сильвия Италика, „Деяния франков", „Хвала святому кресту" Рабана Мавра, „Флавия Клавдия Иордана О возрасте мира и человечества, с расположением по литерам и книгам, от A до Z",— читал учитель.— Великолепные труды. Но каков порядок их размещения? (...) Как вы их находите на полках?»

Малахия ткнул пальцем в цифирь, проставленную сбоку от каждого названия: «iii, IV уровень, V в первой греков; ii, V уровень, VII в третьей англов» и так далее. Я догадался, что первая цифра обозначает положение книги на полке, полка определяется по второй цифре, по третьей — шкап, а словами, по-видимому, обозначены комнаты или коридоры книгохранилища. И тут же решил расспросить поподробнее об этих последних таинственных обозначениях. Малахия глянул на меня сурово: «Вы либо не слыхали, либо не запомнили, что вход в библиотеку дозволен только библиотекарю. А посему достаточно и даже необходимо, чтоб библиотекарь один разбирался в этой цифири».

«Но все-таки каков порядок расположения книг хотя бы тут в списке? — спросил Вильгельм. — По-моему, не предметный». О распо-

ложении по заглавным буквам имен авторов, в порядке алфавита, речи не шло, поскольку это нововведение, как мне известно, укоренилось в библиотеках лишь совсем недавно, а в те годы почти не применялось.

«История библиотеки уходит в глубь веков,— отвечал Малахия.— И с давних времен принято записывать книги в порядке поступления, как путем закупок, так и дарственным путем».

«Очень трудно искать»,— заметил Вильгельм.

«Ищет библиотекарь, а он помнит каждую книгу и знает, когда книга поступила. Прочие монахи могут положиться на его память». Он говорил вроде не о себе, а о другом человеке. Но я понял, что речь идет именно о должности, кою ныне исправляет он, быть может и недостойный, а до него исправляли десятки других, передававших друг другу все знания.

«Понятно,— сказал на это Вильгельм.— Значит, если я захочу взять что-нибудь, к примеру, о Соломоновом пятиугольнике, вы указываете мне название,— к примеру, то, которое мы только что видели в списке,— а затем, сверившись с цифирью, приносите книгу из хранилища».

«Да, в случае, если вам действительно следует читать о звезде Соломоновой,— отвечал Малахия.— Но чтобы выдать книгу такого рода, я должен иметь разрешение Аббата».

«Мне стало известно, что один из лучших молодых миниатюристов,— сказал тогда Вильгельм,— недавно погиб. Аббат очень хвалил его. Можно посмотреть его работы?»

«Адельм Отрантский,— нехотя ответил Малахия, в упор разглядывая Вильгельма,— допускался, по незрелости лет, только к маргинальным иллюстрациям. Обладая живым воображением, он ловко составлял из обычных образов странные и невиданные, как те, кто сращивает человечье тулово с головой коня. Книги его на месте. К столу никто не прикасался».

Мы подошли к рабочему месту Адельма, где лежали листы Псалтири, покрытые его рисунками. Тончайшие листы ягнячьей кожи — дивного, царственного пергамента. Последний, неоконченный, до сих пор был прибит к столешнице. Вылощенный пемзой, умягченный мелом, растянутый на станке, он был наколот по краю мельчайшими дырочками-вешками, направляющими руку мастера.

На половине листа, заполненной текстом, художник разметил по полям контуры рисунков. Взглянув на другие, уже готовые листы, мы с Вильгельмом ахнули. На полях Псалтири был показан не тот мир, к которому привыкли наши чувства, а вывернутый наизнанку. Будто в преддверии речи, которая по определению речь самой Истины,— велся иной рассказ, с той Истиною крепко увязанный намеками in aenigmate [1], лукавый рассказ о мире вверх тормашками, где псы бегут от зайцев, а лани гонят львов. Головки на птичьих ножках, звери с человечьими руками, вывернутыми на спину, головы, ощетинившиеся ногами, зебровидные драконы, существа со змеиными шеями, заплетенными в тысячу невозможных узлов, обезьяны с рогами оленя, перепончатокрылые сирены, безрукие люди, у которых на спине как горбы растут другие люди, и тела с зубастыми ртами пониже пупа, и люди с конскими головами, и кони с человечьими ногами, и рыбы с птичьими крылами, и птицы с рыбьими хвостами, и однотелые двуглавые чудища, и двутелые одноглавые (...). Я над этими листами погибал от восхищения и смеха, потому что рисунки смешили поневоле, хотя и находились при священнейшем тексте. И брат Вильгельм, на них поглядевши, ухмыльнулся и сказал: «Бейбвинами их зовут у меня на островах».

«А галлы — бабуэнами,— отозвался Малахия.— Адельм действительно учился рисунку у вас в стране, потом совершенствовался во

[1] В виде загадки.

Франции. Бабуины, сиречь африканские обезьяны. Обитатели перевернутого мира, где замки стоят на кончиках башен, а земля находится на небе».

У меня в памяти всплыл стишок на языке родных мест, и я не удержавшись прочел:

Aller wunder si geswigen,
das erde himel hât überstigen,
daz sult ir vür ein wunder wigen.

А Малахия подхватил с той же строки:

Erd ob un himel unter,
das sult ir hân besunder
vür aller wunder ein wunder[1].

«Молодец,— похвалил он меня,— верно, Адсон, это картины краев, куда едут на синей гуске, где ястребы удят в ручьях, медведи по небу гоняются за соколами, раки летают на голубицах, три великана сидят в мышеловке, а петух их щиплет да поклевывает».

И бледная улыбка показалась на его губах. Другие монахи, робко слушавшие разговор, захохотали во всю глотку, как будто дождавшись от библиотекаря разрешения. Тот разом потемнел, а они все веселились, любуясь работой злосчастного Адельма и указывая друг другу на самые потешные фигурки. Смех еще звучал, когда у нас за спиною грозно и гулко прогремело:

«Пустой звук, пустой смех недопустимы в беседе!»

Мы оборотились. Говоривший был старец, согбенный годами, белый как снег, весь белый — не только волосы, а и кожа, и зрачки. Я догадался, что он слеп. Но голос его сохранял властность, а члены — крепость, хотя спина и сгорбилась от возраста. Он держался, будто мог нас видеть, и впоследствии я не раз отмечал, что двигается он и говорит, как будто не утратил дара зрения. А по речи казалось, что он обладает и даром прорицания.

«Сей муж, славный годами и ученостию,— сказал Малахия Вильгельму,— Хорхе из Бургоса. Он старше всех в монастыре, кроме одного Алинарда Гроттаферратского, и он тот самый, к кому большинство монахов несет бремена прегрешений на тайную исповедь. — И продолжил, обращаясь к старцу: — Перед вами брат Вильгельм Баскервильский, гость обители».

«Вы, верю, не прогневались на мой упрек,— отрывисто заговорил старец. — Я услышал, как смеются над тем, что достойно осмеяния, и призвал братьев помнить правило нашего устава. Ибо ради обета молчания монах обязан удерживаться даже от добрых речей, и тем паче от дурных. Об этом же и псалмопевец глаголет. Подобно дурным речам, существуют дурные образы — те, которые клевещут на творца, представляя созданный им мир в искаженном свете, противно тому, каков он должен быть, всегда был и всегда пребудет, во веки веков, до скончания времен. Но не к вам я обращаюсь, пришедшему из иного ордена, где, как я слышал, снисходительно относятся к неуместным игрищам». Это он намекал на распространенные у бенедиктинцев слухи о странностях Св. Франциска Ассизского, а может быть, и на поведение полубратьев и всяческих спиритуалов — самых свежих, самых странных отростков францисканского древа. Но Вильгельм сделал вид, что не замечает колкости.

---

[1] Вот невиданное дело:
На небо земля взлетела,
Выше неба залетела!

Облака-то под ногами,
А земля под облаками —
Чудеса за чудесами!

«Рисунки на полях часто смешат, но это в целях назидания, — отвечал он.— Как в проповедь, чтобы затронуть воображение бессмысленной толпы, надо вводить exempla[1] и желательно потешные, так и в беседе образов не следует пренебрегать подобными дурачествами. На каждую добродетель и на каждый грех есть пример в бестиариях, где под видом зверей показан человеческий мир».

«О да,— перебил его старец без улыбки,— не следует пренебрегать подобными дурачествами! Чтобы перл творения, повернув с ног на голову, выставить посмешищем! Пусть провождает слово Божие осел, играющий на лире, сыч, пашущий щитом, волы, друг друга запрягшие, реки, потекшие вспять, море огнем горящее, волк, принявший схиму! Травите зайцев коровами, учитесь грамматике у филина, и пусть псы живут на блохах, слепцы подглядывают за немыми, а немые кричат: „Дай поесть!" Пусть стрекоза родит телка, жареный петух по небу летит, на крышах пряники растут, попугаи риторике учат, куры петухов топчут! Впрягайте телегу поперед лошади, кладите собаку на перину и гуляйте все вниз головой! К чему приведут эти шуточки? К искажению образа действительности. Все созданное Творцом поставят с ног на голову, под видом преподавания божественной теории!»

«Но Ареопагит учит,— смиренно возразил Вильгельм,— что Господа должно являть лишь через самые неприглядные вещи. И Гугон Викторинец доказывал, что чем менее правдоподобно подобие, тем четче вырисовывается истина. Встречая страшные и странные личины, воображение оживает, и не расслабляется в плотской благостности, а понуждается искать истины, сокрытые под мерзостью вида...»

«Не новый довод! И со стыдом признаю, что он — первейший из доводов нашего ордена в период борьбы клюнийцев с цистерцианцами. Но прав был Св. Бернард: постепенно всякий, кто, собираясь провождать божественность per speculum et in aenigmate, занимается дикими и уродливыми явлениями,— войдет во вкус этого убожества и до того им проникнется, что уже ничего иного не видит. Да взгляните, вы, еще не утратившие зрения, на капители вашего собственного храма.— И он ткнул пальцем в сторону окна, выходящего на церковь.— А ведь это рассчитано на братьев, погружающихся в медитацию! Что выражает это непотребное кривлянье, эта сумбурная гармония и гармоничный сумбур? Откуда эти обезьяны? Эти львы, кентавры, недочеловеки со ртом на брюхе, с одной ногою, с парусами вместо ушей? Зачем тут пятнистые тигры, воюющие бойцы, охотники, трубящие в рог, и многотелые существа об одной голове, и многоголовые об одном тулове? Четвероногие змеехвостые, и рыбы с головой четвероногого, и чудище, которое передом лошадь, а задом козел, и конь с рогами, и далее в подобном роде, так что теперь монаху интереснее глядеть на мрамор, чем в манускрипт, и размышлять он будет о человечьей искусности, а не о всемогуществе Божии. Стыд, стыд вожделеющим очам и улыбке ваших уст!»

Чудный старец умолк, тяжело дыша. А я не мог надивиться острой памяти, которая ему, столько уж лет незрячему, так живо сохранила обличаемые образы. Я даже подумал, что, верно, эти образы сильно прельщали его самого, когда он еще видел — если и через столько лет он с такою страстью описывает их. С другой стороны, я встречал и прежде самые соблазнительные картины греха в писаниях именно тех людей, которые, славны неподкупнейшей добродетелью, клеймили соблазн и последствия его. Доказательство, что сих мужей снедает страсть к истине до того пламенная, чтобы не останавливаться перед любыми описаниями, изобличающими зло во всех его прелестях, коими прикрывается. До того они желают охранить людей и приготовить их к козням нечистого. Вот и у меня слова Хорхе вызвали горячее желание получше рассмотреть тех тигров с

[1] Примеры *(лат.)*.

обезьянами, которых я в первый раз не заметил. Но Хорхе прервал ход моих мыслей, заговорив снова, хотя и более спокойно:

«Господь, наставляя на праведный путь, не нуждается в подобных нелепицах. Его параболы не внушают ни смеха, ни страха. В то время как Адельм, коего вы тут оплакиваете, настолько упивался своими уродливыми созданиями, что утратил всякое представление о конечных понятиях, которые должен был вещно отображать. И дошел до самого дна, повторяю,— голос Хорхе зазвучал торжественно и жутко,— до самого дна нравственного падения. Но Господь умеет карать!»

Повисла тяжкая тишина. Венанций Сальвемекский осмелился вмешаться.

«Достопочтенный Хорхе,— сказал он.— Добродетель внушила вам пристрастные суждения. Ведь за два дня до гибели Адельма вы сами приняли участие в ученейшем диспуте здесь, в скриптории. Адельм обратился к вам в тревоге: нет ли опасности, что его искусство диковинных и фантастических изображений будет истолковано превратно, хотя замышляется во славу Господню, на благо познания божественных таин? Брат Вильгельм тут цитировал Ареопагита о познании через уродство. А Адельм в тот день вспоминал слова другого знаменитого мужа — доктора Аквинского — о том, что святые истины лучше представлять в грубых телах, чем в благородных. Во-первых, потому, что легче уберечься от ошибки. Ведь в этом случае ясно, что низкие свойства никак не могут принадлежать божественности. А в благородном теле непонятно, где проходит граница. Во-вторых, это ближе к тому представлению о Всевышнем, кое бытует здесь на земле, куда Он является через то, что не Он, несравненно чаще, чем через то, что есть Он. И подобие Божие в самых далеких от Него вещах с наибольшей точностью нам Его указует, и так мы узнаем, что Господь превыше всего, что мы способны сказать и помыслить. А в-третьих, этим способом божественность лучше всего укрыта от недостойных. В общем, в этот день разговор шел о способах являть истину чрез необыкновенные, остроумные и загадочные образы. Я напомнил ему, что в труде великого Аристотеля мы имеем довольно точные указания на сей счет...»

«Не помню,— сухо прервал его Хорхе.— Я очень стар. Не помню. Возможно, я был слишком резок. Теперь поздно, пора идти».

«Странно, как это вы не помните,— не отступался Венанций.— Это был ученейший и увлекательнейший спор, и в нем участвовали, кроме нас, Бенций и Беренгар. Речь шла о метафорах, словесных играх и загадках, которые, можно бы подумать, изобретаются пиитами только ради забавы,— но которые способствуют судить о предметах новым, удивительным образом. Тогда я сказал, что это-то и требуется от мудрого суждения... И Малахия слышал...»

«Если преподобный Хорхе не помнит, уважь его года, не терзай утомленный ум... впрочем, острейший и поныне...» — вмешался кто-то из толпы, окружавшей спорящих. Голос звучал очень взволнованно, по крайней мере вначале, но, видимо, говоривший заметил, что, требуя уважать старика, публично указывает на его немощь,— и умерил пыл, а закончил и вовсе покаянным шепотом. Это был Беренгар Арундельский, помощник библиотекаря. Молодой, бледнокожий; глядя на него, я припомнил, что Убертин сказал об Адельме. У этого тоже были глаза блудливой женщины. Смущенный всеобщими взглядами, он стиснул пальцы рук, как бы пытаясь подавить сильнейшее нервное возбуждение.

Венанций повел себя довольно странно. Молча и пристально он глядел на Беренгара, пока тот не потупился. «Так вот, брат,— сказал он тогда,— коли память дар Божий, от Бога и умение забывать, которое придется уважить... в престарелом собрате, с которым я спорил. Но от твоей-то памяти я ждал большей живости. Ибо речь идет о

том, что произошло здесь в присутствии твоего дражайшего приятеля...»

Не припомню, сделал ли Венанций особое ударение на слове «дражайший». Но в любом случае присутствующими овладело замешательство. Все старались не смотреть друг на друга, а особенно на Беренгара, покрасневшего до ушей. В тот же миг прозвучал властный голос Малахии. «Идемте, брат Вильгельм,— сказал он.— Я покажу вам другие интересные книги».

Монахи расходились. Я видел, как Беренгар метнул на Венанция взгляд, полный немого упрека, а тот ответил яростным вызывающим взглядом. Видя, что старый Хорхе готовится уйти, я нагнулся и в порыве почтительнейшего восхищения поцеловал его руку. Старец наложил мне длань на голову и спросил, кто я. Услышав мое имя, он просветлел.

«Ты носишь гордое и славное имя,— сказал он.— Знаешь, кто такой Адсон из Монтье-ан-Дера? — Сознаюсь, что в ту пору я не знал. И Хорхе пояснил: — Это автор дивного устрашающего сочинения „Об Антихристе", в коем предсказано все, чему суждено случиться. Но к нему не пожелали прислушаться...»

«Книга была написана до тысячного года,— сказал Вильгельм.— Но и в тысячном году ничего не произошло».

«На взгляд того, кто не умеет видеть,— ответил слепой. — Пути Антихриста медлительны и дики. Он тогда является, когда не предчувствуем его. И не апостол ошибался, а мы, не нашедшие ключа к расчету.— И вдруг закричал громовым голосом, обернувшись к залу и раскатывая гулкое эхо под высокими вольтами скриптория: — Вот идет он! Не теряйте последние дни в зубоскальстве над пятнистыми хвостатыми уродами! Не тратьте последние семь дней!»

Первого дня
ВЕЧЕРНЯ,
где осматриваются прочие постройки,
Вильгельм предлагает версию гибели Адельма
и ведется беседа со стекольным мастером
о стеклах для чтения и острастке для тех,
кто слишком любит читать

Тут зазвонили к вечерне, и монахи потянулись из залы. Малахия дал нам понять, что должны выйти и мы. Он же оставался с помощником, с Беренгаром, чтобы прибрать и (как он выразился) подготовить библиотеку к ночи. Вильгельм спросил, запираются ли на ночь двери.

«У нас нет дверей, преграждающих доступ в скрипторий из кухни и трапезной, а также в книгохранилище из скриптория. Крепче любых дверей обязан быть запрет Настоятеля. Монахи будут пользоваться кухней и трапезной еще два часа, до повечерия. Засим, дабы случайно не забрели в Храмину посторонний человек либо животное (те, для кого запрета не существует), я самолично запираю нижние входы, ведущие в трапезную и в кухню. С этой минуты в Храмину войти нельзя».

Мы спустились. Монахи спешили к церкви. Но учитель сказал, что Господь простит нас даже если мы пропустим богослужение (немало Ему пришлось нам прощать и в последующие дни!), а взамен предложил мне прогуляться с ним по обители, чтобы лучше исследовать местность.

Мы вышли из кухни, пересекли кладбище (...). Вильгельм, полный любопытства, устремился к кузням, где в мастерской какой-то монах возился с цветными стеклами (...). Так мы познакомились с Николаем из Моримондо, монастырским витражным мастером (...).

Николай с большим интересом разглядывал глазной снаряд Вильгельма. «Oculi de vitro cum capsula!— воскликнул он.— Я слыхал о подобных в Пизе от некоего брата Иордана! Он говорил, что такой прибор был изобретен за двадцать лет до того. И еще прошло не менее двадцати лет...»

«Полагаю, что их изобрели намного раньше,— сказал Вильгельм.— Но изготовление их трудоемко, и требуются очень опытные стекольщики (...). Когда я вел процессы о ведовстве, я опасался надевать линзы, и приходилось искать добровольных секретарей, чтоб они зачитывали материалы следствия. Ибо в противном случае, поскольку присутствие дьявола чувствовалось всеми, и каждый, так сказать, обонял серную вонь, меня самого могли посчитать сообщником обвиняемых. И в конце концов великий Рогир Бэкон упреждал, что не всегда научные тайны должны открываться любому, так как некоторые способны дурно использовать их. Часто мудрецы выдают за магические самые обыкновенные книги, полные доброй науки, чтоб оберечь их от нескромного любопытства».

«Значит, ты боишься, что простецы могут употребить во зло твои секреты?» — переспросил Николай.

«Что до простецов, я могу бояться лишь что они до смерти напугаются, приняв открытия науки за козни дьявола, о которых слишком много слышат от проповедников. Поверишь, я знавал прекрасных медиков, составлявших лекарства от любой хвори. Так вот эти врачи, давая простецам настои или мази, непременно прибавляли священные слова или пение, напоминавшее молитвы. Не из того, конечно, чтобы молитвы обладали целебной силой, а оттого что простецы, веря в целебность молитв, глотают настои и мажутся мазью и выздоравливают, не очень-то вдумываясь, откуда берется исцеление. Да вдобавок и дух, умягченный верой в спасительное заклятие, располагает тело к приятию целебного препарата. Однако в иных случаях сокровища науки приходится прятать не от простецов, а от ученых. Ныне создаются необыкновенные махины, о коих как-нибудь расскажу, и они действительно позволяют изменять законы природы. Но горе, если попадут в руки тех, кто с их помощью замыслил расширить земную власть и утолить жажду обладания. Мне говорили, что в Катае [1] один мудрец составил смесь, которая, коснувшись к огню, производит великий грохот и пламя, руша все на множество локтей вокруг. Полезнейший снаряд, если употреблять на поворот течения рек и избавление пашни от валунов. А вдруг его обратят против врагов?»

«Может быть, и хорошо — если против врагов народа Божия»,— благоговейно произнес Николай.

«Может быть,— согласился Вильгельм.—А кто у нас сейчас враг народа Божия? Император Людовик или папа Иоанн?»

«О Господи! — в страхе вскричал Николай.— Я не в силах ответить на этот ужаснейший вопрос!»

«Видишь? — сказал Вильгельм.— Вот и хорошо, что некоторые вещи до сих пор укрыты за темными словами. Тайны природы нелегко вызнать от козьей или овечьей шкуры. Аристотель в книге о тайном сказал, что от разглашения слишком многих секретов природы и науки ломается небесная печать и может выйти много зол. Это не значит, что тайны нельзя открывать. Но это значит, что мудрецы должны взвешивать и решать — как и когда».

«А потому справедливо, что в таких местах как наше,— сказал Николай,— не все книги общедоступны».

«Это другое дело,— отвечал Вильгельм.— В грех вводит как из-

[1] Китае.

быток сведений, так и их недостаток. Я не говорю, что источники знаний должны быть под замком. Напротив, я считаю это безобразием. Я говорю иное: что касаясь тайн, способных служить и добру и злу, мудрец может и даже обязан укрывать их за темными словесами, внятными лишь таким, как он. Путь познания труден, и трудно отличить благое от дурного. А ученые новых дней — чаще всего карлики на плечах предшественников-карликов...»

Приятная беседа с моим учителем, должно быть, расположила Николая к доверительности. Поэтому он мигнул Вильгельму (как бы говоря: мы с тобой друг друга понимаем, ибо думаем одинаково) и произнес с намеком: «А вот там,— кивнув на Храмину,— секреты науки надежно прячут другими способами. Магическими...»

«Да? — отозвался Вильгельм с необыкновенным равнодушием.— Воображаю: запоры, суровые запреты, угрозы...»

«Нет, не только это...»

«А тогда, к примеру, что же?»

«Ну, точно не знаю, я занимаюсь стеклами, а не книгами... Но в аббатстве ходят слухи... такие странные...»

«Какого рода?»

«Странные. Вот, скажем, один монах ночью решил забраться в библиотеку и найти что-то, что Малахия отказывался ему выдать. Он увидал змей, безголовых людей и двухголовцев. Чуть не лишился рассудка там, в лабиринте...»

«Почему ты говоришь о магии, а не о бесовстве?»

«Потому что хотя я только бедный стекольщик, но кое-что понимаю. Дьявол (Господи спаси нас и помилуй!) искушает монахов не гадами и двухголовцами, а как отцов в пустыне — сладострастными видениями. Далее. Если прикасаться к запрещенным книгам грех, зачем бы дьявол удерживал монахов от греха?»

«По-моему,— заметил Вильгельм,— это неплохой силлогизм».

«И наконец. Когда я чинил витражи в больнице, от скуки заглядывал в книги Северина. Среди них была книга о тайнах, принадлежащая, кажется, Альберту Великому. Я смотрел миниатюры и попутно прочел несколько страниц. Там говорилось, что особым составом можно пропитать фитиль масляной лампы, и пойдут запахи, вызывающие видения. А ты мог заметить... вернее, пока еще ты не мог заметить, потому что не ночевал в аббатстве... что в темные часы верхний этаж Храмины освещен. В некоторых окнах горит слабый свет. Многие гадали, что бы это значило, и толковали о блуждающих огнях и о душах покойных библиотекарей, возвращающихся по ночам в свое царство. Многие верят. Но мне кажется, это светильники с дурманящим составом. Знаешь, если взять жир собачьего уха и пропитать фитиль — всякий, кто вдохнет дым, уверует, будто у него собачья голова. А увидит другого человека — и того увидит с песьей головою. От иных зелий людям мерещится, что они распухли, как слоны. А из глаз нетопыря и двух рыб, не помню каких, и из волчьей желчи получаются испарения, от коих видишь всех этих тварей. От испарений ящеричьего хвоста все кругом становится как серебряное. А от жира черной гадюки и клочка простыни мертвеца по комнате будто расползаются змеи. Я догадался. У них в библиотеке кто-то очень хитер...»

«А ты не допускаешь, что это души покойных библиотекарей развели там магию?»

Николай осекся, растерялся и испуганно ответил: «Об этом я не подумал. Все возможно. Господь оборони нас... Уже поздно. Вечерня началась. Прощайте» — и направился к церкви.

Мы двинулись дальше вдоль южной стены обители. По правой руке был странноприимный дом и капитулярная зала с садом, по ле-

вой — маслодавильня, мельница, амбары, погреба и общежитие послушников. Все встречные торопились в церковь.

«Что вы думаете о словах Николая?» — спросил я.

«Не знаю. В библиотеке кто-то орудует, и вряд ли это души покойных хранителей».

«Почему?»

«Потому что, полагаю, они были настолько добродетельны, что ныне в царствии небесном предаются созерцанию лика божественности... если подобный ответ тебя устраивает. Что касается ламп, это мы проверим. Что касается смесей, описанных нашим добрым стекольщиком,— существуют и более простые способы вызывать видения, и Северину эти способы, как ты сегодня мог заметить, отлично известны. В общем, кто-то в аббатстве не желает, чтоб в библиотеку ночью проникали, а кто-то другой, и даже многие другие, пытались и пытаются все же туда проникнуть».

«А наше убийство как с этим связано?»

«Убийство? Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что Адельм покончил с собой».

«Почему вы так думаете?»

«Помнишь, утром я говорил о свалке отбросов? Когда мы поднимались к восточной башне, я заметил следы оползня. Значит, какой-то пласт почвы примерно в том месте, куда сваливают мусор, тронулся с места и сполз до самой восточной башни. Кроме того, сейчас, когда мы шли мимо свалки, ты должен был заметить, что на ней очень мало снега. Видимо, только вчерашний. А весь снег предшествующих дней снесен бурей. Вдобавок Аббат сказал, что труп Адельма побит о скалы, а под восточной башней, где его нашли, скал нет: там растут пинии. Скалы имеются, напротив, как раз под тем участком стены, где она понижается, образуя ступень, и откуда сбрасывают мусор...»

«И что из этого?»

«Что из этого — подумай сам. Не будет ли — как бы сказать? — экономней для разума предположить, что Адельм сам собою, по причинам, которые еще предстоит выяснить, бросился с уступа стены, разбился о скалы и мертвый (или израненный, это неизвестно) попал в кучу мусора? Затем лавина, снесенная ночным ураганом, обрушила участок почвы вместе с мусором и телом бедняги к подножию восточной башни».

«Почему это предположение будет экономнее для разума?»

«Милый Адсон, никогда не следует без особой необходимости множить объяснения и причины. Чтобы Адельму выпасть из окна восточной башни, ему сначала нужно было проникнуть туда. Потом его кто-то должен был стукнуть, чтоб подавить сопротивление. Потом каким-то способом забраться с безжизненным телом на высокое окно, открыть его и выбросить тело. В то время как для моей гипотезы требуются только Адельм, его намерение и оползень. При этом мы экономим на причинах».

«А зачем ему было кончать с собой?»

«А зачем его было убивать? Объяснение придется искать в обоих случаях. Что оно есть — для меня несомненно. В Храмине пахнет недомолвками, все что-то скрывают. Тем не менее кое-какие указания мы получили, хотя и очень смутные — на сложные отношения Адельма с Беренгаром. Следовательно, помощником библиотекаря придется заняться».

Пока он рассуждал, вечерня кончилась. Прислуга возвращалась к службам, чтобы до ужина кончить дела. Монахи шли в трапезную. Стемнело; начинался снегопад. Легкий снег повалил небольшими пушистыми хлопьями, чтоб идти, по-видимому, всю ночь — я так сужу, ибо утром подворье было укутано белейшим покровом, о чем еще предстоит рассказать.

Я проголодался и был доволен, услышав предложение отужинать.

Первого дня

ПОВЕЧЕРИЕ,

где Вильгельма и Адсона ожидают щедрое угощение Аббата и суровая отповедь Хорхе

Трапезная освещалась большими факелами. Монахи сидели вдоль ряда столов, упиравшегося в стол Аббата, поставленный перпендикулярно на просторном возвышении. На другой оконечности была кафедра, где уже разместился монах, читающий за ужином. Аббат ждал нас у рукомойника с белой холстиной, чтоб обтереть руки,— точно по древнему завету Св. Пахомия.

Аббат пригласил Вильгельма к своему столу и сказал, что сегодня я как новоприезжий удостоюсь той же чести, хотя я только послушник-бенедиктинец. В будущем, с отеческой заботой добавил он, я могу садиться с монахами. А если буду отвлечен заданиями наставника — на кухне меня накормят в любое время.

Монахи рядами стояли у столов неподвижно, с опущенными на лицо куколями, сложив руки под нарамниками. Встав на место, Аббат прочитал Benedicite[1], следом чтец на кафедре начал Edent pauperes[2]. Аббат благословил братьев, и все уселись.

Правилом нашего основателя предуказан довольно скудный ужин, но аббатам оставлено право решать, в каком именно питании нуждается братия. К тому же у нас, бенедиктинцев, нет строгостей в отношении стола. Я говорю, конечно, не о тех обителях, которые постыдно превратились в прибежища обжорства. Но даже и там, где все подчинено добродетели и покаянию, инокам, погруженным в утомительный умственный труд, полагается не чрезмерный, но основательный рацион. При этом стол аббата всегда отличается от общего. За ним нередко принимают важных гостей, а всякому хозяину приятно похвалиться изобилием стад и угодий и искусством поваров.

Монахи ели, как принято, молча, при необходимости сообщаясь бенедиктинской азбукой пальцев. Послушникам и самым молодым монахам еду подносили первым, сразу за тем как блюда, назначенные и для общего употребления, покидали стол Аббата.

С нами подле Аббата сидели Малахия, келарь и два самых пожилых монаха — Хорхе из Бургоса, слепой старец, которого мы видели в скриптории, и дряхлый-предряхлый Алинард Гроттаферратский, без малого столетний, шепелявый и немошный, и, по-моему выживший из ума. Аббат сказал, что он и послушание принимал в этом монастыре, и жил всегда в нем, так что провел тут не менее восьмидесяти лет. Все это Аббат говорил вполголоса, а затем вовсе смолк, в уважение орденского правила, и молча слушал чтение. Однако я уже отметил, что за аббатским столом допускались некоторые вольности. И мы сказали несколько слов в одобрение подаваемых блюд, а Аббат в ответ не мог не похвалиться отменным качеством своего масла и вина. При этом, смешивая нам питье, он прочел наизусть те параграфы устава, в которых святой основатель возглашает, что хотя конечно же вино монахам невместно, но понеже в наступившие времена нет возможности убедить их вовсе не пить, пусть хотя бы не упиваются, ибо вино способно совратить и праведников, о чем упреждает Екклесиаст. Бенедикт под «наступившими временами» разумел свои, ныне давние невпрогляд. Что уж говорить о поре, в которую был описываемый ужин, при толиком падении нравов! (А о своих-то временах, когда пишутся сии строки, я и подавно не упоминаю — добро еще что в Мельке предпочитают пиво...) В общем, братия выпивала хотя в меру, но со вкусом.

Подавалось мясо на вертеле, мясо свежезаколотых свиней, и я приметил, что для прочих блюд здесь употребляют не животный жир

[1] Благословите *(лат.)*.

[2] Едят убогие *(лат.)*.

и не рапсовое масло, а доброе оливковое, полученное с принадлежащих аббатству участков у подошвы горы, на морском берегу. Аббат предложил нам попробовать и приготовленного для него цыпленка — того самого, который жарился при нас в кухне. Мне бросилась в глаза редкостная вещица у Аббата в руках — металлическая вила, похожая на ту, которая скрепляла учителевы стекла. Благородное воспитание, видно, не позволяло Аббату марать руки о жирную пищу, и он даже нам хотел одолжить свое орудие, хотя бы для того, чтобы взяли мясо с большого блюда и положили в свои миски. Я отказался, но Вильгельм охотно взял вилу и управлялся с этой господской игрушкой весьма непринужденно. Вероятно, опасался, как бы Аббат не подумал, что францисканцы люди необразованные и низкого происхождения.

Я до того был рад отменной закуске (после многих дней пути, в котором мы перебивались чем случится), что не следил за чтением, каковое благочинно текло далее. Вернуло меня к действительности одобрительное ворчание Хорхе. Я понял, что оно относилось к читаемому на каждой трапезе параграфу правила. Когда я вслушался в этот параграф, я понял, чему так радовался Хорхе. Вот что было прочитано: «Уподобимся пророку, сказавшему: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый передо мною, согбен я и весь поник, был нем и безгласен и молчал даже о добром. Поскольку тут пророк нас наущает, что порой из любви к молчанию надо и от дозволенных речей воздерживаться, сколь премного сильнее следует опасаться речей недозволенных! дабы не принять муку за этот грех!» И продолжалось: «Словоплетение же, пустословство и болтовщину мы преследуем беспощадно, вековечно и повсеместно и не дозволяем учащемуся раскрывать рот ради подобных речей».

«Это относится к маргиналиям, о которых сегодня мы говорили!— не удержался Хорхе.— И Иоанном Златоустом сказано, что Христос никогда не смеялся!»

«Ничто в его человечьей натуре ему не мешало,— возразил Вильгельм.— Ибо смех, как учат богословы, присущ человечеству».

«Хоть и мог, однако не писано, чтоб смеялся»,— решительно прервал его Хорхе цитатой из Петра Певца.

«Ешь, жаркое готово»,— прошептал Вильгельм.

«Какое?» — спросил Хорхе, видимо, думая, что принесли новое блюдо.

«Эти слова, по Амвросию, произнес Св. Лаврентий, когда его мучили на раскаленной решетке, и убеждал палачей перевернуть его на другой бок, о чем упоминает и Пруденций в „Книге о мученических венцах",— сказал Вильгельм с самым святым видом.— Следовательно, Св. Лаврентий любил шутку и сам умел шутить — хотя бы чтоб торжествовать над врагами».

«И тем доказывается, что смех — вещь близящая к смерти и к телесному разложению»,— прорычал в ярости Хорхе. Должен заметить, это был ответ безупречного логика.

Тут Аббат незлобиво напомнил нам о правиле. Мы замолчали. Ужин кончался. Аббат встал и представил монахам Вильгельма. Превосходно описав его опытность и славу, он объявил, что Вильгельм уполномочен расследовать гибель Адельма и что монахи обязаны отвечать на все его вопросы и требовать того же от своих подчиненных. И всячески помогать следствию, при условии,— добавил Аббат,— что намерения Вильгельма не пойдут вразрез с уставом монастыря. В каковом случае следует обратиться к нему, Настоятелю.

Отужинав, монахи засобирались в хор к повечерию. Они снова опустили на лица куколи и выстроились гуськом у двери. Потом вышли по одному на кладбище и потянулись к северному порталу хора.

Мы вышли с Аббатом. «В этот час двери Храмины замыкаются?» — спросил Вильгельм.

«Как только служки уберут в трапезной и на кухне, библиотекарь самолично запирает двери изнутри на засов».

«Изнутри? А сам он как выйдет?»

Аббат в упор посмотрел на Вильгельма. Потом сурово и резко ответил: «Спать в кухне он не собирается». И ускорил шаг.

«Вот оно что,— прошептал мне на ухо Вильгельм.— Значит, есть другой выход, но нам его знать не положено». Я улыбнулся, гордый его догадкой, но он буркнул: «Пожалуйста, не хихикай. Видел — в этих стенах смех не жалуют».

Мы вошли в хор. Горел лишь один светильник на массивной бронзовой в два человеческих роста треноге. Монахи разместились на седалищах, а чтец читал из Св. Григория.

Потом Аббат дал знак, и каноник завел «Помилуй нас, Господи». Аббат в ответ: «Помощь моя от Господа», и все хором подхватили: «Сотворшего небо и землю». Потом запели псалмы: «Егда воззвати ми, услыши мя, бог правды моея»; и: «Возблагодарю тебя, Господи, всем сердцем моим»; и: «Хвалите, рабы Господа, хвалите имя Господне».

Мы не проходили в места хора, оставаясь в главном нефе. Оттуда-то мы и углядели Малахию, внезапно вышедшего из темной боковой часовни.

«Запомни место,— сказал Вильгельм,— наверное, там ход, ведущий в Храмину».

«Под кладбищем?»

«Почему бы нет? Скорее всего... Если подумать, где-то у них обязательно должно быть мощехранилище. Потому что стольких монахов, умерших за столько столетий, невозможно схоронить на таком клочке земли».

«Вы действительно хотите ночью идти в библиотеку?» — спросил я, леденея от ужаса.

«К покойным монахам, ползучим гадам и таинственным светильникам... Бедный Адсон. Нет, мальчик, не пойду. Я подумывал об этом сегодня, но не от любопытства, а чтобы выяснить, отчего погиб Адельм. Но теперь, имея, как ты слышал, более логичное объяснение и все взвесив, я решил уважать законы места, где нахожусь».

«Тогда зачем вам ход?»

«Затем, что разум стремится объять не только то, что можно и нужно делать, но и то, что делать можно, но верней всего не нужно. Именно поэтому я рассуждал со стекольщиком, что мудрец обязан как-то прикрывать открытые им тайны, чтоб другие люди не употребили их во зло. Но открывать их надо. А эта библиотека, по-моему, именно то место, где тайны вовсе не открывают».

С этими словами он вышел из церкви, так как служба закончилась. Мы очень устали и направились в келью. Там я заполз в низкую нишу, которую Вильгельм шутя именовал «гробиком», и немедленно заснул.

День второй

Второго дня
ПОЛУНОЩНИЦА,

где краткие часы мистического восторга
оканчиваются
самым кровавым образом

Символ порою дьявола, порою Христа распятого, всякой твари лукавее петух. Помнят в нашем ордене и таких, которые ленились петь

на заре. К тому же в зимние утра полунощница служится, когда ночь еще глубока и вся натура спит; а монах обязан подниматься в темноте и долго в темноте же творить молитвы, поджидая приход дня и разгоняя морок пламенем искренней веры. Для того есть мудрое правило, чтобы в черед монахи-бодрственники, не ложившись с братией, бдели всю ночь, мерно отчитывая нужное количество псалмов и тем измеряя минувшее время, и по истечении часов, отведенных другим на сон, давали бы знак к пробуждению.

Поэтому мы были разбужены назначенными монахами. Они прошли по корпусам и странноприимному дому с колокольчиками, и один, заглядывая в кельи, возглашал: «Благословим Господа». А из келий отвечали: «Богу благодарение».

Мы с Вильгельмом положили исполнять бенедиктинский обычай, меньше чем в полчаса приготовились встретить новый день и с тем сошли в хор, где монахи, павши ниц, читали первые пятнадцать псалмов в ожидании, пока наставник приведет послушников. Тогда каждый утвердился на своем седалище и хор завел: «Господи, уста мои отверзи и уста мои возвестят хвалу твою». Вопль его полетел к высоким вольтам, как детский плач. Два инока взошли на амвон и начали девяносто четвертый псалом: «Приидите, воспоем Господу», а за оным — следующие по предписанию. И душа моя запылала пламенем обновленной веры.

Монахи застыли на местах: шестьдесят фигур, одинаковых под одинаковыми рясами и куколями, шестьдесят теней, еле освещенных огнем с треноги, шестьдесят голосов, истово выхваляющих Всевышнего. И изнывая в их дивном созвучии, как в преддверии райских услад, я спрашивал себя, возможно ли, чтобы в обители находилось место сомнительным тайнам, беззаконным попыткам раскрыть их и жуткому запугиванию. Ибо мне аббатство представилось в тот миг собранием святейших, убежищем добродетели, ковчегом мудрости, кладезью здравомыслия, крепостью познания, поместилищем кротости, оплотом твердости, кадилом святости.

Спев шесть псалмов, читали Писание. Некоторых монахов клонило в сон, и один ночной бодрственник обходил места с маленькой лампадою, ища дремлющих. Кого заставали в полусне, тому в наказание давали лампаду и пускали по рядам вместо прежнего монаха. Затем пропели остальные шесть псалмов, Аббат дал благословение, недельщик прочел молитвы и все стали на колена перед алтарем. Объявили минуту сосредоточения, и кто не пережил, как мы, часы мистического жара, переполняющего миром всю душу, не может представить неизреченную сладость той минуты. Наконец, опустивши снова куколи, все вернулись на места и торжественно грянули «Te deum». И я в великой радости со всеми благодарил Господа за то, что упас меня от колебаний и снял с души тяжесть первого монастырского дня. Мы все нетверды, говорил я себе, и даже в среде столь честных и чистых угодников, как эти, дьявол может сеять мелкие обиды и недоброжелательства. Но все это как дым уносится могучим порывом веры, когда все сходятся во имя Отца святейшего и благодать Христова почиет на всех.

От полунощницы до утрени монах в келью не возвращается, даже если ночь еще глубока. Послушники отправились, при наставнике, в капитулярный зал учить псалмы. Одни монахи задержались в церкви для ухода за богослужебной утварью, другие — большинство — вышли во двор и прохаживались в молчаливой медитации. Так же и мы с Вильгельмом. Служки покуда спали и продолжали спать даже тогда, когда мы при темных еще небесах проследовали в церковь к утрене.

Начали псалмами, из коих один, приуроченный к четвергу, звучал так жутко, что я снова погрузился в давешние страхи. Меня испугало,

что именно на этот день предуказаны такие суровые слова: «Нечестивый хвалится похотью души своей; в надмении своем пренебрегает Господа; уста его полны проклятия, коварства и лжи; под языком его мучение и пагуба». Трепет беспокойства только усилился, когда после хвалитных псалмов, по уставу, читали Апокалипсис, и в памяти снова возникли фигуры портала, овладевшие накануне и взором моим и душой. Но вот кончились и респонсорий, и гимн, и стихира, и зазвучала евангельская песнь. Тогда я заметил за окнами хора, в точности над алтарем, беловатое сияние. От него затрепетали краски витражей, прежде безжизненные в ночной тени. Это не заря еще была, к заре приурочен час первый, она занимается в тот момент, когда монахи поют: «Господь се предивное сияние святости» и «Взошло уж созвездие света». То был первый робкий проблеск, предчувствие зимней зари, но его было достаточно, чтобы сердце мое снова просветлело. Было совершенно достаточно той нежной полутьмы, которая в нефах собора заместила собою мрачную ночную мглу.

Мы пели из божественной книги, свидетельствовали о Слове, шедшем просвещать народы, и я будто зреть мог, как дневное светило всем сиянием и жаром заполняет храм. Свечение, пока еще невидное, казалось мне — исходило от нашей песни, мистический крин раскрывался мне, благовоннейший, между крестовинами вольт. «Благословен, о Господь, за миг сего невыразимого блаженства! — немо молился я и спрашивал у сердца:— Чего ты, глупое, страшилось?»

Внезапно из-за северного портала послышался шум. Я поразился, до чего нагло здешняя челядь, берясь за работу, мешает богослужению. Но трое свинарей с перепуганными лицами вошли в храм и что-то зашептали Аббату. Тот было сделал жест, чтобы они утихли, вероятно не желая нарушать чин. Но показались другие слуги, голоса звучали все громче. «Там мертвец, мертвец!»— крикнул кто-то, а в ответ ему: «Мертвый монах! Ты что, не видел башмаки?»

Певчие смолкли. Аббат поспешил вон, махнув келарю, чтоб следовал за ним. Вильгельм двинулся за келарем, а дальше и другие монахи побросали места и ринулись на улицу.

Небо уже светилось, и от снега, укрывавшего землю, равнина казалась светлее. На задворках хора, перед скотным двором, где вчера вечером установили огромную посудину, полную свиной крови,— какой-то странный предмет, по виду крестообразный, высовывался из бочки, как будто два шеста, воткнутые в землю, на которые вешают тряпье, чтоб пугать ворон. Но то были не шесты, а человеческие ноги. Ноги человека, воткнутого вниз головой в бочку с кровью.

Аббат приказал извлечь из мерзкой жижи труп (поскольку, увы, было ясно, что в таком позорном виде живой человек не пребывал бы). Свинари нерешительно приступили к краю бочки, ухватились за ноги и, перепачкиваясь кровью, выволокли кровавого мертвеца. Как мне вчера и объяснили, свежая кровь, хорошенько промешанная и сразу выставленная на холод, за сутки не свернулась. Но сейчас, на трупе, она стыла мгновенно, сковывая одежду и облепляя непроницаемой маской голову. Служка принес ведро воды и плеснул на лицо несчастного. Кто-то другой нагнулся с тряпкой и протер лицо. И нашим взорам открылась белая кожа Венанция Сальвемекского, знатока греческих древностей, с которым вчера днем мы беседовали у стола злополучного Адельма.

«Адельм, может быть, и покончил с собой,— проговорил Вильгельм, вглядываясь в лицо трупа.— Но этот вряд ли. И трудно предположить, что он по ошибке оказался на верху бочки, а потом свалился».

Аббат подошел к Вильгельму. «Брат! Вы видите — в аббатстве что-то происходит. Требуется все ваше умение. Но заклинаю, действуйте быстро!»

«Он был в хоре на службе?» — спросил Вильгельм, кивнув на труп.

«Нет,— ответил Аббат.— Я видел, что его место пустует».

«Кто еще отсутствовал?»

«Никто, по-моему. Я не заметил».

Вильгельм помедлил перед следующим вопросом и задал его шепотом, так, чтоб никто кроме Аббата не слышал: «Беренгар был на месте?»

Аббат посмотрел на него с восхищением и ужасом, всем видом выражая, как он удручен, что и учитель пришел к подозрению, которое возникло было у него самого, однако в силу некоей особой, известной лишь ему причины. И поторопился ответить: «Был. Это точно: его место впереди, справа от меня, почти рядом».

«Разумеется,— сказал Вильгельм,— все это ровно ничего не значит. Думаю, что никто по пути в хор не заходил за апсиду. И, следовательно, труп мог здесь пробыть несколько часов. По меньшей мере с тех пор, как все ушли спать».

«Верно. Первые слуги подымаются засветло. Поэтому нашли его только сейчас».

Вильгельм наклонился над мертвым, как будто исследовать трупы было ему не внове. Намочив в ведре валявшуюся рядом тряпку, он тщательно отер лицо Венанция. Тем временем монахи в ужасе жались друг к другу, бормоча и причитая, пока Аббат не велел им утихнуть. Сквозь толпу протолкался Северин, который в аббатстве обихаживал усопших, и склонился рядом с моим учителем. Чтобы слышать, что они скажут, и подать Вильгельму еще одну чистую мокрую тряпку, я подошел поближе, подавляя отвращение и страх.

«Ты когда-нибудь видел утопленника?» — спросил Вильгельм.

«Не раз,— ответил Северин.— И догадываюсь, что ты хочешь сказать. У них не такой вид. Лицо должно разбухнуть».

«Итак, его бросили в бочку уже мертвым».

«А зачем?»

«А зачем его убили? Все это работа извращенного сознания. Однако прежде всего определим, есть ли на теле раны или ушибы. Предлагаю перенести его в мыльню, раздеть, обмыть и осмотреть. Я скоро к тебе приду».

И в то время как Северин, заручившись соизволением Аббата, следил за скотниками, уносившими тело, учитель попросил Аббата увести монахов в хор той тропой, которой пришли, и таким же образом удалить слуг, чтобы на площади никого не оставалось. Аббат не задавал вопросов и все исполнил. И вот мы остались у бочки, из которой при нерадостной процедуре извлечения выплеснулось много крови, и снег там был ал, а местами (где разлилась вода) сошел. На месте трупа виднелось большое темное пятно.

«Хорошенькое дело,— молвил Вильгельм, глядя на путаницу следов, оставленных монахами и слугами.— Снег, любезнейший Адсон,— красноречивый пергамент, на коем тела людей — самые ясные прописи. Но вот этот снег, что перед нами, это невычищенный палимпсест. Тут что-нибудь интересное вряд ли прочтешь. Отсюда и до церкви все затоптано монахами, отсюда до конюшен и хлевов прошелся табун прислуги. Единственный нетронутый участок — от хлевов до Храмины. Посмотрим, может ли там быть что-нибудь интересное».

«А в каком роде?» — спросил я.

«Если он не вскочил сам в бочку, значит, кто-то его туда бросил, предположительно уже мертвого. А тот, кто тащит на себе мертвое тело, должен оставлять в снегу более глубокие следы. Вот и ищи, не попадутся ли тебе такие следы, которые чем-нибудь отличаются от следов этих крикливых монахов, испортивших нам тут весь рисунок».

Мы и взялись. И скажу с самого начала, что не кто иной как

я (Господи не осуди мою суетность!), именно я обнаружил то, что мы искали между бочкой и Храминой. Это была цепочка следов на участке, куда при нас никто не ступал. Следов довольно глубоких и, как тут же подметил учитель, менее четких, нежели следы монахов и прислуги. Это означало, что они сверху запорошены снегом, а следовательно, что они не очень свежие. Но что было самое примечательное — это глубокая непрерывная рытвина, имевшаяся посередине следов, как будто шедший тащил за собой что-то тяжелое. В общем, весьма красноречивая колея вела к бочке от двери трапезной, от той стены Храмины, которая соединяла южную и восточную башни.

«Трапезная, скрипторий, библиотека,— прошептал Вильгельм.— Библиотека снова. Венанций погиб в Храмине, вероятнее всего в библиотеке».

«Почему именно в библиотеке?»

«Я пытаюсь стать на место убийцы. Если Венанций умирает — его убивают — в трапезной, кухне или скриптории, почему бы его там не оставить? А вот если он испускает дух в библиотеке, его надо обязательно оттуда вынести. Во-первых, потому что там его никогда не найдут (а не исключено, что убийцу это интересует больше всего), во-вторых, потому что убийца, возможно, не хочет привлекать внимание к библиотеке».

«А почему убийце так важно, чтоб его нашли?»

«Не знаю, все это догадки. Кто сказал, что Венанция убили, потому что хотели убить именно его? Может, его убили вместо любого другого, чтоб оставить знак, чтобы что-то обозначить?..»

«В мире всякое творенье — книга и изображенье...— пробормотал я.— Обозначить что?»

«Этого-то я и не знаю. Но не будем забывать, что существуют знаки, притворяющиеся значащими, а на самом деле лишенные смысла, как тру-ту-ту или тра-та-та...»

«Чудовищно,— вскричал я,— убивать человека, чтобы сказать тра-та-та!»

«Чудовищно,— откликнулся Вильгельм,— убивать человека и чтобы сказать Верую во единаго Бога...»

Тут нас нагнал Северин. Труп вымыли и внимательно обследовали. Ни ран, ни черепных повреждений. Убит как колдовством.

«Или как гневом божиим?» — переспросил Вильгельм.

«Возможно»,— ответил Северин.

«Или как ядом?»

Северин замялся. «Может, и так».

«Ты держишь яды?» — спросил Вильгельм, направляясь к лечебнице.

«Наверное, да. Смотря что понимать под ядами. Многие вещества в скромных дозах врачуют, а в чрезмерных вызывают смерть. Как всякий знающий травщик, я держу такие зелья, но использую их осмотрительно. Например, я выращиваю валериану. Несколько ее капель в настое прочих трав усмиряют сильное сердцебиение. Излишняя же доза приводит к оцепенению и смерти».

«На трупе нет следов известных тебе ядов?»

«Нет. Но многие яды не оставляют следов».

Мы вошли в лечебницу. Тело Венанция, вымытое в купальне, было уже перенесено на большой стол в лаборатории Северина. Перегонные кубы и другие стеклянные и глиняные приборы смутно напомнили мне рассказы о мастерских алхимиков. На длинных прилавках вдоль наружной стены стояло множество пузырей, плошек, горшков с разноцветными смесями.

«Отличный выбор лекарств,— сказал Вильгельм.— Все из вашего сада?»

«Нет,— ответил Северин.— Тут многие травы редкие, в наших

краях не растут. Уже немало лет мне привозят их монахи из самых дальних стран света. Я стараюсь смешивать редкие и ценные зелья с веществами, которые получаю из здешних трав. Вот смотри. Молотый игольник. Произрастает в Катае, подарен арабским ученым. Сокотрийский алоэ из Индии — дивно затягивает язвы. Серебряк оживляет мертвых, вернее сказать — приводит в чувство обмерших. Мышьяк страшно опасен, при принятии внутрь — смертельный яд. Борная соль хорошо лечит легкие. Трава буквица незаменима при ранении головы. Камедь — смола мастикового дерева — останавливает кровохарканье и истечение мокроты. Мирра...»

«Которая у волхвов?» — спросил я.

«Которая у волхвов. Но она прекрасно предупреждает выкидыши. Еще зовется смирной и получается от дерева, именуемого balsamodendron myrra. А это мумие, продукт разложения мумифицированных трупов. Служит для изготовления множества почти чудотворных препаратов. Mandragola officinalis, способствующая сну...»

«И плотским утехам»,— дополнил мой учитель.

«Говорят, что так, но у нас, как вы догадываетесь, в подобных целях не употребляется,— улыбнулся Северин.— А взгляните на это,— он взялся за склянку.— Кадмий. Незаменим для глаз».

«А это что?» — вдруг оживился Вильгельм, заметив на полке какой-то камень.

«Это? Мне его когда-то подарили. Думаю, это и есть lopris ematiti, он же ляпис-гематит. Надо полагать, обладает целебными свойствами. Но какими, я еще не разобрал. Ты его знаешь?»

«Да,— сказал Вильгельм.— Но не с лечебной стороны». Он вынул из рясы ножик и поднес к камню. Когда ножик, лежавший на неподвижной ладони, оказался вблизи камня, он резко дернулся, как будто Вильгельм двинул запястьем,— но он не двигал, а нож взлетел и приклеился к камню, издав легкий металлический щелчок.

«Видишь,— сказал Вильгельм.— Это магнит».

«А на что он?» — спросил я.

«Годится на многое. Я расскажу. Но сейчас, Северин, мне хотелось бы знать, есть ли тут что-нибудь для убийства людей».

Северин думал с минуту. На мой взгляд, слишком долго для такого простого и ясного ответа, какой воспоследовал. «Есть, и многое. Я же сказал, что граница между лекарством и ядом почти незаметна, греки и то и другое называли pharmakon».

«А в последнее время отсюда ничего не исчезало?»

Северин опять задумался, потом сказал, взвешивая каждое слово: «Ничего. В последнее время».

«А прежде?»

«Не знаю. Не помню. Я в этом аббатстве тридцать лет, из них двадцать пять при травах».

«Многовато для простой человеческой памяти,— согласился Вильгельм. Затем внезапно:— Мы вчера говорили о дурманящих травах. Это которые?»

Северин и жестами и мимикой выразил горячее желание избежать этой темы. «Надо подумать. Знаешь, у меня тут столько сильных снадобий... Давай лучше о Венанции. Что ты предполагаешь?»

«Надо подумать»,— ответил Вильгельм.

Второго дня

ЧАС ПЕРВЫЙ,

где Бенций Упсальский кое-что рассказывает, еще кое-что рассказывает Беренгар Арундельский и Адсон узнает, каково подлинное раскаяние

Несчастье перевернуло весь распорядок общины. Из-за находки трупа и всеобщей суматохи литургию так и не дослужили. Аббат немед-

ленно отослал монахов обратно в хор молиться за душу убиенного собрата.

Голоса монахов пресекались. Удобная возможность видеть их лица открылась, когда на службе они опустили куколи. Нас тут же привлекло лицо Беренгара. Белое, напряженное, лоснящееся от пота. Накануне нам дважды намекали на его особые отношения с Адельмом, и тревожило нас не сообщение, что молодые люди, ровесники, дружили, а двусмысленный тон всех, кто упоминал об их дружбе.

Рядом с Беренгаром молился Малахия: мрачный, насупленный, непроницаемый. Рядом с Малахией выделялось столь же непроницаемое лицо слепого Хорхе. Напротив того, отличался нервностью весь вид Бенция Упсальского, ученого-риторика, виденного нами вчера в скриптории, и мы перехватили пронзительные взгляды, которые он время от времени бросал на Малахию. «Бенций взволнован, Беренгар напуган,— подытожил Вильгельм.— Допрашивать надо немедленно».

«Почему?» — наивно удивился я.

«Наша работа этим и неприятна,— ответил Вильгельм.— Неприятная работа — следователь. Бить приходится по самым слабым и в момент их наибольшей слабости».

В общем, сразу же по окончании службы мы нагнали Бенция, шедшего в библиотеку. Услышав, что Вильгельм его окликает, юноша попытался увернуться от беседы, сославшись на недоделанное задание. Он почти бежал от нас по направлению скриптория, но учитель напомнил, что уполномочен Аббатом вести в монастыре следствие, и Бенцию пришлось пройти с нами в церковный двор. Мы сели на балюстраде между двумя колоннами. Бенций выжидал, пока Вильгельм заговорит, и поглядывал на Храмину.

«Ну, — сказал Вильгельм.— Что же было сказано в тот день, когда вы обсуждали миниатюры Адельма — ты, Беренгар, Венанций, Малахия и Хорхе?»

«Вы ведь вчера все слышали. Хорхе заявил, что невместно уснащать смехотворными рисунками книги, содержащие истины. А Венанций сказал, что даже у Аристотеля говорится о шутках и словесных играх как о средствах наилучшего познания истин и что, следовательно, смех не может быть дурным делом, если способствует откровению истин. А Хорхе возразил, что, насколько он помнит, Аристотель пишет об этом предмете в своей книге о Поэтике применительно лишь к метафорам. И что притом имеется два настораживающих обстоятельства. Первое, что книга о Поэтике, остававшаяся — видимо, велением Божиим — столько столетий неведомой христианскому миру, дошла к нам через руки неверных мавров...»

«Но ведь она переведена на латынь одним из друзей ангелического доктора Аквинского»,— перебил Вильгельм.

«Вот и я сказал это самое,— ответил Бенций, мгновенно воспрянув духом.— Я плохо разбираю по-гречески и смог ознакомиться с данной книгой именно в переводе Вильгельма Мербекского. Это-то я и сказал. Но Хорхе ответил, что есть второе сомнительное обстоятельство: что Стагирит судит только о поэзии, которая ничтожное искусство, питающееся бренностями. А Венанций сказал, что и псалмы плоды поэзии и в них использованы метафоры. И тут Хорхе взъярился и сказал, что псалмы рождены божественным вдохновением и метафоры в них заключают истину, тогда как языческие поэты используют метафоры, чтобы распространять ложь, и заботясь лишь о наслаждении И тогда я очень огорчился...»

«Отчего?»

«Оттого что я изучаю риторику, читаю язычников и знаю... по крайней мере верю, что чрез их поэзию до нас дошли и многие истины naturaliter [1] христианские. В общем, как раз тогда, если верно

[1] По природе своей *(лат.)*.

помню, Венанций заговорил о других книгах и Хорхе разгневался еще сильнее».

«О каких книгах?»

Бенций поколебался и ответил: «Не помню. Какая разница».

«Разница большая. Мы пытаемся понять, что происходит у людей, живущих среди книг, в книгах, ради книг, и следовательно, все, что они говорят о книгах, очень важно...»

«Это верно,— подтвердил Бенций, впервые улыбнувшись и чуть ли не просиял.— Мы живем ради книг. Сладчайший из уделов в нашем беспорядочном, выродившемся мире. Так вот... может, вы и поймете, что случилось в тот день... Венанций, который прекрасно знает... который прекрасно знал греческий, сказал, что Аристотель нарочно посвятил смеху книгу, вторую книгу своей Поэтики, и что если философ столь величайший отводит смеху целую книгу, смех, должно быть,— серьезная вещь. Хорхе сказал, что святые отцы часто посвящали целые книги грехам, и что грехи тоже серьезная вещь, но и дурная, а Венанций сказал, что, насколько ему известно, Аристотель говорит о смехе как о хорошей вещи и проводнике истины, а тогда Хорхе спросил с издевкой, не читал ли он случаем эту книгу Аристотеля. А Венанций ответил, что ее никому не случалось читать, и никто ее даже не видел, потому что она, как известно, не дошла до наших дней. И он прав: никто и никогда не видел второй книги Поэтики Аристотеля, Вильгельм Мербекский и тот не держал ее в руках. А Хорхе сказал, что если она до сих пор не нашлась, значит, она и не была написана, ибо провидению неугодно, чтобы прославлялись вздорные вещи. Я хотел всех успокоить, зная, что Хорхе вспыльчив, а Венанций как бы намеренно его злил. И сказал, что и в известной нам части Поэтики, и в Риторике есть много мудрых наблюдений об остроумных загадках. Венанций со мной согласился. Там с нами был Пацифик из Тиволи, хорошо знающий поэзию язычников, и он сказал, что в смешных загадках никто не сравнится с африканскими поэтами. И прочел загадку о рыбе, сочинение Симфосия:

> Есть на земле обитель, немолчным полная шумом,
> Шумом полна обитель, но вечно молчит обитатель.
> В вечном движенье обитель и в ней, но не с ней, обитатель [1].

Тогда Хорхе заявил, что Иисусом положено говорить либо да, либо нет, а прочее от лукавого. И что следует называть рыбку рыбкой, не затуманивая понятие блудливыми словесами. И прибавил, что на его взгляд негоже брать за образец африканцев... и вот тогда...»

«Тогда что?»

«Тогда началось что-то непонятное. Беренгар захохотал, Хорхе сделал ему замечание, а тот ответил, что смеется потому, что знает: если поискать у африканцев, можно найти и другие загадки потруднее той — с рыбкой. Малахия, бывший тут же, пришел в бешенство, схватил Беренгара чуть ли не за куколь и вытолкал заниматься своими делами... Беренгар, как вам известно, его помощник...»

«А потом?»

«Потом Хорхе прекратил дискуссию, покинув общество. Все разошлись по местам, но я, сидя за работой, видел, как сперва Венанций, а за ним Адельм подходили к Беренгару и что-то выспрашивали. Я видел издалека, как он отрицал, увертывался, но они в течение дня подходили к нему еще не раз. А вечером я заметил, что Беренгар и Адельм сговаривались в церковном дворе, перед тем как идти в трапезную. Вот. Больше я ничего не знаю».

«Значит, ты свидетельствуешь, что два человека, недавно погибшие при невыясненных обстоятельствах, что-то выпытывали у Беренгара»,— заключил Вильгельм.

Бенций вяло запротестовал: «Этого я не говорил. Я просто рас-

[1] Пер. М. Л. Гаспарова.

сказал, что случилось в тот день. Отвечал на ваши вопросы.— Он помолчал, а потом неожиданно добавил:— Но если хотите знать мое мнение — Беренгар рассказывал о чем-то находящемся в библиотеке. Там и ищите».

«Почему ты так думаешь? И что имел в виду Беренгар, говоря „поискать у африканцев"? Может, он хотел сказать, что надо лучше знать африканских поэтов?»

«Допустим. Но тогда с чего бы Малахия так взъелся? В конце концов от него зависит, выдавать книги африканских поэтов или нет. Но я знаю еще вот что. Полистайте каталог. Среди тайных, понятных лишь библиотекарю обозначений найдете визу „Африка". А я отыскал даже визу „предел Африки". Однажды я спросил книгу с этой визой, не помню какую — меня заинтересовало название,— и Малахия заявил, что книги с этой визой все утеряны. Но я запомнил. Потому и говорю: все верно, следите за Беренгаром, попробуйте проследить, что он делает в библиотеке. Как знать...»

«Как знать»,— согласился Вильгельм, жестом отпуская Бенция. Потом мы двинулись медленным шагом в обход двора, и учитель подвел итоги. Прежде всего: в очередной раз мишень пересудов и подозрений — Беренгар. Затем: Бенций всячески подталкивает нас к библиотеке. Я предположил, что, возможно, он хочет с нашей помощью что-то выведать сам, а Вильгельм ответил: может, это и так, однако не менее вероятно, что Бенций, направляя нас в библиотеку, отвлекает от другого места. От какого, спросил я. Вильгельм ответил, что неизвестно: может, от кухни, может, от хора, может, от почивален или от лечебницы... Я возразил, что накануне он сам, Вильгельм, крайне заинтересовался библиотекой. Он ответил, что желает интересоваться тем, что его интересует, а не тем, что ему подсказывают. Но библиотека безусловно остается в поле внимания, и с этой точки зрения невредно бы попробовать туда забраться. Обстоятельства поворачиваются так, что приходится позволить любопытству вывести нас за границы обходительности и уважения к обычаям и законам принявшего нас места.

Мы оставили за собою церковный двор. Монахи выходили из хора после мессы. Обогнув западную стену церкви, мы увидели Беренгара, выскользнувшего из поперечного нефа и спешившего через кладбище к Храмине. Вильгельм позвал, тот остановился, и мы его нагнали. Он волновался еще сильнее, чем в церкви, и Вильгельм несомненно решил захватить его врасплох — как прежде Бенция.

«Выходит, ты последний, кто видел Адельма в живых»,— обратился он к Беренгару.

Беренгар качнулся, как будто теряя сознание. «Я?» — переспросил он еле слышно. Своим вопросом Вильгельм, я думаю, просто прощупывал почву, наверное, вспомнив рассказ Бенция о том, как эти двое сговаривались в церковном дворе после вечерни. Но, судя по всему, он нечаянно попал в точку и Беренгар сейчас думал о каком-то другом, действительно последнем свидании,— его выдавал голос.

«Какое у вас право так говорить, я видел его перед сном, как и все остальные!»

Но Вильгельм явно решил не давать ему передышки. «Неправда, вы виделись еще раз, и ты знаешь больше, чем пытаешься показать. Но сейчас речь идет уже о двух убийствах! И тебе не удастся отмолчаться! Ты прекрасно знаешь, что есть много способов развязывать языки!»

Вильгельм неоднократно говорил мне, что еще в инквизиторах отказался от применения пыток. Но, того не зная, Беренгар неверно понял. А может, Вильгельм и хотел быть неверно понятым. В любом случае он рассчитал точно.

«Да, да,— с трудом выговорил Беренгар и затрясся в безудержном плаче.— Да, в тот вечер я видел Адельма, но уже мертвого!»

«Где,— спросил Вильгельм,— под откосом?»

«Нет, нет, здесь, наверху, на кладбище. Он двигался между могил, призрак среди призраков, червь среди червей... Он подошел... я сразу увидел, что передо мной не живой человек, у него было лицо мертвеца, очам уже открывались вечные муки... Конечно, я только на следующее утро понял, что говорил с загробной тенью... когда узнал о его гибели... но и накануне сознавал, что передо мною видение, дух проклятья, некий лемур... О Боже всемогущий, что за трубный глас исторгся из его уст!»

«И что он сказал?»

«„Я проклят! — так он сказал мне.— Кого ты видишь пред собою, се исчадие ада и в ад обязано воротиться",— так он сказал мне. А я закричал: „Адельм, ты вправду идешь из ада? Каковы они, вечные муки?" И я весь трясся, потому что перед тем на повечерии слышал, как читались ужасающие страницы о наказании Божием. А он мне: „Адские мучения невыразимо горше, нежели способен описать язык. Видишь мантию познаний, коей я был укрыт всегда до сего дня? Она тяготит, она давит меня, будто огромнейшая из парижских башен, будто огромнейшая в мире гора у меня на плечах и мне не суждено вовек сбросить этот груз. Это на меня налагается кара от божественного правосудия за тщету и гордыню мои, за то что превращал телеса мои в прибежище наслаждений и считал, что знаю больше других, и упивался чудовищностями, создаваемыми в воображении моем, не ведая, сколь мерзейшие чудовища родятся от этого в моей душе, а ныне с ними я обречен пребывать вечные времена. Видишь? Эта проклятая мантия жжет, как угли, как огнь пылающий, и язвительный сей огнь пылает на телесах моих, это кара на меня наложена за богомерзкий плотский грех, в коем я повинен, и этот огнь безотлучно терзает и жжет меня! Коснись меня рукой, любезный мой наставник,— так сказал он мне,— дабы эта встреча послужила тебе в должное назидание, в отплату за назидания и наставления, полученные от тебя, коснись же меня, о милый наставник",— и он тронул меня своим огненным перстом и мне на руку пала капля пылающего пота и прожгла мне руку чуть не до кости, так что много дней затем я укрывал язву от сотоварищей. И он ускользнул и скрылся за могилами, а на следующее утро я узнал, что тело того, с кем говорил я в ночь на кладбище, в означенный час уже валялось под скалою...»

Беренгар задыхался и плакал. Вильгельм спрашивал дальше: «А почему он звал тебя милым наставником? Вы ведь сверстники. Ты что-то ему преподавал?»

Беренгар судорожно скрючился, зарывая лицо в куколь, пал на колени, вцепился в ноги Вильгельма: «Не знаю, не знаю, отчего он так меня называл, я ничему его не учил! — Он не мог говорить от рыданий.— Я боюсь, отче, я умоляю — исповедайте меня, смилуйтесь надо мною, нечистый терзает мне внутренности!»

Вильгельм отстранился и протянул руку поднять его. «Нет, Беренгар,— сказал он.— Не проси меня об исповеди, не запечатывай мои уста, отверзая собственные. Все, что мне от тебя нужно, ты расскажешь и так. А если не расскажешь, я сам дознаюсь. Можешь молить меня о милости, но о молчании не моли. Слишком многие в этом аббатстве только и делают что молчат. Ответь-ка лучше, как ты мог видеть его бледность, если была глухая ночь, как ты обжег руку, если шел дождь, снег и град, и что ты делал на кладбище? Ну же,— и он резко тряхнул того за плечи,— скажи хоть это!»

Все члены Беренгара била дрожь. «Не знаю, что я делал на кладбище, не помню. Не знаю, как я мог видеть его лицо... Наверное, у меня был фонарь... Нет, фонарь был у него, был какой-то светильник... Но я точно видел его лицо... оно было освещено...»

«Какой еще светильник в дождь и снег?»

«Это было после повечерия, сразу после повечерия, снег еще не шел, он начался позже... Я помню, что метель начиналась, когда я бежал с кладбища. Я бежал к спальням, а призрак уходил в обратную сторону... И больше я ничего не знаю, умоляю, не допрашивайте меня больше, если отказываетесь исповедать!»

«Ладно,— сказал Вильгельм,— теперь ступай, ступай в хор, говори с Господом, раз с людьми говорить не желаешь, или поди поищи монаха, который согласится тебя исповедать, ибо если ты до сих пор не покаялся в своих деяниях и тем не менее приближаешься к таинствам — ты святотатец. Торопись! Мы тебя найдем».

Беренгар бросился прочь. А Вильгельм потер руки, как он любил делать, когда бывал удовлетворен.

«Прекрасно,— сказал он.— Теперь многое прояснилось».

«Что прояснилось, учитель,— недоумевал я,— когда добавился еще и призрак Адельма!»

«Дорогой Адсон,— внушительно произнес Вильгельм,— призрак сей, на мой взгляд, не такой уж призрак, и в любом случае он повторял текст из какого-то, не помню какого, сборника проповедей. Все эти монахи слишком много читают и в состоянии возбуждения склонны видеть воочию то, что вычитали в книжках. Неизвестно, говорил ли Адельм в действительности подобные слова или Беренгар услышал их потому, что был готов услышать. Но в любом случае эта история подтверждает ряд моих предположений. К примеру, что Адельм покончил с собой. Вот и Беренгар свидетельствует, что перед смертью Адельм в невменяемости метался по аббатству, угрызаясь из-за каких-то ранее совершенных поступков. Он был напуган, то есть, вероятнее всего, кто-то его напугал и, видимо, развернул перед его духовным взором все те картины адских мук, которые он с болезненным диким вдохновением воспроизвел потом Беренгару. На кладбище он оказался потому, что шел из хора, где доверился (или исповедался) кому-то в своих грехах. А тот в ответ вверг его в бездну ужаса и запоздалого раскаяния. И с кладбища он двинулся дальше. По показаниям Беренгара — в сторону, противоположную спальному корпусу, то есть в направлении Храмины. А также — что всего правдоподобнее — в направлении того уступа стены за скотным двором, откуда он, по моим вычислениям, и бросился в пропасть. Бросился он до начала бури, у подножия стены разбился насмерть, а потом оползень протащил его тело дальше, под восточную и северную башни».

«А капля огненного пота?»

«Огненный пот входил в ту повесть, которую Адельм выслушал и повторил. А может, Беренгар, сам во власти угрызения и ужаса, добавил этот пот от себя. Ибо, как ты понимаешь, угрызения Адельма явно перекликаются с угрызениями Беренгара. Адельм шел из хора, и у него, естественно, была свеча, и воск капнул на руку его друга — всего лишь капля воска... Но Беренгар ощутил ожог намного страшнейший. Когда Адельм назвал его, совершенно справедливо, милым наставником. Так Адельм упрекал его за некую науку, в коей теперь смертно раскаивался. И Беренгар затрепетал, и трепещет доныне, ибо прекрасно знает, что это именно он толкнул Адельма к гибели, обучив непозволительным вещам. И нетрудно догадаться каким, бедненький мой Адсон, после всего, чего мы наслушались о нашем помощнике библиотекаря».

«Полагаю, я догадался, что произошло между ними,— перебил я, стыдясь своей осведомленности.— Но не веруем ли все мы в милосердие Господне? Адельм, по вашим словам, перед тем исповедался. Отчего же он замыслил искупить свой первый грех грехом еще более тяжким — или, по крайней мере, столь же тяжким?»

«Он услышал от кого-то неумолимый приговор. Я ведь уже сказал, что источник образов, которыми кто-то до смерти напугал Адель-

ма, а Адельм до полусмерти напугал Беренгара,— страница из современного сборника проповедей. В последние годы как никогда прежде проповедники, желая добиться святопочитания и страха Божия (а также прилежания, а также почтения к законам божеским и человеческим), осыпают прихожан жестокими, устрашающими и мрачными словесами. Сейчас как никогда громко, над вереницами кающихся и самобичевателей, звучат восторженные описания мучений Христовых и святой девы Марии, и сейчас как никогда стараются священнослужители укрепить в мирянах веру посулами адовых мук». (...)

«Но они все-таки не грешат»,— сказал я, пытаясь отыскать для своих воззрений хоть какую-то опору.

«Если бы аббатство могло считаться зерцалом мира — ты бы сам себе ответил».

«А оно не может считаться?»

«Чтоб существовало зерцало мира, мир должен иметь форму»,— ответил Вильгельм. Признаюсь, чересчур философично для моего юношеского понимания.

Второго дня
ЧАС ТРЕТИЙ,

где невежи бранятся,
Имарос Александрийский кое о чем намекает
и Адсон задумывается о природе святости и дьяволовом дерьме.
Затем Вильгельм и Адсон подымаются в скрипторий,
Вильгельм находит нечто любопытное,
в третий раз дискутирует о позволительности смеха,
но в конце концов не успевает
рассмотреть, что нужно

По пути в скрипторий мы завернули на кухню подкрепиться, так как с вечера ничего не ели. Выхлебав кружку теплого молока, я мигом пришел в себя. Большой очаг в южной башне уже пылал, как кузнечная печь; в нем пеклись новые хлебы. Два козопаса разделывали тушку свежезарезанной овцы. Среди поваров я заметил Сальватора. Он улыбнулся мне волчьей пастью. Затем я видел, как он стащил со стола остатки вчерашнего цыпленка и украдкой совал козопасам, а те, ухмыляясь, запрятывали их под кожаные куртки. Но старший повар тоже видел это и недовольно сказал Сальватору: «Келарь, келарь! Разве так поступают? Келарь копит аббатское добро, а не раздает кому попало».

«Сии Боговы сыны,— ответил Сальватор.— Иисус рек, все будет ему, что дашь сирому».

«Ах ты полубрат загаженный, минoритская сволочь! — заорал в ответ повар.— Ты здесь не у своих вшивых братишек! С благотворительностью наш Аббат как-нибудь без тебя управится, ублюдок!»

Сальватор переменился в лице и злобно уставился на повара: «Не полубрат, не минорит! Инок Бенедикта Святого я! А ты навоз сам еси и грязный богомил!»

«Кто, я богомил? Богомилка твоя блудня, с которой ты гужуешься тут по ночам, скотина, полудурок!» — взвыл повар.

Сальватор поспешно выпроводил козопасов, закрыл дверь и подошел к нам. «Брате,— сказал он Вильгельму,— оборони свой орден. Не мой он, а докажи, что у Франциска сыны не в еретиках! — Потом обернулся ко мне и прошипел на ухо: — Тьфу, врет!» — и плюнул на пол.

Повар подскочил к нему, вытолкал взашей из кухни и громко хлопнул вслед дверью. «Брат,— обратился он к Вильгельму самым почтительным образом,— не о вашем ордене вздумал бы я дурно отзываться и не о святейших мужах, в нем обретающихся. Я говорил лишь об этом полуминорите, полубенедиктинце — сам не знает, кто он»,

«Его прошлое известно,— мягко ответил Вильгельм.— Но отныне он такой же монах, как ты, и к нему должно относиться по-братски».

«Да ведь суется, куда не просят,— знает, что келарь его покрывает. Уже и сам себя считает келарем. Гуляет тут по-хозяйски днем и ночью».

«Как — ночью?» — переспросил Вильгельм. Повар отмахнулся, показывая, что не желает говорить о позорных предметах. Вильгельм не настаивал и тихо продолжал тянуть свое молоко. (...)

Он допивал молоко, когда вошел еще один монах. Он поздоровался: это был Имарос Александрийский, с которым мы виделись вчера в скриптории, и я уже тогда приметил постоянную гримасу у него на лице. Он как будто не мог надивиться нелепости рода людского, не слишком, впрочем, огорчаясь из-за этой воистину космической катастрофы.

«Ну что, брат Вильгельм, обживаетесь в нашем сумасшедшем доме?»

«Я полагал, что нахожусь в обиталище людей непревзойденных и добродетелью и ученостью»,— невозмутимо ответил Вильгельм.

«Так было. И аббаты были аббатами, и библиотекари библиотекарями. А сейчас... Да вы ведь сами видели,— он ткнул пальцем в верхний этаж.— Немец-полумертвец с очами слепца истово слушает этого испанца-слепца с очами мертвеца. Антихриста, похоже, ждут с минуты на минуту... Старые пергаменты соскребают, да новые отчего-то не появляются... Мы тут сидим, а настоящая жизнь внизу, в городах... Когда-то из наших монастырей управляли миром. А сейчас, видите ли, императору удобно устраивать тут встречи своих друзей со своими врагами. Вот, как можете убедиться, кое-что о вашей миссии нам известно, монахи вечно болтают, другого дела у них нет... Но чтобы реально владеть положением в стране, сам он — император — аббатством не интересуется, он занимает города. Мы тут мелем зерно, откармливаем птицу. А в городах меняют локти шелка на штуки льна, штуки льна на тюки специй и все вместе — на хорошие деньги. Мы сторожим свою сокровищницу, а настоящие сокровища там у них. И книги. Лучшие книги, чем у нас».

«Конечно, мир непрерывно обновляется. Но чем виноват Аббат?»

«Он виноват. Он отдал библиотеку на откуп иностранцам, а остальное аббатство превратил в укрепление для обороны библиотеки. Братство Св. Бенедикта на этих итальянских высотах должно бы стать оплотом всего итальянского, где бы сами итальянцы решали судьбы своей страны. А вместо этого... Чем живут итальянские города сейчас, когда они лишились даже папы? Торгуют, процветают, богатеют. Они богаче французского короля. Значит, надо и нам взять с них пример. Что мы умеем делать? Книги? Надо заняться книгами и обеспечить ими университеты всего мира. И поинтересоваться, что происходит там, в долинах... Я не императора имею в виду, брат Вильгельм, при всем уважении к вашему посольству. А поинтересоваться, чем заняты болонцы и флорентинцы. Отсюда мы сможем руководить перемещениями паломников и торговыми перевозками из Италии в Прованс и из Прованса в Италию. Библиотека должна заняться литературой на народном языке, обратить внимание на не-латинские новые книги... А вместо этого нами самими помыкает кучка иностранцев, которые заправляют библиотекой по старинке, как будто в Клюни все еще аббатствует добрый Одийон...»

«Но Аббат-то итальянец»,— заметил Вильгельм.

«Аббат — не фигура,— с привычной ухмылкой отозвался Имарос.— У него вместо головы книжная полка. Изгрызенная жучком. Чтоб насолить папе, напустил полное аббатство полубратьев... Это я об отступниках говорю, уважаемый Вильгельм, оскорбивших ваш святейший орден... А чтоб угодить императору, зазывает сюда монахов из всех северных стран, как будто мало у нас собственных прекрасных

переписчиков и знатоков греческого и арабского и как будто нет во Флоренции и Пизе богатых и образованных купеческих сынов, которые охотно вступили бы в орден, если бы орден обеспечивал укрепление власти и могущества их отцам. Но у нас в монастыре новые времена сказываются в одном — что эти немцы вовсю... о Господи милостивый, упаси мой язык, да не отсохнет рассказывать об их непотребствах!»

«А что, в аббатстве случаются непотребства?» — рассеянно осведомился Вильгельм, подливая себе молока.

«Монах тоже мужчина,— изрек Имарос. Помолчал и добавил:— Хотя здесь мужчин меньше, чем кажется. Но это должно остаться между нами... Само собой, я ничего не говорил...»

«Очень любопытно,— сказал Вильгельм.— А это только ваше мнение или другие тоже так думают?»

«Многие, многие думают, как я. Многим жалко бедненького Адельма. Но если бы в пропасть свалился кто-нибудь еще... из тех, кто шныряет по библиотеке больше, чем следует... многие бы не возражали...»

«Что вы хотите сказать?»

«Я и так уж слишком много сказал. Мы тут все слишком много говорим. Вы, наверное, уже заметили. Правило молчания совершенно не соблюдается. Это с одной стороны. А с другой — соблюдается слишком многими. Но здесь надо не говорить и не молчать. Здесь надо действовать. В золотую эпоху нашего ордена, если аббат оказывался не из аббатского теста,— один кубок подслащенного вина, и вакансия свободна. Однако я поделился с вами своими соображениями, брат Вильгельм, конечно же не из желания посплетничать на счет Аббата... или других собратьев... Боже меня сохрани! Я, к счастью, не подвержен постыдной наклонности к сплетничеству. Просто не хотелось бы узнать, что Аббат поручил вам расследовать мое дело... или чье-нибудь еще... к примеру, Пацифика Тиволийского или Петра Сант-Альбанского. Мы к библиотечным тайнам никакого касательства не имеем. Хотя непрочь бы иметь. Кое в чем разобраться. Мы рады, что вам предстоит потревожить это змеиное гнездо — именно вам, сжегшему стольких еретиков».

«Я никогда никого не сжигал»,— сухо ответил Вильгельм.

«Да это так, к слову,— с улыбкой увернулся Имарос.— Удачной вам охоты, брат Вильгельм, в особенности ночной».

«Почему не дневной?»

«Потому что днем тут врачуют плоть полезными травами, а по ночам истязают дух зловредными. Не верьте, будто Адельм сверзился в пропасть от чьей-то руки, или будто чьи-то руки утопили в крови Венанция. Нет. Кое-кому нежелательно, чтоб монахи сами решали, куда идти им, что делать и что читать. И этот кто-то зовет на помощь адские силы, использует и некромантов, сошедшихся с нечистым. Все чтобы помрачать разум тех, кто слишком любопытен...»

«Вы говорите об отце травщике?»

«Северин Сант-Эммеранский искусен в своем деле... Но все же он немец... Немец также и Малахия...» И, доказав в очередной раз свою несклонность к наушничеству, Имарос проследовал заниматься.

(...) Монахи сидели за работой. Царила тишина. Но это была не благословенная тишина сосредоточенности. (...) Под столом Венанция помещалась низкая полка, где валялись какие-то непереплетенные листы, все исписанные по-латыни. Я догадался, что это его последние переводы. Почерк был неразборчив, в книгу листы не сложились бы. По всей очевидности, они предназначались для передачи копиисту и иллюстратору. Прочитать на них что-либо было трудно. Там же находилось несколько греческих книг. Еще одна, открытая, греческая книга была на подставке — сочинение, над переводом которого

Венанций трудился в последние дни. В описываемую пору я еще не знал греческого языка, но учитель сказал, что то была книга некоего Лукиана, повествующая о мужчине, превращенном в осла. Я вспомнил похожую повесть Апулея, которая для нас, послушников, всегда была под строжайшим запретом.

«Как это Венанций переводил подобную книгу?» — спросил Вильгельм у подошедшего Беренгара.

«Перевод заказан аббатству миланским синьором в обмен на преимущественное право производства вин для некоторых восточных областей,— Беренгар неопределенно махнул рукой вдаль. Но тут же спохватился и добавил:— Не подумайте, будто аббатство торгует услугами. Но эту ценную книгу из собрания венецианского дожа, получившего ее от византийского императора, заказчик предоставляет нам с правом копирования, так что один экземпляр перевода может остаться в библиотеке».

«Значит, библиотека не пренебрегает и сочинениями язычников?» — спросил Вильгельм.

«Библиотека вмещает все — и явь и блажь»,— прозвучал вдруг голос у нас за плечами. Это был Хорхе. Я снова поразился (хотя безмерно больше предстояло поражаться в последующие дни) его негаданному появлению. Старик вырастал из-под земли, как будто не мы для него были незримы, а он для нас. Я пожал плечами — что делать слепому в скриптории? — но вскоре убедился, что Хорхе вездесущ, он непонятным образом оказывался в любом помещении аббатства. И в скриптории проводил довольно много часов — на лавке у очага, как будто надзирая за происходящим в зале. Однажды при мне он громко вскричал: «Кто идет?» и повернулся. Никаких звуков вроде не было, но через некоторое время действительно появился Малахия, который, неслышно ступая по толстой соломе, прошел в библиотеку. Монахи питали к Хорхе безграничное уважение и разбирали с ним темные места, схолии, а также советовались, как должен выглядеть на рисунке какой-нибудь зверь или святой. Он же, вперяясь в пустоту угасшими очами, как будто перечитывал листы, целехонькие у него в памяти, и отвечал, что лжепророки должны быть в одеяниях епископов, только изо ртов пусть у них выходят жабы, и каковы видом камни в стенах Иерусалима небесного, и что аримаспы на землеведческих картах должны помещаться близ владений пресвитера Иоанна. При этом он неукоснительно остерегал рисующих, чтобы чудища в нелепости своей не оказались бы прелестными, и что вполне довольно показать их в виде эмблем — узнаваемо, но не соблазнительно и ни в коем случае не смехотворно.(...)

Хорхе в сильном раздражении махнул рукой на Вильгельма. «Все ваши разговоры о смехе — игра словесами. Втягиваете меня в суесловия. Знаете ведь, что Христос никогда не смеялся».

«Не уверен. Когда Он вызывал фарисеев первыми бросить камень, когда вопрошал, что за образ на монете, взносимой в подать, или когда играл словами „Tu es Petrus"[1]— во всех этих случаях, по-моему, Он остроумно шутил, чтоб смутить грешников и ободрить приспешников. Он шутил и с Каиафой: „Ты так сказал". А Иероним в комментарии к книге Иеремии, к месту, где сказано: „За то будет поднят подол твой на лице твое, чтоб открылся срам твой",— толкует: „Обнажат срам твой и зад твой, чтоб тебе оправиться и исправиться". Значит, и Господь порою изъясняется шутками, дабы смутить тех, кого задумал покарать. И вы, конечно, помните, что в самый напряженный период борьбы клюнийцев с цистерцианцами первые, чтоб высмеять вторых, пустили слух, будто те не имеют подштанников. В „Зерцале глупости" повествуется об осле по имени Гнедой, который беспокоился: что произойдет, если ночью ветер поднимет покрывала и монах узрит собственный орган...»

[1] а) Ты — камень. б) Ты — Петр *(лат.)*.

Монахи, бывшие вокруг, захохотали. Хорхе вышел из себя: «Хватит. Моих собратьев вы превращаете в ораву идиотов. Я знаю, что у францисканцев заведено доискиваться симпатий населения подобными дурацкими выходками. Я же о срамном словоблудии повторю то самое, что сказано вашим собственным проповедником: „Tum podex carmen extulit horridulum"[1]».

Как ни суди — это было сказано немного слишком резко. Вильгельм дерзил, но Хорхе-то произнес во всеуслышание, что тот из уст выпускает газы! Я раздумывал, не означает ли столь суровая отповедь, в устах старшего годами монаха, приказа немедленно покинуть скрипторий. Но к моему удивлению Вильгельм, только что такой воинственный, принял замечание Хорхе с необыкновенной кротостью. «Прошу извинения, преподобный Хорхе,— сказал он.— Уста невольно выболтали мою сокровенную мысль. Но я не хотел показаться непочтительным. Должно быть, вы правы, а я заблуждался».

Хорхе, не ожидав такой смиренности и обходительности, издал какое-то урчанье, которое могло знаменовать как удовлетворение, так и прощение, и ему не оставалось ничего как вернуться на место. А с тем и монахи, толпившиеся, пока шел диспут, разбрелись к столам. Вильгельм снова опустился на колени перед столом Венанция и стал шарить в рукописях. Ценой униженного извинения он выиграл несколько секунд, и то, что он за эти несколько секунд успел увидеть, целиком определило характер наших поисков в последующую ночь.

Однако все это длилось действительно несколько секунд. Почти мгновенно Бенций, притворившись, будто забыл стилос на венанциевом столе, подошел к нам и шепнул Вильгельму, что необходимо немедленно переговорить с ним, и назначил встречу за купальнями. Вильгельм, сказал он, пусть выходит первым, а он вскорости поспеет.

Вильгельм немного поколебался, потом позвал Малахию, который от библиотекарского стола, сидя над каталогом, наблюдал происходившее, и попросил его во исполнение полученных от Аббата полномочий (он особенно уповал на силу имени Аббата) поставить кого-нибудь на стражу у венанциева стола, поскольку он полагает главной необходимостью для расследования, чтобы никто не притрагивался к столу в течение всего дня, покуда он сам не вернется. Все это он произнес очень громко, чтобы не только Малахию обязать следить за монахами, но и монахов за Малахией. Библиотекарю пришлось повиноваться, а Вильгельм вышел вон, кликнув меня с собой.

По пути через огород на задворки купален, находившихся поблизости от больницы, Вильгельм сказал мне:

«По-видимому, многие тут не желают допустить меня к тому, что лежит на столе Венанция и под столом».

«А что это может быть?»

«Думаю, это неизвестно и тем, кто мне препятствует».

«Значит, Бенцию сказать нам нечего и цель его одна — выманить нас из скриптория?»

«Сейчас узнаем»,— ответил Вильгельм. И действительно, вскоре появился Бенций.

Второго дня
ЧАС ШЕСТЫЙ,

где Бенций ведет странные речи,
из каковых выясняются не слишком приглядные
подробности жизни обители

Рассказ Бенция звучал сбивчиво. И впрямь складывалось впечатление, будто он зазвал нас только чтобы удалить из скриптория, но, по-

[1] Тут из зада излетел гадкий звук *(лат.)*.

видимому от неспособности изобрести что-то убедительное, выбалтывал кое-какие прежде скрывавшиеся сведения. (...)

Беренгар — что было известно многим монахам — испытывал противоестественную страсть к Адельму. (...) Но из рассказа Бенция явствовало, что этот порочный монах добивался своего еще и самым недостойным способом — вымогательством,— принудительно склоняя других к тому, что воспрещали им совесть и честь.

Итак, с некоторых пор братья посмеивались, замечая нежнейшие взгляды Беренгара в сторону Адельма, который, по-видимому, был очень хорош. Адельм же, безраздельно влюбленный в работу, из которой единственной, надо думать, черпал наслаждение, очень мало интересовался страданиями Беренгара. Однако кто знает? Возможно, душа его в потайных глубинах и лежала к упомянутому бесчестью. Так или иначе, Бенций подслушал его беседу с Беренгаром. Тот намекал на некую тайну, которую Адельм жаждал узнать, и предлагал ему низостную сделку. Суть ее, полагаю, ясна и самому неискушенному читателю. Бенций свидетельствовал, что Адельм тогда ответил согласием, якобы даже с облегчением. Это выглядело — убеждал нас Бенций,— как если бы Адельм по существу и не желал иного, и радовался посторонней причине, оправдывавшей его падение и позволявшей утолить подавленную похоть. Таким образом — доказывал далее Бенций,— тайна Беренгара определенно должна была состоять в некоем откровении науки. Только тогда Адельм мог обольщаться, будто, поддаваясь плотскому греху, потворствует высшей потребности интеллекта — тяге к познанию. К тому же, с улыбкой добавил Бенций, он сам не раз переживал такие мучения любознательности, ради утоления которых согласился бы подчиниться чужим плотским желаниям, не разделяя их собственной плотью.

«Разве не бывает и у вас,— обратился он к Вильгельму,— таких минут, когда вы согласитесь на возбранные действия, лишь бы заполучить книгу, которую ищете годами?»

«Мудрый и добродетельный Сильвестр II в свое время отдал драгоценнейший небесный глобус за сочинение Стация или Лукана — не помню точно,— сказал Вильгельм. И рассудительно добавил: — Но то небесный глобус, а не собственная честь».

Бенций опомнился и признал, что, пожалуй, в воодушевлении хватил через край. Он продолжил рассказ. В ночь перед гибелью Адельма он, Бенций, охваченный любопытством, пошел за этой парой. Он видел, как после повечерия они прошествовали в почивальни. Он надолго засел за полуоткрытой дверью своей кельи. Кельи этих двоих были близко. Бенций ясно видел, как Адельм, когда сон и тишина овладели зданием, скользнул в дверь кельи Беренгара. Он, Бенций, ждал, не в силах упокоиться на ложе, и наконец услышал, как снова заскрипела беренгарова дверь. Адельм почти бегом бежал из кельи, а друг как мог удерживал его. Беренгар бежал за Адельмом до нижнего этажа. Бенций шел следом на цыпочках и в начале нижнего коридора чуть не наткнулся на Беренгара. Тот, трясясь, застыл в углу напротив двери Хорхе, глазами пожирая дверь. И Бенций понял, что Адельм пал в ноги старшему собрату, каясь в содеянном грехе. А Беренгар трясся, сознавая, что его тайна перестает быть тайной, хотя и под печатью исповеди.

И вот вышел Адельм, белый как полотно, отстранил Беренгара, пытавшегося говорить, и двинулся из почивален. Обогнув апсиду церкви, он вошел в северный портал хора, который в течение всей ночи остается открытым. Очевидно, он хотел молиться в церкви. Беренгар бежал следом, но лишь до двери хора. Войти не посмел и остался на кладбище, ломая руки.

Но больше всего растерялся Бенций, когда заметил четвертую фигуру. Кто-то, как и он, следил за парой, при этом определенно не

подозревая о присутствии Бенция. Бенций прижался к большому дубу, который растет возле кладбища. Этот четвертый был Венанций. Завидев его, Беренгар пригнулся и слился с могилой. И тот следом за Адельмом вошел в хор.

Но дальше Бенций, опасаясь, что его раскроют, следить не стал и воротился в почивальни. Наступившим утром труп Адельма был найден у подножия скалы. Больше ничего Бенций добавить не мог.

Подходил час обеда. Бенций распрощался. Учитель не держал его. Мы остались за купальнями и несколько минут прогуливались в огороде, обдумывая то, что узнали от Бенция. (...)

«Кто же убийца? Беренгар?»

«Возможно. Или Малахия, оберегающий Храмину. Или кто-нибудь еще. Беренгар под подозрением безусловно. Он был в страхе и при этом знал, что Венанцию его секрет известен. Под подозрением и Малахия: он отвечает за сохранность библиотечной тайны, узнает, что кто-то ее вынюхивает — а возможно, и вынюхал,— и убивает. Хорхе знает все о каждом, о разглашении тайны ему известно от Адельма, он не желает, чтобы мне открылось нечто, возможно, выведанное Венанцием... По многим причинам следовало бы заподозрить Хорхе. Но, скажи на милость, как возможно, чтобы слепой старик убил молодого, полного сил, перетащил его труп и сунул в бочку?.. Да, в конце концов — почему бы убийцей не оказаться тому же Бенцию? Он мог обманывать нас, мог преследовать свои скрытые цели. Наконец, к чему ограничивать круг подозреваемых только теми, кто участвовал в диспуте о смехе? У убийства могут оказаться другие мотивы, не имеющие общего с библиотекой. В любом случае нам сейчас необходимы две вещи: дознаться, как проходят в библиотеку ночью, и раздобыть лампу. О лампе позаботишься ты. Зайдешь на кухню в обед, возьмешь одну».

«Украсть?»

«Позаимствовать, во славу имени Господня».

«В таком случае положитесь на меня».

«Молодец. Что касается входа в Храмину — мы оба видели, откуда появился вчера ночью Малахия. Сегодня я обследую церковь, в особенности тот придел. Через час обедаем. Потом переговоры с Аббатом. Ты допущен — я предупредил, что мне нужен секретарь, записывать сказанное».

Второго дня

ЧАС ДЕВЯТЫЙ,

где Аббат выхваляется богатствами обители и опасается злодейств еретиков и в конце концов Адсон сожалеет, что решился повидать мир

Аббат был в церкви перед главным алтарем. Он следил за работой послушников, выносивших из кладовой священные сосуды, кубки, чаши, ковчеги и большое распятие — но не то, которое было на утренней службе. Я не сдержал возглас восторга, увидев эту сияющую утварь. Был в разгаре полдень и солнце втекало в храм ручьями сквозь витражи хора и — еще ослепительнее — через окна фасада: оттуда шли белые потоки обжигающего света, подобные мистическим струям незримой божественности, и перекрещивались по всей церкви, целиком заливая алтарь.

Вазы, чаши — все обнаруживало свой драгоценный состав. Торжествовала желтизна золота, белая непорочность слоновой кости, играл в лучах дивно прозрачный хрусталь. Блистали каменья любой окраски и огранки: гиацинты, топазы, рубины, сапфиры, изумруды, хризолиты, ониксы, карбункулы, яшма и агат. Еще я открыл для себя

нечто незамеченное утром, когда я был целиком захвачен сперва молитвой, потом ужасом. Оказывается, алтарный покров и три венчавшие его ризы были из чистого золота, и весь алтарь, оказывается, был вылит из золота, все его части, на какую ни взгляни.

Аббат усмехнулся, видя мое лицо. «Богатства, что перед вами,— сказал он, оборотясь ко мне и к учителю,— и те, что вы еще увидите, суть наследие многовекового во человецех благочестия и святопочитания, а также доказательство доброй славы и могущества нашей обители. Правители земли и князи, архиепископы и прочие прелаты на украшение нашего алтаря и на утварь к нему жертвовали отличительные кольца своего сана, злато и каменья — оплоты их величия. И все это они отказывали нам, во славу имени Господня и ради процветания Его обиталища. (...)»

«Воистину сладчайшее из богословий — ваше»,— произнес Вильгельм самым умильным голосом. Я-то понял, что, вероятно, он желает употребить ту коварную фигуру мысли, которая у риторов именуется ironia. Но для ее правильного исполнения необходимо соблюдать и соответствующую pronuntiatio[1], а Вильгельм ее никогда не соблюдал. Вот и вышло, что Аббат, привычный более к фигурам речи, чем к фигурам мысли, не понял замысла Вильгельма, принял его слова буквально и отвечал все в том же мистическом восторге: «Да, да, это кратчайший путь к неисповедимой божественности. Наши богатства — вещное воплощение святыни».

Вильгельм вежливо кашлянул и произнес что-то вроде «...хм... эхм...» Так он мычал всегда, приготовляясь изменить тему разговора. И, как всегда, ему удалось изменить ее очень ловко, благодаря вкоренившейся привычке — полагаю, распространенной у жителей его родных земель — любую речь предварять бесчисленными хмыканьями, охами и вздохами, как будто изложение законченной мысли требовало от него почти невыносимого усилия. В то время как мне было уже отлично известно, что чем больше неуверенных хмыканий издаст Вильгельм прежде чем открыть рот, тем более тщательно продумана и отшлифована во всех подробностях его будущая речь.

Итак, Вильгельм пробормотал: «Э-э... м-м... мы собирались обсудить будущую встречу... диспут о бедности...»

«Бедность? — рассеянно откликнулся Аббат, как бы с трудом опускаясь с запредельных высей, в коих витал, рассуждая о сокровищах.— Ах да, встреча...»

И перешли к пристальному обсуждению вопросов, которые отчасти были мне знакомы, отчасти открылись из их собеседования. Речь шла, как я уже повествовал в зачине этой верной хроники событий, о двойном раздоре: с одной стороны, императора с папой, с другой — папы с францисканцами, которые в ходе Перуджийского капитула, хотя и запоздав на много лет, приняли тезис спиритуалов о бедности Христа. А также о сложной ситуации, которая сложилась, когда францисканцы объединились с империей, причем треугольник, образованный взаимными притягиваниями и отталкиваниями, в последнее время превратился в четырехугольник, включив новую силу, пока еще для меня непонятную — аббатов ордена Св. Бенедикта (...). Многие аббаты соглашались поддерживать правительство империи, чтобы хоть что-то противопоставить растущему могуществу городов, управляемых епископами и купцами, а для того поддерживали и францисканских спиритуалов, чьи идеи они, конечно, не разделяли, но взамен могли требовать у императора защиты от деспотизма папы.

Вот по этим-то причинам, как я понял, Аббон был расположен сотрудничать с императорским посланцем, Вильгельмом, и стать посредником между францисканским орденом и папской курией. Дело в том, что, невзирая на яростные разногласия, угрожавшие

[1] Интонацию *(лат.)*.

церкви чуть ли не расколом, Михаил Цезенский, неоднократно вызывавшийся папой Иоанном в Авиньон, наконец склонился принять приглашение, поскольку не желал, чтобы его орден полностью отторгся от понтифика. Михаил — генерал ордена францисканцев — замыслил в этот приезд и укрепить позиции ордена и наладить отношения с папой, в частности потому, что сознавал: порвав с папой, он сам во главе ордена долго не продержится.

Но многие подозревали, что папа, зазывая Михаила во Францию, готовит ловушку — собирается обвинить его в ереси и отдать под суд. Поэтому Михаилу советовали прежде чем ехать в Авиньон провести предварительные переговоры. Наилучшей была признана идея Марсилия — направить с Михаилом имперского легата, чтоб тот представлял в глазах папы точку зрения сторонников императора. И не столько для того чтобы в чем-то убеждать старика Кагора, сколько для защиты и поддержки Михаила, который оказался бы при этом членом имперской делегации и составил для мстительного папы уже не такую легкую добычу.

Однако и эта идея была чревата многочисленными осложнениями и требовала подготовительных мер. Поэтому возникла мысль о предварительной встрече между членами имперской делегации и полномочными представителями курии, в целях выяснения позиций сторон и обсуждения условий будущей встречи, в особенности — гарантий безопасности для итальянской стороны. Подготовить и провести эту первую встречу и был уполномочен Вильгельм Баскервильский. Он же предположительно назначался представительствовать от имперских богословов в Авиньоне — если сейчас удастся договориться с папской стороной об удовлетворительных гарантиях. Но заранее ожидалось, что это будет нелегко, поскольку, надо думать, папа, которому выгоднее заманить Михаила одного, чтобы легче сломить его, высылает в Италию посольство, снабженное соответствующими указаниями: по возможности провалить идею отправки к папскому двору имперских представителей.

Пока что Вильгельм действовал во всех отношениях крайне успешно. В итоге многочисленных переговоров с настоятелями различных монастырей (чем объяснялась вынужденная извилистость нашего пути) он остановил выбор на этом аббатстве, в котором мы находились. С одной стороны, было известно, что здешний аббат всецело предан императору. С другой стороны, он, благодаря незаурядному дипломатическому дару, был не на дурном счету и при папском дворе. Таким образом, именно это аббатство представляло превосходную нейтральную территорию, где могли сойтись представители обеих сторон.

Однако уловки понтифика вышесказанным не исчерпывались. Он понимал, что в стенах монастыря его посольство обязано подчиняться юрисдикции Аббата. Но в данном случае, под тем предлогом, что среди его послов предполагались и представители секулярного клира, папа стремился не допустить подчинения делегации Аббату. Якобы опасаясь ловушки со стороны императора, папа выдвинул новые условия: чтобы охрана его легатов была вверена отряду лучников французского короля, и отряд повиновался бы папскому доверенному лицу. Об этом я что-то смутно слышал в Боббио, в ходе беседы Вильгельма с папским представителем. Речь, помнится, шла о выработке формулировки полномочий этого отряда, то есть требовалось оговорить, что имеется в виду под «соблюдением безопасности куриальных послов». В конце концов была принята формулировка, предложенная авиньонцами и выглядевшая довольно рационально. Согласно ей, вооруженная сила и ее командование получали юрисдикцию в отношении «всех тех, которые каким бы то ни было образом угрожают жизни и безопасности членов куриальной делегации, а также пытаются навязать ей поступки и решения путем применения наси-

лия». Тогда это соглашение представлялось нам чистой формальностью. Однако ныне, пред лицом недавно совершившихся в аббатстве событий, Аббат был серьезно обеспокоен и поделился своими тревогами с Вильгельмом. Если посольство вступит в аббатство, а виновник двух преступлений стало еще не будет отыскан (на следующий день, когда преступлений стало уже три, беспокойство Аббата еще более возросло), — придется признать, что в этих стенах имеется некто вполне способный принуждать, путем насилия, папских легатов к поступкам и решениям. (...)

«Вы знаете,— сказал Аббат,— с коликой братской приветливостью наш орден принял в свое лоно спиритуалов, бежавших от папского гнева. В их числе не только известный вам Убертин, но и другие, более скромные братья, о коих нам известно немного. А может статься, что следовало бы знать больше. Ибо случалось и так, что мы принимали неких беженцев, одетых в рясы миноритов, а позже узнавали, что превратности судьбы приводили их когда-то, скажем, в группы, близкие к дольчинианам...»

«Есть и такие?» — спросил Вильгельм.

«Есть и такие. Я ставлю вас в известность о том, что, по существу, недостаточно известно и мне самому, по крайней мере — недостаточно для обоснованного обвинения. Однако учитывая, что вы ведете в аббатстве следствие, полагаю, что обязан сообщить вам и это. Поэтому скажу, что имеются причины подозревать (но только подозревать, поймите меня правильно; кое о чем я слышал, кое о чем догадываюсь, но доказательств нет), что какой-то довольно темный период пережил наш келарь, появившийся в монастыре несколько лет назад, как раз после разгона миноритов».

«Келарь? Ремигий Варагинский — дольчинианин? Он мне показался тишайшим созданием. И во всяком случае он, кажется, интересуется мадонной Бедностью меньше всего на свете».

«К сожалению, я не знаю о нем почти ничего. Он нам очень полезен — его рачительности все аббатство не перестает изумляться. Я заговорил о нем только чтоб показать, до чего легко могут обнаружиться связи между братом и полубратом» (...).

«Следует ли так понять, что ваше высокопреподобие благоволит предуказать направление моих поисков? Вы предполагаете, что в основе нынешних преступлений могут находиться темные мотивы еретического прошлого какого-либо монаха?»

Аббат помолчал, глядя в глаза Вильгельму с совершенно непроницаемым лицом. И сказал: «В этой прискорбной истории следователь вы. Вам и пристало подозревать. И рисковать, что подозрение несправедливо. А я здесь — только отец своим чадам. К сему добавлю, что если бы мне сделалось известно — доподлинно и с доказательствами — предосудительное прошлое какого-либо моего монаха, я сам бы вырвал сорную траву. Все, что знаю я, знаете и вы. Что я не знаю — узнаете вы, благодаря вашей проницательности. Но в любом случае, о любом открытии непременно и в первую очередь вы оповестите меня». Попрощался и вышел.

«Дело осложняется, любезнейший Адсон,— произнес Вильгельм, сильно помрачнев.— Мы гоняемся за какой-то рукописью, вникаем в диатрибы слишком любопытных монахов и в похождения монахов слишком любострастных... А в это время все определеннее вырисовывается другой след — надо сказать, совершенно другой... Значит, этот келарь... И он привел с собой это странное животное — Сальватора... Ладно. Сейчас пойдем отдохнуть, раз мы собираемся бодрствовать ночью».

«Вы все-таки хотите проникнуть ночью в библиотеку? Не оставляете тот, первый след?»

«Разумеется, нет. Да и кем доказано, что здесь два разных следа? И вдобавок история келаря может оказаться напрасным подозрением Аббата».

Мы отправились в странноприимные палаты. Дойдя до порога, он остановился и сказал так, будто разговор и не был прерван: «Вообще-то когда Аббат просил меня расследовать гибель Адельма, он имел в виду предосудительные связи среди его молодых монахов — и ничего более. Однако теперь, когда погиб Венанций, возбудилось много новых подозрений. Аббат должен догадываться или знать, что ключ к этой тайне — библиотека. А чтоб я вел следствие о библиотеке, он допустить не хочет. Вот и подбивает заняться келарем — чтобы отвлечь от Храмины...»

«Да почему ему не желать, чтобы...»

«Не задавай лишних вопросов. Аббат с самого начала заявил мне, что библиотека под запретом. У него на это, видимо, есть причины. А может, он и сам замешан в каком-то деле, которое, по его понятиям, не могло иметь касательства к смерти Адельма. Но сейчас он видит, что скандал разрастается и может дойти даже до него. И поэтому не хочет, чтобы выяснилась истина — или, по крайней мере, чтоб ее выяснил я».

«Да что же... значит, мы в таком месте, откуда отступился Господь...» — в отчаянии сказал я.

«А ты много видел мест, где Господь чувствовал бы себя уютно?» — спросил в ответ Вильгельм, глядя с высоты своего роста.

Потом он отослал меня спать. Укладываясь, я сказал себе, что напрасно отец отправил меня смотреть мир, ибо мир сложнее моих понятий о мире. Слишком много приходилось узнавать.

«Спаси мя, Господи, от пасти львов»,— помолился я, засыпая.

Второго дня
ПОСЛЕ ВЕЧЕРНИ,

где, невзирая на краткость главки,
старец Алинард сообщает много интересного
о лабиринте и как в него попадают

Когда я проснулся, час вечерней трапезы почти пробил. Со сна я был вроде как в тумане, ибо дневной сон с плотским грехом сходен: чем больше его вкушаешь, тем больше жаждешь и мучишься одновременно и от пресыщенности и от ненасытности. Вильгельма в келье не было — он, очевидно, встал давно. Я поискал его по аббатству и встретил выходящим из Храмины. Он сказал, что был в скриптории — листал каталог, смотрел работы монахов и пытался подобраться к столу Венанция. Но под тем или иным предлогом все бывшие в скриптории словно сговорились не пускать его к столу. Сначала его занимал Малахия, показывавший какие-то ценные миниатюры. Потом пристал Бенций — с сущими пустяками. Когда же он все-таки вырвался и сел к столу Венанция, возник, с предложением помощи, Беренгар, от которого избавиться было совершенно невозможно.

В конце концов Малахия, убедившись, что учитель до своего все-таки дойдет и вот-вот примется за записки Венанция, недвусмысленно заявил ему, что прежде чем рыться в столе покойного пусть принесет разрешение Аббата; что он сам, Малахия, хоть и библиотекарь, но не копается в имуществе мертвого; что должны быть деликатность и дисциплина; и что в любом случае указание Вильгельма не нарушается — то есть стола никто не трогает и трогать не будет, пока Аббат не решит, как быть дальше. Вильгельм заикнулся, что Аббат дал ему полномочия на дознание в любых помещениях монастыря. Малахия в ответ поинтересовался не без ехидства, получены ли полномочия обыскивать скрипторий или, Господи сохрани, библиотеку. Вильгельм понял, что задираться с Малахией не стоит. Хотя, разумеется, вся эта беготня и таинственность вокруг венанциевых

записок во много раз усилили желание с ними ознакомиться. Но до того велика была решимость вернуться ночью — хоть и неизвестно каким путем — что он предпочел не осложнять обстановку. Впрочем, надо признать, затаил желание отыграться, каковое, когда бы не от похвальнейшей страсти к истине исходило, посчиталось бы неуместным и даже возбранным.

Не входя в трапезную, мы совершили еще несколько кругов по церковному дворику, чтобы развеять сонную одурь в холодном воздухе осеннего вечера. Там же прогуливались, медитируя, и другие монахи. В саду, примыкавшем к дворику, мы заметили престарелого Алинарда Гроттаферратского, который, в последние годы скорбный плотию, большую часть дня — когда не молился — проводил на свежем воздухе. Он, похоже, не мерз и неподвижно сидел у внешнего края колоннады.

Вильгельм пожелал ему здравия. Старик был заметно рад, что кто-то к нему обращается.

«Ясный денек»,— сказал Вильгельм.

«Божией милостью»,— ответил старик.

«Ясны небеса, а на земле довольно мрачно,— продолжил Вильгельм.— Вы знавали Венанция?»

«Венанция которого? — переспросил старец.— А, который умер. Это зверь по аббатству рыщет».

«Какой зверь?»

«Из моря выходящий. О семи головах, о десяти рогах, на рогах у него десять диадим, на головах три имени богохульных. Видом подобен барсу, ноги как у медведя, пасть как у льва... Видел я этого зверя...»

«Где? В библиотеке?»

«В библиотеке? Почему в библиотеке? Я давно не хожу в скрипторий. В библиотеке не был никогда. В библиотеке никто не был никогда. Я знал тех, кто бывал в библиотеке...»

«Малахию и Беренгара?»

«Да нет...— старик внезапно захохотал скрипучим фальцетом.— Раньше. Того библиотекаря, что был до Малахии, много лет назад...»

«Как его звали?»

«Не помню. Он умер, когда Малахия был еще молод. А тот, который был до учителя Малахии — тот был помощником библиотекаря в мою молодость... Но я в библиотеку никогда не ходил. Там лабиринт».

«Библиотека помещается в лабиринте?»

«Се лабиринт величайший, знак лабиринта мирского,— размеренно возгласил старец.— Вход и широк и манит; всякий, кто входит, погиб. Никто не сумеет выбраться. Не надо ходить за геркулесовы столпы».

«Итак, вы не знаете, как пройти в библиотеку, когда двери Храмины заперты».

«Почему не знаю? — хихикнул старик.— Это многие знают. Иди через мощехранилище. Можно идти через мощехранилище. Но не хочется через мощехранилище идти. Мертвецы сторожат путь».

«Так кто сторожит путь — мертвецы в мощехранилище или те, которые блуждают ночью по библиотеке со светильниками?»

«Со светильниками? — удивленно повторил старик.— Таких рассказов я не слышал. Нет, мертвецы — те в мощехранилище. Мощи потихоньку переселяются с кладбища — охранять путь. Ты разве не видел в часовне алтарь, ведущий в мощехранилище?»

«Это в третьей слева после поперечного нефа?»

«В третьей. Может быть, и в третьей. Это в той, где на алтарном камне скелеты. Четвертый череп справа. Ткни в глаза. Попадешь в мощехранилище. Но ты туда не ходи. Я туда не ходил. Аббат не велит».

«А зверь? Где вы видели зверя?»

«Какого зверя? А, Антихриста... Он скоро явится. Тысячелетие исполнилось, и мы ждем зверя».

«Но тысячелетие исполнилось триста лет назад, а зверя все нет».

«Антихрист приходит не тогда, когда исполняется тысяча лет. Исполняется тысяча лет — начинается царство праведных. Потом придет Антихрист и разгонит праведных, а потом будет последняя битва».

«Но праведные будут царить еще тысячу лет,— сказал Вильгельм.— Либо они царили со смерти Христовой до конца первого тысячелетия, и значит, Антихрист должен был уже появиться. Либо они пока не царили, и значит, до Антихриста еще далеко...»

«Тысячелетие отсчитывается не от смерти Христа, а от Константинова дара. С тех пор прошло тысячелетие...»

«И что же — сейчас царство праведных?»

«Не знаю. Я уже ничего не знаю. Я устал. Подсчеты очень трудны. Беат Лиебанский все подсчитал. Спроси у Хорхе, он молодой, память хорошая... Но время назрело. Ты ведь слышал семь труб?»

«Какие семь труб?»

«Ты что, не слышал, как погиб первый мальчик? Рисовальщик? Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. Второй Ангел вострубил, и третья часть моря сделалась кровью... Разве не в кровавом море утонул второй мальчик? Жди третьей трубы! Смерть придет от вод. Господь карает нас. Мир вне аббатства разорен еретиками, мне сказали, что на римском престоле папа-извращенец, использует гостии для некромантии, кормит ими своих мурен... И у нас кто-то нарушил заклятие, сломал печати лабиринта...»

«Откуда вы знаете?»

«Знаю. Слышу. Все шепчутся. В аббатство вторгся грех. Бобы есть?»

Последний вопрос был явно обращен ко мне и смутил меня до крайности. «У меня нет бобов...» — робко ответил я.

«На другой раз принеси бобы. Я держу их во рту. Видишь, зубов совсем нет. Держу, пока не набухнут. Они гонят слюну, aqua fons vitae [1]. Завтра принесешь бобы?»

«Завтра непременно принесу бобы»,— заверил я его. Но старик уже дремал. Мы отошли и отправились в трапезную.

«Что вы думаете о его словах?» — спросил я учителя.

«Он в святом безумии столетних старцев. Что в его словах истина, что бред — сразу не скажешь. Но думаю, путь в Храмину он указал верно. Я ведь видел, откуда вышел Малахия ночью. В той часовне действительно каменный алтарь и высечены черепа. Так что вечером поглядим».

Второго дня
ПОВЕЧЕРИЕ,

где открывается Храмина,
в ней оказывается загадочный лазутчик,
обнаруживается записка некромантским тайным шифром,
а также на мгновение показывается
и снова исчезает книга,
которую предстоит искать
во многих последующих главах;
в довершение неприятностей украдены
Вильгельмовы очки

Ужинали в мрачном молчании. Прошло чуть больше двенадцати часов после находки тела Венанция. Все косились на его пустое место. Когда в час повечерия монахи гуськом потянулись к хору — это больше всего походило на похоронную процессию. Мы с учителем стоя-

[1] Вода источник жизни *(лат.)*.

ли службу в поперечном нефе, чтоб следить за третьей часовней. Свету было мало, и когда Малахия вынырнул из мрака и занял свое место, мы снова не смогли определить, откуда именно он появляется. Тем не менее мы шагнули в тень и укрылись в боковом нефе, чтобы незаметно для всех остаться после службы. Под плащом у меня был фонарь, запасенный на кухне во время вечери. Зажечь его я предполагал от большой бронзовой треноги, на которой огонь горел всю ночь. У меня в фонаре был новый фитиль и очень много масла. Света, добытого мной, должно было хватить надолго.

Я был слишком возбужден предстоящим походом, чтоб уследить за службой. Как она кончилась, я и не заметил. Монахи опустили на лица куколи и проследовали медленной цепочкой в направлении своих келий. Церковь опустела. Шевелились и бегали блики лампадного огня.

«Ну,— сказал Вильгельм,— приступим».

Мы пробрались в третью часовню. На подалтарном камне и точно было вырезано множество черепов. Их пустые глубокие глазницы нагоняли страх. Опорой им служила груда искусно вырезанных из камня берцовых костей. Вильгельм вполголоса повторил слова, слышанные от Алинарда: «Четвертый справа череп, ткни в глаза...»— и медленно ввел пальцы в глазницы мертвого лика. Что-то заскрипело, алтарь сошел с места, повертываясь на невидимой оси, и перед нами открылся темный проход. Посветив моим фонарем, мы увидели сырые ступени. Прежде чем спускаться, посовещались, захлопывать ли за собой тайный вход. «Лучше не надо,— сказал Вильгельм.— Неизвестно, удастся ли открыть изнутри. От погони это все равно не спасет. Тот, кто приходит ночью к подземному ходу, явно умеет открывать его. Нас обнаружат так или иначе».

Сойдя с десяток ступеней. мы оказались в глубоком переходе. По стенам шли вытянутые ниши, какие я видел позднее во многих катакомбах. Но тогда я был в оссарии впервые в жизни и очень боялся. Кости монахов в течение многих столетий выкапывались из земли и укладывались в нишах. При этом скелеты разбирались, так что в одной нише были мелкие кости, в других — черепа, уложенные аккуратной пирамидкой, чтоб не покатились. Это было жуткое зрелище, особенно в неровном свете моего прыгающего фонаря. В следующей нише лежали одни руки. Куча рук, навеки сцепившихся высохшими пальцами.

Вдруг жуткий вопль исторгся из моей груди. В скопище мертвого праха было что-то живое. Оно метнулось и визгнуло.

«Крысы»,— привел меня в чувство учитель.

«Что они тут делают?»

«То же, что и мы с тобой. Идут. Мощехранилище ведет в Храмину, а значит, в кухню. И в библиотеку, где вкусные книги. Теперь можешь понять, почему у Малахии такой трагический вид. Он ходит тут два раза в день. В самом деле не до смеха».

«А действительно, почему в Евангелии не сказано, чтобы Христос смеялся?— спросил я без видимой логики.— Что, Хорхе говорит правду?»

«Множество людей озабочено вопросом, смеялся ли Христос. Меня это как-то мало интересует. Думаю, что вряд ли, поскольку был всеведущ, как положено Сыну Божию, и мог предвидеть, до чего дойдем мы, христиане. Смотри, мы у цели».

И в самом деле, благодарение Господу, переход закончился. Пошли новые ступеньки. Толкнув толстенную деревянную окованную железом дверь, мы оказались на кухне, позади очага. Отсюда винтовая лестница вела в скрипторий. И вдруг мы услышали наверху какой-то шорох.

На мгновение мы оба замерли. Потом я прошептал: «Не может быть. До нас никто не проходил».

«Это если предположить, что проход через мощи — единственный. Но за минувшие века в этой скале, должно быть, понаделано множество других ходов. Впрочем, деваться некуда. Пошли. Погасим свет — не сможем двигаться, оставим — спугнем того, кто над нами. Остается уповать, что этот кто-то, если он действительно там есть, боится нас не меньше, а то и больше, чем мы его».

Мы вошли в скрипторий из южной башни. Стол Венанция был в самом дальнем конце. Фонарь осветил только несколько локтей пространства, а зал был очень велик. Хотелось надеяться, что во дворе нет никого, кто заметит перемещение света в окнах скриптория и поднимет шум. На столе все было вроде как прежде, но Вильгельм нагнулся, заглянул на нижние полки и вскрикнул.

«Сегодня я видел тут две книги, одну по-гречески. Она пропала. Кто-то стащил ее. И весьма поспешно. Смотри, один пергамент упал на землю...»

«Но ведь стол охранялся...»

«Вот именно. Значит, к столу подходили недавно... или только что! Возможно, вор совсем рядом.— Он обернулся в темноте и, мощно раскатывая звуки под сумрачными сводами зала, прокричал:— Если ты тут — берегись!» Эта тактика показалась мне удачной, поскольку, как и говорил Вильгельм, всегда полезно, чтобы те, кого ты боишься, сами испугались тебя.

Вильгельм расправил найденный под столом лист, нагнулся ближе и попросил посветить. Я поднес к листу свет и увидел, что он наполовину чист, наполовину исписан мельчайшими буквами, какими — я не сразу распознал.

«Это что, по-гречески?» — спросил я.

«Да, но что-то непонятное...» — Он вытащил из рясы свои стекла, насадил их на нос, затем сунулся к листу еще ближе.

«По-гречески, очень мелко и беспорядочно. Даже в стеклах трудно прочесть. Подвинь-ка свет».

Он поднял лист к самому носу, а я, не находя места, пытался пристроиться рядом и вместо того чтоб стать с фонарем у него за плечами, почему-то забежал спереди. Он велел отойти, я засуетился и почти что задел фонарем край листа. Вильгельм резко оттолкнул меня и спросил, чего я добиваюсь? Чтоб документ сгорел? И вдруг вскрикнул не своим голосом. Я взглянул и увидел, что верх страницы уже не пуст. Он был испещрен какими-то странными темно-желтыми значками. Вильгельм схватил фонарь, осторожно поднес к листу. Медленно, как будто невидимая рука чертила «Мене, текел, фарес», проступили на белом освещенном с изнанки фоне какие-то кружки и черточки — литеры неведомого алфавита, скорее всего некромантского.

«Потрясающе! — сказал Вильгельм.— Все интереснее и интереснее! — И тут же оглянулся.— Лучше не извещать о нашем открытии таинственного незнакомца. Если он еще здесь». Он снял и бережно положил на стол стекла, затем скатал пергамент в трубку и сунул в складки рясы. От всех этих таинственных событий у меня шла кругом голова. Я открыл рот, чтобы спросить. Но тут раздался резкий, как удар, щелчок. Это трещала ступенька верхнего пролета восточной, ведущей в библиотеку лестницы.

«Он там! Держи!» — закричал Вильгельм. Мы метнулись к лестнице. Вильгельм одолел расстояние в несколько прыжков. Я из-за фонаря бежал медленнее и поневоле отстал. Кто-то спотыкался, цеплялся, валился, грохотал по ступенькам. Потом все смолкло, и под лестницей в свете фонаря я увидел лежащего Вильгельма, а рядом — книгу большого формата в тяжелом переплете и с застежками из металла. Вильгельм смотрел на книгу с выражением необычайной задумчивости.

Но вдруг опять что-то метнулось, книга исчезла и тяжелый шлепок послышался где-то около венанциева стола. Это кто-то подскочил сзади и швырнул книгу в другой конец скриптория. «Ох, я идиот! — взвыл Вильгельм.— Скорее!» Мы ринулись обратно.

Вильгельм опять поспел первым. Я видел, как он шарит вокруг стола Венанция. Но вдалеке, я заметил, какая-то тень скользила по направлению к западной лестнице.

Не помня себя, я сунул фонарь Вильгельму и вслепую рванулся к лестнице. Я трепетал всем телом, как солдат Христова воинства, бьющийся со всеми легионами ада. Летя вниз по лестнице, я путался в полах рясы. Это был единственный, клянусь, единственный миг моей жизни, когда я сожалел о вступлении в монашество. Но тут же, как молния, сверкнула мысль, что и противник мой, должно быть, скован в движениях по той же причине. Вдобавок, если он сумел подобрать свою книгу,— он еще и с поклажей. Со всех ног я домчался до кухни, выскочил из-за хлебной печи и в свете звезд, бледно озарявших широкие сени, увидел черную фигуру, проскальзывавшую в дверь трапезной. Дверь захлопнулась. Я с разбегу налетел на дверь. Дернул, приоткрыл, ворвался, оглянулся — никого. Выход плотно заложен засовом изнутри. Я стал озираться. Все было тихо и темно. Вдруг в кухне засветилось. Я прижался к стене. На пороге появился человек с фонарем. Я вскрикнул. Это был Вильгельм.

«Никого? Так я и думал. Конечно, он ушел не через дверь! И не к мощам?»

«Нет, нет, он ушел отсюда, но я не могу понять...»

«Я же тебе говорил, что должны быть какие-то другие ходы. Искать их бессмысленно. Этот незнакомец уже, вероятно, вынырнул где-то в другом конце аббатства. С моими стеклами».

«Как с вашими стеклами?»

«Увы. Он не смог отобрать записку и довольно остроумно вышел из положения, захватив мои зрительные стекла».

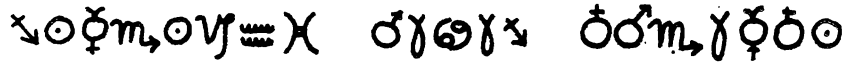
«Зачем они ему?»

«Затем, что он слышал, как мы с тобой говорили о тайной записи! Он знает ее важность и рассудил, что без стекол я ее прочесть не смогу. Притом он уверен, что и показывать ее я никому не стану. Теперь все равно — что эта записка есть, что ее нет».

«Как же он до этого додумался?»

«Во-первых, я сам объяснил их действие стекольщику. Во-вторых, я надевал их утром в скриптории, чтоб осмотреть бумаги Венанция. Следовательно, уже много людей знает, что этот прибор мне необходим для чтения. На самом деле обыкновенную рукопись я еще, может быть, и без них разберу, но, конечно, не это,— он снова раскатал загадочный пергамент,— где греческие записи слишком мелки, а то, что наверху, слишком непонятно».

Он опять приблизил лист к огню, и еще ярче — будто волшебством — проявились тайные знаки. «Венанций хотел скрыть важные сведения и взял невидимые чернила, заметные только при нагреве. А может, лимонный сок... Жаль, неизвестно, каким составом он пользовался. Все может пропасть так же внезапно, как появилось. Вот что. У тебя глаза хорошие. Давай-ка поживей перерисуй эти знаки. Только точно. И как можно крупнее». Я все исполнил — перерисовал, не понимая. Вышло четыре-пять строчек совершенно чародейского вида. Воспроизведу несколько первых знаков, чтобы дать читателю представление, с какой загадкой мы столкнулись.



Когда я все переписал, Вильгельм глянул, держа табличку в вытянутой руке. «Это секретная азбука. Ее надо разгадать,— сказал он.— Знаки, очевидно, и были худо нарисованы, а ты их еще больше изуродовал. Но все-таки можно понять, что это знаки зодиака. Видишь в первой строчке... тут у нас...— Он еще сильнее сощурился и еще дальше отодвинул табличку.— Ну-ка... Стрелец, Солнце, Меркурий, Скорпион...»

«А что они значат?»

«Если писал совсем простак, он должен был использовать самую распространенную азбуку: Солнце — А, Юпитер — В... И тогда первая строка выглядит так... Попробуем. Запиши... RAIQASVL...— Он осекся.— Нет, это бессмыслица, и Венанций был не так прост. Он перетасовал азбуку, изобрел какой-то новый ключ. Ключ мы найдем».

«А как?» — спросил я, обмирая от восхищения.

«С помощью арабской методики. Лучшие трактаты по криптографии вышли из-под пера нехристиан. В Оксфорде я читал кое-какие... Бэкон был тысячу раз прав, говоря, что путь к познанию лежит через изучение языков. Абу Бахр Ахмад бен Али бен Вашийя ан-Набати много веков назад написал свою „Книгу о горячечной страсти правоверного мусульманина к загадкам древних письмен", в которой привел множество рекомендаций, как составлять и разбирать тайные азбуки, необходимые для магического употребления, но не менее полезные и для переписки между воинскими отрядами или между царями и их посольствами. Мне попадались и в других книгах арабов довольно остроумные советы. Например, замещать одну букву другой, писать слова задом наперед, менять порядок букв: писать их через одну, а потом все пропущенные. Кроме того, вместо букв подставляются другие знаки, к примеру тут — зодиакальные. Нумеруются буквы алфавита, потом буквы секретной азбуки, потом соотносятся порядковые номера...»

«А какую систему употребил Венанций, мы не знаем...»

«Надо бы проверить все по порядку... И еще множество других... Но прежде всего при разгадывании тайного послания полагается разгадать, что же в нем говорится».

«А после этого и разгадывать незачем!» — захохотал я.

«Не скажи. Требуется вообразить, как могут звучать первые слова. А потом проверить, распространяется ли правило на остальной текст. Например... В этой записке несомненно указан путь в предел Африки. Я почти уверен. И все благодаря ритму... Попробуй сам вдуматься в первые три слова. На буквы не гляди — только на их количество... IIIIIII IIII IIIIII... Разделим эти слова на слоги по две-три буквы. Что выйдет? Та-та-та, та-та, та-та-та... Тебе ничего не приходит в голову?»

«Нет... ничего...»

«А мне приходит. Secretum finis Africae... [1] Посмотрим. В последнем слове первая и шестая буквы должны совпасть. Так и есть: в обоих случаях знак Земли. Первая буква первого слова — S — должна быть та же, что и последняя буква второго... Прекрасно. Она тоже повторяется. Знак Девы. Похоже, мы на верном пути. Тем не менее, увы, не исключается, что это цепь совпадений. Надо искать закономерность».

«Где искать?»

«В голове. Придумывать. И проверять. На эти забавы с проверками, видимо, уйдут сутки. Больше — вряд ли. Потому что, запомни, нет такой цифири, которая при умении и терпении не поддалась бы разгадке. Но сейчас у нас времени нет. Надо осмотреть библиотеку. Кроме того, без зрительных стекол вторую часть записки мне все

[1] Тайна предела Африки... *(лат.)*

равно не прочесть, и тут ты мне, к сожалению, не поможешь, ибо на твой взгляд...»

«Еллинские письмена, невразумительны зело...» — униженно лепетнул я.

«Вот именно. Теперь видишь, сколь прав был Бэкон. Учись! Но не будем унывать. Возьмем пергамент и твои выписки и отправимся в библиотеку. Я чувствую, что теперь и десять легионов ада меня не остановят».

Я поспешно перекрестился. «А кто же с нами сейчас сражался? Бенций?»

«Бенций с ума сходит от любопытства — что у Венанция на столе... Но, по-моему, на такие каверзы он не способен. К тому же он вроде бы предлагал нам союз... Да и слишком труслив, чтобы соваться ночью в Храмину...»

«Значит, Беренгар? Или Малахия?»

«Беренгар. С него станется. К тому же... Он в ответе за книгохранилище. Он терзается муками совести, знает, что выдал важную тайну, в результате чего книгой завладел Венанций. Должно быть, Беренгар старался вернуть книгу на место. Подняться в библиотеку мы ему не дали. Теперь он, надо думать, прячет ее где-то в аббатстве. Возможно, мы сумеем захватить его с поличным — если Бог поможет,— когда он понесет книгу на место...»

«Но те же мотивы могли быть у Малахии...»

«Вряд ли. Малахия имел сколько угодно времени, чтоб обыскать стол Венанция. Ведь он оставался здесь один — закрывать здание. Я много думал об этом, но помешать не мог. Теперь мы видим, что опасался я напрасно: обыска он не устроил. Делаем вывод: Малахия не знает, что Венанций пробирался в библиотеку и что-то выносил. Однако это знают Беренгар и Бенций... а также ты и я. Мог еще знать Хорхе — из исповеди Адельма,— но, разумеется, это не он с такой скоростью улепетывал по винтовой лестнице...»

«Значит, либо Беренгар, либо Бенций».

«А почему не Пацифик Тиволийский или не какой-нибудь еще монах из тех, с которыми мы сегодня говорили? И не стекольщик Николай, которому известно назначение моих линз? И не этот странный Сальватор, который, как мне намекали, неизвестно зачем повадился по ночам в Храмину? Надо всегда следить, чтобы круг подозреваемых лиц без веских причин не суживался. Этот Бенций хочет принудить нас искать только в одном направлении. Кто знает — вдруг Бенцию это выгодно?»

«С виду он честен».

«Безусловно. И учти, что первейший долг порядочного следователя — подозревать именно тех, кто кажется честным».

«Какая гадость работа следователя»,— сказал я.

«Поэтому я ее оставил. Но видишь — приходится браться за старое. Пошли в библиотеку».

Второго дня
НОЧЬ,

где удается наконец попасть в лабиринт, увидеть непонятные видения и, как положено в лабиринтах,— заблудиться

Мы снова двинулись наверх, теперь уже по восточной лестнице, так как она вела и выше — на библиотечный этаж. Фонарь плыл перед нами в высоко поднятой руке. Я припоминал рассказ Алинарда о лабиринте и готовился встретить любые ужасы.

И был удивлен, когда, вступив в таинственную запретную область, мы увидели небольшую семиугольную комнату, лишенную окон, пропахшую прахом и плесенью. Именно этот запах, как об-

наружилось после, царил на всем этаже. Словом, ничего пугающего.

Комната, как сказано, была о семи стенах. В четырех из них между вмурованными в камень столпами открывались просторные двери-проемы, увенчанные полукруглыми арками. Вдоль глухих же стен шли огромные шкапы, аккуратно уставленные книгами. Над каждым прибита дщица с номерами; то же отдельно над каждой полкой. Несомненно здесь воспроизводилась та самая цифирь, которую мы видели в каталоге. Посреди комнаты стол, на нем снова книги. Пыль на всех томах лежала не слишком толстым слоем — значит, их достаточно регулярно протирали. Пол тоже был относительно чист. На одной из стен поверх арки тянулась надпись крупными литерами: Apocalypsis Iesu Christi. Шрифт был старинный, однако надпись нисколько не выцвела. Позднее мы разглядели, что это достигалось особой техникой: буквы были вырезаны глубоким рельефом на камне, а потом залиты краской. Такая отделка часто применяется в церквах.

Мы прошли в одну из арок. Новая комната, на этот раз с окном, куда вместо стекол вставлены гипсовые пластины, две стены глухих, одна с проходом, таким же, как предыдущий, сквозь который мы вошли. За ним новая комната, в ней тоже две глухих стены, одна с окошком и одна с проходом, уводившим в следующие помещения. И в этих двух комнатах имелись надписи тем же шрифтом, что в предыдущем зале, но иного содержания. Первая надпись гласила: «Super thronos viginti quatuor»[1], вторая — «Nomen illi mors»[2]. В прочих отношениях эти две комнаты, хотя и меньшие, чем самая первая, и не семиугольные, как та, а четырехугольные, не отличались от нее убранством: шкапы с книгами, посередине стол.

Перешли в третью комнату. Она оказалась пустой — ни книг, ни вывески. Зато под окном каменный алтарь. Три дверных проема: один тот, из которого мы вышли, другой вел в семиугольную комнату — ту самую, с которой мы начали, третий уводил в новое помещение, похожее на все прежние, но с новой надписью: «Obscuratus est sol et aer»[3]. Отсюда был проход в следующую комнату с надписью: «Facta est grando et ignis»[4]. Тут других дверей не было, то есть этот зал представлял собой тупик, из которого всякому вошедшему оставалось только повернуть обратно.

«Разберемся,— сказал Вильгельм.— Пять квадратных комнат, или вернее слегка трапециевидных, в каждой по окну... Эти комнаты окружают семиугольный зал без окон, но с лестницей... Элементарно, милый Адсон. Мы в восточной башне. Каждая башня снаружи имеет пять граней, пять окон. Вот и все. Эта пустая комната смотрит на истинный восток — так же как и хор церкви,— и на рассвете солнечные лучи прежде всего озаряют алтарь. По-моему, это весьма правильно и благопристойно. Единственное, что тут необычно,— гипсовые стекла. Хитрая выдумка. Днем они прекрасно проводят свет. А ночью скрадывают все — даже лунное сияние. Вообще-то не ахти какой лабиринт. Надо посмотреть, куда ведут две остальные двери семиугольного зала. Думаю, что здесь я не заблужусь».

Учитель ошибался. Создатель библиотеки оказался хитрее, чем думал Вильгельм. Не могу толком объяснить, в чем было дело, но с тех пор как мы вышли из башни, продвигаться становилось все труднее. Попадались комнаты с двумя, а то и тремя дверьми. В каждой было по окну — даже в тех, куда мы переходили из других комнат, также имевших окна, причем полагая будто направляемся

[1] А на престолах двадцать четыре старца *(лат.)*.
[2] Имя ему смерть *(лат.)*.
[3] И помрачилось солнце и воздух *(лат.)*.
[4] И сделались град и огонь *(лат.)*.

в центр Храмины. Везде одинаковые шкапы и столы, одинаковые ряды книг. Ничто не помогало отличать одну комнату от другой. Мы попробовали сверяться с надписями. Вторично наткнувшись на вывеску «In diebus illis»[1], мы решили было, что это та самая комната, из которой мы недавно вышли. Но в той напротив окна имелась дверь, уводившая в соседний зал, определенно именовавшийся «Primogenitus mortuorum»[2]; а здесь размещенная на том же месте дверь вела в комнату «Apocalypsis Iesu Christi», то есть называвшуюся так же, как самый первый семиугольный зал, но только он был семиугольный, а эта комната — трапециевидная. Так мы пришли к выводу, что одни и те же надписи повторяются в разных помещениях. Две комнаты с вывесками «Apocalypsis» оказались совсем рядом; дальше шла комната с новой надписью — «Cecidit de coelo stella magna»[3].

Происхождение этих надписей было очевидно — Откровение Иоанна. Но мы не могли уяснить ни цель, ни логику их размещения. Еще сильнее запутывалось дело из-за того, что некоторые — немногие — вывески были выполнены в алом, а не в черном цвете.

Нас снова занесло в семиугольный первый зал (его мы узнавали безошибочно — там была лестница в скрипторий). Отсюда имело смысл продвигаться строго последовательно в избранном направлении, скажем, в правую сторону. Однако, пройдя три комнаты, мы уперлись в стену. Отсюда путь лежал только вбок, через дверь в боковой стене. Там была комната снова с двумя дверьми — ломать голову не приходилось,— а за ней цепочка из четырех комнат и опять тупик. Из тупика мы вернулись в предыдущее помещение. Оставался еще один, неизведанный проем. Мы поспешили туда, миновали какую-то новую комнату — и оказались опять в исходном семиугольном зале.

«Как называлась последняя комната, из которой мы возвратились?» — спросил Вильгельм.

Я напрягся и вспомнил. «Equus albus»[4].

«Прекрасно. Найти сумеем?»

Найти ее мы сумели. Теперь из комнаты «Equus albus» мы повернули не туда, куда прежде, а в помещение, осененное вывеской «Gratia vobis et pax»[5], а оттуда, повернув направо, попали в какую-то новую анфиладу, которая, похоже, назад не вела. Хотя и там мы натолкнулись на все те же «In diebus illis» и «Primogenitus mortuorum» (новые это были комнаты? или уже виденные?) — но зато в следующем зале обнаружили надпись определенно до тех пор не встречавшуюся: «Tertia pars terrae combusta est»[6]. И тут мы обнаружили, что запутались и уже не можем соотнести свое положение в пространстве с первоначальным — с восточной башней.

Подняв фонарь высоко над головою, я наугад шагнул в боковую комнату. И вдруг навстречу мне из темноты поднялось какое-то чудище уродливого сложения, клубящееся и зыбкое, как призрак.

«Дьявол!» — закричал я. Светильник чуть не раскололся об пол, а я, весь помертвев, забился в объятиях Вильгельма. Тот подхватил фонарь, мягко отстранил меня и двинулся вперед с решительностью, на мой взгляд сверхъестественной. Надо думать, он тоже увидел это существо, так как вздрогнул и отскочил. Затем вгляделся внимательнее, снова поднял фонарь и ступил вперед. И захохотал.

---

[1] Но в те дни когда *(лат.)*.
[2] Первенец из мертвых *(лат.)*.
[3] И упала с неба большая звезда *(лат.)*.
[4] Конь белый *(лат.)*.
[5] Благодать вам и мир *(лат.)*.
[6] Третья часть земли сгорела *(лат.)*.

«Ну, это ловко! Да тут же зеркало!»

«Зеркало?»

«Зеркало, зеркало, храбрый рыцарь. Только что в скриптории ты с такой отвагой кинулся на живого врага! А тут увидел собственную тень — и чуть не умер. Кривое зеркало. Увеличивает и искажает фигуру».

Он за руку подвел меня к стене напротив двери. Волнистая блестящая поверхность, теперь освещенная фонарем с близкой точки, отразила нас обоих в гротескно уродливом виде. Наши фигуры расплывались, кривлялись и то вырастали, то съеживались, стоило сделать хоть шаг.

«Тебе следует почитать трактаты по оптике,— с удовольствием пояснил Вильгельм,— хотя бы те, которые несомненно были известны основателям этой библиотеки. Лучшие из них — арабские. Перу Альхацена принадлежит трактат „О зримых явлениях", где с совершеннейшими геометрическими чертежами изложены свойства зеркал — как тех, которые благодаря форме своей поверхности увеличивают самые мелкие предметы (сходным действием обладают и мои линзы), так и тех, которые дают перевернутое, косое, сдвоенное или счетверенное изображение. Бывают зеркала, превращающие карлика в великана или великана в карлика».

«Господи Иисусе! — вскричал я.— Так вот откуда берутся призраки, ужасающие всех бывших в библиотеке?»

«Возможно. Во всяком случае отлично придумано.— Вильгельм читал надпись над зеркалом: «Super thronos viginti quatuor».—Это мы уже видели. Но в той комнате не было зеркала. А в этой, наоборот, нет окон, хотя она и не семиугольная. Где же все-таки мы находимся? — Он осмотрелся и подошел к шкапу.— Адсон, из-за этих несчастных oculi ad legendum[1] я совершенно беспомощен. Прочти мне несколько названий».

Я взял наугад одну книгу. «Здесь не написано».

«То есть как? Вот же надпись! Где ты читаешь?»

«Это не надпись. Это не буквы алфавита. И не греческие — их бы я узнал. Какие-то червяки, змейки, мушиный кал...»

«А, по-арабски. И много таких?»

«Довольно много. А, вот — волею Господней — одна по-латыни. Аль... аль-Хорезми, „Тавлеи"...»

«Астрономические табулы! Таблицы аль-Хорезми в переводе Аделярда Батского! Редчайшая книга! Дальше!»

«Иса ибн Али, „О зрении...", Алькинди, „О лучеиспускании звезд"».

«Теперь посмотри на столе».

Я приподнял крышку огромного лежавшего на столе тома «О тварях». Он открылся на изумительной миниатюре, изображавшей очень красивого единорога.

«Хорошая работа,— кивнул Вильгельм, который рисованные образы различал лучше, чем литеры.— А та книга?»

Я прочел: «„О чудищах различнейших пород". Здесь тоже иллюстрации, но по виду более старинные».

Вильгельм сощурился, вглядываясь в лист. «Это ирландская монастырская миниатюра примерно пятисотлетней давности. Книга с единорогом, судя по всему, значительно более поздняя, похоже — французской школы».

И снова я поразился его учености. Мы отправились дальше, прошли в следующую комнату, оттуда — в анфиладу из четырех залов, в каждом по окну, каждый заполнен книгами на незнакомых языках. В некоторых шкапах стояли сочинения по магии и оккультизму. Но в конце концов мы опять уперлись в стену и были вы-

[1] Читальных стекол *(лат.)*.

нуждены проделать весь путь в обратном направлении, так как в последних пяти комнатах никаких боковых выходов и ответвлений не наблюдалось.

«Исходя из наклона внутренних углов комнат,— сказал Вильгельм,— можно предположить, что мы в другой пятигранной башне. Но центрального семиугольного зала что-то не видно. Наверное, я ошибаюсь».

«А окна? — спросил я.— Откуда тут вообще столько окон? Не могут же все комнаты выходить на улицу».

«Почему? А внутренний колодец? Многие окна смотрят вовнутрь, в восьмиугольный двор. Днем это, вероятно, ощущается... за счет неодинаковой яркости освещения... Днем, думаю, мы сумели бы определить и взаимное расположение комнат по углу падения солнечных лучей. Однако сейчас ночь, а ночью все окна одинаковы. Пошли назад».

Мы вернулись в зал, где зеркало. Оттуда был проход вбок через третью, еще неопробованную дверь. Дальше открывалась анфилада из трех-четырех комнат. И вдруг мы заметили, что в самой последней комнате горит свет.

«Там кто-то есть!» — вскрикнул я сдавленным голосом.

«В таком случае он уже видел наш фонарь»,— глухо отозвался Вильгельм. Фонарь он, впрочем, тут же прикрыл рукой. Мы застыли. Тянулась минута, за ней другая. Свет в дальней комнате мерцал все так же, не угасая и не усиливаясь, движения не было слышно.

«Может быть, это только светильник,— сказал Вильгельм.— Один из тех, которые тут расставлены нарочно, чтоб внушить монахам, будто в библиотеке обитают привидения. Надо разузнать, что это. Ты оставайся, загораживай свет, а я подберусь и посмотрю, что там».

Я, все еще не в силах успокоиться, что свалял такого труса у зеркала, ухватился за эту возможность оправдать себя в глазах Вильгельма и поспешно перебил его: «Нет уж, пойду я. А вы побудьте тут. Я ловчее, меньше и легче. Если увижу, что там все в порядке — кликну вас».

Так я и сделал. Вжался в стену и бесшумно пересек три комнаты, крадучись, как кот — или как послушник, пробирающийся ночью в кладовую за козьим сыром (по этой части в Мельке я не знал себе равных). Вот наконец и освещенная комната. Я пополз по стене и укрылся за колонной, служившей дверным косяком. Заглянул внутрь. Никого. На столе зажжена лампада и сильно коптит. Лампада иной формы, чем наш фонарь,— больше напоминает низкое кадило, а в нем даже не горит, а как-то вяло тлеет непонятная густая масса, и все завалено легким пеплом.

Я набрался храбрости и вошел. На столе возле кадила — открытая книга с пестрым рисунком. Я глянул на страницу. По ней тянулись четыре яркие ленты — желтая, цвета киновари, бирюзового и жженой кости. Из-за лент выглядывало чудище, страхолюдное собою, некий дракон о десяти головах, цеплявшийся хвостом за небесные светила и сшибавший оные на землю. И внезапно прямо у меня на глазах эта зверюга ожила и зашевелилась. Чешуя посыпалась с ее хвоста, и как будто тысяча серебряных блях взлетела в воздух и стала кружиться вокруг моей головы. Я отпрянул и увидел, как валится вниз потолок комнаты, чтоб расплющить меня об пол. Множество змей шуршало и свистело повсюду, ходило кругами, но не страшно, а как-то даже приятно, и явилась жена одетая в свет, которая приблизила рот к моему рту и стала дышать в лицо. Я оттолкнул ее обеими руками, но руки как будто уперлись в книжный шкап, и тут же книги начали разрастаться до необычайной величины. Я уже не понимал, где я, кто я, где земля, где небо. Посреди

комнаты показался Беренгар, смотревший со злорадной усмешкой, весь сочась похотью. Я закрыл лицо руками, но мои руки почему-то переродились в жабьи лапы — скользкие, липкие, перепончатые. Наверное, я кричал. Рот залило страшной горечью. Разверзлась черная пустота, и я сорвался и ухнул в нее. Я падал... падал... Больше ничего не помню.

Очнулся я как будто через несколько столетий. Какие-то удары мучительно отзывались в моем черепе сильнейшей головной болью. Подо мной был твердый пол. Я лежал на нем, а Вильгельм хлопал меня по щекам, приводя в чувство. Мы находились уже в другой комнате: перед глазами плясала вывеска «Requiescant a laboribus suis»[1].

«Ну, ну, Адсон,— приговаривал Вильгельм.— Все хорошо, все в порядке...»

«Осторожнее,— зашептал я в ужасе.— Там чудище...»

«Никакого чудища. Я нашел тебя в бреду у изножья стола, на котором раскрыт прекрасный мозарабский апокалипсис: на левой странице жена, облаченная в солнце, на правой дракон. Я определил по запаху, что ты надышался какой-то дряни, и тут же тебя вытащил. У меня голова тоже заболела».

«Но я там видел...»

«Ты ничего не видел. Это курятся дурманящие травы. У них своеобразный запах. Арабская смесь. Вероятно, та самая, которую Горный Старец давал нюхать своим гашишинам, посылая их на дело. Вот как объясняется загадка мистических видений. Кто-то жжет по ночам зелья, дабы внушить нежелательным посетителям, будто библиотека охраняется адскими силами. Так что же тебе, собственно, померещилось?»

Я сбивчиво рассказал ему что помнил из своего кошмара. Вильгельм улыбнулся: «Наполовину это развитие увиденного в книге, наполовину — голоса твоих скрытых страхов и подавленных желаний. Из этого и слагается дурманящее действие трав. Завтра поговорю обо всем этом с Северином. Он, вероятно, знает гораздо больше, чем прикидывается... Да, тут травы, только травы. Без всяких некромантских манипуляций, о которых толковал стекольщик. Травы, зеркала... Закрытое поместилище мудрости защищено множеством хитрых и мудрых уловок. Мудрость использована для помрачения, а не для просвещения. Это мне не нравится. Какой-то извращенный ум заведует святым делом — защитой библиотеки... Тебе, Адсон, досталось сегодня. Ты на себя не похож. Идем обратно. Тебе нужна вода, свежий воздух. А эти окна открыть нечего и пытаться. На такой-то высоте... И как они могли предположить, что Адельм отсюда выкинулся?»

Итак, Вильгельм скомандовал идти обратно. Как будто это было так просто! Мы знали, что лестница вниз шла только из одной башни — из восточной. А мы-то где находились в тот момент? Всякое представление было утрачено. Мы блуждали вслепую, наобум, все больше уверяясь, что выход отыскать невозможно. Я все медленнее переставлял ноги, плелся еле-еле, терзаемый рвотными позывами. Вильгельм тревожился из-за меня и злился на себя, на то, что все его науки оказались в данном случае ни к чему не пригодными. Но, утешал он меня — а вернее, себя самого,— зато на следующую ночь уже разработан великолепный план. Мы вернемся в библиотеку (разумеется, при условии, что сумеем из нее выбраться) с кусочком древесного угля либо какого-нибудь другого красящего материала и будем оставлять на всех углах заметки.

«Чтоб отыскать выход из любого лабиринта,— ораторствовал Вильгельм,— существует только одно средство. На каждой новой развилке... новой — то есть прежде не попадавшейся... проход, из которого мы появляемся, помечаем тремя крестами. Если мы попадаем

[1] Успокоятся от трудов своих *(лат.)*.

на развилку, где уже нанесены кресты, то есть где мы уже предварительно побывали,— оставляем у приведшего нас прохода только один крест. Если помечены все двери — значит, надо поворачивать обратно. Но если какие-то проходы на развилке пока что не отмечены крестами, нужно выбрать любой и поставить у него два креста. Входя в проем, уже отмеченный одним крестом, прибавляем к нему два новых, чтоб у прохода набралось в сумме три креста. Весь без исключения лабиринт обойти удастся, если ни разу ни на одной развилке не поворачивать в проход с тремя крестами, при условии что в нашем распоряжении остается еще хотя бы один проход, тремя крестами не отмеченный...»

«Как вы все это помните? Вы изучали лабиринты?»

«Нет. Я вспомнил старинный текст, который однажды читал».

«А если все это выполнять — удается выбраться?»

«Почти никогда. Насколько мне известно. Но тем не менее попробуем. Кроме того, завтра я буду уже с линзами и смогу сам заняться книгами. Может быть, в тех случаях, когда вывески нас только запутывают, книги помогут — укажут путь».

«Будете с линзами? А как вы их найдете?»

«Я не сказал — найду. Я сделаю новые. Полагаю, что стекольщик только и дожидается случая, чтоб научиться делать такие вещи. Если, конечно, у него отыщутся инструменты для обработки стекла. А стекол в сарае полно».

Так мы брели, не разбирая дороги, и забрели в очередной незнакомый зал. Вдруг через все его пространство ко мне потянулась какая-то невидимая рука... Она ощупала мое лицо и погладила по щеке. Кто-то простонал — не по-зверски, но и не по-человечьи... Ему отозвался такой же голос в другой комнате, в третьей. Какое-то привидение пронеслось по анфиладе. Я думал, что уже привык к неожиданностям библиотеки. Но это было слишком страшно. Я дико шарахнулся назад. Вильгельм, по-видимому, тоже испытал что-то подобное, так как замер на месте, ощупывая щеку, приподняв фонарь и озираясь.

Потом он поднял руку совсем высоко, пристально следя за огнем, который почему-то заиграл живее. Подумал, послюнил палец и вертикально уставил его перед собой.

«Все понятно»,— сказал он удовлетворенно, показывая мне две щели, устроенные в стенах примерно на высоте человеческого роста. Поднеся руку, нетрудно было почувствовать, что из этих узких амбразур течет воздух — холодный воздух с улицы. А приблизив туда же ухо, я расслышал сдавленный рев. Это в щели рвался и никак не мог ворваться сердитый зимний ветер.

«Должна же в библиотеке быть система вентиляции,— сказал Вильгельм.— Иначе атмосфера станет невыносимо спертой, особенно летом. Кроме того, благодаря отверстиям достигается необходимая влажность, чтоб пергаменты не пересыхали. Но хитрость строителей этим не исчерпалась. Они расположили отверстия под особыми углами и добились, чтобы в ветреные ночи потоки воздуха, входящего в каменные поры, сталкивались с другими потоками, создавали круговороты и, всасываясь в глубины комнат, производили эти загробные звуки. Каковые, прибавляясь к действию зеркал и трав, и усугубляют панику тех безрассудных, кто рискует сунуться сюда так же, как мы — не узнав подробностей. Ведь даже мы на какой-то миг поверили, будто нам в лицо дышат призраки... Почему мы столкнулись с этим явлением только сейчас? Видимо, на улице не было ветра. Значит, еще одна загадка лабиринта разрешилась... Тем не менее как из него выйти — по-прежнему неясно».

Ведя подобные речи, мы кружили и кружили по комнатам без всякой надежды, впустую, махнув рукой на надписи, которые уже казались совершенно одинаковыми. Снова была семиугольная зала,

снова мы описали круг по примыкавшим к ней комнатам — все без толку, выхода не было. Наступила минута, когда Вильгельму пришлось признать свое поражение. Единственное, что оставалось,— это улечься тут же спать в надежде, что на следующий день Малахия нас выведет. Так мы брели, сокрушаясь о позорной развязке нашего славного предприятия — и вдруг непонятно как оказались в той семиугольной первой зале, откуда начиналась лестница. Вознеся горячие благодарственные молитвы, мы не помня себя от радости ринулись вниз.

Добежав до кухни, мы юркнули за очаг, помчались по коридору оссария — и клянусь, что зловещий оскал этих голых черепов показался мне сладчайшей улыбкою любимых друзей. Мы выбрались из оссария, пересекли церковь и, сойдя по ступеням северного портала, счастливые, опустились на какие-то могильные камни. Чистейший воздух зимней ночи вливался в грудь, как божественный бальзам. Вокруг сияли звезды, и все ужасы библиотеки разом отступили куда-то далеко.

«Как хорош мир и как отвратительны лабиринты»,— с облегчением произнес я.

«Как хорош был бы мир, если б имелось правило хождения по лабиринтам»,— ответил учитель.

«Интересно, который час»,— сказал я.

«Я потерял чувство времени. Но в кельях надо бы оказаться до того как позвонят к полунощнице».

Мы обогнули левую сторону церкви, миновали портал (я отворачивал лицо, дабы не увидеть снова жутких старцев Апокалипсиса, super thronos viginti quatuor), и двинулись через весь двор к странноприимному дому.

На ступенях палат возвышалась неподвижно и грозно какая-то фигура. Это был Аббат. Он поджидал нас. Взгляд его был полон суровости. «Я искал вас всю ночь,— обратился он к Вильгельму.— В келье вас не было. В церкви вас не было...»

«Мы проверяли одну версию...» — стал сбивчиво оправдываться тот. Видно было, что он в замешательстве. Аббат, ничего не отвечая, смерил его долгим взглядом. Потом сказал, как отрубил: «Я искал вас с самого повечерия. Беренгар отсутствовал на службе».

«Да что вы говорите!» — радостно вскричал Вильгельм. Итак, без всякого труда выяснилось, кто именно подкарауливал нас в скриптории.

«Его не было на повечерии,— повторил Аббат,— и в келью он не возвращался. Сейчас позвонят к полунощнице. Посмотрим, не появится ли он. Если нет — предвижу новое несчастье».

К полунощнице Беренгар не явился.

(Продолжение следует)

Краткий глоссарий

Аверроэс (Ибн Рушд, 1126—98) — арабский философ и врач, последователь Аристотеля.

Аквинат (Фома Аквинский, 1225—74) — знаменитый схоласт-доминиканец, систематизатор науки, автор компендиумов («сумм»): «Сумма против язычников» (1258) и «Сумма теологии» (1261).

Алан Лилльский («Универсальный доктор», ок. 1128—1202) — один из величайших философов и поэтов средневековья, бенедиктинец (цистерцианец).

Альберт Великий (Альберт граф Больштедтский, ок. 1193—1280) — выдающийся теолог и философ, доминиканец.

Альбитойцы — участники гностико-манихейского еретического движения в Южной Франции (XII—XV вв.). У истоков их учения стоит армянская секта павликиан (со второй половины VII в.), исповедовавшая абсолютный дуализм, чтившая, наряду с Верховным Богом-Отцом, Богом добра, и Бога зла — Сатанаила. Павликиане отвергали

почти все книги Ветхого Завета, опирались на Евангелие, Апостол и Апокалипсис. Следующую ступень в развитии этой ереси представляют собой болгарские и далматские богомилы (они же, по греко-славянским памятникам, манихеи, мессалиане, евхиты), придерживавшиеся воззрений умеренного дуализма. С Балкан через Далмацию ересь распространилась в Италию, где ее приверженцы стали именоваться патаренами, публиканами (публичными братьями), газзарами. В Германии и во Франции последователи богомилов получили имена катаров, текстарантов (ткачей), тулузских или провансальских еретиков. С конца XII в. они стали зваться альбигойцами.

Во всех этих объединениях проповедовались идеалы аскетического подвижничества, нестяжания и нищеты. Их доктрина соприкасалась с апостольским христианством, однако апостолики, в отличие от альбигойцев, не исповедовали дуализма. Будучи в массе отлучены от церкви, катары и альбигойцы подвергались гонениям мирских и церковных властей (Альбигойские войны 1209—1229 гг.). С 1229 по 1400 г. катароальбигойская ересь уже не составляет целостную оппозицию римской церкви, а служит предлогом для проведения политических акций королей и пап. В этот период борьба с альбигойской ересью становится прерогативой инквизиции (доминиканской, францисканской).

Амфисбе́на (греч.) — по Плинию Великому, Лукану — обоюдоглавая змея.

Анагогия (греч.) — толкование текста в высшем, символическом значении. Напр., слова Ветхого Завета «Да будет свет!» толкуются как прорицание евангельского Преображения, и проч. Данте Алигьери в XIII эпистоле к Кан Гранде делла Скала предполагает четыре уровня рассмотрения текста: буквальный, аллегорический, моральный, анагогический. Анагогия была особенно развита в иудейско-александрийском богословии (Филон Александрийский и др.).

Андроги́н (греч. «мужежена») — гермафродит.

Аполлио́н (греч. калька от евр. слова Аваддон, Абаддон) — уничтожение, прекращение бытия (Кн. Иова 28, 22; Притчей Соломоновых 15, 11). В Откровении Св. Иоанна (9,11) — имя ангела бездны.

Апосто́лики (апостольские братья) — общее наименование нескольких христианских сект XII—XV вв., последователей секты апотактиков, образовавшейся в III—IV вв. Апостолики (вальденцы, гумилиаты, лионские нищие) протестовали против обмирщения церкви и проповедовали возвращение к апостольской простоте. В XII в. апостоликами стала называться также часть катаров. Учение апостоликов исповедовали Джерардо Сегалелли (Сегарелли), Дольчино и их последователи.

Ареопаги́т Псевдо-Дионисий — греческий философ VI в.

Арима́спы — мифический скифский народ одноглазых (по Геродоту, Помпонию Меле, Авлу Геллию).

Армаге́ддон (евр.) — место Страшного Суда (Откровение Св. Иоанна, 16, 16).

Архитра́в — балка, лежащая на капителях колонн.

Бегины (бегарды) — имя, принимавшееся в XIII и XIV вв. францисканцами — полубратьями, а также братьями и сестрами Свободного Духа, когда они, спасаясь от преследований инквизиции, примыкали к мирским женским союзам бегинок (полумонашеский орден, существующий с XII в.). Но и в новом качестве бегины подвергались гонениям инквизиции.

Беда Достопочтенный (672—ок. 735) — англосаксонский монах-летописец, автор комментариев к Писанию и церковной истории англов.

Бенедиктинский орден — самый богатый и влиятельный монашеский орден средневековья. Основан Св. Бенедиктом Нурсийским в 529 г. в Монтекассино. Согласно уставу («Правилу») бенедиктинцам вменялся в обязанность труд, как физический (земледелие) так и — в первую очередь — умственный: воспитание юношества (послушников), перевод, толкование и изготовление книг, собирание библиотек. Внутри ордена существовало несколько мощных ветвей (клюнийцы, цистерцианцы и др.). Всего в XII—XIV вв. насчитывалось более 15 тысяч бенедиктинских монастырей. Именно благодаря ученым-бенедиктинцам до наших дней сохранились шедевры древнегреческой, древнеримской и средневековой литературы.

Боэций Аниций Манлий Торкват Северин (ок. 480—524) — христианский философ и римский государственный деятель, автор «Утешения философией» и переводов на латинский язык логических сочинений Аристотеля. Боэций — проводник в Европе идей греческой философии; его толкования аристотелевских сочинений в неоплатоническом духе оказали определяющее влияние на развитие средневековой мысли.

Буридан Жан (XIV в.) — схоласт, ректор Парижского университета, ученик Оккама, автор комментариев к «Этике» Аристотеля, один из главных представителей номинализма.

Бэкон Роджер (ок. 1214—92) — францисканский философ, считавший первостепенным эмпирическое изучение естественных наук. По легенде, изобретатель телескопа, пороха, очков.

Вильгельм Оккамский (Уильям Оккам, 1285—1349) — знаменитый францисканский философ и политик, главный представитель средневекового номинализма.

Гашши́ны (ассассины) — по средневековым хроникам, члены шиитской секты XII—XIII вв. (впоследствии — персидские и сирийские исмаилиты, они же федави — «жертвующие собой»). Ассассины, чаще всего в состоянии наркотического опьянения, выполняли приказы своего повелителя Гасана ибн Сабба («Горного Старца»), являя чудеса отваги и самопожертвования.

Гвельфы (от нем. княжеской фамилии Вельф) — одна из двух основных политических партий в средневековой Италии. Поддерживали папскую власть, боролись против гибеллинов — приверженцев императора. Гвельфами чаще всего были правители республик, большинство тиранов—гибеллинами. Обе партии запрещены буллой папы Бенедикта XII в 1334 г.

Глоссы — толкования текста (изначально — текста Библии), вписываемые между строк или на полях.

Го́стия (от лат. «жертва») — облатка из пресного пшеничного теста, обычно с изображением агнца и креста. Употребляется при причастии в католическом и лютеранском богослужении вместо хлеба. В восточной церкви в этом качестве употребляется просфора.

Градуал (богослужебн.) — часть обедни, между чтением послания и Евангелия.

Декреталии (эпистолы, декретальные эпистолы) — письма или послания папы в ответ на вопрос, обращенный к нему по частному делу, но разрешение которого может служить общим правилом.

Дипса́да (греч.) — ядовитая змея, укус которой якобы вызывал смертельную жажду (по Плинию Великому, Лукану, Силию Италику).

Доминиканский орден («Псов Господних»), или орден братьев-проповедников — основан Св. Домиником (1170—1221) в Тулузе как нищенский, миссионерский орден. Вскоре орден стал ревностно заниматься церковной проповедью и богословием; с первых дней своего существования вступил в борьбу с альбигойцами, обратившись к мечу. Вскоре доминиканцам была доверена высшая церковная цензура и инквизиция. Позднее они были оттеснены от этой деятельности иезуитами.

Донатисты (IV—V вв.) — последователи карфагенского епископа Доната, настаивавшие на личном совершенстве священнослужителя как залоге действия благодати. Непримиримо относились к любым провинностям священнослужителей, в том числе к совершенным до прихода их в общину донатистов.

Инвеститура (от лат. «покрытая рука»), изначально — процесс торжественной, при свидетелях передачи любой власти. Новый владелец получал, как символ власти, перчатку старого — отсюда название. В католическом церковном праве — утверждение избранных общиной или клиром или назначенных императором епископов. После Вормсского конкордата, заключенного в 1311 г. между папой Каликстом II и императором Генрихом V, церковь обладала правом самостоятельного назначения епископов (инвеститура кольцом и посохом), но таким же правом самостоятельно обладал и император (инвеститура скипетром).

Иероним Св. (330—410) — один из отцов церкви, автор многих толкований к Писанию и латинского перевода Библии (Вульгаты).

Инку́б — бес в обличье мужчины, соблазняющий спящих. См. также суккуб.

Исидор Севильский (Гиспаленский, 570—636) — испанский епископ, выдающийся ученый, автор богословских, политических, физических и исторических сочинений.

Капитул — коллегия духовных лиц, состоящая при епископе и его кафедре.

Катон (Марк Порций К. Старший, 234—149 гг. до н. э.) — римский консул, писатель, поборник строгих патриархальных нравов.

Кемпиец (Фома Кемпийский, 1379—1471) — бенедиктинский писатель-схоласт, автор «Подражания Христу», сочинения, в котором излагается набор общехристианских истин и проповедуется смирение.

Кивот (от греч. «ящик», «ларь») — поставец для св. икон; в иудейской церкви в кедровом кивоте хранится Пятикнижие; в христианской церкви — дарохранительница, ковчег для мощей.

Конгрегация — 1) союз монастырей; 2) религиозное братство, члены которого не приносили монашеских обетов.

Кремота́ртар (от лат. «татарский камень») — белый винный камень, в средние века употреблявшийся в медицине и в кондитерском деле.

Крипта — часовня под храмом, служившая для захоронения или для размещения церковных сокровищ.

Кука́на (от франц. Кокань) — по средневековым легендам, сказочная страна дураков и лентяев.

Лукреций (Сп. Л. Триципитин) — римский сенатор и городской префект при Тарквинии Гордом, консул в 509 г. до н. э., символ доблести и мужества.

Лупанарий, лупанар (лат.) — публичный дом, от lupa («волчица») — блудница, проститутка.

Манти́хор (искаж. от перс. «людоед») — баснословный индийский зверь с телом льва, лицом человека и хвостом скорпиона (по Плинию Великому).

Марсилий Падуанский (1275—1343) — политический мыслитель, утверждавший в трактате «Защитник мира» идею общественного договора, выступавший против притязаний папы на светскую власть. В 1327 г. был отлучен от церкви.

Минориты («младшие братья») — ветвь францисканского ордена. Исповедовали крайний аскетизм.

Михаил Пселл (1018—1096/97) — знаменитый византийский писатель, автор историко-мемуарного сочинения «Хронография».

Михаил Цезенский (из Цезены, ок. 1270—1342) — францисканский деятель, сыгравший крупную роль в истории ордена. Изначально принадлежал к ортодоксальному крылу францисканства — конвентуалам, вследствие этого отрицательно относился к учению и деятельности спиритуалов. Конвентуалы, осуществлявшие в начале XIV в.

руководство орденом, выдвинули Михаила на должность генерального министра. Тогда же новый папа Иоанн XXII открыл борьбу с либеральными течениями среди францисканцев и издал буллы Ad conditorem canonum (8 дек. 1322) и Cum inter nonnullos (12 нояб. 1323), настаивая на том, что и францисканцы обладают правом собственности; это явилось подрывом самых оснований ордена. Уильям Оккам, а вслед за ним Михаил Цезенский с Бонаграцией Бергамским встали на защиту традиционного учения. Так Михаил стал главой догматической оппозиции папе. В 1327 г. он был призван папой в Авиньон и над ним было назначено следствие. Не дожидаясь приговора, Михаил бежал ко двору Людовика Баварского, откуда продолжал борьбу с папой. В 1329 г. был заочно осужден и лишен сана. К концу жизни Михаил был предан Людовиком. Последующим папам легко удалось склонить францисканский орден к повиновению курии и к отказу от прежних убеждений.

Надир (арабск.) — точка, противоположная зениту. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой.

На́ртекс (позднегреч.) — притвор, помещение с западной стороны христианского храма, предназначавшееся для лиц, не имевших права входить в храм.

Оккам — см. Вильгельм Оккамский.

Палимпсест (греч.) — рукопись, нанесенная на писчий материал (гл. обр. пергамент) после того, как с него счистили прежний текст.

Парацельс Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхейм (1493—1541) — знаменитый врач и алхимик.

Подеста́ (от лат. «власть») — в средние века высшее административное лицо во многих итальянских городах и в некоторых городах Прованса, исполнявшее полицейские и судебные обязанности. Назначался на год и был облечен диктаторской властью, хотя его постановления можно было обжаловать.

Полубратья (фратичелли) — монахи-францисканцы низшего разряда, в наибольшей мере сохранявшие свои мирские связи, но в то же время считавшиеся монахами.

Понти́фик (лат.) — в Древнем Риме член коллегии жрецов; в христианской церкви — епископ, прелат, впоследствии — папа (почетное звание епископа); папа римский.

Пребенда — материальные средства, получаемые духовными лицами в виде земельных владений, домов для жительства клира, доходов по церкви, денежного жалованья.

Пруденций (Аврелий П. Клеменс, ок. 348—ок. 410) — римский христианский поэт, родом из Испании, автор гимнов, аллегорических произведений и поэмы о мучениках — «Перистефанон» («Книга о венцах»).

Респонсорий (богослужебн.) — ответная партия в антифональном, т. е. попеременном пении двух хоров.

Стагирит — прозвище Аристотеля по месту его рождения — Стагире.

Суккуб — 1) бес в обличье женщины, соблазняющий спящих; 2) тот или та, кто сочетается во сне с инкубом.

Схолия (греч.) — комментарий, пояснение.

Трага́нт (лат.), трагакант, адрагант — род камеди (растительная слизь). Добывается из коры кустарника астрагалла. В средневековье применялся в ситцепечатании, медицине, кондитерском деле и проч.

Флагелланты («бичующиеся») — участники покаянного религиозного движения, широко распространенного в Западной Европе в XIII—XV вв. Сходны с пенитентами («кающимися»), но те бичевали друг друга, тогда как флагелланты бичевали себя сами. По словам их духовного предтечи Петра Дамиани (XI в.), самоистязающиеся достигали четырех целей: 1) подражали Христу; 2) принимали мученичество; 3) смиряли плоть; 4) искупали грехи. В пример ревностного самобичевания Петр Дамиани ставит Св. Доминика, основателя доминиканского ордена.

Францисканский орден — нищенствующий монашеский орден, учрежденный Франциском Ассизским (1182—1226). Франциск углубил идею бедности, изначально присутствовавшую в христианстве, и из отрицательного признака (отречение от мира) вывел положительный идеал (бедность как подражание Христу). Традиционное монашеское отшельничество Франциск заменил апостольским миссионерством. Францисканец, отрекаясь от мира, должен был оставаться в миру.

Однако к середине XIII в. францисканцы стали верными слугами папской курии и вместе с доминиканцами осуществляли инквизицию над еретиками. Появились францисканские монастыри. Дошло до того, что нищенствующие францисканцы собирали церковные подати в пользу Рима.

Тогда же внутри ордена выделилась партия, не желавшая допускать отступлений от духа и устава ордена. Руководясь учением Иоахима Флорского, эта партия отходит от ордена и принимает имя «братьев Свободного Духа» («мужей духа» «спиритуалов»). Во главе «спиритуалов» становится Пьетро ди Джованни Оливи. Отпадает от папы и другая, более умеренная часть ордена во главе с Уильямом Оккамом, Михаилом Цезенским и Бонаграцией Бергамским. Эта часть заключает союз с противником папы — императором Людовиком Баварским.

Аль-Хорезми Мухаммед бен Муса (787—ок. 850) — автор основополагающих трактатов по арифметике и алгебре, переведенных на латынь в XII в.

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ

Два стихотворения

Перевод с английского ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА

От переводчика

Стихи американской поэтессы Денизы Левертов уже знакомы читателям «Иностранной литературы»[1]. Вскоре в издательстве «Радуга» выйдет ее большой сборник стихов.

Давняя участница антивоенного движения, Дениза Левертов прежде всего тонкий, проникновенный лирик. Может быть, поэтому в ее стихах так часто звучит нота своей личной вины — одно из главных свойств настоящего поэта.

В стихотворении «Коварство невинности» Д. Левертов рассказывает, как во время второй мировой войны дежурила в английском госпитале. Казалось бы, что невинней и благородней обязанностей сестры милосердия? Однако она вспоминает иное:

Я не любила тревожную суету,
ворчанье старух начальниц.
Но я любила власть и порядок
наших дежурств...—

и, не щадя себя, заканчивает стихотворение:

...я осталась в палате смертников,
помня, что я (жестоко, грубо,
словно охранник или солдат
в Дахау) влюблена в порядок,
придира, ангел, порхающий
между коек в тиши,
подушку взбиваю, воду
подношу к пересохшим губам
и приметы агонии заношу в карту дежурств.

(Перев. мой.— В. К.)

Так неожиданно взрывается стихотворение, обнажая выстраданную всей жизнью безжалостность к себе. И на свой же вопрос, кто в ней воспитал это чувство всепоглощающей справедливости, Дениза Левертов ошеломляет нас ответом: Чехов.

Казалось бы странно: американский поэт-бунтарь (как известно, она выступала против американской агрессии во Вьетнаме, против политики американцев в Чили, Никарагуа, Сальвадоре) находит свои истоки в Чехове, в одном из самых гармоничных прозаиков мира. Но Дениза Левертов так искренне и незащищенно вспоминает о своей юности и чтении Чехова, так ностальгически звучат ее строки, что им сразу веришь и понимаешь, что этот поэт-бунтарь тоже дитя гармонии.

Поэтому ей так близок Пастернак, которому она посвятила стихотворение и с которым она переписывалась в его последние опальные годы. (К сожалению, письма пока не разысканы семьей Бориса Леонидовича.)

Два стихотворения Денизы Левертов говорят о нерасторжимости наших культур, что особенно важно сегодня, когда мы, разрушая опостылевший всем «образ врага», хотим видеть в американцах партнеров и сотрудников.

© Denise Levertov, 1978

[1] Стихи Д. Левертов см. также в «ИЛ», 1966, № 9; 1972, № 10; подборку из статей и лекций о поэзии см. в «ИЛ», 1976, № 10; см. также антологии «Современная американская поэзия», М., 1975 и «Поэзия США», М., 1982.

*Чехов в Уэст-Хите**

Джиму Макконки,
который побудил меня написать эти стихи,
и Реббеке Гарнет,
которая была и есть «Бет».

Девушка сидит в инвалидном кресле,
ее подруга толкает кресло.
Они движутся от Хит-Мэншнз
мимо Фентон-хауз вдоль длинной садовой ограды.
Руки калеки, когда та говорит,
изящно очерчивают изгибы облака.
Девушка помоложе попала в фокус;
откуда я так хорошо знаю
мой собственный затылок? Я могла бы
прикоснуться к длинной косе... Ах,
вот оно что: девушка пишет,
как на картине Коро «В мастерской»,
с головою уйдя в свою работу,
а лицо ее скрыто. Это я,
я вздрогнула, когда увидела
этот холст.
Узкими улочками они всходят на холм,
немощеный проулок выводит их
на бульвар, где несколько
кривых скамеек, чахлая травка
и уходящий на север проспект.
Это Хампстед. Это
Джаджес-Уок. Это тыща девятьсот
сорок первый год.
Война? Для них она была неизбежной;
ее предрекали, когда они были детьми,
и она пришла. А это значит,
прочь уроки балета. Бетти больна,
и я начинаю писать маслом.
Война — это просто
состояние мира, в котором они родились.
Они разделяют
богоявление своего одиночества,
никого не встречая, не болтая ни с кем
из сверстников. Они покамест не знают мужчин
и тайн пола. Зато ежедневно
они живут! Живут
напряженно. Запахи тайны
умягчают воздух
под черными тополями.
И Бет, глядя на иву и боярышник
между низиной и крутыми взгорками,
говорит, что ей бы хотелось летать
в дымке весенней
с дерева на дерево.

Часто-часто, когда они говорят и созерцают,
в этом году и в следующем,
Чехов с ними.
С нами.
Темно-зеленые томики,
неуклюжие старательные переводы.

* Детство и юность Денизы Левертов прошли в Англии, она переехала в США после замужества в 1948 году.

Мы читаем бессистемно,
мы даже не пытаемся прочесть их все подряд,
веря в их беспредельную щедрость.
Волосы Бет,
блестя, ниспадают ей на лицо. Ее руки
тонки. Но дух,
сотканный из шелка, растет в ней, будто
уходящая телесная сила была коконом,
и словно благодаря этой
непостижимой слабости, ум ее обретает свободу
и будит во мне поэта.
Дома, в одиночестве, когда нет Бет, я пишу, рисую,
читаю без передыху, учу «Für Elise»
(нещадно жму на педали),
помогаю по дому или отлыниваю
и жду.

Что внушал нам Чехов? Кто был этот Чехов,
обходящий Уайтстоновский пруд,— он
с рукой, покоящейся на кресле,— идущий по Хит-стрит,
повествующий историю Каштанки в унылой комнате больной
там, в Хит-Мэншнз?
Ах, пусть
печаль юности
еще окутывала нас,
пока воздушные тревоги и сводки
были частью каждого грозного дня и в сполохах страха
нам виделось вторжение. Англия и Европа,
погруженные в вечный кошмар;
и хотя Бет
угасала месяц за месяцем, и никто не знал почему —
мы были открыты жизни и надежде: это он давал их нам,
щедрый, точный, вбирал нас
в прожилки прозрачного зеленого листа,
зажигал гнилушки наших сердец,
солнце било в стекло,
чтобы освободить дремлющий в нас огонь.

Когда Черный Монах
стремительно приблизился к нам, смерч, столб, выросший
из точки
до гигантских размеров, и затем — уменьшенный до людского
роста,
и неслышно нас миновавший — прошедший сквозь толщину стволов,
чтобы, как дым, исчезнуть,
мы были возбуждены его властью
и не задавали вопросов. Мы знали
все и ничего, ничего и все.
Постигнув подлинность, но не умея
ее назвать, мы понимали, что в этом рассказе
вымысла нет, есть лишь правда, нас тоже
«звал большой сад
с роскошными цветами...
сосны с мохнатыми корнями,
ржаное поле, своя чудесная наука,
своя молодость,
смелость, радость...» Вот каким был Чехов.
И невеста, готовая слушать и слушать,
как другая, не праздная жизнь зовет ее, и невеста *впрямь*
вырывается на свободу и едет учиться — более того,

возвращается и снова, свободная, уходит в новую жизнь
(потому что умирающий человек, не в силах сам
освободиться, передал ей
это видение), в суровое, чреватое революцией будущее,
решенье *ее* было для всех нас
тем же, чем его слова для нее,— она была Чеховым,
который неузнанным проник в наши отданные мечтам дни.
Она была рядом с Бет, когда Бет,
женщина с взрослыми детьми, так непохожая
на девушку в инвалидном кресле, женщина
с годами борьбы за спиной, выносливая
и все же боязливая,— начала, не взирая на страх,
учиться, учить. И *рядом со мной*
в Беркли, Бостоне, Вашингтоне, когда мы не отходили
перед шеренгами полицейских или когда пели: «Шагай,
не беги», отступая перед дубинками и газом,
постигая,
как действовать в этом мире.
Она, Невеста,
чей брак был не с женихом, а с ее насущной
жаждой расти, работать, чеховским
«Святая святых — это человеческое тело,
здоровье, ум, талант, вдохновенье, любовь
и абсолютная свобода,
свобода от силы и лжи»,— была
тем Чеховым, которого мы знали.

Что он значил для нас,
мы и нынче не вполне понимаем. (И что значила Хит,
рядом с которой всегда жила Бет,
и хотя прошло много десятилетий, разве я забывала,
что значила Хит в наших жизнях? Место, где мы родились,
приносит нам, когда мы возвращаемся,
новые тяготы.) Что он значил
и продолжает значить, не уложить
в законченное определение. Но это связано
не с неудачами, поражением, унынием,
не с той Москвой, куда так и не уехали,
а с любовью.
Стальной клинок
его презрения к жестокости и злобе светился
над нашими защищенными головами, почти не замеченный,
а ирония и вовсе была нам недоступна,
мы пока еще не могли вместе с ним смеяться; и все же
начатки честности и сострадания
достигли нас, мы вдохнули их
под благоухающими листьями военного Лондона с тем,
чтобы выстоять в другом месте все эти бурные годы.
Как мы смогли
в рассеянном невежестве мечты распознать
«тонкую, едва уловимую красоту человеческого горя».
И все равно из-под темно-зеленого переплета
она поднялась, просочилась в нас, готовая
ждать своего часа. Человек, хотевший заказать кольцо
с надписью: «Ничто не проходит»,
сын богатого человека, окрещенный в городе
«Маленькой пользой»,
переносивший утрату за утратой, который
«остался с прошлым»,
он тоже, преодолев отчаянье,

нес в себе семена перемен, ви́дение, прозрение
и видел не только то, *что есть, но и что могло бы быть,*
он тоже был тем Чеховым, которого мы знали, сами того не зная.

И когда мы смотрели вдаль
в туманную дымку с этого холма,
знакомого еще Китсу и Констеблю —
с места, возведенного не так из земли, как из слоев
человеческой отзывчивости, с маленького холма
во времени, в истории,—
твоя улыбка, Чехов, «нежная, очаровательная, ироничная»,
заглядывала нам через плечо и еще заглядывает нынче,
половина нашей жизни прошла, а то и больше,
пока мы обернулись посмотреть,
кто ты был, кто ты есть, вездесущий, живой,
светлый прах.

Памяти Бориса Пастернака

I

За день до его смерти бабочка,
что попала в город, возможно, с грузовиком,
на полчаса сбила меня с пути или с того,
что я приняла за путь. В обмороке лежала
она на третьей ступеньке в подземку.
Я ее подняла — почти неживую. Куда
мне ее унести, оградить
от быстрых ног и от грубых рук?
Мы вместе шли по жарким проспектам,
она легла доверчиво на мою руку,
я с трудом ее защищала от пыльного
ветра, а блеск океана
пронизывал бетонные просторы.
Но вот я нашла
клочок зеленого сада,
положила ее и молча ушла.

Это была не его душа —
она, я знала, всегда на русской земле,—
но во мне откликнулось что-то,
когда она, темная, тонко —
крылая, в алых пятнах,
лежала на лестнице в преисподнюю,
и ради нее я пошла туда,
куда идти не хотела: она была словом,
духом слова, она повторила
его слова: «Я чувствую,
что мы будем друзьями».

II

Увиденный как бы
его глазами (его даром) серый сарай,
дорога в лесу,
мертвый птенец бекаса, которого я погребаю среди

листьев лесной земляники, все
парит, поднимается, чтобы заговорить:

и глухая душа
борется, стремится прочесть по губам
то, что ей нужно, и тотчас ей отвечает,
словно словами, движением облаков
и неподвижным изгибом дороги, что-то
смутно угаданное, но пробравшееся
через кордон задремавшего ума
сутью и направленьем. Я помню
свой сон две ночи назад и голос:
«Художник должен
открыть себя или родиться вновь».

■

ЧЖАН СЯНЛЯН

Мимоза

ПОВЕСТЬ

Перевод с китайского ***ИЛЬИ СМИРНОВА***

1

Громоздкая повозка с трудом преодолела крутой выгиб скрипучего дощатого моста, и мы оказались в госхозе, где отныне нам предстояло трудиться.

Под мостом — пересохшее за зиму русло оросительного канала, трава по откосам пожухла и словно оцепенела, скованная коркой льда; крохотные ящерки, встревоженные колесами повозки, мечутся, шурша в траве. Мост убог до невозможности. Бурый земляной накат уже взбит в пыль множеством колес. Уложенные под слоем земли вязанки тростника лохматятся по обеим сторонам настила и кое-где неряшливой бахромой касаются грязного дна канала; от этого мост кажется шире, чем он есть. Возница не слез с повозки, даром что три клячонки шарахались, задыхаясь, из стороны в сторону, вращали белками безумных, невидящих глаз, шумно пыхали клубами белого пара. Он только, стиснув колени, уселся поплотнее на дышло и с замечательным умением удерживался в этом положении, покуда повозка преодолевала словно изрытую волчьими ямами поверхность моста.

Бедные животные были едва ли в лучшем виде, чем я, отощавший до последней крайности. При росте в 1 м 78 см я весил 44 кг — на столько тянул мой костяк, обтянутый кожей. Правда, лагерный врач, осматривавший меня перед освобождением, сказал с похвалою: «Неплохо, неплохо... Выжил-таки!» Ему показалось удивительным, что я остался жив, и он готов был порадоваться вместе со мной моей удаче. А бедные животные не вызывали сострадания ни в ком. На прямых, как палки, шеях мотались худющие, костлявые головы, зрачки закатились за края глазниц, а разомкнутые от натуги челюсти открывали ущербные ряды желтых зубов. Чалому мундштук глубоко врезался в край рта, текла и текла кровь, капли шлепались на дорогу, отчетливо алея на изжелта-бурой земле.

Возница по-прежнему восседал на дышле повозки, равнодушно, без тени печали уставясь в неоглядную даль. Время от времени он машинально пощелкивал кнутом. И всякий раз его клячи испуганно прядали ушами. Особенно боязлив был чалый с окровавленным ртом, хотя возница и не собирался, кажется, бить его.

Равнодушие возницы понятно. Голодал? Экое дело! Не помер — и порядок, обязан вкалывать! Голод — это будет пострашнее кнута, он начисто вытравливает из души сочувствие и жалость.

Но в конце концов я не выдержал. Поглядывая на лошаденок, еще более отощавших, чем я сам, со всем дружелюбием, на какое способен человек, десять лет голодавший, я спросил:

— Скажите, пожалуйста, уважаемый, далеко ли еще до центральной усадьбы госхоза?

Он, конечно, слышал меня, но даже не оглянулся, не удостоил внимания; в том, что на лице его не появилось презрительного выражения, и было величайшее презрение. Одет он в черную куртку на вате, не вполне новую, с ровным рядом матерчатых пуговиц от ворота до низа. Это делает ее похожей на камзол европейского дворянина XVIII века Впрочем, и сам возница, хотя правит всего-то тремя отощавшими клячонками, вид имеет гордый и неприступный.

Я почувствовал только легкую неловкость. Что до презрения, то к нему я притерпелся и вовсе перестал его ощущать. Мне по-прежнему весело. Сегодня я покинул лагерь и вступил в новую жизнь. Как сказал политрук, теперь я «сам себе кормилец». Никто не испортит моего настроения.

На самом деле мы пересекли только границу госхоза, и до первого жилья еще ехать и ехать. Вокруг ни домишка. Госхоз отделен от лагеря оросительным каналом. Выехали мы рано, около девяти, но дотащились только сюда, хотя, судя по солнцу, время уже за полдень. Небо над головой все то же, да и здешние поля очень похожи на те, за каналом, но узкая его лента отделяет свободу от несвободы.

По обе стороны дороги — нескончаемые рисовые поля. Стерня неопрятная, со слишком высоким жнивьем, неровным и разлохмаченным — сразу видно, что жали тупыми серпами. Неужели и в госхозе такие же лентяи, как там, в лагере,— серпы не могли наточить? Впрочем, мне-то что за дело? Жаль вот, что вокруг не поля кукурузы, можно было бы разжиться початками.

Увы! Здесь нет кукурузных полей.

Солнце ласково припекает. От подножия западных гор, как и в минувшие погожие дни, тянется вверх слоистый туман, придающий вершинам необыкновенно нежный, молочно-белый оттенок. В небе ни облачка. Насколько хватает взгляда — голубой окоем над необозримыми полями. Цвет небосвода не одинаков: по краям он бледнее, прозрачнее, а там, далеко, где небо сливается с землей, плывет-струится белесая туманная дымка. И какими-то особенно побуревшими выглядят под этим небом обнаженные поля. Я начинаю чесаться. Блохи, почувствовав тепло, торопливо выбираются из швов и складок одежды. Когда блохи не кусаются, эти злыдни — вполне милые создания, они даже не дают тебе ощутить собственное одиночество или обездоленность, более того, ты как бы в ответе за их жизни: кто, как не ты, накормит этих крошек!

На развилке повозка двинулась по другой дороге, которая протянулась с севера на юг, вся в глубоких грязных колеях. Тут только я обнаружил, что мои спутники не бредут вместе со мной вослед повозке; они куда-то исчезли. Я огляделся. Почти уткнувшись носами в землю, они что-то высматривали в поле с таким напряжением, словно бы вникали в труднейший старинный текст. Худо дело! Из-за своей близорукости я всегда все упускаю. Они уже нашли что-то съедобное.

Я раздвинул сохлую траву на обочине, перебрался через одну канаву, через другую и пустился со всех ног исправлять собственный промах. Начальник (так мы прозвали бывшего заведующего коммерческим отделом универмага) уже держал в руке морковку и счищал с нее грязь перочинным ножом; скосив глаза, он заметил меня и, надувшись от самодовольства, пробормотал: «Слава предкам!»

Так всегда говорили в лагере, если случалась какая удача. Попадался в похлебке нерастворившийся комок муки; твоя лепешка из просяного жмыха оказалась потолще, чем у других; выпадала работа полегче или такая, на которой можно разжиться чем-нибудь съестным, или врач, благо был в добром настроении, вдруг разрешал выйти только на полсмены, а то и вовсе остаться в бараке... В подобных случаях изрекали, глубокомысленно покачав головой: «Слава предкам!» «Слава» полагалось произносить эдак протяжно, словно бы смакуя, ну, как русские выводят свое «ура-а-а!».

Я скользнул взглядом: да, немаленькая досталась ему морковка! Вот уж действительно везунчик. «Начальник» тоже из «правых». Впрочем, если послушать, как он описывает свое прошлое, станет ясно: ему гораздо больше пристал бы ярлык «разложенец» или «перерожденец». Он сам чувствовал эту несправедливость и сообщал по секрету, что «правым» его определили в универмаге, где он работал, только чтобы выполнить разнарядку. Когда на собрании по самокритике он узнал, что все мои предки — деды, прадеды, прапрадеды — числились в исторических хрониках, древних и не очень древних, по разряду «знаменитостей», а отец ко всему еще был буржуем и управлял фабрикой, он, таясь, прошептал мне с нескрываемой завистью: «Такие, как ты,— это настоящие «буржуазные правые»! Что называется, гульнул вволю, покутил на славу, сладко поел, крепко попил! А люди вроде меня с детства бедовали, потом война, и на́ тебе — «буржуазные правые»! Если бы — мать их растак! — я хоть нюхнул этой буржуазной жизни, не жаловался бы: ладно — «правый» так «правый»...»

Начальник не стал относиться ко мне лучше, напротив, никогда не упускал случая поглумиться или выказать свое превосходство. Он был много старше меня, но и слабее физически; редкая грязноватая поросль бурой бороденки, две непременные капли под носом. Драться он не смел, но, стараясь вызвать во мне зависть, щеголял посылками с воли да своей удачливостью — чтоб я слюной голодной изошел. В мучительстве он знал толк. Правда, и я Начальника терпеть не мог и мечтал избавиться от него, но это было невозможно. Оба мы считались «правыми», а всем «правым» полагалось держаться вместе. И теперь, освобожденные из лагеря, но лишенные службы и городской прописки, мы опять будем вместе в этом госхозе.

Морковное поле. Его не спутаешь с плантацией турнепса, ибо морковь не сажают на грядках, а сеют, как траву, сплошняком. В такой тесноте морковка нередко родится мелкой и собрать ее полностью почти невозможно. Но это поле обшарили уже не раз, да и земля промерзла — сколько я ни искал, сколько ни скреб ногтями — ничего. Начальник между тем устроился поудобней и захрустел, захрумкал, словно сахар жевал; он чавкал и хлюпал, намекая на необыкновенную сочность и сладость своей морковки.

— Ух, хороша! Ну, вкуснотища! — нахваливал он, проглатывая кусок за куском.

Такую морковь можно отыскать только в скованной морозом расселине. Это я понимал. Внимательно исследовал малейшие трещины, бороздки, канавки — опять ничего. Может, здесь... или здесь... нет, видно, моркови почти не осталось, и требовалась удачливость Начальника, чтобы отыскать хотя бы одну.

Но сегодня я вовсе не огорчен. Выпрямившись, заставляю себя широко улыбнуться и спешу напрямик через поле, чтобы побыстрее выбраться на дорогу и догнать повозку с нашими пожитками.

2

Да, нынче у меня замечательное настроение. Утром, во время последнего лагерного завтрака (мы уже не имели права есть вместе с заключенными), возле раздаточного окна я сошелся со знакомым мне по лагерной санчасти преподавателем философии одного известного университета. Его тоже должны были освободить, и он дожидался заявки от какого-нибудь госхоза.

— Что, Чжан Юнлинь, уезжаете?

На нем была форменная лагерная куртка вся в пятнах и подтеках на груди, но держался он с неподдельным изяществом и дружески пожал мне руку. И слова и жест его были из какой-то иной жизни. Я мгновенно перенесся в тот, когда-то столь близкий мне мир. У раздаточного окна, в грохоте лагерной кухни я тоже старался выглядеть и говорить как подобает истинно воспитанному человеку.

— А ваша книга... Как быть с ней? Вернуть ее вам?..

— Нет, не стоит.— В одной руке у него была суповая миска, а другой он сделал протестующий жест — так на вечеринке отказываются от коктейля.— Это мой вам подарок. Может быть...— В его взгляде мелькнуло некоторое превосходство.— Может быть, прочитав эту книгу, вы поймете, почему с нами случилось все это.

— С нами? Вы имеете в виду вас и меня или...— Я оглядел толпу заключенных, дожидавшихся еды. Кто-то жаловался, что повар наклоняет черпак, и яростно требовал долить ему миску до краев.— Или... нашу страну?

— Запомните...— Его палец уперся мне в грудь (моя куртка тоже вся в огромных пятнах от супа); он говорил с характерными интонациями преподавателя: — Наши судьбы неотделимы от судеб нашей страны!

Меня поразило, как он это сказал. Здесь, где свобода была угнетена до предела, его мысль парила, ничем не стесненная. Мечтая, чтобы это пиршество духа длилось и длилось, я все-таки время от времени бросал взгляды на раздаточное окно (к нему нельзя опоздать, уж если оно захлопнется, то повар в наказание оставит тебя голодным; а если и умолишь его, то порция все равно будет неполной), но продолжал говорить ему с подобающей серьезностью:

— К сожалению, первая глава дается с трудом. Эта диалектика... эти абстрактные рассуждения о возникновении стоимости товара.

— Читайте Гегеля!

Этот совет был подан таким тоном, словно в моем распоряжении целая библиотека и я могу читать что пожелаю. Он нахмурился:

— Гегеля прочитать необходимо! Совершенно необходимо. Марксизм неразрывно связан с гегельянством. Прочитав Гегеля, вы легко усвоите первую главу «Товар». Тогда у вас не будет сложностей ни со второй главой, ни с третьей, ни даже со вторым отделом — «Превращение денег в капитал».

— Да, да, конечно,— я вежливо закивал. Мне часто приходилось видеть, как институтские преподаватели вот так вежливо кивали друг другу.— «Предисловие» уже увлекло меня. Жаль, что раньше я читал только беллетристику...

Наша высокопросвещенная беседа завершилась как раз вовремя. Едва он отошел, бережно унося свою миску с похлебкой, я метнулся к раздаточному окошку и сунул внутрь свою консервную банку; повар уже собрался захлопнуть ставень.

— Где тебя носит, мать твою!..

— Помогал грузиться в дорогу.— Я изобразил смирение, а потом заискивающе улыбнулся: — В последний раз ем.

— А-а,— повар оглядел меня и добавил к причитавшейся порции добрых полчерпака.

— Спасибо, спасибо! — Я суетливо закивал головой.

— А ну, постой.— Другой повар, постарше, вытер пухлые, распаренные руки, подошел к окну и уставился на меня.— Значит, тебе, сукин ты сын, удалось выскочить аж из самой что ни на есть могилы?!

— В самую точку попали! — Его свойский тон удивил меня и родил в душе несбыточные надежды.

— Нелегкое, скажу тебе, дело! — Я не верил своим глазам: прямо от окна он дотянулся до котла, достал пару вчерашних просяных лепешек и, буркнув «Держи!», шмякнул их в мои похожие на куриные лапки ладони.

Не дожидаясь благодарности, повар с грохотом захлопнул черный скрипучий ставень. Что им чужая признательность, у них уши вянут от каждодневных благодарственных речей. Вот уж воистину «Слава предкам!»... В моей жестянке полуторная порция овощной похлебки, да еще две просяные лепешки. Две! Это вам не одна! На целый день хватит: утром — одна, вечером — другая. А какова похлебка — наваристая, густая, что твоя каша!

Заполучить похлебку погуще — эта задача постоянно занимала наши умы. Положив в котел соль, похлебку могли или перемешать, или оставить как есть. Повара твердо усвоили, что следует исходить из собственных потребностей. Если перед раздачей они перемешивали похлебку, то вся гуща оказывалась на поверхности, и первые в очереди ликовали: «Слава предкам!» Если повара медлили и гуща успевала осесть на дно, радовались те, кто стоял в хвосте очереди. Последнее обычно происходило, когда сами повара не успевали поесть перед раздачей — и тут они и оставляли осевшую гущу себе «на потом». Повара мечтали, чтобы мы побыстрее закруглялись с едой — они раньше освободятся. Никто никогда не знал заранее, какое настроение сегодня на кухне. Кроме того, нас, едоков, очень много, требовалось десять огромных, в человеческий рост, деревянных бочек, и было невозможно пронюхать, в какой именно припрятали повара для себя лакомые кусочки. Словом, получить гущу труднее, чем предсказать мировой экономический кризис, можно уповать только на удачу, на везение.

Сегодня мне повезло. И это произошло как раз тогда, когда я начинаю новую жизнь. Не правда ли, добрый знак? Так что я вполне счастлив.

3

Честно сказать, я всегда съедал больше других заключенных, особенно если давали похлебку, а не лепешки — тогда мне удавалось заполучить граммов на сто больше. Весь фокус в моей консервной банке.

С того весеннего дня 1959 года, когда нас перестали кормить рисом и перешли на похлебку, в лагере возникло поветрие использовать для еды миски побольше — чашки вскоре вообще вышли из употребления. Повара накладывали порцию за порцией с такой скоростью, что в чашку попадало далеко не все: что-то оставалось на дне черпака и возвращалось в общий котел — чистый убыток; зато в широкую посудину из черпака выливалось полной мерой. Умывальный таз слишком велик, его трудновато просунуть в раздаточное окно, хотя уж в такую-то емкость попадет вся еда, без потерь. Значит, требуется что-нибудь поменьше умывального таза, но побольше чашки — скажем, детский тазик. Время стояло нелегкое, и, конечно, со всякой посудой было туго. Впрочем, Начальник исхитрился-таки. Я думал, что он давно перетаскал все из своего универмага к себе домой. Его жена, которая каждый месяц навещала мужа и была такой же мерзкой, как он, предлагала то одному, то другому из нас «устроить» детский тазик. Конечно, они ничего не делали «за так».

Он постоянно хвастался передо мной тем, что и здесь, в лагере, он по-прежнему сохраняет «худо-бедно кое-какие ходы-выходы там, на воле». Как паук раскидывает свою паутину и ждет, пока попадется мотылек, так и он ждал, что я попрошу его о чем-нибудь.

Иногда он принимался гримасничать, балагурить, только бы вызвать у меня улыбку, но я упорно не попадался на его уловки. У меня не было и медяка за душой, я не получал с воли продуктов, ничего, чем можно было бы оплатить услуги этого торгаша. Моя мать жила в Пекине из милости у чужих людей, перебиваясь тем, что плела веревочные кошелки, и едва зарабатывала десять юаней в месяц, было бы бессовестно требовать от несчастной старухи каких-то посылок. И я устраивался сам как умел. У меня была с собой двухлитровая банка из-под американского сухого молока, единственное свидетельство моего буржуазного прошлого. Я обмотал горловину проволокой, сделав ручку, и жестянка превратилась в подобие котелка. И хотя отверстие у моей посудины было не больше чашки, так что часть похлебки проливалась мимо, но выручала глубина — в самодельный котелок все равно входило больше, чем в любую миску. К тому же поварам казалось, что они меня обделили, и мне всегда добавляли еще немного. И это «немного» бывало поболее того, что проливалось мимо.

Всякий раз, отходя от раздаточного окна, Начальник словно нарочно демонстрировал мне свой новенький детский тазик с нарисованным на нем котенком. Я без труда заметил, сколько там обычно похлебки — как раз на полкотенка. Однажды, когда все ушли на работу (меня освободили по болезни), я налил в свою жестянку ровно столько воды, сколько в нее влезало похлебки, и перелил потом эту воду в его тазик. Эксперимент неопровержимо засвидетельствовал: мне достается граммов на сто больше! Вода замочила даже поднятую лапку, в которой котенок держал полотенце.

Эти сто граммов были результатом умелого использования несовершенства человеческого зрения.

Вот где пригодилось мое образование.

Но у тазика были свои преимущества: его удавалось дочиста вылизать. Тут Начальник обладал несравненным мастерством. Нет, он не утыкался носом в свою посудину, чтобы постепенно выбрать все до дна,— наоборот, он задирал голову, высовывал язык и начинал двумя руками быстро-быстро вращать поднятый над головою тазик. Больше всего в этот момент он напоминал стеклодува, выдувающего какой-то круглый сосуд, или уйгура, танцующего под ритмичные хлопки поднятых ладоней. Вскоре этот способ распространился среди всех, кто приобрел через Начальника такие же тазики.

Как же я терзался, что мою банку невозможно вылизать! Единственное, что мне оставалось,— это тщательно выполаскивать ее после еды и выпивать обмывки. И еще жестянке грозит ржавчина. Поэтому каждый раз я насухо протирал ее полотенцем и выставлял к окну на сквознячок. Это, конечно, вызывало недовольство Начальника. На еженедельном собрании по критике и самокритике он отметил, что я «не изменил своих буржуазных привычек, чуждых образу жизни трудящихся». Пусть его упрек и не вполне был лишен оснований, но мысль о добавочных ста граммах согревала мне душу.

Таковы были наши взаимоотношения: он уверовал в собственное превосходство — и материальное и моральное,— а я полагал, что дело обстоит ровно наоборот.

И вот сейчас мое превосходство над ним представлялось особенно очевидным. За завтраком я получил лишний черпак похлебки, густой и наваристой; она еще не полностью переварилась в желудке и продолжала питать организм калориями. А ему досталась пустая жижа. Ладно, он хрумкает своей морковкой, а вот как у него насчет лепешек? Да никак! Нету — и все тут! А у меня в кармане целых две, две настоящие лепешки. Когда захочу — достану и съем. Сейчас вот не хочу — и не ем. Стоп, так нельзя. Удача не должна опьянять, она может вмиг обернуться бедой. Этому меня научили четыре года лагерей.

— Поторапливайтесь! Отстаем! — крикнул я тем, кто продолжал рыскать в поисках морковки, и поспешил за повозкой.

Был и еще один повод ощутить свое превосходство. Сегодня я могу сойти с дороги, могу перебраться через канаву, могу искать морковку в поле (найду или не найду — другой вопрос), могу в любой момент отстать от повозки и догнать ее когда захочу, сегодня я наслаждаюсь независимостью — я подчиняюсь только собственной воле, а не приказам бригадира и не обязан докладывать ему о каждом своем шаге. Я счастлив.

Начальник, конечно, в таком же положении, но между нами огромная разница. Он пользуется своей свободой неосознанно, бездумно, не понимая того, что обрел. Все дело в уровне духовности. И я чувствую свое превосходство. Чувствую несмотря на то, что не сумел отыскать морковку. Ничего, зато я духовно богаче. Уверенный в моральной победе, пыжась от гордости, поспешаю я вослед повозке

— Эй, поторапливайтесь! Наш барич приказывать изволят! — прозвучал за моей спиной язвительный голос Начальника.

Вскоре отставшие уже шагали рядом.

Повозка, клонясь и подскакивая на ухабах, катила вперед. Рот у чалого перестал кровоточить, черные сгустки запеклись на разорванной губе. Любая рана в конце концов заживает. И завтра его вновь запрягут, и он так же будет тащить повозку.

Снова в упряжке — и снова кровь... Кровь, упряжка... и так до смерти.

Возница по-прежнему неподвижно восседает на дышле повозки. Сумрачно-отрешенное лицо. На нас — никакого внимания, словно и не люди шагают рядом. Его молчание смущает меня. Госхоз прислал его за нами в лагерь, но мы так и не знаем, кто он — кадровый партработник или простой крестьянин. Он умело запрягал и ловко правил повозкой, тщательно устроил нашу поклажу. Он неразговорчив; но его короткие, не более трех слов фразы с отчетливым северо-западным акцентом звучат внушительно, веско — точно в устах почтенного мудреца. Он не помыкает нами, но и не выказывает сочувствия. Грубо-невозмутимый, он скрипит зубами и с нарочитой свирепостью пощелкивает кнутом. На вид ему около сорока, но суровый климат северо-запада рано старит. Дюжий, крепкий, с лицом, точно гравированным на бронзе,— в нем нет и тени мягкости.

Разглядывая возницу, пытаюсь одновременно понять причину моего беспокойства. Да, привык, видно, чтобы мною командовали, чтобы контролировали, и пусть умом я понимаю, что с нынешнего дня обрел свободу, обязан своим трудом кормиться, но в глубине души томлюсь без руководящего слова, нуждаюсь в приказе и догляде.

Это открытие показалось таким унизительным, что, поколебавшись, я с каким-то даже вызовом отошел от повозки и зашагал по обочине.

Понуро бредут лошади, повозка гремит, поскрипывает, копыта и колеса взбивают-взвеивают дорожную пыль. Мои спутники в полном молчании двигаются следом. С полей тянет легким ветерком. У подножия гор ветер покрепче; вздыбилась желтая пыль и застыла, словно достигающий неба столб из нефрита. Закружилась в поднебесье неведомо откуда взявшаяся чета горных орлов. Их крылья недвижны; вместе с воздушным потоком птицы с клекотом плывут над нами.

И как бы в ответ на крики голодных орлов наш возница, этот каменный истукан, вдруг высоким протяжным голосом затянул песню:

— Оо-о....

И дальше, словно тоска выражается высотою звука:

Щелкает кнут, знай посвистывает.
Братец томится-тоскует один — э-эх!
Сбилась с шага моя лошаденка-лошадка,
Эх, день за днем погоняю ее-о!
Дом далеко-о!

В голосе его была такая напряженная мощь, такая тоска, что, казалось, кто-то насильно выдавливает из него и эту мощь, и эту тоску. К концу каждой строки голос взлетал ввысь, а потом резко обрывался, исполненный скорби, и отзвук его уносился прочь и затихал в бескрайних просторах полей. Пульсирующий, бьющийся ритм был столь энергичен, что и с последним звуком песня не кончалась: когда финальная нота уже истаивала, я чувствовал, что песня продолжает уплывать куда-то в бесконечность, проникая все дальше и дальше в пространство опустевших рисовых полей. Это было прекрасно. Мне часто приходилось, особенно до 1957 года, слышать записи многих знаменитых исполнителей — конечно, не Карузо и не Шаляпина, ну Поля Робсона, к примеру. И могу утверждать, что ни один из них не вызвал во мне таких чувств. В этой песне было что-то от древних дальневосточных мелодий, но жили в ней и страсть, и суровая безыскусность, и одиночество, недоступные рациональному толкованию. Ее нельзя было отделить от этой равнины, от этой земли, на которой тос-

кует человек. Это песня здешних просторов, бескрайней желтой пыли лессового плато.

Во мне все трепетало.

А он уже вновь вступил, затянув все тот же, ни на что не похожий звук:

О-о-о!
В небо ночной мотылек полетел — э-эх!
Братец томится-тоскует один — э-эх!
Вот и лягушка одна на земле.
Глаз до полуночи я не смыкал,
Ой, не смыкал — все тебя вспоминал!
После полуночи тоже не спал — эх!
Думал-гадал о тебе до утра-а-а!

Некоторые слова он выпевал на свой особый манер, так идущий к этим неоглядным просторам с их вольным духом. Ритм, мелодия, даже акцент — все было слитно и нераздельно со степью, плоть от плоти ее. Когда слушаешь неаполитанские песни, перед тобой возникает средиземноморский пейзаж, гавайские слушаешь — и представляешь пальмы, шелестящие на ветру; эта песня тоже рождала определенные образы и чувства. Я ощутил эти поля, эту землю, эти облака и ветер, простор этого неба и этих орлов... Их жизненную силу, их колдовскую мощь, смущающую, завораживающую. На моих глазах степь обретала очарование, и помимо собственной воли я пленился ее красотой.

Не песня как таковая, а ее дух, чудесно совпадавший с духом здешних мест, пробудил во мне так долго дремавшее поэтическое чувство. Я наконец-то свободен, с сегодняшнего дня я свободен! И мне вдруг захотелось прижаться к этой земле растрескавшимися, обескровленными губами.

А в окружающем нас безмолвии все длилась и длилась его песня:

О-о-о!
Конь ускакал далеко-далеко — о-эх!
Братец томится-тоскует оди-ин.
Эх, жеребенок молотит зерно-о-о.
Как же там дом без хозяйского глазу,
Дума моя о тебе, о тебе!

Душа песни — тоска. В этой песне тоска была яростная и глубокая, могучая, страстная — и она завораживала. Слова были неважны. Их смысл растворялся в ритме, в мелодии. Возница обращался к кому-то, кого, наверное, и не существовало, к кому-то, им же самим и выдуманному, но пробуждал во мне то, давно забытое, что годами подавлялось одним-единственным чувством — чувством голода. Как поточнее определить мое новое ощущение? Тоска? Да! Но тоска человека, а не голодного зверя...

Клекот неутомимых орлов сопровождал нас, покуда зимнее солнце не скрылось на западе.

Изменилась и песня, стала живее, горячей, но горячность и живость не лишили ее глубокой печали.

О-о-о!
Черный котище разлегся на кухне-е!
Братец томится-тоскует один.
Пышный хвостище свесился в миску.
К братцу прильнула-припала сестра,
Ой, прильнула к груди — и-и!
Губки прижала к губам!

И тут я понял, что это любовная песня. Я встрепенулся. Ожило долго дремавшее воображение — так приникшая к сухой ветке подбитая птица вдруг воспрянет, заслыша громовой раскат, в смятении взмахнет крыльями и улетит прочь, в незнаемые края. А потом, возвратившись, увидит, что под сожженным молнией сухим деревом

проклюнулась зеленая трава. Песня смывала с моей души лагерную грязь. В песне прямо, не таясь, без всяких литературных ухищрений, выражалось откровенное любовное желание. Когда он пел: «Братец томится-тоскует один», в голосе его была ни с чем не сравнимая дерзкая прямота мужчины, одинокого, не знающего удержу в своей страсти поверх всех человеческих условностей. Что там бессчетные «О, мое сердце», «О, цветок души моей», «О, моя птичка» — они пусты, бесстрастны и не могут волновать мужчину. А моя кровь, пусть и жидковатая для молодого двадцатипятилетнего парня — лагерная жизнь не проходит даром,— сейчас стремительно бежала по жилам, ударяла в голову, возбуждая смутные неотчетливые мечтания; я был словно в жару... Из глаз моих сами собой заструились слезы.

Вот он какой — первый день моей свободы.

5

Этот день — 1 декабря 1961 года,— столь важный и памятный для меня, был для других ничем не примечательным, одним из трехсот шестидесяти пяти в году.

Возница — позже я узнал, что зовут его Хай Сиси или попросту Сиси,— к закату доставил нас к деревеньке. Мы, будущая рабочая сила, так и не поняли, куда нас привезли. Ни собак, ни кур, только несколько ленивых и безразличных ко всему стариков в лохмотьях восседали на мосту, греясь в лучах заходящего солнца. Они и не глянули в нашу сторону.

Деревушка почти не отличалась от лагеря — те же ряды желтых, казарменного вида строений. Выглядели они даже похуже, чем лагерные бараки,— штукатурка во многих местах пооблупилась; в лагере было полно рабочих рук, и хоть изредка жилье подновляли. Зато вязанки почерневшего от дождя хвороста да бельевые веревки придавали деревушке что-то домашнее.

Повозка тащилась по неровной, в колдобинах, дороге вдоль строя домишек и бесконечных поленниц — и ни одной живой души! Похоже, нас привезли в брошенную деревню.

— Чертовы клячи! Повымерли они, что ли! Этих-то мне куда девать?!

На месте певца опять был угрюмый возница, извергающий потоки площадной брани. Он и понятия не имел, что с нами делать, и вовсе не был в восторге от подобной заботы. Наконец, он слез, взял лошадей под уздцы и потащил их за собой, что-то высматривая по сторонам.

По безразличию стариков на мосту мы поняли, что он не кадровый, не секретарь ячейки, не бригадир, вообще не из начальников — не фигура, одним словом. Так что поубавилось и почтительной робости. Мы просто не обращали на него внимания: вези нас куда хочешь! Твое дело!

Мы добрели до последнего глинобитного дома, дальше — никакого жилья. Не то магазин, не то лавчонка... У самых дверей возница остановил лошадей, распряг, ловко стреножил их и ушел, ни слова не проронив.

Сделалось как-то бесприютно. На особое гостеприимство расчета нет — какое там: мы ведь простые работяги, обязанные сами себя кормить... Но вот голод давал о себе знать. Я подумал было съесть лепешки, но удержался. Поглощение пищи — это высшее наслаждение, а кто же наслаждается на виду у всех; другое дело — в укромном углу, где можно спокойно смаковать каждый кусочек. Мы еще не устроились с жильем, в любой момент нас могут повезти дальше; еда в таких условиях — непростительная ошибка.

— Ну что? Здесь, видно, нам жить,— произнес Начальник, заглядывая в разбитое окно и опасливо озираясь.

Он чувствовал себя посвободнее остальных. В глубине души он вовсе не считал себя «правым» и без особых колебаний позволял себе маленькие вольности. Вот и сейчас, пока мы растерянно жались друг к другу, он выяснял обстановку.

— Это не правление,— сказал он,— вряд ли у них всего одна бригада. Похоже — чтоб им пусто было! — нас здесь и поселят. Хуже, чем в лагере! Там хоть была теплая лежанка[1].

Стекла в окне нет, и мы тоже заглядываем в дом. На земляном полу ряды набитых сеном тюфяков. Никакой мебели. Стены грязно-коричневые, кое-где глина облупилась, и торчат остья соломы. И правда, хуже некуда!

— Да, гиблое местечко! — протянул редактор газеты из Ланьчжоу.— Вроде той деревушки, где я раньше жил в ссылке.

— Меня — и в такую дыру?! — Несмотря на три года исправительно-трудовых лагерей, этот лейтенант никак не мог забыть, что он — герой корейской войны, и все требовал к себе особого отношения.— Это называется сменить восемнадцатый ярус преисподней на семнадцатый!

— Считай, считай! Давно не слышали! — Бухгалтер Шанхайского банка всегда покорялся воле неба.— Приехали — и хорошо! Никто не собирается здесь задерживаться — как есть, так есть.

Люди повеселели и принялись живо обсуждать, как родственники сумеют помочь им с работой там, дома. Они ведь и в самом деле не думали оставаться здесь навсегда. Вокруг Шанхая, Сианя, Ланьчжоу немало сельских хозяйств, и, конечно, жены сделают все, чтобы перетащить мужей поближе. Начальник не исключение, он надеется вскоре перебраться поближе к какому-нибудь большому городу. Все они были женаты, у всех были дети, и все они мечтали вернуться к семьям. Это их желание, к счастью, совпадало с нынешней государственной политикой. «Вроде той деревушки» — ну что ж! «Семнадцатый ярус преисподней» — тоже ничего, переживем! Для них это был, так сказать, перевалочный пункт на пути из преисподней в небесные чертоги.

Одному мне суждено жить здесь до старости, до самой смерти. Моя мать — нищая пекинская старуха, что она может!

Мой дом, настоящий буржуазный, чиновничий особняк, был разрушен японской артиллерией; его так и не восстановили; семья рассеялась — вот уж действительно, «когда падает дерево, с него разбегаются обезьяны»! Потом смутное восьмилетие... Как написано в романе «Сон в красном тереме»: «И когда корм иссякает, в лесу укрываются птицы, остается лишь чистое поле, пространство без конца и края».

Потому я и не обсуждал с остальными радужные перспективы, а предавался в стороне собственным мыслям. Сегодня первый день свободы, и он был удачным (если забыть про ненайденную морковку). Это вселяло надежду. Раз уж ты сумел выбраться из этого скопища мертвецов, надо жить во что бы то ни стало. Тот, кто возвратился к жизни едва ли не с того света, может, конечно, попросту доживать причитающийся ему остаток земного бытия. Но я верю, что проживу еще 20, еще 30 и даже 40 лет, достигну, может быть, пятидесяти или шестидесяти — и что это будет за «остаток», что за восхитительно долгое «доживание»! Я избежал смерти, и моя плоть, к которой еще недавно подбиралось гниение, опять жизнеспособна: я вновь вижу солнце, слышу песни, ощущаю, как мне повезло. Что мне сейчас бытовые неурядицы, бедность, тяжкий труд? На месте моего дома чи-

[1] Имеется в виду кан — отапливаемая лежанка, непременная принадлежность традиционного китайского жилища. *(Здесь и далее прим. перев.)*

стое поле, я оказался голеньким, в чем мать родила, но и тогда не терял надежды. Жизнь научила меня быть стойким и терпеливым.

Спустя полчаса с окрестных полей потянулись в деревню люди с лопатами и в соседнем проулке зазвучали голоса. Конец рабочего дня. Из-за угла появился человек средних лет; прихрамывая, он направился к нам.

— Прибыли, значит! — Ни на кого не глядя, он выбрал из связки ключ и отпер дверь; буркнул что-то себе под нос — это можно было счесть за приветствие — и повернулся, собираясь уходить.

— Эй, а где бригадир? — крикнул Лейтенант ему в спину.— Нам нужно оформиться и доложиться как положено! — Едва покинув лагерь, он снова обрел армейские привычки. Видимо, привычки вообще плохо поддаются трудовому перевоспитанию.

— Отдохнет и придет,— ответил, не оглядываясь, Хромой.

Чего я жду? Собрался жить дальше — так действуй! Я поспешил к повозке и снял с самого верха сверток с единственным своим достоянием — потертым стеганым одеялом. Потом шмыгнул в дом, ногой подгреб к стене побольше сена, пока подстилка не стала достаточно плотной, прикинул на глаз ее толщину и тут же скосился на соседнюю — не слишком ли она отощала. Помни заповедь: «Живи и другим жить давай!»

Разложил у стены свое одеяло — считай, застолбил место.

— Эй, почему нарушаешь?! Почему нарушаешь?! Бригадир еще не распорядился, кому где лечь! — Начальник был сердит. Раз не он занял место у стены — и ты не моги. Как ему своевольничать, так пожалуйста, но чтоб кто другой... В таких случаях он сразу бежал доносить. Сегодня утром он поторопился опередить всех и сложил свои вещи на самое дно повозки, думал, целее будут, не свалятся по дороге; но теперь пока он доберется до своих пожиток, все места у стен будут заняты. Так что, извините, придется поспать у двери на сквозняке.

Обойдешься! Ты жил, дай и мне! У него кроме одеяла и тюфяка есть старый овечий тулуп. Только справедливо, если он ляжет у двери. Я раскатал свое одеяло, подложил в изголовье том «Капитала» и улегся на свое ложе так, словно в комнате никого не было.

Ах, что за прелесть лежать у стены! Верно говорят: «Дома прижмись к жене, в чужбине прижмись к стене». Если, ночуя в людном месте, ты занял место у стенки, тебя меньше беспокоят и уж с одного боку тебе не тесно. Особенно важно это для таких, как я, «бесчемоданных». Все твое небогатое имущество — нитки-иголки, кое-какую обувку да одежонку, еду, если она есть (слава предкам),— ты устроишь под соломой у стены. Что не поместилось, можно повесить, использовав причитающийся тебе участок стенной поверхности. А захочешь почитать или, скажем, написать письмо домой — что сопровождается обычно сердечным трепетом, который желательно скрыть от посторонних,— попросту отвернешься к стене и так, отгородившись от всего света, сосредоточишься на собственных мыслях. За четыре года в лагере я понял, наконец, почему монахи обязаны постичь особый вид самосозерцания — «лицом к стене». В этой отрешенности есть великий смысл.

6

Только мы устроили постели — еще и пыль от усердно взбиваемой соломы не осела,— как опять явился Хромой с приказом от бригадира идти на ужин.

— Здóрово!

В деревушке царило оживление. Зимнее солнце, склонившись к западу, бросало золотистые лучи на бурые глинобитные стены, наспех, кое-как застекленные окна сверкали яркими бликами. Легкий дымок тянулся из печных труб, и по деревне плыл горьковатый за-

пах полыни. Вот это уже не похоже на лагерь! Прямо сельская идиллия из старинной повести. В таком окружении не страшны ни бедность, ни тяжелая работа — моя душа ликовала.

Крохотная кухня, много народу здесь не прокормишь. Это плохо: чем меньше едоков, тем больше повара обделяют каждого. Правда, теперь мы на свободе и можем сами брать свою порцию. Пока Хромой — мне уже известно, что он кладовщик, а по совместительству завкухней,— обсуждает с поваром, чего и сколько нам причитается для прокорма, я близоруко шарю взглядом по сторонам. Мамочка моя, сколько же теста прилипло к той тряпице над котлом, пока готовились лепешки на пару! По правде сказать, люди вроде Начальника,— непроходимые тупицы. Только и знают, что клянчить помощи у родственников, а те после их жалобных писем затягивают потуже пояса, чтобы подкормить несчастненьких. Я вот не донимаю свою старуху мать просьбами, я шевелю мозгами! Сообразительность, острый глаз — и у тебя не меньше приварка, чем у этих попрошаек.

Сегодня каждому полагается просяная лепешка и чашка остывшего овощного супа. Я замешкался и оказался в очереди последним. С улыбкой глянул на повара:

— Можно вместо лепешки я поскребу вон ту тряпку с котла?

— Валяй! — Он и не посмотрел на меня.— Действуй!

Я тщательно соскреб остатки теста, крошки — все, что налипло на ткань, и она сделалась чистой, как после стирки. Набралась полная жестянка. Мне досталось граммов шестьсот — «Слава предкам!». Пусть все это припахивает испарениями из котла — все равно вкуснотища!

А ведь только на свободе можно вот так войти в кухню за остатками. Да здравствует свобода!

После ужина бригадир принес нам лампу.

— Все на месте? Ну, хорошо!

Он достал спички. Я тотчас подскочил помочь. Он засветил лампу и повесил ее у меня в изголовье — теперь она как бы наполовину моя собственная. Лагерная жизнь безо всякой помощи с воли закалила мой ум, я стал ловок и изворотлив. А Начальник и те, что вроде него, уповали на помощь родственников.

— Как прикажете нам лечь, бригадир? — Начальник надеялся все переиграть.

— Да спите кто где хочет, какая разница...— Бригадир не мог взять в толк, о чем его спрашивают. Он сидел на соломе, поджав ноги.

— Бригадир, а получше помещения нет? — раздраженно проворчал Лейтенант.— Как без теплой лежанки-то?

— Жилье и все такое — ваша забота, все сами,— буркнул бригадир. Худой, средних лет, он сказал, что зовут его Се. В тусклом свете чадящей лампы белело его заросшее бородой изможденное лицо; одет он был в латаную-перелатанную куртку кадрового партийца.

— Лежанка... Лежанка нужна, конечно, нужна... Но сложить ее зимой — развалится, какой толк... Весной поговорим.

Короче, с лежанкой придется ждать до весны. А весной она и не нужна вовсе.

Несколько человек выспрашивали у бригадира здешний почтовый адрес, другие интересовались конторой госхоза, собираясь получить вид на жительство. Он быстро понял, что эти здесь долго не задержатся. Он взглянул на меня. Я сидел под самой лампой. Спросил прищурившись:

— Эй, парень, как тебя зовут?

— Чжан Юнлинь.— Я чуть привстал, стараясь изобразить почтительный поклон. Солома подо мной зашуршала.

Он приблизил к свету бумагу — сопроводительный список с нашими данными,— силясь разобрать написанное.

— Пекинец? 25 лет?
— Да, да, пекинец, 25 лет — все точно!
— Моложе всех... Что, тоже хочешь уехать?
— Нет, не хочу.
— Ладно, значит, поработаем.

Бригадир был доволен, взгляд его потеплел.

— Здесь все-таки лучше, чем там, откуда вы прибыли. В месяц полагается по 25 цзиней[1] зерна и по 2 пачки сигарет. Зарплата по категориям: первая — 18 юаней, вторая — 21 юань... Полгода будете получать 18, а там посмотрим, на что вы способны...

— Разумеется, разумеется.— Я поддакивал, чтобы он видел — мне все нравится. Остальные слушали без восторга. В тусклом свете лампы их лица казались лишенными всякого выражения масками.

Радоваться и правда было нечему. Конечно, в лагере не существовало никакой зарплаты, но на 18 юаней нынче не купишь и 10 цзиней морковки; а ведь теперь нам не полагается обмундирования... По зерну норма почти лагерная, с вычетами выйдет не больше 20 цзиней (строго говоря, 25 цзиней едва хватает и в нормальных условиях, а поди попробуй насытиться этим количеством, когда нет ни масла, ни овощей,— зато ежедневный тяжкий физический труд! И так из месяца в месяц, годами. А в 60-м норму урезали до 15 цзиней). Я заметил, что бригадир старательно избегает слов «исправительно-трудовой лагерь».

Из обоих карманов он вынул пачки сигарет и раздал их нам — каждому по две. И с каждого собрал по 16 фэней. Дивные сигареты «Две рыбы». 8 фэней пачка, настоящий табак, не то что капустные, лотосовые или подсолнуховые листья. Для меня сигареты поважнее зерна. Как же не мучиться завистью, если некурящему Начальнику тоже причитается его доля! Теперь, когда курево кончится, за каждую сигарету он будет брать вдвойне, да еще цедить надменно: «Держи». Так что и принцип равноправия не без изъяна.

— Завтрак в девять, в десять на работу. Кончаем в четыре. Зимой работы немного. Завтра и начнем.— Бригадир встал, отряхнув со штанов солому.— Отдохнете в выходной.— Он сказал не «в воскресенье», а «в выходной» — что же это за день?

— Бригадир, раз нет теплой лежанки, нам бы хоть печурку. Ночью здесь околеешь.— Это Лейтенант, плотно закутавшийся в одеяло, опять принялся «права качать». Без такого человека в коллективе хоть пропадай.

— Да, печка нужна. Глины здесь полно, так что действуйте. Правда, уголь неважнецкий.— Бригадир зябко прятал руки в рукава куртки.— Окна надо заклеить. Завтра возьмете в конторе старые газеты, клей — на кухне.

— Я бы мог сложить печь! — Две заначенные лепешки туманили мне ум, заставляя забыть всякую осторожность.

— Ты? Нужна ведь настоящая печь, а не простенький очаг.— Бригадир колебался.— Ладно, завтра останешься, сложишь печь и заклеишь окна. Да, вот еще что: вам нужен староста. Думаю, Чжан Юнлинь справится.

Здорово! Первый день на свободе и уже выбился в старосты!

7

Вечером я осторожно завернулся в одеяло. Пальцы ног нельзя просовывать в дырки — порвешь ветхую ткань; одеяло следует тщательно подоткнуть под себя — иначе солома будет колоть спину. Теперь лепешки; я достал их из куртки, которой собирался накрыться поверх одеяла, вдохнул аромат теста, потом завернул в полотенце и спрятал в тюфяк.

[1] Мера веса, равная примерно 600 граммам.

Ночью было непривычно тихо. Не то что в лагере, где с заката до рассвета грохотали шаги патрулей.

Я начал размышлять. Мой мозг, расщепленный непостижимостью мира, мучил меня, словно в нем засел осколок. Ночью мысль обнажена до предела.

Днем инстинкт самосохранения заставлял заискивать и лебезить, толкал на разные уловки. Ночью все это представлялось отвратительным, достойным презрения. Я проклинал себя.

Я не верю, что нравственное падение — это следствие объективных обстоятельств. Чего тогда стоит воля человека, разве не она мешает ему превратиться в животное? Верующие могут пожертвовать жизнью во имя Бога. Поэты, если они не религиозны, сами творят себе богов — они веруют в высшие идеалы. Я не умер, но во имя чего мне жить? Просто жить, чтобы жить? Но как же тогда все пусто и бессмысленно...

Сейчас я и вправду жил, чтобы жить.

Мне пришли на память пушкинские строки:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

А я разве «ничтожный»? Да я попросту гниль! Что же делать? «Жертва»? Но и «жертва» должна иметь ясную цель.

А откуда возьмется у меня новый идеал или жизненная цель?

Мне внушали, что целью человека с моим прошлым должно быть перевоспитание. Меня освободили. Если сидел я за преступление, то, значит, свою вину за то, что был «правым», я искупил. А вдруг мое освобождение означает только конец первой стадии перевоспитания? Как мне тогда жить? Требовалось все обдумать. Но как установить, насколько я уже перевоспитался?

Я был так свободен, что не чувствовал себя на земле, а словно бы плыл в ночном воздухе...

Лежу лицом к стене. Сонный Бухгалтер скрежещет зубами, видно, клянет свое будущее. Одеяло как лед, от холода руки и ноги будто чужие. Что вообще происходит с моей жизнью?

Это оставалось тайной. Иногда я думал, что мне приснилась та, «долагерная» жизнь; иногда настоящее чудилось кошмарным сном, который кончится, и я обнаружу себя в аудитории на лекции о поэзии времени Тан или Сун или же с томиком любимого Шекспира в руках... На землю возвращал меня мой желудок, неизменно подававший практический совет: взгляни в лицо реальности — ты голоден.

И это было правдой.

Значит, такова моя судьба? Но голод — это судьба миллионов. Как сказал мой лагерный знакомец, преподаватель: «Наши судьбы неотделимы от судеб нашей страны».

Под головой у меня том «Капитала». Может быть, там я найду ответ на вопрос, почему мы сегодня здесь? Эта книга — единственное, что еще соединяет меня с привычным духовным миром, единственное, что может возвысить меня над лепешками, морковью, кашей, чтобы я не был просто издыхающим от голода животным.

Понемногу одеяло согрелось. Мне сделалось уютно, тело расслабилось, я опять существовал. Что вообще значит «существовать»? Декарт утверждал: «Мыслю, следовательно — существую». Как же это замечательно — мыслить, существовать! Спать не хотелось, но постепенно я задремал.

А утром меня ждал головокружительный удар — лепешки были съедены крысами!

Не украдены кем-то, а именно съедены, крысы изгрызли и полотенце, в котором хранились лепешки. Полотенце я свернул и положил в карман. Только бы Начальник не пронюхал и не принялся злорадствовать.

Завтрак только в девять. Я скатал одеяло и сел, опираясь на скатку. Подступала дурнота. Не лишись я этих лепешек, голод не был бы таким мучительным — несъеденные лепешки поддерживали меня. А сейчас все нутро мое алкало пищи. Голод вполне материален; его можно прощупать в том месте желудка, где ощутима невыносимая тяжесть; похоже, каждая клеточка вопит: «Хочу есть!» Не было сил шевельнуться. Необходимо поскорей забыть об утрате.

В который раз единственной целью моей жизни стало: «Выжить!»

Наконец мы сходили на кухню, получили завтрак и, рассевшись по своим подстилкам, принялись молча и жадно поглощать пищу. Жестянка подвела меня. Похоже, местному повару неведомы оптические иллюзии. Он полагался на свой черпак, а я остался без добавки. Ладно, выход найдется!

После завтрака по приказу бригадира все наши в сопровождении мрачноватого вида субъекта из местных отправились на работу. Явился хромой кладовщик с кипой старых газет под мышкой. Он объяснил, где найти глину, кирпичи, тачку, и повел меня в подсобку за лопатой, ведром и мастерком; там же я отыскал несколько металлических прутьев для колосников. Потом он отправил меня на кухню за мукой для клея, повар был предупрежден. Сказал: понадобится еще что-нибудь, его можно найти в конторе.

Вообще-то складывать печь лучше вдвоем, но я предпочитал обходиться своими силами. Кирпич рядом, землю легко накопать — здешние щелочные почвы почти не промерзают. Воды нужно взять поменьше, а то печь вовек не просохнет. Едва Хромой ушел, я прихватил газету и отправился на кухню.

— Мне бы клею, начальник.— Я спокойно улыбался, словно во мне не бушевал яростный голод.

— Бери,— повар сидел на крыльце, грея на солнышке свое набитое брюхо,— только не очень усердствуй.

— Вот,— я показал газету,— сделаю из этого кулек.

На раздаточной доске стояла миска, заполненная до половины серой просяной мукой. Для меня приготовил. Я пересыпал муку в газету, поплотнее завернул кулек и отправился домой.

Где уж им, сытым, знать, что просяная мука не годится для клея, она недостаточно вязкая и распадается на комочки, едва высохнет. Перво-наперво надо заняться печкой. В лагере мне пришлось как-то целый месяц складывать печи в домах партийцев с одним инженером, специалистом по обогревательным системам. Он тоже был «правым». У него я и научился ладить простейшие печки с помощью одной только лопаты. Его печи замечательно грели и были весьма экономичны. Весь секрет в устройстве дымохода. Меньше чем за два часа — правда, трудясь не за страх, а за совесть и изрядно взопрев — я сложил строго «по науке» простейшую печь.

Не дав себе и минутного отдыха, помчался с тачкой на кухню за углем. Полтачки, не больше. Полную мне и с места не сдвинуть. По дороге прихватил из чьей-то поленницы лучин на растопку.

Осторожно поднес спичку и принялся разжигать печь. Пахнуло пламенем, задымило. Потом дым исчез, дерево весело затрещало. Огонь горел устойчиво, я стал подкладывать уголь. Дым опять вырвался было наружу, но словно по волшебству передумал и устремил-

ся в дымоход. Кое-где пламя выбивалось сквозь щели в кладке, но постепенно и оно исчезло.

Теперь пора было подумать и о себе и не потерять при этом бдительности. В конторе, у томящегося от безделья Хромого, я попросил немного мелких гвоздей, картон и ножницы. Видимо, он давал охотно все, кроме еды, а это я у него и не выпрашивал. Так что вскоре у меня было то, что требовалось, и обратно я несся со всех ног. Картонку я разрезал на тонкие полоски. Лентами из газетной бумаги я плотно закрывал щели в окнах, поверх накладывал полоски картона и все это приколачивал к раме гвоздиками.

Помещение приобрело жилой вид, говоря словами бригадира, «сделалось домом».

Вся операция базировалась на строго научной основе. Печурка не дымила и прямо-таки пыхала жаром. Я вымыл дочиста лопату, приладил ее поближе к огню, чтобы металл раскалился, а покуда принялся готовить в своей жестянке тот самый «клей» из просяной муки и воды. Здешние лопаты плоские, как сковородки, и когда я вылил содержимое жестянки на горячий металл, мое «тесто» растеклось ровным слоем. Постепенно пузыри по краям осели, и через минуту первый блин был готов.

Вот наконец и награда за тяжкие мои труды.

Я быстро сжевал блин, приготовил еще, съел... Каждый следующий казался чуть вкуснее. Пока пекся очередной блин, я позатыкал крысиные норы. Да, крысы — это полная неожиданность. В лагере их и в помине не было — ведь едой-то там не разжиться, а уж попадешься, съедят за милую душу.

Глинобитный домишко мало-помалу прогревался. Теплее становилось и у меня в желудке. Я присел к печке, ощущая приятную сонливость. Но сейчас не до сна. Достал сигарету и прикурил от уголька, который упал сквозь решетку колосников. Затянулся. Только бы не упустить и самой малости дыма, втянуть его весь в себя, без остатка. Как приятно это ощущение легкого дурмана!

Потом, непонятно почему, заныло сердце.

Прочь мрачные мысли! Пора привыкнуть к тому, что едва я набью брюхо до отвала, как начинает ныть-свербить сердце. Это похуже всякого голода. Голод легче перенести. Я аккуратно загасил сигарету, спрятал окурок в карман. Чем бы теперь заняться? Сложил инструменты, а остатки проса ссыпал в тряпицу, тщательно завернул и повесил на стену. Подбросил угля в печку, взял старые рукавицы, отряхнул со штанов черное крошево и покинул помещение, именуемое отныне домом.

9

Все эти дни погода была замечательная. Желтая лессовая пыль на равнине приобрела какой-то лимонный оттенок. Единственными деревьями в округе были белые безлистные тополя, серебряными копьями устремленные к теплому небу. От них тянулись долгие тени. Солнце стояло на западе. Вчера в это время возница запел свою песню. А сегодня... сегодня я подумал о стихах Пабло Неруды.

На сытый желудок у меня часто возникают странные ассоциации. Песня возницы почему-то напомнила мне бесстрашных американских переселенцев, о которых когда-то я читал у Неруды. Песня, орлы, безграничный простор с мягкими увалами гор... Сердце мое наполнялось радостью.

Бодрым шагом направился я к конюшне. Мне вдруг захотелось увидеть лошадей, которых я так люблю. Они всегда будят во мне мысли об отважных покорителях неизведанных земель, о мужественных первопроходцах.

Возле конюшни госхозовские крестьяне сгружали навоз. Среди

них — Начальник, Лейтенант, Бухгалтер и Редактор. Отступать поздно.

— Ну что, оборудовал дом? — Бригадир с лопатой в руках возвышался на вершине навозной кучи.

— Да.

— А зачем пожаловал?

— Э... Я...— не скажешь же, что пришел поглядеть на лошадей.— Я... хочу поработать!

— Ну, здорово! — Его рот, обрамленный куцей бородкой, растянулся в ухмылке.— Будешь сбрасывать навоз, им вот поможешь.

Я поискал глазами, кого это он имеет в виду? И увидел женщин.

Мне еще не приходилось работать рядом с женщинами, да и видел я их за четыре года лагеря считанные разы. Смущенно потупившись, я побрел к указанной бригадиром куче навоза.

— Возьми лопату и сгребай навоз вниз, а мы будем просеивать,— крикнула мне одна из крестьянок.— Да не очень надрывайся, смотри какой худющий — чисто обезьяна! И торопиться не надо!

Голос ее был мягкий, сочувствующий — давно не случалось мне слышать ничего подобного. Я был глубоко тронут. Гораздо чаще обращаясь ко мне, орали: «Пошевеливайся! А ну, быстрей!» — или что-нибудь в этом роде. Я почувствовал, что краснею, и не смел поднять глаза. Буду изо всех сил стараться, сказал я себе.

Я спросил у бригадира, где взять лопату.

— А почему явился без лопаты, сукин ты сын?! Небось идешь жрать — палочки не забываешь! Небось палочки для еды всегда при тебе!

Женщины захихикали. Я чертыхнулся — ничего себе смены настроения!

Пока я мучился, не зная, что предпринять, та, что первой заговорила со мной, протянула ключ:

— Сходи, у меня дома за дверью мотыга. Тебе будет удобно.

Покорно, баран бараном, я взял ключ.

— Первый дом в первом ряду. Ты найдешь. Дверь первая от угла.

— Там вывеска: «Ресторан «Америка»! — весело расхохоталась другая.

— Да ты глянь, что на твоей двери написано, ведьма! — Пока они смеялись и обменивались беззлобными шутками, я, успел тихонько улизнуть.

Ключ, медный, самодельный, стертый до блеска от долгого употребления, еще хранил тепло ее кармана. Рассматривая, я повертел его в руке и даже благодарно погладил, словно это была ее рука.

У дверей никакой вывески, никакого «Ресторана «Америка», только почерневшая поленница да бельевые веревки. Я вошел. Комната меньше нашей, половину занимает теплая лежанка. Земляной пол чисто подметен, он такой ровный, что кажется залитым цементом. Никакой деревянной мебели. Вместо стола и стульев — глиняные возвышения; из глины и некое подобие кухонной полки возле лежанки; верх застлан старой цветастой занавеской. Чистота безукоризненная. На столе — вымытые до блеска бутылки и жестянки. Лежанка укрыта вытертым ковриком, поверх которого — аккуратная стопка залатанных одеял и кое-какая одежда; есть и детские вещи. Над веселенькой занавеской у лежанки приклеены к стене яркие картинки — кадры из фильма «Анна на шее». На печи — кастрюля с деревянной крышкой.

Я впервые один в незнакомом доме. Доверие согревает мою душу. Не сдержавшись, заглянул в кастрюлю. Стыдно, конечно, но хочется же знать, что там!

Схватил мотыгу и поспешил обратно к конюшне.

— Дверь запер? — спросила она, забирая ключ.

— Да.

Я принялся орудовать мотыгой. Женщина рядом запела:

Трижды прошел у ворот сестрицы,
Но не увидел любимую я-я!

— Эй, ты...— последовало непотребное, но такое красочное словцо, что все рассмеялись.

Чего это она так разъярилась? Она стояла ко мне спиной, и я видел только две смоляные косы и цветастую ватную кофту в темных заплатах.

Смешанный с землей навоз шел здесь на удобрение. Мы должны были разбивать мерзлые комья, а потом вывозить навоз на поля и укладывать там в кучи до весны. После своих блинов я работал как зверь и скоро накидал им здоровенную гору.

— Не так быстро, дурачо-о-ок!

Она так трогательно протянула это «дурачок», что я не мог не улыбнуться. Работала она сосредоточенно, не поднимая головы, и я никак не мог встретиться с ней взглядом.

— Сначала надо залить просо водой, потом варить...

— Сверху — наструганную морковку...

— Нет, морковь надо резать кубиками.

— С морковью не так вкусно, как со свеклой...

После недавней перепалки женщины легко перешли к кулинарной теме. Она глянула на них и крикнула:

— А по мне, ломтик персика лучше ведра гнилых груш! Да и вообще я бы ела только рис!

— Ну, где нам с тобой тягаться, с твоим рестораном «Америка»!

— Брось болтать! Я знаю, как приготовить просо, чтобы было похоже на рис.

— А ты приготовь для нас на пробу!

— «На пробу»? А ты не хочешь «на пробу» провести ночь на чужой лежанке? — И она рассмеялась. Смех ее был необыкновенно радостный и звонкий.

Опять завязалась шутливая перепалка.

И тут появился Хай Сиси. Пощелкивая кнутом, погоняя свою костлявую троицу, он прямо и недвижно восседал на передке повозки.

— Что, недоносок, уж не кончать ли надумал? — Лопата на секунду замерла в руках бригадира. Я заметил, что он наработал больше, чем другие местные.

Хай Сиси быстро слез с телеги и остановил лошадей.

— Лошади притомились, бригадир.

— «Притомились»! А может, ты, свинья, разленился?! — Бригадир прищурился. Он словно рос на глазах, а дюжий возница как-то сник, сделался ниже ростом. Мне стало жаль его. Очень уж он выглядел растерянным.

— Я еще с тобой поквитаюсь, слышишь, недоносок!

Возница совсем съежился. Даже я так не растерялся, когда у конюшни столкнулся с бригадиром.

— Распрягай к чертовой матери свою колесницу и бери мотыгу! Не уйдешь, пока не нарубишь два кубометра навоза! А не то я твою клячу!..

Угроза бригадира развеселила всех, даже Хай Сиси осмелился улыбнуться. Я мог быть доволен: меня бригадир все-таки бранил не так сурово.

Хай Сиси поставил лошадей на конюшню и появился уже с мотыгой.

— Откуда начинать, бригадир? — Он смиренно ждал приказа.

— Отсюда.— Тот показал прямо перед собой. Голос звучал утомленно.— Никак не слажу с этой смерзшейся глыбой.

Хай Сиси поплевал на руки.

— Дайте-ка мне,— решительно сказал он.

Вскоре они дружно работали бок о бок, согласно вскидывая один — лопату, а другой — мотыгу.

— Бес тебя задери! — вдруг выругалась женщина. Я так и не понял, к кому она обращается.

Я сосредоточенно разбивал смерзшиеся комья навоза, время от времени помогал женщине, если у нее не хватало сил, так что ей оставалось только сдвинуть в сторону мелкое навозное крошево.

Потом она оперлась грудью на черенок лопаты и мягким голосом запела:

Над песней моей не смейся, друг,
Развеет песня грусть-печаль мою.
Я только о печали и пою,
О радостях, знать, петь не суждено.

Песня народная, как и та, что пел возница днем раньше, я никогда ее не слышал. Женщина, сразу видно, не училась петь. Нас окружали навозные кучи, но я чувствовал себя как в горах, под лазурным небом; передо мной раскинулся бескрайний окоем. Грустно, что сама она, кажется, и не догадывалась, какую радость доставляло мне ее пение; пела небрежно и, как возница вчера, не знала цену своей песне.

За день мы с ней перелопатили гору навоза. Все осмотрев, бригадир остался нами вполне доволен.

— Кончай! — крикнул он.

Все потянулись по домам. Я вежливо обратился к женщине:

— Спасибо! Давайте помогу, отнесу мотыгу.

Она отставила лопату, с которой счищала остатки навоза, и глянула на меня, изумленная непривычной здесь вежливостью, а потом грубо бросила:

— Поможешь? Да ты глянь на себя — ну вылитая обезьяна, тощая, с серой рожей.

10

Наши все были в восхищении от преобразившегося «дома». Начальник поставил свой тазик на печку и уверял всех, что вода в ней достаточно уже нагрелась, чтобы умыться.

За ужином мы расселись вокруг печки. Ее тепло сплотило нас, мы стали разговорчивее. Редактор, как и положено человеку такой профессии, много чего разузнал. Он сказал, что это огромный госхоз, в котором больше дюжины отделений, разбросанных с севера на юг в долине меж гор. До ближайших соседей не меньше 10 ли [1], а до правления и все 20. Самое дальнее отделение расположилось у подножия гор, и туда нужно добираться целый день. В правлении — магазин, но поскольку сейчас туда завозили только соль, жители прозвали его «сольмаг». Понадобится что-нибудь купить, отправляйся пешком за 30 ли в Чжэннаньпу или поездом до полустанка, где поезд стоит всего минуту. Товарняк следовал в том направлении ежедневно в четыре утра.

В нашем отделении не было партсекретаря, его заместителя приковала к постели водянка, так что бригадир Се отвечал и за политработу, и за производство. Местные уверяли что, если с ним не задираться, он вполне хорош. Худшим было то дальнее отделение у подножия гор. Там царили невероятные строгости, ограничивалась даже свобода передвижения. Отделение это называли «Врата преисподней» Туда ссылали смутьянов.

Редактор поведал нам, что большинство работников — местные или уроженцы Ганьсу и Шаньси. Се когда-то был здесь партсекрета-

[1] Мера длины около 0,5 км.

рем в бригаде, еще во времена коммуны. На других отделениях бригады были разнородные по составу: молодежь из Чжэцзяна, демобилизованные, бывшие заключенные, рабочие, потерявшие места на заводах.

— Да этот госхоз скорее плавильный котел, чем исправительно-трудовое учреждение! — воскликнул Бухгалтер.

— Надо поскорее сматываться из этой дыры.— Начальник мыл ноги и рассуждал: — В лагере у тебя срок, а здесь ты обречен на бессрочное пребывание. Здесь, черт побери, похлеще, чем в лагере!

У меня не было душевных сил вникать в их болтовню. Я был измучен. Даже сон не шел. Иной раз так наломаешься за лишний кусок, что в нем и проку-то уже нет, даже не восстановишь те калории, что ушли на его добывание. Какой толк, если ты слабеешь день ото дня. Сегодня я доработался до «серой рожи», как выразилась та женщина.

Самое неприятное при ослаблении организма — это ясное ощущение всех болезненных признаков. Боли как таковой ты не чувствуешь, не падаешь в обморок, но, прислушиваясь к тому, что с тобой происходит, теряешь последние силы. Тает вера в жизнь, и все грядущее для тебя — тлен, прах. Многие, пережив подобное состояние, обращаются в буддизм, другие начинают относиться ко всему с безразличным легкомыслием, некоторые уходят в горы и становятся отшельниками... но все это при одном-единственном условии свободы выбора. У меня такой свободы нет. Я просто медленно погибаю. Не смерть страшна, страшно видеть, как каждый твой шаг приближает тебя к могиле, что твоя жизнь, словно шелковая нить из кокона, тянется, тянется и вот-вот покинет свою бренную оболочку...

О Лазарь! Лазарь! [1]

11

Два ощущения царствовали во мне на следующее утро — боль и голод. Значит, во мне все еще теплится жизнь.

Сегодня мне необходимо остаться «дома».

После завтрака я заявил, что печь в нескольких местах дала трещины. Если их тотчас не заделать, начнет просачиваться угарный газ. Хорошенькая шутка — отправиться в преисподнюю сразу после освобождения из лагеря! Они должны были сказать бригадиру, что я остался ремонтировать печь.

Я был их старостой, да и печь им всем пришлась по вкусу, так что Лейтенант согласился:

— Ладно, я сообщу бригадиру.

Конечно, Се не поверит им на слово. Я не торопясь сходил за водой, накопал земли. Только начал замешивать глину, как явился бригадир со своей лопатой. Так я и знал!

— Чтоб тебя черти взяли! — Наметанным взглядом он обозрел печь и присел возле нее погреть ладони.— Как это ты так ловко складываешь простую печь, которая и хорошо горит, и до топлива не охоча?

— Если умеешь, это не так сложно.— Улыбаясь, я рассказал ему, где и у кого превзошел я эту науку.

— Чтоб мне треснуть! До чего все вы, «правые», мастаки! Местные восемь поколений ладят печи одним и тем же способом. Только зря глину и кирпич переводят. Размером — с городскую стену, а жара самая малость.

Се пригрелся, у него заслезились глаза. Он отер слезы рукавом. Его загрубевшие ладони все в глубоких трещинах. От многолетней работы на воздухе кожа на руках и на лице пожухла. Мне вдруг по-

[1] Имеется в виду библейский Лазарь, воскрешенный Иисусом из мертвых, покровитель больных.

казалось, что передо мной милый добрый старик с мягким морщинистым лицом.

— Если с вашей печью что-то неладное, я мог бы помочь,— вызвался я.

— Не надо,— спокойно произнес он.— Мы не можем позволить себе уголь, топим сушняком. Печь на угле полагается только холостякам. Видел поленницы у домов? И готовят на хворосте, и лежанки греют, чтобы поуютнее спать ночами. Мне Сиси сложил печь. Умен, чертяка.

— Он что, из партийных? — спросил я, замазывая трещины глиной.

— Из партийных? Какое там! — Бригадир хмыкнул.— Он весной приехал из Ганьсу. Там прислуживал в мечети, потом бросил все и принялся колесить по стране. Работник он хоть куда, силен что дьявол. Ездит в дальние ездки, на голод не жалуется.— Бригадир опять чему-то улыбнулся. И продолжал:— Вечером получка, а завтра выходной. Езжай куда хочешь.

— В Чжэннаньпу?

— Куда хочешь!

Похоже, сказал он это специально, чтобы я оценил свое новое положение. Трудно поверить, что этот неотесанный мужлан может проявить столько тонкости. Я взглянул на него. Лицо его оставалось невозмутимо-спокойным. Все равно я был ему признателен.

Потом он расспросил о моей семье, о прошлой работе и ушел, сказав напоследок:

— Не перегревайте комнату и смотрите не угорите. А лучше сделайте дырки в бумаге на окнах.

Он не сказал, чтобы, закончив с печью, я шел на работу.

Трещины я заделал быстро. Вымыл лопату и поставил ее разогреваться, снял со стены мешочек, приготовил в жестянке тесто и напек себе блинов...

Доев блины, я встряхнул газету, в которой хранилось просо, развернул ее и укрепил на стене у своего изголовья, прикрыв вылезшие остья соломы. Стало немного чище. Ну уж сегодня я не пойду смотреть ни на каких лошадей! Достал вчерашний окурок, закурил и блаженно растянулся под свежей газетной «заплатой».

Над моей головой Кастро яростно призывал к мировой революции, Кеннеди твердил о своей политике «Новых рубежей»; западные страны рекламировали «общество всеобщего процветания», стремясь одурманить народные массы; где-то выбирали «королеву молока»... Как же далеко, бесконечно далеко было все это от меня. Как-то сложится моя жизнь здесь? И в этой миром забытой убогой деревушке, которой не коснулся прогресс, я находил согревающую душу тепло, даже какую-то новизну. Когда в детстве я убегал в комнаты слуг, старшие всегда бранились: «Не смей с ними водиться, они тебе неровня!» Позднее мне довелось войти в круг интеллектуалов. Они создали в своем воображении возвышенный образ рабочего в белой рубашке, синей куртке и холщовой кепке, со здоровым цветом лица, который бодро шагает по широкой дороге, освещенной солнцем. Когда нас призывали «учиться у трудящихся», я не имел о них ни малейшего представления. В лагере со мной сидели только интеллигенты да уголовники. И вот наконец здесь, в этой деревушке, я оказался среди трудящихся. В них есть оптимизм, они внутренне свободны и совсем не похожи на заключенных. Такого я не ожидал. Пусть они бедны, неразвиты, порою грубоваты — мне хотелось сравнить их с алмазами, нуждающимися в огранке. Вспомнив все виденное и слышанное накануне, я улыбнулся.

12

Чжэннаньпу разочаровал меня. Я тащился туда за 30 ли и совершенно стер ноги. В сущности, это обычное поселение, только огоро-

женное стеной, некогда оно было основано богатым скотовладельцем. Почва вокруг — сплошь песок и камни; до гор — рукой подать; вся растительность — тучи сорняков. Внутри стены — дюжина домов, меньше, чем в нашей деревушке. Крепостные ворота давно сняты, и провал в стене зияет, словно отверстая пасть. И все-таки здесь почта, кредитный кооператив, магазинчик, милиция — не просто городок, а настоящий политико-экономический центр. Сегодня — базарный день, на рынке полно народу, как на восточном базаре из голливудского фильма.

Первым делом я отправил письмо матери, сообщил, что освободился из лагеря, что теперь я настоящий работяга, живущий собственным трудом, что питаюсь хорошо, что поправился и загорел... Говорят даже, что я теперь такой крепыш — ну вылитый сталевар с советского плаката «Ты потрудился на благо родины?». Ничем более существенным, чем бодрый тон, я ее порадовать не мог.

Все наши, Начальник в том числе, просили меня отправить их пухлые письма, наверняка набитые просьбами о скорейшем переводе. На дверях почты — провинциальная газета недельной давности с рекламой советского фильма «Алые паруса». Я знаю — это по Грину. Алые паруса, алые паруса... Только вообрази: девушка, похожая на Ассоль, приносит тебе счастье... Каково, а?

За десять минут я прошел всю улицу из конца в конец. На полках магазинчика пылилось несколько отрезов, одеяла и, конечно, соль. Объявление на темной продымленной стене гласило: «Замечательный новый продукт: дешевые иракские финики — два юаня за цзинь!» Красная бумага выцвела. Дедок, греющийся у печки, сказал, что это дело давнее, почитай полгода прошло.

На рынке несколько десятков стариков торговали вялой морковкой и картофелем. Один приволок немыслимо древнюю тощую овцу, и за 150 юаней в нее буквально впились рабочие из каменоломни. Я смотрел, как они уносили ее, даже не позволив идти самой, и у меня текли слюнки. Мяса с нее будет цзиней двенадцать... Но я-то и прицениться к баранине не смел.

Объектом моих вожделений была морковь. Даже картошка — и то уже слишком. Я подошел к продавцу, чья морковка показалась чуть свежее.

— Сколько?

— Юань шестьдесят фэней.

Удивляться нечего. Я ткнул пальцем в картошку:

— А это?

— Два.

— Дороговато!

— Да? А вы попробуйте, погните спину в поле, небось побольше запросите!

— Ладно вам, меня этим не удивишь, не через такое прошел. Что, не верите? — Я взглянул ему в глаза.

Он недоверчиво хмыкнул. С холодной улыбкой я сказал:

— Так вот, меня недавно освободили... из лагеря... Дошло?

— Понял, понял...— Старик выглядел испуганным.

— Ну, отдадите картошку подешевле? — Я специально вышиб его из равновесия, прием хорошо известный.— Другие вон три цзиня картошки отдают за пять цзиней моркови.

— Нет, дешевле не выйдет,— старик недостаточно испугался. И все-таки он попался на мою уловку.— Но за три цзиня картошки и я отсыплю вам пять цзиней моркови.

— Правда?

— Еще бы! — сердито буркнул старик.— Три цзиня картошки на пять цзиней моркови, верно?

— Договорились! — Я скинул со спины корзину.— Сначала картошку!

Я отсчитал ему деньги. Вчера нам выдали по 18 юаней, месячный заработок, а работали-то мы всего день — тоже ведь удача! Старик достал самодельный безмен. Потом мы препирались из-за точности веса. Наконец он пересыпал картошку в мою корзину.

— А теперь за эти три цзиня ты отсыплешь мне пять цзиней моркови!

Старик, нимало не задумываясь, взвесил морковь. Я высыпал картофель обратно в его короб, взгромоздил свою корзину с морковью на спину и зашагал прочь.

Как тут не раздуться от самодовольства! Такой фокус удался!

В лагере мне много приходилось сталкиваться с торгашами, и я изучил их психологию. Упрутся, с места не сдвинешь, а до всего остального и дела нет. Упрямятся, гнут свой интерес, а обмануть их — раз плюнуть. Мне это часто удавалось.

Но ты сам, что ты, в конце концов, за человек?

13

Солнце пригревало. Я брел по степи, и песок с камушками скрипел у меня под ногами. Кругом ни души, кажется, ты один на всей бескрайней равнине. «Я о-ди-ин!» Это и есть настоящая свобода. После четырех лагерных лет, хождения строем на работу и с работы, после сна вповалку и очередей за похлебкой — какое счастье брести в одиночестве в распахнутые дали.

Ручьи, сбегая с гор, оставили на земле глубокие борозды, словно вымощенные галькой. Камни поблескивали на солнце. Голые склоны гор были мрачны и суровы. Единственные живые существа — бурые ящерки, завидев меня, принимали боевую стойку, тараща крохотные глазки. Вот одна вильнула вдруг хвостом и метнулась прочь. В это время года напрасно искать что-нибудь съедобное, вроде дикого лука. Даже пожевать нечего. А ведь я свободный, независимый человек! Воздух и тот принадлежит мне! Но кругом только сохлые сорняки да жужуб. Кусты жужуба сплошь покрыты колючками. Вообще жужуб — это ученое название колючего кустарника, терновника. «Терновник», это слово волнует мне душу. Я поправил корзину на спине и широко зашагал вдоль зарослей колючек. Я шел и горланил все, что приходило в голову:

Прекрасный шиповник давно потерял
ягоды и цветы,
Да и колючих терновых кустов
тоже немного кругом.
Гляжу на терновник, а передо мной
в свежих цветах поля.
Кто из людей в жизни терпел
то, что вытерпел я.
Пусть бычьеголовый приходит за мной
и тот, что с мордой коня [1],—
Чего бояться, когда морковь
в корзине есть у тебя.

Трам-та-та, трам-та-тата! Трам, трам... Казалось, во мне гремел, отбивая ритм, огромный барабан, и я шагал и шагал со своей корзиной моркови за спиной по бескрайней равнине.

Путь мне преградила канава метра в два шириной. Сегодня утром вода в ней была крепко скована льдом, а теперь кое-где появились промоины, полыньи — лед понемногу таял.

Мостика не было. Я отыскал место поуже и бросил на лед комок земли. Лед выдержал, можно рискнуть.

Мне бы такое здоровье, каким я хвастался в письме к матери, перемахнул бы — и весь разговор. А тут еще корзина! Мне не хвати-

[1] Имеется в виду два посланца преисподней — один с головой быка, другой с мордой лошади.

ло каких-нибудь 30 сантиметров. Лед подо мной треснул, и я рухнул навзничь, проломив хрупкую ледяную корку.

Поднявшись и стоя по колено в студеной воде, я увидел, что в корзине осталось две-три моркови. Куртка все равно промокла насквозь, и не было смысла засучивать рукава. Я принялся в отчаянье шарить по дну. Примерно половину моркови мне удалось спасти, но к тому времени холод проник до костей, а ноги свело судорогой. Я с трудом выбрался из канавы, сложил морковь в корзину, страдая, что пришлось прервать поиски. Я дрожал, как мокрая крыса. Нужно идти. И я пошел, и оборачивался чуть ли не на каждом шагу, словно надеялся, что морковки, как лягушки, выпрыгнут из воды на берег и припустят за мною следом.

14

К полуночи стало ясно, что я простудился, у меня поднялся жар. Северо-западный ветер выл и ритмично ударял в окна, которые я утеплил бумажными полосами; казалось, ветер грохочет пустым сундуком. Начались приступы головокружения. Теперь, раздавленный болезнью, я понял, сколь фальшиво все, что пишут в книгах: у него закружилась голова, и он упал на пол или — того лучше — на диван. Театр, да и только! Я лежал, а в голове моей все шло кругом, однако сознание не покидало меня, сон не приходил. Голова раздулась. Казалось, в ней почти не осталось крови и лишь тонкая струйка вьется-кружится, словно капля в огромном чане.

Разумеется, некому было подать мне воды. И я притерпелся к жажде. Привык. Иногда я сам восхищаюсь своей выносливостью. Сейчас как раз тот случай. Меры выносливости не существует, отчасти ведь дело в силе воли. Одни легко переносят душевные страдания, но беззащитны перед физической болью; другие — наоборот. Кажется, мне удавалось и первое и второе. Разве что смерть могла положить предел моему терпению.

Неужели вся эта могучая внутренняя сила дана мне только затем, чтобы влачить это жалкое существование? Неужели не суждено обратить ее на пользу обществу?

Меня стала мучить совесть. Я понял, что потеря моркови — это воздаяние. Крестьянская жизнь не легка. И юань шестьдесят фэней не слишком высокая цена за цзинь моркови. Рядом с лагерем продавали по два юаня. Помню, за тридцать цзиней моркови и миску покрытого плесенью сорго пришлось отдать хорошие часы. А я обдурил честного старика с добрыми морщинками на лице да еще гордился собой...

Кровь стучала в висках и несла с собою новые воспоминания.

Просторная комната. Небесно-голубые обои. В кресле коричневой кожи восседает один из моих дядьев... Я устроился на ковре, на подушке. Дядя, поигрывая стаканом с ледяным коктейлем, поведал мне, как Морганы составили свой капитал. По его словам, первый из них приехал в Штаты из Европы без гроша и с единственной парой брюк. Вместе с женой они открыли бакалейную лавку. Торгуя яйцами, он показывать товар покупателям заставлял жену — в ее тонких руках яйца казались крупнее. Вот эта психологическая хитрость помогла в дальнейшем его сыну основать финансовую империю. «Вот что значит — деловая жилка! Обанкротить соперника — значит уничтожить его!» — поучал дядюшка, крупный биржевой маклер.

...Воспоминания постепенно тускнели, но мне стало казаться, что все мои хитрости — следствие воспитания в буржуазной семье. И Морган и я использовали оптическую иллюзию и природную смекалку. Я заменил просо, из которого следовало приготовить клей, гвоздями и обменял картофель на морковь, выгадав два юаня. Видимо, борьба за существование принимает различные формы в зависимо-

сти от воспитания. У меня не было капитала, но я выбрал капиталистический путь. Обвинения, предъявленные мне в 1957 году, конечно же, доверия не вызывали но, в конце концов, я признал их справедливыми, как признал справедливыми придирки Начальника. Воспитанный в нищете инстинктивно ненавидит того, кто воспитан в довольстве. Я не чувствовал себя «буржуазным правым» просто потому, что это было единственно возможное для меня состояние.

Во рту пересохло, от нестерпимой жажды горло пылало огнем, но я смирился, ибо надеялся, что это возмездие. Я принялся читать про себя строки «Божественной комедии»:

Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям [1]...

Мой класс потерпел крах, и разве мое место не в аду?

15

Утром следующего дня с темно-серого неба сыпал и сыпал снег. Великая природа не обошла своим вниманием эту убогую, забытую всеми деревеньку и покрыла ее чистым, белым снегом. Из печных труб поднимались струйки дыма, и это напоминало картинку к волшебной сказке.

Моя простуда кончилась сама собой. По прежнему опыту я знал: чем больше носишься с болезнью, тем хуже. Если не обращать на нее внимания или не иметь возможности что-либо предпринять, болезнь рано или поздно сама пройдет.

Насвистывая, явился Хромой и сообщил, что сегодня выходной. Замечательная новость. Я высушил на печи свою мокрую одежду. Правда, Начальник ворчал, что я провонял всю комнату, но стоит ли принимать его всерьез. Конечно, упади он в воду, у него нашлись бы вторые ватные штаны, да и запасная куртка из овечьей кожи. В моих глазах он-то и был настоящим буржуем — наши классовые отношения оказались перевернуты с ног на голову. Плохо, однако, что после сушки моя ватная одежда задубела и превратилась в подобие рыцарских доспехов. Теперь она нисколько не грела, а надетая прямо на голое тело — белья у меня, разумеется, не было — прямо-таки царапала кожу. После завтрака пришлось раздеться, завернуться в одеяло, выпростать руки, чтобы придерживать книгу, и сидеть на соломе, прислонившись к обшарпанной глинобитной стене.

Я торжественно приступил к чтению «Капитала».

Все утро я жадно поглощал книгу. Сначала разные предисловия. Там я обнаружил доказательства собственной правоты, правильности вывода, который мне удалось сделать минувшей ночью: класс, к которому я принадлежу по рождению, обречен. А я — его последний представитель. Видно, мне суждено быть агнцем, принесенным в жертву новой эпохе. Эта мысль согревала и утешала. На мне нет вины, но я искупаю грехи предков, как сын алкоголика или сифилитика страдает за родительские прегрешения. И спасения мне нет.

К полудню читать стало невозможно. В выходные дни особенно остро сказывается недостаток пищи. Во время работы голод притупляется, а когда руки ничем не заняты, он становится невыносим. Поневоле поверишь чаплиновскому старателю из «Золотой лихорадки», который с голодухи принял человека за индюшку. Ясно, что этот эпизод не плод гениального вымысла, скорее всего Чаплин слышал нечто похожее от человека, которому пришлось пережить смертельный голод.

«Товары... железо, холст, пшеница...» — читал я и, вместо того чтобы сосредоточиться на смысле, смаковал само слово «пшеница»;

[1] Данте. Божественная комедия. Песнь третья *(перев. М. Лозинского).*

мне виделись россыпи булочек, лепешек, блинов, даже пирожных — и рот наполнялся слюной. Дальше шло уравнение:

1 сюртук =)
1 ф. чаю =) 20 арш. холста
40 ф. кофе =)
1 кварт. пшеницы=)
и т. д.

«Сюртук», «чай», «кофе», «пшеница» — да это прямо феерия! Только представь: ты в белом, без единого пятнышка, сюртуке (а не кутаешься в драное одеяло), с чашкой цимыньского чаю или бразильского кофе (а не с пустой жестянкой), тут же пирожное с кремом (вместо моркови) — вот жизнь, достойная святых и бессмертных!

В моем воображении все роскошные банкеты, на которых мне довелось побывать, и те, о которых я только читал или слышал, слились в одно бесконечно прекрасное пиршество, смешались со словами Маркса, который почему-то уверял меня: «Ешьте, пожалуйста, спокойно, я не позволю никому обеспокоить вас!» Как раз в то время, все еще пребывая в воображаемом мире съестного, я дошел до главы «Товарный фетишизм и его тайна» и тут вдруг понял, что в холодном воздухе этого зимнего дня ясно ощутим неведомо откуда взявшийся аромат еды, и мой язык тотчас оценил ее вкус. И тут у меня сделался спазм желудка.

Начальник опять взялся за свои штучки. Пошарив в своих закромах, он разыскал круглую поджаристую лепешку. Он не предложил ее ни Лейтенанту, ни Редактору, ни кому другому — нет, он протянул лепешку моему соседу, старику Бухгалтеру. Ему хорошо был известен принцип Бухгалтера: «Не тронь мое, я не трону твое». Старик довел этот принцип почти до абсурда. Так, граница между нашими подстилками превратилась, по существу, в рубеж, разделяющий две враждующие державы: а ведь мы неплохо ладили. Если угол его одеяла случайно задевал мою подстилку, он одергивал одеяло с немыслимой торопливостью, словно оно попало в огонь. А когда вата из прорех на моем одеяле приставала к его тюфяку, он торжественно возвращал мне мельчайшие клочки, будто потерянный кошелек владельцу. Невозможно было представить, как такой робкий человек сделался «правым».

— Ешь, не стесняйся! — Начальник разделил лепешку и бросил половину на подстилку Бухгалтера.

— Нет, нет, не надо...— Тот отбросил от себя половинку лепешки, словно боялся обжечься.

— Ешь, чего ты боишься! — Начальник снова кинул ему кусок. Лепешка была такой черствой, что даже не крошилась.

— Нет, правда, лучше ты сам съешь.— Бухгалтер, нервничая, перебросил лепешку Начальнику.

— Да возьми же, наконец! Что, голод не мучит? — Начальник сделал еще попытку. На этот раз лепешка упала ко мне на подстилку.

Бухгалтер уставился на нее, напряженно размышляя. Поднять? Но подстилка-то не его. А может, он жалел меня и ему хотелось, чтобы лепешка досталась мне? Но предлагали ведь ему... С другой стороны, быть обязанным Начальнику...

Обстановка накалялась. Даже те, кто продолжал с подчеркнутым безразличием заниматься своими делами — писать письма, читать, просто размышлять,— все равно с напряженным вниманием следили за лепешкой. Редактор и Лейтенант прервали партию в шашки на самодельной доске. Все ждали, что будет дальше.

Половинка была крошечной, по весу — всего ничего. И цвет какой-то странный, вроде шоколада. Кусок лепешки лежал на моей подстилке, а я мучился, не зная, что предпринять. Накануне вечером я сварил и съел остаток моркови, и с тех пор во рту не было ни кро-

шки, что ж удивляться, если сейчас у меня буквально слюнки потекли. Я не мог удержать слез обиды и унижения.

Стояла мертвая тишина.

Сквозь заклеенные бумагой окна проникал бледный свет снежного дня, и люди в комнате казались смертельно-бледными. Наконец Бухгалтер убедил себя, что лепешка не на его территории, а стало быть, ему нечего беспокоиться. Он закрыл глаза и спрятал руки в рукава — вылитый монах, усмиряющий дух. Начальник сохранял спокойствие. Он по-прежнему восседал на подстилке, скрестив ноги, а взгляд его был прикован к наживке — какая, в конце концов, ждет его добыча?

Но тут послышались шаги по снегу, кто-то легко и беззаботно напевал.

Я узнал голос женщины, которая два дня назад давала мне ключ.

Шаги приближались, вот они уже почти у самых наших дверей. С невероятным удивлением все прислушивались. Даже Начальник навострил уши.

Донесся скрип, и дверь распахнулась. Никого. Несколько мгновений мы тупо созерцали дверной проем, словно надеялись на чудо. Как-то неуверенно женщина встала на пороге и, держась за притолоку, оглядела комнату.

— Эй, где у вас этот из «правых», который стихи поет. Его работа дожидается.

Это она.

Она здесь и спрашивает обо мне.

Начальник обернулся и указал на меня:

— Чжан Юнлинь, тебя на работу!

По ее голосу, по выражению ее лица я уже понял: она пришла не за этим. И как замечательно, что она выручила меня, освободив из ужасной ловушки.

— Вы ко мне? — Она ведь сказала «поет стихи», а не «пишет стихи».— Что за работа?

— Ха, еще бы не к тебе.— Она, улыбаясь, продолжала держаться за притолоку и слегка покачивалась.— Тут все говорят, что ты печи умеешь делать, а мне как раз печка нужна.

Где это она обо мне прознала? Откуда взяла, что я и есть печник? Как бы то ни было, мне приятно помочь ей, а кроме того, работать на голодный желудок все-таки лучше, чем сидеть сложа руки.

— Идите,— сказал я,— сейчас оденусь и догоню вас.

Она насмешливо улыбалась, кажется ее веселил мой нелепый вид.

— Давайте скорее, я вас жду. Дорогу помните?

Дверь захлопнулась. Пока я водружал на себя задубевшие куртку и штаны, мне удалось как бы невзначай сдвинуть ногой пол-лепешки в промежуток между моей подстилкой и постелью Лейтенанта.

16

Мир предстал передо мной серебристо-белым. Первый снег сгладил земную поверхность на всем бесконечном пространстве равнины; укрыл сады и убогую деревушку; лишившись привычных оттенков, все обрело небывалое очарование, и трудно было поверить, что среди всей этой красоты только что разыгрался нелепый и жестокий фарс, что человек способен так извратить свое естество. И только великая природа безмолвно учит нас доброте, очищая наши души от скверны!

Женские следы на белом снегу бодрили и согревали сердце. Ровнехонько, точно нитка жемчуга, дорожка следов тянулась вперед, и я шел по ней след в след, как бы поднимая и заботливо пряча жемчужины, одну за другой. Я постучался. Вместо «войдите» послышалось: «Не заперто, толкни дверь и входи!»

Она сидела боком на теплой лежанке и играла с девчушкой лет,

наверное, двух. На ребенке была такая же ватная кофта, только маленькая; волосы коротко острижены «под мальчика», да и широкие брови были скорее мальчишечьи. Вместе они выглядели так мило, что я улыбнулся. Девочка в испуге прижалась к матери. Похоже, вместо улыбки мое лицо с непривычки исказила чудовищная гримаса — ничего не скажешь, хорош!

— Так где будем печку ставить? — спросил я.— Мне понадобится мастерок; ну, и кирпичи, конечно.

— А зачем спешить? — Ее тонкая рука гладила ребенка. Вдруг женщина рассмеялась:— И остались-то кожа и кости, а все торопишься работать. Посидел бы сначала!

Мои «кожа и кости» примостились на один из глиняных стульев. Здесь и без печки было так же тепло, как у нас «дома». Тепло равномерно наполняло собой всю комнату — не то что печной жар, который припекает с одного боку. А все благодаря лежанке с подогревом. Убогая эта лежанка внезапно разбудила во мне тоску по настоящему дому. Казалось бы, четыре года лагеря вытравили из моего сознания все, что не могло принести сиюминутной пользы, все романтические стремления. Их убил голод. Но сейчас мне вдруг вспомнились строки из «Евгения Онегина», вполне выражавшие то, о чем я неожиданно возмечтал:

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мое желание — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

Женщина, не обращая на меня внимания, все гладила и гладила девочку. А я продолжал понурившись сидеть на глиняном стуле, и в сердце моем теснились печальные мысли, от которых, как мне представлялось, я давным-давно избавился. Что мне в этих бесплодных надеждах, о какой «хозяйке», о каком «горшке щей» могу я мечтать? Ветхий домик и уютное тепло словно заставили меня трезвым взглядом обозреть ужасное свое положение, с которым я было свыкся окончательно.

Не знаю, поняла ли женщина, как мне тяжело,— вряд ли, но, успокоив девочку и уложив ее на лежанку, она встала, вынула из кастрюли белую лепешку и протянула мне:

— Держи!

Я испуганно сглотнул слюну. В растерянности переводил я взгляд с ее лица на руку, державшую лепешку, видел ее спокойствие, теплоту и жалость в глазах, но без снисходительной усмешки.

Взять я не мог. Это была немыслимая ценность. Здесь, в этой деревушке, сейчас не нашлось бы ничего, что могло бы превзойти по ценности подобную жертву. Все смешалось в моей душе — радость, недоверие, признательность. Голова шла кругом.

С лежанки раздался детский голосок: «Мама, мама...» Девочка звала и тянула ручонки к матери. Женщина сунула лепешку в карман моей куртки, потом присела на лежанку, обняла дочь и прижалась лбом к детской головке, словно решила боднуть ее, и принялась, укачивая, напевать:

Лучшую муку возьмем,
Мы сегодня гостя ждем.
Мама тесто раскатала,
У дочурки силы мало.
А из темной из муки
Не пекутся пирожки.
Мы для дядюшки — ха, ха!
Быстро сварим петуха.
Или лучше — курицу,
И не надо хмуриться.
Тесто режу не спеша,
Получается лапша.
То-то будет вкуснота!
Дядя сыт — и я сыта!

Она пела вовсе не так, как поют обычно, баюкая детей. В песне звучал не только ритм, но и мелодия. В голосе были живость и непосредственность, а во всей ее манере какая-то неистребимая детскость. Ее смех, сливаясь со смехом девочки, звенел и трепетал в крохотной комнате. Только тот, кто сохранил детскую душу, может так искренне веселиться вместе с ребенком. И лепешку протянула она мне с такой же искренностью и непосредственностью, без задних мыслей, следуя побуждению сердца.

И все же я колебался.

— Мне совсем не хочется... Пусть девочка съест.— Я протянул лепешку малютке.

— Да она только что съела такую же! Ешь...

Но ребенок потянулся к лепешке и закричал:

— Хочу, хочу есть!

— Послушай-ка, Эршэ.— Она встала с лежанки, держа девочку на руках, и отошла подальше от моей лепешки. Потом открыла котелок и достала картофелину.— Смотри, Эршэ, это тебе!

Девочка, улыбаясь, взяла картофелину и принялась неуклюже чистить ее своими пухлыми пальчиками.

Нет, мне нельзя принимать столь щедрый дар. Безмерная цена, которой я в мыслях наделил лепешку, усмиряла мой голод. И я не имею права эту цену пересматривать. В конце концов, наесться можно чем-нибудь подешевле. Я готов сменять лепешку на две картофелины, каковые моя близорукость не помешала мне высмотреть. Но не мог же я сам предлагать подобный обмен.

Видя, что я все еще в нерешительности, она попросила девочку:

— Скажи: «Дядя, съешь ее», скажи!

И девочка, протягивая ко мне влажный пальчик с налипшими картофельными крошками, пискнула:

— Ешь, ты ешь!

— Не хочу! Лучше пусть твой папа съест,— пробормотал я.

— Ну, ну,— женщина опять засмеялась,— ее папочка на Яве. Ешь смело! И почему это вы, образованные, так обожаете церемонии разводить?

Мне оставалось только гадать, что она имела в виду, говоря «на Яве». Я знал, что в старинных повествованиях далекие или вовсе сказочные земли нередко назывались «Ява», а в речи здешних крестьян все еще встречаются слова и обороты из древнего языка. Может быть, женщина хотела сказать, что ее муж далеко ? Или что у девочки вообще нет отца?

— Тогда... тогда вы съедите ее потом...— Взглянул на кастрюлю, собираясь вернуть туда лепешку. Продолжи она уговоры, я бы попросил пару картошек.

— Да ты глянь на себя! Ты болван болваном! — Она дрожала от ярости.— Не хочет он, видите ли! Ладно, черт с тобой, клади и убирайся! — Обняв ребенка, она отвернулась от меня.

Обеими руками я неловко держал лепешку, словно это была полная до краев миска с супом, и не знал, куда ее положить.

— А как же печь? Разве вам не нужна печь?...

— Нужна она мне, как же! — Она опять расхохоталась.— Да мне Сиси давным-давно уже сложил прекрасную печь! Просто вчера я смолола немного пшеницы... он и принес... да спекла пять лепешек — для Сиси, для себя, две — ребенку,— а последнюю решила тебе отдать. Но вчера тебя не было нигде... Без дрожжей она не очень пышная. Да ты попробуй. А пшеничная мука у меня еще есть, вот дрожжи поспеют, тогда будут настоящие лепешки.

«Настоящие»! Не хотелось и спрашивать, почему она вспомнила обо мне. Наверное, из жалости. Начальник, Лейтенант и Бухгалтер, едва освободились из лагеря, сразу сменили одежду — им родственники прислали куртки, какие носят кадровые партийцы. А я донашивал все

лагерное, и это отличало меня от других, как клеймо отличает преступника. Материал никуда не годный, дыра на дыре. А теперь еще затвердел — прямо рыцарские латы. В этой прочной скорлупе я — словно личинка, замершая в своем коконе.

Когда она увидела, что я рассматриваю лепешку и, похоже, все-таки решусь ее попробовать, она сдвинула занавеску над печью и достала миску с соленой морковью и палочки для еды. Палочки тщательно вытерла и положила рядом со мной.

— Приходи всегда, как проголодаешься. Тогда, в первый раз, ты прямо на привидение смахивал! — Она опять засмеялась, но потом поджала губы и села на лежанку, собираясь смотреть, как я буду есть.

Деваться некуда. Стыдно, конечно, если она увидит, как жадно я поглощаю пищу. Ей, видно, невдомек, что невежливо наблюдать за трапезой гостя.

— Ну, чего ждешь? — Ее удивляла моя нерешительность.— Поспеши, а то еще заявится кто.

В самом деле, что подумают люди, если обнаружат меня у нее за столом? Но и дома, где за мной наблюдает множество глаз, было бы невозможно вкушать драгоценную лепешку.

Наконец я решился. Лепешка оказалась довольно жесткой, но тесто — белейшее. Она, видно, дважды просеяла муку. Пресное тесто всегда плотное и твердое, поэтому лепешка размером с кулак и весит немало. Я откусывал и жевал, и снова откусывал, изо всех сил стараясь есть так, как подобает воспитанному человеку. Четыре года я не пробовал печева из пшеничной муки, и теперь каждая крошка, казалось, таяла во рту, будто снежинка. А ни с чем не сравнимый аромат пшеницы, впитавшей и летнее солнце, и лессовую степь, и пот жнецов,— первозданный запах хлеба?

Вдруг я заметил на корке отчетливый отпечаток пальца — тончайшие завитки разбегались от центра к краю, как рябь от метнувшейся рыбы по поверхности пруда. Выкатилась слеза и упала на лепешку. Возможно, она видела. Теперь она не смеялась и не наблюдала за мной, а, развалившись на лежанке, обнимала ребенка и вздыхала:

— Эх, что за напасть!

Это ее «эх», в котором скорее слышалась симпатия, чем жалость, словно растворило долго запертые затворы, и слезы потоками хлынули из моих глаз, а ведь я не плакал, даже когда Начальник измывался надо мною. А теперь вот в полной тишине мои слезы текли и текли, и я не мог доесть лепешку, которая все еще была у меня в руке.

Какой удивительный покой царил в этом маленьком доме. Только изредка снежные хлопья шуршали по оконной бумаге; ребенок на лежанке тихонько причмокивал. А в моей душе гремел «Реквием» Верди, бесконечное «Спаси и помилуй» кружилось и кружилось, не утихая:

О, спаси и помилуй! Спаси и помилуй!..

Женщина, устроившись на лежанке поудобнее, велела дочке:

— Эршэ, скажи дяде: «Не волнуйся. Пока у меня есть еда, и для тебя что-нибудь найдется».— Повтори: «Дядя, не волнуйся. Пока у меня есть еда, и для тебя что-нибудь найдется».

Я слышал, как девочка повернулась ко мне:

— Дядя, не волнуйся. Не волнуйся...

Ей нравилось повторять непонятные слова. Она стояла на краю лежанки и, протягивая ко мне свой крохотный пальчик, твердила:

— Дядя, не волнуйся. Не волнуйся...

— Пока у меня,— подсказала мать,— есть еда...

Девочка, запинаясь, выговорила:

— ...у тебя есть еда, и мне что-нибудь...

Мать со смехом обняла ее и принялась щекотать:

— Ах, негодница! Ты же все перепутала — «у меня, у тебя» — все! Вот шалунья!

И мать с дочкой, хохоча, повалились на лежанку. Их веселье успокоило меня, и я наконец прикончил лепешку и доел соленую морковь.

— Там еще картошка осталась.— Она поднялась и, зачесывая назад выбившиеся пряди волос, оправила кофту, указала на печь.— Ешь!

Только сейчас я как следует сумел рассмотреть ее.

К моему удивлению, чертами лица она походила на южанку: ясные блестящие глаза, длинные ресницы, прямой точеный нос, пухлый выразительный рот. Большинство пишущих обращает внимание на глаза, но, глядя на нее, я понял, что и рот может приковать взор. Ее губы, красиво и тонко очерченные, моментально реагировали на малейшие движения души: вздрагивали, кривились, трепетали. На щеках румянец. Немного веснушек. Легкие тени под глазами только подчеркивают блеск темных зрачков. Вообще ее лицо привлекало какой-то приятной слаженностью всех черт. По немногим ее словам и поступкам я заключил, что характер у нее поразительно твердый, полный силы, но открытый и живой. Словом, облик вполне соответствовал характеру, и наоборот. Позднее я узнал, что ошибся, приняв ее за южанку: так поразившие меня черты свойственны выходцам из Средней Азии.

Ей было лет 20—25, не многим больше, чем мне.

А звали ее Ма Инхуа — Мимоза.

17

После того как я съел у нее и лепешку и картофель, я решил больше никогда не бывать в ее доме, хотя она и пригласила меня прийти назавтра.

Назавтра я лежал на своей подстилке, читая после завтрака «Капитал» в китайском переводе.

Я твердо решил не ходить, и тем острее хотелось мне пойти!

Снег прекратился, но земля была покрыта толстым снежным покрывалом. В проходах между домами снег перемешался с грязью, а десятки ног утоптали это месиво в плотную корку. Темные тучи все еще плыли в пепельно-сером небе, и казалось, каждую минуту может опять повалить снег. После завтрака заглянул бригадир и снова объявил выходной. Он сказал, что снегопад случился очень вовремя. Летом все буквально выбивались из сил на иссохшей земле, а все потому, что прошлая зима была бесснежной и вешняя влага не напоила почву. Теперь есть надежда на добрый урожай. Лейтенант, конечно, бросился возражать: мол, нам-то какое дело до урожая, ведь при любом изобилии мы не получим больше того, что нам полагается... Бригадир рассердился и ушел, хотя по тому, как он топтался возле моего места, я понял, что его заинтересовала моя книга.

После демобилизации Лейтенант несколько лет возглавлял сектор в каком-то правительственном учреждении. Теперь, когда его освободили из лагеря и сняли ярлык «правого», армейские друзья старались вовсю, чтобы трудоустроить его где-нибудь в пекинских пригородах. Он-то здесь не задержится и может позволить себе говорить что вздумается.

И все-таки странно: бригадир пришел в ярость, но даже не дал указания провести собрание и сурово осудить Лейтенанта. В лагере за такое сажали в карцер.

Меня пронзило внезапное ощущение свободы. Я как раз читал пятьдесят первую сноску: «Дикарь и полудикарь употребляют при этом свой язык несколько иначе. Капитан Парри рассказывает о жителях западного берега Баффинова залива: «В этом случае (при обмене продуктами)... они лижут ее (вещь, предложенную им для обмена) два

раза, после чего, по-видимому, считают сделку благополучно заключенной». Мне пришло в голову, что как цивилизованный человек употребляет свой язык иначе, чем дикарь или полудикарь, так и свободные люди используют язык смелее, чем заключенные,— и бояться этого не следует.

Как и вчера, она пришла в полдень. Я узнал ее походку. Плотный снежный наст скрипел под ногами, но шаги были легкие, уверенные.

Она распахнула дверь и окликнула меня:

— Эй, что случилось? Почему ты все бросил на полдороге?

Начальник захихикал. Ему доставляло удовольствие, что я буду работать, пока остальные отдыхают.

Я с демонстративной неохотой отложил книгу, поднялся и последовал за женщиной.

Завернув за угол, она принялась хохотать, задорно подталкивая меня локтем. Так когда-то в детстве мы с сестрой, прогуляв школу и спрятавшись в укромном, только нам известном убежище в саду, ощущали себя тайными заговорщиками. Засмеялся и я. Пока еще робко. Но ко мне уже начинало возвращаться то давнее-давнее ощущение полноты жизни.

Оказалось, что сегодня она и в самом деле позвала меня, чтобы я занялся теплой лежанкой.

Хай Сиси примостился у двери на корточках. Губы поджаты, взгляд злобный. Он уже замесил глину и снял с лежанки верхний слой кирпичей. Я мог приступать.

— Ну, командуй! — велела она.— Говори Сиси, что ему делать. Он силен, как вол. Но сначала оба подкрепитесь картошкой, согрейтесь немного. А потом я пшеничных лепешек напеку.

— Чтобы он мною командовал! — не глядя на меня, Сиси яростно сплюнул и не взял протянутую ему картофелину.

— Раз все готово, начнем! — предложил я.— Как кончим, придется еще развести огонь и ждать, пока лежанка просохнет.

Он продолжал неподвижно сидеть на корточках. Его ленивое презрение только подстегнуло меня, прибавило мне сил.

— Ладно, сам справлюсь! Плевое дело! — Я был настроен решительно.

— Ты работать думаешь? — Она со злобой посмотрела в его сторону.

Он вскочил, как собака, которую пнули ногой, засучил рукава.

— А ну, дай! Я сам!

— Сам! У тебя башка дубовая, а он — мастер,— поддразнивая его, она сунула мне в руку картошку.— Поучись у мастера, побудь у него на подхвате.

Вчера, уже прикончив картошку, я сказал хозяйке, что хотя печка у нее хорошая, но вот лежанка сложена не вполне «по науке». Крестьяне располагают дымоход слишком близко к устью топки, так что значительная часть горячего воздуха уходит, потому и нагревалась как следует только лицевая сторона лежанки. Требуется более экономичный дымоход, который, как и полагается, дважды опояшет лежанку. Я даже начертил на полу схему, чтобы ей было понятнее. Тогда-то и получится то, что я называю «лежанка сплошного нагрева». Нужна лишь незначительная переделка. Вот Мимоза и хотела, чтобы сегодня я, как она выразилась, «похимичил». Она вообще все время употребляла такие слова, что мне бы и в голову не пришли, свежие, выразительные — прямо поэту на зависть.

Я работал и продолжал есть картошку. В детстве мне очень нравилось, когда герой на экране что-нибудь жевал за работой, или военные моряки по команде «Свистать всех наверх» карабкались по мачтам, держа во рту недоеденные куски хлеба. В этом было столько мужества, мастерства, пренебрежения условностями. Но тогда я не работал. Позже, когда появилась работа, оказалось, что нечего есть. А сегодня

я трудился с огромным желанием. Лежанка была переложена, а я набил себе брюхо.

Хай Сиси отказался от картошки. То ли отвлекаться не хотел, то ли был сыт.

Все еще злой, он подносил мне глину и кирпичи, бурча себе под нос, что, если эта лежанка будет хорошо нагреваться, он прыгнет в реку. Я не слушал его. Когда верхний слой кирпичей был уложен, я слез на пол и велел ему хорошенько оштукатурить новую кладку.

Он присел возле лежанки на корточки и глядел исподлобья, силясь высмотреть ошибку в моей работе. Мимоза как раз слепила лепешки, собираясь сготовить их на пару. Тут-то она на него и напустилась:

— Чего высматриваешь! Сам небось так не умеешь! Штукатурить начинай от печки, да поживей, мне надо разводить огонь!

Она принесла охапку щепок и ловко растопила печь. Дым начал было просачиваться сквозь новую кладку лежанки, но когда Хай все заштукатурил, постепенно исчез. Огонь яростно завывал, и с поверхности лежанки заструился белесый пар — свежая кладка высохла, и коричневая глина делалась все светлей и светлей.

— Ну, теперь иди прыгай в реку! — Она весело подтрунивала над Хай Сиси. Огонь осветил ее яркое, выразительное лицо. Давно уже не приходилось видеть такой чистой, словно сияющей кожи.

Я расслабленно сидел на глиняном стуле и беззаботно покуривал. Впервые моя работа вызывала чье-то уважение. Так что мне удалось хоть на самую малость умерить стыд, который я испытал вчера, принимая от нее подачку. Мне пришло в голову, что раз отныне мне придется кормить себя крестьянским трудом, значит, я должен научиться выполнять любую работу, какую только не делают местные крестьяне. Смотри, говорил я себе, то, чему ты научился у того инженера, возвысило тебя над этим парнем, который еще вчера глядел на тебя сверху вниз, а сегодня оказался твоим подручным. Стало быть, здесь, в этой захолустной деревушке, где, вероятнее всего, тебе предстоит провести всю жизнь, о человеке судят по тому, что он умеет делать руками. Ладно, была бы еда, тогда я стану сильным, как Хай Сиси, и справлюсь с любой работой.

Она приготовила лепешку на пару и сварила капусту с картошкой. Потом сходила к соседям за дочкой, и мы все вместе уселись за стол.

Что это был за пир! Много лет уже мне не доводилось так вкусно поесть.

— Начни с этого,— сказала она, протягивая мне полную миску вареной капусты с картошкой и большую пшеничную лепешку.— Сегодня съешь две, остальные я сберегу тебе на потом. Подогрею их, когда придешь.

Хай Сиси, мрачный, сидел на корточках у печки и ревниво следил, как она ухаживает за мной.

Но что мне до него! Я заработал свой хлеб. У крестьян вообще принято кормить того, кто строит для них лежанку или дом. Совесть моя была совершенно чиста.

Сегодняшняя лепешка была из кислого теста и, пожалуй, побольше вчерашней. Я повертел ее в руках — нет ли где-нибудь отпечатка ее пальца. Нет, ровная гладкая корочка. А если бы я отыскал отпечаток, такой же, как тот, вчерашний,— испытал бы я те же чувства, повторилось бы то, что случилось со мною вчера? Да нет, наверное.

Человек так отзывчив на малейшие движения собственной души, но и с легкостью забывает обо всем, что волновало его еще недавно.

Подкормившись, я отправился «домой» и там уплел просяную ле-

пешку с кухни. Теперь мне понятна была разница между насыщением и обжорством.

Потом улегся на свою подстилку под лампой, завернулся в одеяло и, испытывая сытое блаженство, принялся размышлять в полудреме, сколько же я сегодня всего съел. На полный желудок можно было подумать и о чем-нибудь помимо еды. И я стал думать о ней и о Хай Сиси. Вряд ли они муж и жена, но близость между ними скорее всего существует. Правда, тогда он вряд ли повиновался бы ей, как пес, и безропотно сносил бы ее насмешки. Тут была какая-то тайна, оба они занимали меня, особенно она, Мимоза, добрая и ядовито-насмешливая разом...

Что до Хай Сиси, то в чем-то я даже завидовал ему. Работник он был замечательный. Он ловко и споро, без единого лишнего движения оштукатурил лежанку — ни рук не испачкал, ни одежды.

Здесь, среди деревенских, такое умение в цене. Бывает, хозяйка замесит тесто, а половина-то и поналипнет на миску, и на руки, и на разделочную доску, а у хорошей стряпухи все идет в дело, а руки, миска и все остальное — без единой крошки. Быстрота, тщательность, результат ценятся в работе, как краткость в литературе,— далеко не все приходит с опытом. Те, кто не имели дела с землей, полагают, что главное — физическая сила. Есть она — и тогда со временем все начнет получаться. Но мне случалось видеть старых, многоопытных крестьян, которые делали свою работу без всякой сноровки, неряшливо,— так и некоторые профессиональные писатели до конца жизни остаются многоречивыми.

Простой ручной труд обнажает ум и характер человека.

Постепенно я погрузился в сон, и мне снилось, что я превратился в крепкого, мускулистого рабочего с плаката «А ты потрудился на благо Родины?» — только лицо мое удивительно напоминает лицо Хай Сиси.

18

Нас не водили на работу, покуда снег не растаял.

Я люблю снег. Впервые мне довелось увидеть его в Чунцине. Как-то утром моя няня помогала мне одеться, я вылез из кроватки, сдвинул оконные занавески, и в тот же миг меня ослепило серебристо-белое сияние. Еще вчера такие жалкие лачуги на склонах гор и редкие рощицы бамбука теперь, под снежным покровом, казались прекрасными, точно во сне. Этот чистый, без единой капельки грязи мир наполнил мою детскую душу печалью — мне захотелось слиться с Великой Природой. И я зарыдал в молчаливом благоговении перед величием мироздания. Смею сказать, что не будь этого снега, мне бы не удалось сформироваться так рано, стать позднее поэтом, а еще позже...

На лессовой равнине снег был прекрасен. Прекраснее, чем на юге. Там снег лишь напоминал о зиме, как на севере, при виде снега, начинаешь мечтать о весне. Да, этот снег на лессовом плато предвещает весну.

Сегодня мне предстояло вывозить на поля тот самый навоз, который несколько дней назад мы специально измельчали. Поля под снежным покровом кажутся необыкновенно ровными и опрятными, словно с них смели все лишнее. Гребни холмов, островерхие пригорки, гряды валунов по склонам оросительных каналов, резко очерченные вершины деревьев — все приобрело мягкие, плавные очертания, потеряло остроту, сделалось округлым, нечетким, будто небесный петух укутал землю нежнейшим пухом. Чудилось, что снег теплый, и хотелось приникнуть к нему щекой.

Мне выпало сопровождать другую повозку, не Хай Сиси. Мой возница, невероятно молчаливый и медлительный крестьянин лет пятидесяти, успел сделать всего две ездки, пока Хай Сиси сделал пять.

— Вот дурак! Знай нахлестывает! А мы помаленьку-потихоньку! — Он победоносно воззрился на Хай Сиси, промчавшегося мимо нас, и потер рукой покрасневший от холода нос. Это было все, что он сказал за весь день, да и обращался он скорее к самому себе. Его осуждающее «Знай нахлестывает!» имело единственный смысл: стараться на работе — только неприятности наживать. Это был его жизненный принцип.

Ладно, пусть себе тащится еле-еле, зато у меня есть время помечтать. Повозка мерно покачивалась, и я чувствовал себя словно во сне. Снег навевал мысли об Андерсене, о Пушкине, о Лермонтове...

О снег, ты взрастил Пушкина!
И сейчас ты сыплешь и сыплешь.
Не могу и поверить, что ты
явился оттуда, из этих мрачных пепельных туч,
Нет, верно, там, в поднебесье,
нефритовые пальцы обрывали снежинки-лепестки,
Их много там, как много по весне в саду
лепестков, облетевших с груши.
Дай мне одну снежинку, только одну,
прошу, увлажни мою душу
благодатной влагой.
О, это ты спасла Чжан Юнлиня!
Ты протянула мне руку.
И я не поверю, что ты выросла здесь,
в убогой, забытой деревне,
Таинственный блеск твоих глаз
смущает людские души,
В твоем сердце — многоцветье юга,
О, я запомню навек, запомню навек
след, оставленный тобой,
словно драгоценной ладьей.

Колеса повозки не смогли преодолеть неглубокую борозду, и возница остановился. Ладно, пусть себе сидит, все свой нос никак в покое не оставит. В лагере таких недотеп называли «дохлыми собаками». Ни угрозы, ни принуждение не могли заставить их шевелиться поживее.

Почему я сказал, что ее глаза «смущают»? «Сочувствуют» — было бы точнее. Я перебирал слова, подыскивая возможно более верное. Теперь, когда мне не голодно, в моей душе стали зреть какие-то неясные порывы, рождалось нечто, долгие годы не имевшее выхода. Мое сердце напоминало паучью паутину, которая, сверкая капельками недавнего ливня, тихо колеблется под карнизом.

Вдруг я почувствовал, что краснею.

Вместе с другими женщинами она ворочала навоз, который грязнил белый снег, выделяясь на нем отвратительными лишаями. Зато удобно было следить, сколько уже наработано. Для одного дня неплохо! После полудня, когда моя повозка в очередной раз возвратилась с поля, бригадир крикнул: «Кончай работу!»

Крестьяне разбрелись по домам. Она поджидала меня возле навозной кучи, опершись на лопату.

— Когда отдохнешь, приходи ко мне, а?

— Что, нужно что-нибудь сделать? — тупо спросил я, слезая с телеги.

— Что, что... — Она явно поддразнивала меня. — Тяга в лежанке так себе — вот что!

После ужина я отправился к ней. Конечно, сначала я съел просяную лепешку с нашей кухни. Мои соседи занимались собственными делами или думали каждый о своем, и никто не обратил внимания на мой уход. Да и кому бы пришло в голову подозревать меня! Только представить рядом меня с моей физиономией и ее... Но я шагал, и не куда-нибудь, а на свидание.

Я спешу-тороплюсь, хочу поскорей
возле ее окна очутиться

На занавеске вижу трепетную тень —
Это она кутается в мягкую накидку.
. . . . . .

Как и у всех в деревне, ее окно состояло из множества мелких осколков стекла. Видно, госхоз приобрел по дешевке стеклянный бой. Она сидела на лежанке и чинила одежду Эршэ. На стене масляная лампа, сделанная из бутылки. Пусть на женщине нет «накидки», но сколько нежности и доброты в ее облике.

— Так что с лежанкой? — спросил я, входя, хотя и был совершенно уверен, что тяга превосходная.

— Что, что...— Она опять передразнила меня.— Почему так поздно?

Когда она смеялась, ее мелкие зубы поблескивали в колеблющемся свете лампы. Нижний ряд зубов чуть-чуть выступал вперед, но это ее нисколько не портило, скорее даже подчеркивало ее прелесть. Смех разбудил ребенка. Она встала, чтобы принести миску с капустой и картофелем и две пшеничные лепешки.

Мягко, с улыбкой, но я все-таки попытался протестовать:

— Не надо, право, у вас так мало муки, побереги ее для Эршэ.

— Опять за свое! — И она снова принялась хохотать. Я ничего не понимал.— Хватит ерунду городить,— сердито сказала она.— Обо мне не беспокойся. Зря, что ли, они называют мой дом «Ресторан «Америка»?!

Она держалась совершенно естественно, и меня не смущала ее жалость, замешанная на детском озорстве и женском своеволии. Нельзя было спрашивать, откуда она берет пшеницу,— понятно, что в каждой семье существовали свои способы подкормиться, не то что у одиноких, которые питались с госхозовской кухни. Нам даже овощей не перепадало, и мы едва тянули... Зато и следили друг за другом в оба...

Пока я ел, мы болтали о том о сем. Она рассказала, что родом из Цинхая, что у нее есть старший брат, который работает на фабрике в провинциальном городе, там и женился на местной. С женою брата они не ужились, вот она и перебралась несколько лет назад в эти места. Впрочем, об этом она говорила с неохотой. Вспомнила свое детство. В их доме все девочки замечательно вышивали, даже подошвы носков покрывали разноцветной вышивкой. Сказала, что в получку купит мне пару носков и украсит их вышивкой. Я удивился: зачем же нужна вышивка на подошве, кто ее разглядит. Она посмотрела на меня молча, как бы силясь понять, в чем же я в самом деле нуждаюсь. Потом заговорила о своей матери. Та в молодости была известной в своем краю мастерицей петь народные песни (она употребила местное слово, обозначающее особый песенный жанр «цветочных» песен, и я понял, почему ее мать получила прозвание «Маков Цвет»). Потом она тихонько запела:

В огороде лук зеленый —
Его не срезай!
Пусть растет себе зеленый,
А ты не мешай!
Мой дружок — речное русло,
а вот речка — я.
И стараешься напрасно
Запрудить меня.
Буду-буду я струиться.
Весело звеня!

— Ну как? — спросила она. Ее глаза радостно сияли.

Я как раз покончил с едой и слушал ее, примостившись на глиняном стуле. Веселая песенка, уют и тепло этой глинобитной хижины, тихое посапывание спящей Эршэ, сумеречный свет масляной лампы, ощущение сытости — все это вместе подействовало на меня так, что я чувствовал себя не то спящим, не то вконец захмелевшим.

Реальный мир терял четкость, погружался в призрачную туманную дымку, а то вдруг вспыхивал радужным семицветьем. Мое сердце снова поглощало впечатления, как морская губка, впитывающая свежую, утреннюю росу.

Она пела песню, рожденную в междуречье Хуанхэ и Хуаншуй, в дальней провинции Цинхай. Музыкальный строй был необычен: мелодия причудливая и прихотливая, то взвивалась ввысь, то снижалась. Хотя голос и звучал с бесконечной нежностью, в нем отчетливо воплощала себя незнакомая слуху торжественная манера пения, являлся во всей полноте живой и веселый характер тамошних жителей с их неуемной жаждой любви. Никогда еще ни одна песня так не пронзала мне душу, я чувствовал себя, как после инъекции возбуждающего снадобья,— дух мой взвеселился.

— А ты ведь тоже певец — спой что-нибудь! — с улыбкой попросила она. Так дети говорят друг другу: «Теперь твоя очередь!»

Я объяснил, что вовсе я не «певец», а «поэт», но, конечно же, не стал вдаваться в тонкие научные различия двух значений слова «песня», тем более я сам начал подозревать, что не вполне понимаю термин «песня» в его поэтическом значении — то есть попросту говоря, уже не знаю, что такое «поэзия». Приобретая знания человек теряет душевную чистоту и простосердечие, его мысли так усложняются, что их невозможно выразить словами. Ко мне пришло понимание того, что поэту недостаточно просто́ жить рядом с рабочим людом, он обязан делить их судьбу, проникаться их чувствами. В конце концов, я пробормотал, что некоторые песни иначе называются «стихи»; то, что я сочиняю, она, может быть, и сумеет спеть, но я сам могу только прочитать...

— Ну тогда прочти,— попросила она,— а я послушаю.— На лице ее появилось выражение непритворного внимания.

Я откашлялся. Ничего подходящего не приходило в голову. Что же ей прочитать? Выходит, я кропал только самые что ни на есть расхожие стишки, вроде бы сочиненные для народа... Но, прочитай я их ей, она, пожалуй, не поняла бы ни слова. К тому же я и читать толком не умею. Не умеющий прочесть собственные стихи — едва ли истинный поэт. Я со стыдом осознал, сколь легковесно было все мое поэтическое прошлое. Наконец я выбрал самое известное и доступное стихотворение Ли Бо[1]:

Лунным сияньем
пол озарен предо мной.
Чудится, будто
иней блестит ледяной.
Взор поднимаю —
с ясной встречаюсь луной.
Взор опускаю —
дом вспоминаю родной.

Она сидела на лежанке, и сначала мне показалось, что стихи ее тронули. Но она вдруг захихикала, потом разразилась хохотом и повалилась на лежанку, не в силах совладать с собой.

— Ой, я помру от смеха, прямо помру!.. «Иней блестит ледяной» — это надо же! «Иней»!

Она опять уселась и принялась изображать, как я, растягивая рот, произношу слово «иней».

— Нет, это не то,— сказала она,— прочитай какое-нибудь другое.

Стихи Ли Бо опечалили меня. Он мог хотя бы «вспоминать родной дом», а мне и вспомнить-то было нечего. То, что было в моем личном деле, обозначено как место моего рождения — дом моих предков,— мне уже недоступен, его попросту не существует; моя мать в Пекине, приживалка у чужих людей. Самое мучительное —

[1] Ли Бо (701—762) — поэт эпохи Тан.

не «вспоминать о доме», а не иметь дома, о котором можно было бы вспоминать. И мое ощущение одиночества и бездомности — так, должно быть, чувствует себя, увядая, вырванное с корнем растение — точнее всего выразить строкою Цуй Хао[1]: «Закатное солнце... Я так и не знаю, где он, мой дом родной?» или Хань Юя[2]: «Бурые тучи сошлись над горами, где же он, где мой дом?»

Но ее веселый смех рассеял мою печаль, заставил и меня улыбнуться. Я понял, что повела она себя так нарочно. Ее доброта нуждалась в том, чтобы чуткое внимание к любой мелочи было скрытым, неочевидным. Глядя на нее благодарным взглядом, я вспомнил стихи Ли Юя[3]: «Смеется, глядя на любимого...» Я постарался, чтобы она не заметила моей признательности.

Ночь выдалась снежная, и на память пришли строки Лу Луня[4]:

Луна помрачилась,
гусей караван в небесах.
Тьмою хранимый
пустился пленник в побег.
А следом погоня
летит на легких конях,
Все гуще снежинки
на луках и на мечах.

Только принялся я объяснять ей стихи слово за словом, как распахнулась дверь и вошел Сиси. В неверном свете лампы было видно, как он свалил у порога плотно набитый мешок. Он явно испытывал ко мне неприязнь, так что мое подчеркнутое безразличие было вполне оправданно. Она, казалось, и не заметила его прихода, даже не поздоровалась. Он, как обычно, пристроился на корточках. Едва я умолк, Хай Сиси злобно сплюнул прямо на пол и буркнул:

— Как же! Поймали! Кто убежал, того хрен догонишь! «На легких конях»! Да за ним и на самолете не угнаться!

— Ты-то что в этом понимаешь?! — Она небрежно скользнула по нему взглядом.— Твое дело — брюхо набить!

Она обращалась к Хай Сиси, но ее слова задели меня за живое: «Брюхо набить» — да чтобы понять, как это важно, я потратил двадцать пять лет! Это далось мне с большим трудом, чем «Поэтика» Аристотеля! Казалось бы, плевая наука — а едва не стоила мне жизни.

— Э-эх! — Хай Сиси осклабился, обнажив острые, как у волка, зубы,— не так-то просто брюхо набить, немногие знают в этом толк!

Пораженный, я уставился на него. В том, что он сказал, был великий смысл, как говорится, «выдающиеся умы думают сходно»; я потянулся к нему сердцем, ибо «обезьяне жаль обезьяну». Но в ней его слова вызвали один только гнев. Она схватила веник, собираясь подмести лежанку, и крикнула:

— Катитесь отсюда вы оба! Катитесь! Мне спать пора!

19

Она велела приходить к ней ежедневно после работы. Попробуй не прийти, и она тотчас явится за тобой. Боясь, что ее визиты вызовут подозрения у Начальника, я сам стал ходить к ней каждый вечер, как по расписанию. Смущаясь, я поглощал еду, замечательную сытную еду. У нее хранились приличные запасы муки, риса, проса, ку-

---

[1] Цуй Хао (?—754) — поэт эпохи Тан. Приведена строка из стихотворения «На башне Желтого Аиста».

[2] Хань Юй (768—824) — поэт эпохи Тан. Приведена строка из стихотворения «Только что проехал заставу Ланьгуань; уведомляю об этом внуков и племянников в Сяне».

[3] Ли Юй (937—978) — поэт эпохи Тан.

[4] Лу Лунь (748—800?) — поэт эпохи Тан. Цитируется третье стихотворение из цикла «Пограничных песен».

курузы, сорго, сои, гороха — всего, что выращивали на великой лессовой равнине, и дом ее напоминал нору мыши-полевки. Она часто готовила смесь из риса, проса и сои, ароматную и более сытную, чем просто рис. Газеты и радио как раз упорно призывали «рационально использовать рис». В лагере я слышал, как один повар-передовик ухитрялся готовить из одного цзиня риса семь цзиней каши, и был за это принят в «Союз новаторов»; тогда и от таких разговоров у меня слюнки текли. Но она пренебрегала подобными «высокоэкономичными способами приготовления пищи», предпочитая всем этим «перенасыщенным растворам» настоящую еду — рисинка к рисинке, пухлые и блестящие. И уж конечно, готовила она получше, чем тот лагерный повар-новатор, особенно свою просяно-рисовую смесь.

С древнейших времен дикое, так называемое «петушье» просо не включалось в число пяти основных продовольственных культур[1]. В 1958 году, как раз в то время, когда стал куститься поливной рис, возникло общенациональное движение по выплавке стали, и все крестьяне, все сельхозрабочие принялись добывать уголь и строить домны в горах. Пока ярко горел огонь в домнах, «сгорел» и рис на полях — от недостатка влаги. По осени поливного риса не собрали ни зернышка, зато дикое просо уродилось хоть куда и стояло, словно лес, выше человеческого роста и такой густоты, что саранча не в силах была продраться сквозь заросли. Местному начальству и пришла тогда на ум заманчивая идея: дикое просо — в пищу! Его стали сдавать государству, считая это вынужденной мерой. Так сорное просо внедрилось в ряды культурных злаков и вскоре утвердилось там на почетном месте. Обычно в пищу шел общий обмолот зерна и шелухи — это и была еда, которую мы ели ежедневно. Поскольку в ней, этой муке, вовсе не было клейковины, то приготовленные из нее лепешки только что не разваливались. При более мелком помоле, как говорили женщины, ворошившие навоз, удавалось разве что кашу сварить. И вот из такого сырья она готовила замечательную еду!

Мне никак не удавалось избавиться от чувства неловкости, все казалось, что я ее бессовестно объедаю. Но я по-прежнему продолжал ежевечерне бывать у нее. Счастье, довольство, уют, царившие в этом доме, неудержимо влекли меня. Несколько раз я пытался уговорить ее не кормить меня мучным — обойдусь картошкой и капустой. И она отвечала:

— Это еще почему? Для тебя главное — подкормиться, а зерно у меня есть, зря, что ли, люди говорят, что я открыла «Ресторан «Америка». Ты только посмотри, какая Эршэ рослая и крепенькая!

И вправду, Эршэ была на диво упитанная, веселая — чудный ребенок. Ничего общего с теми недокормышами, которые с жадностью следят за каждым куском. Когда я ел, она или спала, или преспокойно играла на лежанке с крохотной печуркой и горшочками, почти всамделишними,— их сделал для нее Хай Сиси. Двухлетний ребенок не может притворяться, ему и гостеприимство не ведомо, так что если Эршэ вовсе не смотрела за тем, как я ем, значит, и в самом дел была сыта.

Итак, главным для меня оказалось «подкормиться».

Со временем я понял, что местные имели в виду, говоря «Ресторан «Америка». Конечно, название было неофициальным и, разумеется, не поддавалось буквальному истолкованию. В нем отразилось представление здешних жителей об окружающем мире: «Ресторан «Америка» — это вовсе не заведение, где кормят всех и каждого, но любой мужчина мог прийти сюда поболтать, развеяться. Одним словом, нечто вроде чайного домика. А наименование «ресторан» было скорее связано с тем, что Мимозе перепадало немного еды из запасов ее гостей. Таинственным могло показаться и название — «Америка». Для местных жителей Америка представлялась чем-то малореальным,

[1] Имеются в виду рис, просо, ячмень, пшеница, бобы.

но и хаотичным; царством непонятных, темных отношений мужчин и женщин; страной богачей, где никого не печалит забота о хлебе насущном. Пожалуй, в слове «Америка» — слышалась одна только насмешка, лишенная и оттенка злобы.

Типичным было отношение бригадира Се к Мимозе. Однажды, когда я приехал за удобрением, как раз произошла перепалка между ними.

— Говоришь, открыла «Ресторан «Америка»? А ты заходи! — Она стояла с лопатой на куче навоза и хохотала.

— Жди! — Бригадир отругивался, продолжал ворошить навоз.— Думаешь, прямо мечтаю к тебе...

— А то нет! — Мимоза ткнула в него пальцем.— Боишься только, слюнки потекут — бороденку замочат!

Как раз в этот момент бригадир сплюнул в раздражении, и капля повисла на бороде. Все так и покатились со смеху.

Последнее слово осталось за Мимозой. Но мне было известно, что бригадир так и не навестил ее. Впрочем, когда она и другие женщины работали, он всегда посылал в помощь им мужчину посильнее. Да и не ругал он ее всерьез, а уж тем более не притеснял.

Если безмужняя женщина в деревне растит ребенка и ее часто навещают мужчины — наверняка поползут сплетни. Но Мимозе это сходило с рук. Местные просто хорошо к ней относились. И не потому, что она была как-то особенно привлекательна или специально стремилась завоевать их расположение — она с ее дружелюбием и добросердечием легко и естественно привлекала людей. Искренность и доброта способны, словно по волшебству, наделить обаянием и самое по общепринятым меркам предосудительное поведение.

Из разговоров я понял, что последние несколько месяцев Хай Сиси, как говорится, «в одиночку любовался прелестным цветком», другие редко навещали Мимозу. Постепенно «Ресторан «Америка» отошел в прошлое и сделался достоянием истории, как Вавилон. Правда, мне было известно, что «монополия» Хай Сиси кажущаяся. У него обнаружился соперник — впрочем, это слово вряд ли уместно — в лице хромого кладовщика. Однажды, когда я пришел к Мимозе, Хромой сидел на «моем» стуле, пока она, стоя к нему спиной, раскатывала тесто. Едва я появился, он, явно раздраженный, поднялся и покинул дом, прихватив пустой мешок, в котором, видно, принес ей что-то съестное. В другой раз, когда мы болтали после еды, послышалась характерная поступь Хромого, и она тотчас соскочила с лежанки, чтобы запереть дверь. Он окликнул ее, и Мимоза сказала в ответ, что уже поздно и все спят. Я затаил дыхание, мое сердце неистово колотилось. Когда тяжелые шаги Хромого затихли вдали, она лукаво улыбнулась и как ни в чем не бывало попросила дорассказать мою историю.

Чем больше я узнавал ее, тем вернее убеждался, что она вовсе не похожа на «женщину, неразборчивую в знакомствах»; в ней были чистота, покой, озорство, открытость... но я чувствовал, что в ее характере таится и что-то, неведомое мне.

20

От Хай Сиси она никогда не запиралась. Он появлялся на пороге с важностью хозяина дома и, завидев меня, восседающего на единственном стуле, с мрачным видом усаживался на корточки.

Мы встречались у Мимозы почти ежедневно. Он приходил поздно: ведь ему нужно было задать корм лошадям, вычистить их, наладить упряжь. К его приходу я обычно уже успевал поесть. Сам не знаю почему, но, завидев его, я как-то весь съеживался, словно прятал в кармане ворованное и был застигнут на месте преступления.

Это очень угнетало меня. Стоило ему появиться на пороге, как я неудержимо краснел, а моя речистость исчезала без следа. Да и не-

прибранный стол — свидетель моего преступления — заставлял меня беспокойно ерзать.

В отличие от прочих деревенских женщин Мимоза не любила сплетен. Ей нравилось все фантастическое, лишенное малейшей связи с реальной жизнью; она заслушивалась преданиями и сказками. В эти минуты — обычно после ужина и до самого позднего вечера — она являла столь непривычный, далекий от простонародного вкус, что поневоле начинала казаться другим человеком — неужели это она днем за работой громко хохотала и переругивалась с товарками?! Она донимала меня просьбами рассказывать еще и еще. Я сделался настоящим сказителем, и было похоже, что своими историями я расплачиваюсь за стол. Мои рассказы будоражили ее воображение, она отдавалась мечтам. Человеку вообще свойственно фантазировать. Но как же трудно проникнуться чужими фантазиями! А Мимоза сопереживала и Гадкому утенку, и Золушке, и Русалочке, предавалась их мечтам, сочувствовала героям «Странных историй» Пу Сунлина [1]. Она едва знала грамоту, но душой откликалась на чужеземные и древние фантазии. Я вовсе не был умелым рассказчиком, не вдавался в детали, перескакивал с пятого на десятое, излагая только общий сюжет. Мимозе хватало воображения дорисовать подробности; она задавала толковые вопросы, а порой предлагала свои сюжетные ходы ничуть не хуже Пусунлиновых. Ей, никогда не видевшей моря, удавалось вообразить, как меняется его цвет, представить себе грохот волн: она взаправду слышала голоса сирен, увлекающих моряков своими песнями, верила, что мыши могут превращаться в лошадей. Она словно бы читала эти книги одну за другой. Я не уставал дивиться ей.

Не то Хай Сиси. Он постоянно спорил со мной и выискивал неувязки в моих рассказах. По-звериному примостившись на полу, он, как лисица, навострял уши, покуда я, смущенный его присутствием, рассказывал, путаясь в трех фразах, а порою и вовсе комкая историю и сворачивая ее на середине,— казалось, он прислушивается к маленькому зверьку в лесу, облизывая в возбуждении губы. Едва я заканчивал рассказ, как он принимался громить вымысел и волшебство — так слон, ворвавшийся в Версальский дворец, крушил бы все, идя напролом.

— Ха! Станет дикая утка высиживать лебединое яйцо! — презрительно цедил он, не глядя на меня. Вообще смотрит он только на Мимозу. Я как бы читаю свои рассказы по радио: он слышит мой голос, но меня самого в комнате словно бы и нет.— Она что, ума лишилась, утка?! Да лебединое яйцо в чертову пропасть раз больше утиного! Окажись такое у нее в гнезде, она и не взгромоздится на него — улетит, и все!

— Ври больше! Золотая карета! — издевался он, послушав «Золушку».— Да кто станет делать карету из золота?! Это же разорит восемь поколений! Мне голову не заморочить — какие, спрашивается, кони попрут с места эту золотую колымагу! А? Вот такусенький слиток золота,— он чуть развел два пальца,— на сколько потянет? А тут — карета!

Пожалуй, еще более едкими оказались его комментарии к «Русалочке»: «Подумать только — женщина с рыбьим хвостом! И откуда, интересно, он у нее растет, а? И как там у них мужчин от женщин отличают? И как дети родятся? Знать, у тебя просто язык без костей!»

Он злобно твердил свое «язык без костей», а я терпел и терпел. Раз я попросту не существовал для него, то и мне приходилось делать вид, что он для меня не существует тоже, и не отвечать на его оскорбления. К тому же силой и весом он превосходил меня. Чуть ли не вдвое.

[1] Пу Сунлин (Ляо Чжай, 1640—1715) — писатель, автор фантастических повествований.

Когда я заканчивал очередную историю, Мимоза обычно продолжала хранить сосредоточенно-внимательный вид, точно пробовала на вкус маслину, и, конечно, не слушала его болтовню. Зато я — пусть медленно, но наливавшийся силой — от его грубости, ревности, презрения ярился до того, что кровь начинала бурлить. В гневе у меня краснело лицо и закипали слезы. Исчезла даже та малость уважения и симпатии, которую я еще продолжал к нему испытывать. И все-таки было в нем что-то влекущее; его бесстрашие, яростная работоспособность, даже грубость и неотесанность подходили для здешней жизни, собственно, только здесь и могли они проявиться сполна и столь ярко. Кто я рядом с ним? Трус, мозгляк, доходяга, похожий на высохшего клопа. И плакал я не только от гнева — от обиды и жалости к самому себе текли у меня из глаз слезы. И я прикидывал размер своего кулака, готовясь при случае воздать ему за оскорбления.

Каждый, кто сколько-нибудь долго существует в простой, естественной среде, волей-неволей приобретает соответствующие ухватки, а я еще и стремился к этому изо всех сил. Мне казалось, что без напористой грубости, без готовности выполнить любую работу, без жесткости здесь пропадешь. Человек, живущий своим трудом, должен быть вроде Хай Сиси. Какая тут, к дьяволу, культура! Работа сама по себе не бывает хорошей или посредственной, вот посредственных людей — сколько угодно! Взять, к примеру, того старика возницу, моего напарника, будь он в сто раз более образован — писатель, скажем,— он и тогда, я уверен, остался бы таким же бездарным и безликим, «дохлой собакой», одним словом. А вот Хай Сиси и в литературе был бы личностью.

Подсознательно я ощущал его своим соперником.

Физически я здорово окреп. Мимоза не уставала повторять: «Главное — хлеб! Хватит «огуречничать»! Овощами пузо набьешь, да сил не наживешь! Только в толстобрюхого борова превратишься...»

Конечно, это был вернейший принцип — хлеба, и досыта. Всякий раз, когда у нее дома я съедал вдоволь лепешек из настоящей пшеничной муки, мой организм буквально наливался жизненной силой. Это не был самообман — тому свидетели и нутро мое, и внешность. У нас не было зеркала, а пользоваться ее зеркалом мне не хотелось, но и просто на ощупь чувствовалось, как округлились мои щеки, как покрывались мышцами руки, ноги, грудь. Я ощущал небывалый приток энергии. За все мои двадцать с лишним лет такого мне еще не приходилось переживать. Окажись я внезапно в дивном саду, полном редкостных цветов и чудесных деревьев, я и то не познал бы ощущений, столь острых в своей новизне. Ведь сад, какой он ни есть замечательный, существует вне меня, а все это происходило во мне, со мной. Сколько приходилось читать о том, что ночью можно услышать, как растет трава, как семя рвется из земли на волю. И вот теперь мне довелось пережить единственный в своем роде опыт: ежедневно я слышал, как множатся в моем организме клетки. Современная медицина пребывает в постоянном поиске путей и средств, как сделать человека здоровым. Жаль, что уважаемые специалисты остаются в неведении относительно уникального эксперимента: три года подопытного морят голодом, а потом позволяют наесться досыта. И без всяких стимуляторов, словно знаменитый мастер превращений Обезьяний царь Сунь Укун, он на глазах становится великаном. А дело все в том, что пища, которую поглощает изголодавшийся организм, мгновенно переваривается, полностью усваивается и превращается в новые клетки. Грубо говоря, сколько съел — столько прибавил, в некотором смысле «безотходное производство».

21

Климат великой лессовой равнины необыкновенно сухой. Уже через полмесяца с полей испарился весь снег. Именно испарился, а

не впитался, растаяв, в почву. Лишь кое-где, в недоступных солнцу канавах и рытвинах, сохранились снежные наметы, зато над грязными деревенскими проулками опять заклубилась пыль. И опять у подножия гор ветер воздвиг величественные пылевые колонны. К востоку, насколько хватало глаз, простирались бесконечные лессовые земли, своим золотистым сиянием пробуждающие весеннее томление. Смерчи сметали с полей и гнали перед собой прозрачные клубы туманных испарений, словно табун диких скакунов, напоминая мне сравнение из «Чжуанцзы» [1]: «Как дикие кони, клубы испарений».

А повозка Хай Сиси, яростно поскрипывая и угрожающе кренясь на ухабах, моталась все быстрее и быстрее по дорогам. Тощие коняги день ото дня выглядели все более изможденными. Но в том-то и состояло мастерство возницы, что и эти загнанные клячи не смели ни на миг замедлить свой бег.

Ход упряжки зависит от возницы.

В паре с Хай Сиси никто не выдерживал больше двух дней. «Этот осел каждый день вкалывает с бычьим упорством, а нам, бедным,— одни неприятности!»— ворчали те, кому выпадало работать вместе с ним. Пока возили навоз, его напарниками перебывало по крайней мере десять человек. Первым из нас ездить с ним досталось Лейтенанту. Вернулся в ярости: «У-у, черепашье отродье! Нашел время, мать его растак, трудолюбие свое выставлять! Другие две ездки сделают, ну три, а этот ублюдок — пять! Совсем загонял меня. Все, ищите других дураков, а я завтра в Чжэннаньпу подамся!»

На следующий день я сам вызвался ехать с Хай Сиси.

Лошади стояли прямо посреди большого квадратного двора. Вдоль одной его стороны в ряд выстроились повозки, три другие были заняты ветхими конюшнями, которые еле держались и были подперты жердями. Мы пришли туда пораньше — крестьяне, назначенные сопровождать повозки, расстегнув рваные ватные куртки, грелись на солнышке, дожидались, пока впрягут лошадей. Возницы по очереди выводили своих подопечных из-под навесов, слышались все эти привычные «но-о», «пшел», «тпру»... Невыспавшиеся или просто равнодушно-угрюмые лица, и лошади под стать хозяевам — медленно и неохотно двигались они по двору, несмотря на яростную брань; с превеликим трудом удавалось надеть на них упряжь.

Пожалуй, только лошади да повозка Хай Сиси выглядели чуть лучше прочих. И сам он — самоуверенный, грудь колесом,— ни на кого не глядя, ловко управлялся со своими одрами, разве что слегка щекоча их кончиком кнутовища. Уверенностью и силой он напоминал циркового наездника, который без малейшего напряжения подчиняет лошадь своей воле, и та, не прекословя, выполняет любое его желание — ни разу не щелкнув кнутом, Хай Сиси в момент впряг лошадей в повозку. Но не двинулся со двора, а вскочил на глинобитную ограду и уселся там, следя за остальными тем особым блестящим взглядом сверху вниз, который был мне слишком знаком.

Повозка за повозкой выезжали за ворота, и на каждой, кроме возницы, восседал крестьянин-помощник. Наконец во дворе остались мы с Хай Сиси да три его лошаденки.

Тогда он выпрямился в полный рост и принялся из-под ладони, заслонившись от солнца, обозревать окрестности. Возле ограды женщины ворошили навоз, доносились их смех, перебранка. Хай Сиси ловко соскочил вниз и широким шагом направился к стогу сена.

Немного погодя он появился из-за стога с огромным мешком — на глаз цзиней в пятьдесят, который он пристроил на перекладинах под настилом повозки, стряхнул с рукава сухие травинки, взмахнул кнутом — «пшел, пшел!» — правя упряжку к воротам.

---

[1] Древний литературный памятник, автором которого считается мудрец Чжуан-цзы (Чжуан Чжоу), живший в IV—III вв. до нашей эры.

Он не кивнул мне, проезжая мимо. Тогда я вспрыгнул на повозку, вспрыгнул с ходу, перемахнул через ее задний борт — пусть знает, что я не собираюсь ковылять, словно утка, следом за его экипажем.

Конечно, в мешке он приволок корм для своей скотины — картошку, соевые бобы, горох, сорго или еще что-нибудь. Понятно, договорившись с кем надо, да я и не собирался разоблачать его делишки. В лагере мне пришлось всякого навидаться. Был там один, тоже, кстати, возница, так он между осями повозки ухитрился натянуть холстину, на которую и складывал морковку. Торговал он ею без всякого разновеса, на глазок. Он сторговал у меня замечательные часы, но мне и в голову не приходило донести на него — этим нарушался молчаливый торговый договор, да и голодный желудок противился подобному шагу.

Стояла замечательная погода. Часам к десяти растаял иней, оставив на соломе и деревянных бортах повозки буроватые потеки. Прозрачная небесная синева, твердая сухая дорога, легкий парок от теплого навоза... У меня хорошее настроение. Я даже охвачен каким-то внутренним возбуждением, словно в предвкушении чего-то необычного...

Сложилось так, что возница и правил лошадьми, и занимался погрузкой-разгрузкой. Подручный только помогал, и никто не считался количеством работы: трудились парой и отчитывались вместе, лишь бы норму выполняли. Никто не родится умелым возницей, мастерство приходит с годами, постепенно. Если ты ухватист, сообразителен, здесь поможешь, там подхватишь, а когда и поводья подержишь в дороге — глядишь, и научился кое-чему. Никаких тебе водительских прав или экзаменов, все бригадир решает: увидал, что справляешься, значит, доверит ездить самостоятельно. Конечно, в управлении повозка попроще автомобиля. Что действительно трудно, так это научиться ладить с лошадьми — с машиной куда легче! Особенно, если какая неожиданная опасность возникнет — тут уж светлая голова да ловкие руки значат побольше всякого опыта. И до тех пор, пока все наше сельское хозяйство не будет механизировано, мастер-возница всегда будет в цене.

Вот таким умельцем и был Хай Сиси. Потому и в бригаде им весьма дорожили.

...Он подъехал почти вплотную к навозной куче, обнесенной плетнем, слез с повозки и, усевшись у стены, занялся поправкой кнутовища, грузить навоз он и не думал. Своим видом он словно бы говорил: «Это твоя обязанность, вот и действуй!»

Я взял вилы, поплевал на ладони — у него и подметил эту привычку — и, покряхтывая, принялся за дело. Когда же повозка наполнилась с верхом, я воткнул вилы в гору навоза, примостился на кучерском месте и закурил одну из своих драгоценных сигарет. От наслаждения я даже ногами заболтал.

— Сядь, где сидел! — рявкнул он, подходя и щелкая кнутом.— Передок и так перегружен!

Какая там перегрузка! Просто он хотел, чтобы я трясся сзади. Передок повозки — как «мягкий вагон» в поезде. Дальше — «жесткая плацкарта», а на ухабах — и того хуже. Но я нагрузил все один и ощущал прилив небывалой уверенности в себе. Правда, взмок я изрядно, однако и сил во мне еще осталось немало. Как же я был счастлив! Значит, мой организм действительно молод!

Я улыбнулся ему мягко и снисходительно. Потом пересел на прежнее свое место.

Мне не забыть, о, мне не забыть
Тот след-отпечаток на корке лепешки.
Мне не забыть!

Он и в поле не помогал мне разгружаться, стоял и поигрывал кнутом. Едва я сбрасывал нужное количество навоза, он тут же гнал лошадей дальше, спешил очень. Груз одной повозки полагалось уложить в четыре кучи. Он намного опередил остальных, и после первой ездки мы возвращались в полном одиночестве.

Так что и у огромной навозной кучи наша повозка оказалась единственной. К третьей ездке все, кто ворошили навоз — в их числе бригадир Се,— начали понимать, что происходит нечто странное. Осадив лошадей, Хай Сиси отходил в сторону и усаживался на корточки; он и не пытался скрыть свою враждебность ко мне. Не курил, только мрачно сжимал кнутовище, будто готовился огреть меня, чуть я начну уставать и работать с прохладцей. Все посмеивались и тихонько обсуждали, что будет. А я трудился не покладая рук. И вовсе не для того, чтобы бросить ему вызов, а потому, что меня буквально переполняла какая-то молодецкая сила. Пришлось даже расстегнуть ватную кацавейку и подставить грудь ласковому солнцу. В таком виде, нараспашку, я напоминал лихого гармониста из Красноармейского ансамбля песни и пляски.

К навозу было подмешано изрядно соломы, так что я без больших усилий подхватывал вилами не очень тяжелую смесь. Сотней взмахов я наполнял повозку. Такая работа изнурительна для голодного. Мне же удавалось делать ее спокойно, без спешки. Я даже усовершенствовал кое-какие приемы, подойдя к задаче по-научному. Главная нагрузка должна приходиться на ноги и на спину, нужно стараться двигаться ритмично, без рывков, беречь силы.

После четвертой ездки моя победа сделалась очевидной. Ни капли усталости, я бодр, как и прежде. Женщины стали посмеиваться над Хай Сиси, называя его между собой местным словечком «хренодуй», смысл которого был мне не вполне понятен. У бригадира это «хрен» и вовсе не сходило с языка, но было неясно, кого из нас он бранит.

Хай Сиси тупо сидел на корточках, казалось, человек отошел по нужде, да так и забылся. Своей цели я достиг: в нашем противоборстве мне удалось победить. Теперь мне хотелось большего — не просто победить, а сокрушить его!

Мы возвратились уже из пятой ездки, другие совершили едва по три, а Дохлая Собака и вовсе две. Бригадир глянул на солнце и крикнул: «Шабаш!» Тогда я заорал ему:

— Рано! Только разохотились! Еще одну ездку успеем!

Когда закончилась эта шестая ездка, зимнее солнце уже опускалось за горы. Ни тучи, ни туманная пелена не заслоняли от взора их вершины, и они вздымались, отчетливо чернея в своей наготе. Воробьи и вороны, отчаявшись сыскать хоть зернышко среди остатков сена на конюшне, летали над разбитыми деревенскими проулками, чтобы опуститься на ветви сохлых деревьев в маленькой рощице, откаркать, отщебетать и замереть неподвижно. В холодном и влажном воздухе поднятая колесами пыль быстро оседала; мороз пощипывал щеки. Садясь на повозку, я поплотнее запахнул свою ветхую кацавейку. Передо мной маячила согбенная спина возницы. И в этой его позе было столько неизбывной тоски, столько душевной муки, что и во мне — с чего неизвестно — возникли горечь, маета, какое-то безразличие ко всему... радость победы исчезла, как не бывало, мне показалось — я рухнул в глубокий колодец с ледяною водой.

В полях тишина, ни души; нас окутал бледно-лиловый закатный сумрак. На разбитой грязной дороге только мы двое...

22

Расправившись с двумя казенными просяными лепешками, я раздобыл у Редактора полтазика воды и, раздевшись возле докрасна раскаленной печки, умыл лицо и растер тело. Еще недавно кожа моя бы-

ла вялой и дряблой, а теперь под ней ощутимо бугрились мышцы, пока, правда, слабенькие и не вполне твердые, но уже позволяющие провидеть будущего мускулистого атлета. Я подумал вдруг, что недаром в ранних переводах книг по политической экономии «физический труд» часто передавали словами «мускульный труд». Мышцы — это богатство, дающее возможность уверенно идти по жизненному пути, позволяющее полностью развить твои природные задатки; мысль вдохновляла, побуждала с еще большим рвением отдаваться так хорошо мне знакомому «мускульному труду».

К прошлому возврата не будет, придется мне расстаться с музой. Здесь культура никому не нужна, знания способны принести один только вред, ибо в самый неподходящий момент начинают растравлять душу. Я прощался с тем, что было мне дорого и близко,— и грустил; но впереди меня ждала встреча с близким и дорогим — и я радовался; я направлялся к Мимозе.

Более точно определить свои чувства мне не удавалось; что-то было во мне от человека, продирающегося сквозь совершенно фантастический и в высшей степени реальный сон.

Пока я мылся дома, Хай Сиси заявился к Мимозе. Он не занял пустующий стул, а как обычно устроился на корточках, взял на руки Эршэ и с рассеянным видом принялся играть с ней.

Настенная масляная лампа горела неровно — то почти гасла, то вновь разгоралась. В комнате клубился пар от кипящей похлебки, из топки тянуло дымком. Сквозь паровую завесу Мимоза показалась мне смутным образом из сновидения. Жизнь неслась в бешеном джазовом ритме пьесы Луи Армстронга «Как кружится от танца голова». Каких-нибудь двадцать дней назад появился я здесь, в этом доме, незваным, непрошеным гостем, разглядывал фотографии из «Анны на шее», собирался тайком заглянуть в кастрюлю, сунуть нос за занавеску, а теперь я вошел в комнату решительно, без колебаний и с хозяйским видом расположился на стуле. Похоже, Хай Сиси нынче растерян. Почувствовав это, и я растерялся. Этот пустующий стул, который он намеренно не занял в мое отсутствие, вдруг изменил мой душевный настрой. Я опять уважал его, он стал мне симпатичен.

Мимоза торопливо поставила передо мной большую чашку риса, соевые бобы, маринованные овощи — все, что я так люблю. И как обычно, она протерла рукой палочки для еды. И этот ее жест я тоже люблю. Мне было неловко глядеть им в глаза — Мимозе, Хай Сиси, Эршэ. Казалось, после недавнего триумфа, после этой победы над Хай Сиси ко мне придет уверенность в себе. А все вышло наоборот: какая-то необъяснимая робость царила в моем сердце.

Принялся за еду, но как-то вяло. Вроде и голоден, и вроде есть не хочется. Задумчиво ковыряя в чашке с рисом, размышляю об «Анне на шее»: как трудно в литературе изобразить сложность и драматизм реальной жизни, передать причудливые изменения состояния души. Они настолько глубоки и неуловимы, что почти не поддаются воплощению в слове, в красках, на сцене. Вот и сейчас за моей спиной Хай Сиси поддразнивает Эршэ, и в его голосе слышится скрытая грусть, смех звучит как-то натянуто — он, верно, чем-то подавлен. Это его настроение буквально висит в воздухе, заражает помимо твоей воли. И вот уже Мимоза, моющая посуду, беспокойно, нервничая, гремит чашками, словно выполняет докучливую обязанность. Потом Хай Сиси, уступя просьбам Эршэ, вполголоса напевает, но чувствуется, что он совсем пал духом и ему не до песен:

По воле плывет
эх, полотенце,
Песню пропою —
успокою сердце.
А соломинкой одной
не запрешь ворот.

А любовь не удержать —
все равно пройдет!
Эх, да красны яблоки
ароматней груш.
Отчего печалишься? —
Опостылел муж!

К последней строке голос его окреп и помолодел. Эршэ захлопала в ладоши: «Еще, еще! Дальше!» Мне стало завидно. И не только потому, что он с такою живостью умел выразить свои чувства — Эршэ никогда не выказывала мне столь горячей привязанности. Когда я пересказывал ей сочиненные другими истории, она, не дослушав, засыпала на половине. Неужели я утратил способность привлекать детские сердца?

Хай Сиси что-то нашептывал на ухо Эршэ, видно уговаривал ее. Наконец девочка громко потребовала:

— Мам, спой ты, спой...

Я не оглянулся. Мимоза, верно, уже помыла посуду и уселась на лежанку. Донесся ее смех — она готова была смеяться, чтобы ни произошло. Меня это раздражало. Она согласилась быстро и с охотой:

— Ладно, спою.

Мимоза пела свободно, легко, но, конечно, голос ей никто не ставил:

По воде плывет
эх, полотенце.
Песнею твоей
не утешить сердце.
Тридцать три зерна гречихи,
три по тридцать три — дорог.
Сколько ласковых и добрых —
краше всех мой муженек!
Из кунжута давят масло,
лучше масла не найду.
Если замуж я не выйду,
мил-дружочка заведу!

Это были лирические частушки в жанре «Бродим парою на небе» с севера провинции Шэньси; их скрытый смысл далеко не всегда поддается расшифровке. Для меня многое так и осталось неясным. Но зато возник образ двух птиц — одна над другой, кружащихся, словно их связала единая нить в облачном поднебесье. Что говорить — эти двое замечательно подходили друг другу! И здесь, в этом деревенском глинобитном домишке, где мигающая масляная лампа едва рассеивала желтоватый сумрак, где дым от печки и кухонный чад,— я был лишним! Так неведомо откуда взявшаяся муха влетает в комнату, подбирается к еде, жужжит-кружит, а насытившись, улетает прочь. У меня не было ничего, и сам я был ничей. И повсюду на земле я непременно окажусь лишним. Словно Вечный жид, я обречен на скитания, всегда и везде я буду отверженным, всю мою жизнь... И сейчас я, точно клин, вошел в чужую жизнь; пытаясь обрести свое место, я разлучал людей, крушил их существование.

После плотного ужина полагается прийти в доброе расположение духа, но сегодня все было наоборот — настроение мое вконец испортилось. Я обозрел свою жизнь и понял с непреложностью: голоден я или сыт, но приношу всем одни горести.

Отодвинув чашку, ни на кого не глядя, я буркнул, что меня ждут «дома»— кое о чем посовещаться нужно, и вышел на улицу. Ледяная луна наполовину скрыта облачной пеленой в прорехах и дырьях, словно моя ватная кофтенка. Подступавшие со всех сторон мрачно-черные горы напоминали толпу судейских в темных мантиях. Ветра не было. Воздух сухой и холодный. Редко в каком окне мерцает неверным светом лампа; тихо, только шуршат по песку и сохлой траве собственные мои шаги. Я чувствовал себя разбитым — радоваться было нечему. И тут же разом воспрял духом: Хай Сиси появился на по-

роге, он тоже уходил от нее! Постоял немного, откашлялся и заспешил туда, где во тьме угадывалась конюшня.

Мне бы в пору обрадоваться, но печаль вновь стиснула сердце.

23

Наутро я опять восседал на его повозке. На душе было смутно, словно я посмел взгромоздиться на его кучерское место. Да при чем тут место. Просто вся двусмысленность наших отношений возникла по собственной моей воле, я сознательно встал между ним и Мимозой, это во мне бродит юношеское весеннее томление.

Хай Сиси стал относиться ко мне еще более скверно. Его неприязнь лишена всех этих сложностей, ведь и сам он прост и ясен. Таков небесный свод над нами — малейшее облачко сразу отбрасывает на землю пусть крошечную, но тень. А его лицо сегодня предвещало бурю.

Наполнив нашу повозку навозом — грузил, естественно, я один,— мы отправились в первую ездку, и я, как и вчера, устроился на задней перекладине повозки. Лошади медленно тащились по деревне, покуда не выбрались на дорогу.

Хрясь!

Меня словно ожгло. Я получил удар кнутом прямо в лицо. Хай Сиси, спиной ко мне, восседал на своем месте, спокойно держал вожжи, будто и не он только что огрел меня. Всякое, конечно, случается. Здесь, на северо-западе, кнуты и в самом деле длиннющие, так что немудрено зацепить сидящего сзади. В лагере возница лишний год схватил — хлестнул ненароком партийца, которого взялся подвезти. Потом он слезно уверял нас, что это произошло действительно случайно. Его жена вместе с новорожденным сыном ждала его домой к Празднику Весны...

Как бы то ни было, я взял вилы, которые торчали из кучи навоза, и выставил их перед собой, как щит.

Хай Сиси, знал, что делал, и с кнутом управлялся превосходно. Умел поразить и цель, которая находится сзади, за его спиной. Кнут просвистел и звякнул о вилы. Он ударил сильнее, чем в первый раз, и не отрази я удар, он опять пришелся бы точно по лицу.

Вилы исправно принимали на себя один удар за другим все время, пока мы ехали. Эта комедия начинала злить меня. Его согбенная спина больше не вызывала во мне сочувствия и жалости — напротив, в ней словно сосредоточилась вся людская злоба, и она внушала мне отвращение, ненависть своей тупой, бесстрастной, бессловесной недвижностью. Как же я был, оказывается, прав! Ничем я не провинился перед этим Хай Сиси — совесть моя чиста! Ну, пересеклись наши пути-дорожки, и ничьей вины в том нет; в любви не бывает генералов — все рядовые!

Я уже в третий раз наполнил повозку, а другие только возвращались с поля. Все кроме Дохлой Собаки сгрудились возле навозной кучи. Крики, свист кнутов, цокот копыт, голоса женщин, продолжавших ворошить навоз... гомон, суета, как на театральных подмостках.

И тут Хай Сиси вскочил со своего места у стены, где он, как обычно, устроился на корточках, и, сверкая злобно глазами, налетел на меня:

— Шевелись! Хватит вола драть! — Он распустил кнут, его грубые, жесткие волосы встали торчком, вены на висках вздулись.— Гнись-шевелись! Еле ноги переставляешь — быстрей, быстрей!

Все стихло — так смолкают разом лягушки, если в пруд бросили камень. Десятки глаз обратились в нашу сторону. В первый момент я испугался: «Надо ответить... что? как? вдруг ударит?»... Но ведь и Мимоза смотрит на нас... Я взял себя в руки, чувство собственного достоинства оказалось сильнее страха. Бросил вилы ему под ноги,

делая вид, что просто решил отдохнуть, а сам все думал, как бы убраться от него подальше.

— Ах медленно! А ты, чем вола драть, взял бы да и помог. Вот и вышло бы побыстрее...

— Что? Ты еще споришь, ослиная морда?..— В два огромных прыжка он очутился передо мной.— Работай, живо! Это твоя работа, «кафэйлэ»![1]

В толпе засмеялись. Я не понял значения этого «кафэйлэ» и решил, что это какое-нибудь непристойное ругательство. Его угрозы встревожили меня, опять подбирался страх. Надо заставить его замолчать, во что бы то ни стало. И вопреки здравому смыслу я вдруг заорал:

— Знаю, почему ты точно бешеный пес яришься! Я вчера видел, как ты воруешь!

Расчет оказался ложным — он не только не заткнулся, но буквально затрясся от злобы. Протянул ко мне руку, губы его кривились, словно он творил заклятье. Замер на мгновение, а потом издал яростный вопль:

— Медвежий потрох! Кафэйлэ, дусымань![2] Хватит брюхо набивать, ослиная морда! Пущу тебе сегодня кровь!

Теперь он почти визжал и, казалось, вот-вот сорвет голос. Он отшвырнул кнут, бросился ко мне и обеими руками ухватился за ворот моей куртки. Потом вздернул меня на воздух, раскрутил и метнул, словно дохлую курицу, прямо на кучу навоза.

Такого я не ждал, думал, он отделает меня кнутом. В толпе никто не шевельнулся, никто, даже бригадир, не попытался остановить расправу; им было неизвестно, что он вытворял по дороге. Теперь я был жалок до крайности — весь в глине и навозе, ровно дурачок деревенский, извозившийся в грязи. Несколько секунд я, лежа на навозной куче, переводил дух. Голова шла кругом, разум помутился. Я слышал смех равнодушных зрителей, видел зловещий блеск в глазах Хай Сиси. Но ярость переполняла меня, и во мне возникло совершенно особое возбуждение — такое испытывает человек, впервые видящий море, о котором давно мечтал, он, широко раскинув руки, самозабвенно бросается в воду и плывет, плывет... «Ну же,— твердил я себе,— давай!»

Я решился. Подобравшись, я перекатился туда, где лежали брошенные мною вилы, схватил их и встал. Броситься в море! Броситься! Я собрал все силы, прыгнул — вот он, случай! — и метнул. Вилы со свистом, словно копье, полетели в его сторону.

Раздался общий вздох. Хай Сиси сумел увернуться. Вилы вонзились в стену конюшни и, прочертив четыре ярких дорожки по глиняной поверхности, со звоном упали на землю.

Послышались одобрительные возгласы; в глазах Хай Сиси билась тревога. Я не попал, но сам поступок придал мне смелости. Броситься в море! Очертя голову! Рвануть к стене, схватить вилы и повторить попытку!

Он и помыслить не мог, что я брошусь на него с такой яростью. Растерянный, он стоял у стены, покорно ожидая, пока я повторю удар. Вилы зацепили бедро, он схватился за рукоять и застыл, не зная, что делать. Левой ногой я вмазал ему в пах.

Застонав, он наклонил голову, согнулся, словно пытался увидеть, куда я ударил его. Потом выпрямился со сверкающим взором, с дикарским блеском в глазах, лицо искажено гневом. В одной руке мои вилы, другая — растопыренная пятерня — напоминает когтистую лапу орла. Экая громадина! Меня охватила паника, сейчас он ударит меня, сейчас.

Нас обступили:

[1] Китайская транскрипция арабского слова «кафир» — «неверный».

[2] Китайская транскрипция персидского слова «враг» (ср.— душман).

— Хватит вам! Ты его швырнул, он тебе врезал — вы квиты!

— Ты, чертов хренодуй! Он же ученый, пропасть иероглифов знает, тебе столько отродясь не выучить! Чего вяжешься к нему!

— Сам нарывался! Мог бы и помочь ему грузить...

— Ладно, кончайте!

Важно было, что скажет бригадир — у него и авторитет и власть. Одной рукой он указал на Хай Сиси, держа другую за спиной, точно прятал какое-то могучее оружие; потом заговорил — так бранят ребенка:

— Что-то ты сегодня разошелся, стервец! Гляжу — разошелся!..

Хай Сиси злобно уставился на бригадира. Перевел свой пылающий взор на меня, все еще продолжая тянуть к себе вилы. Я отпустил, не дожидаясь, пока он пересилит. Сжав зубы и крякнув, он зашвырнул добычу куда-то в поднебесье. Непрестанно вертясь в воздухе, вилы описали гигантскую дугу и грохнулись оземь, угодив в дальнюю канаву.

Все облегченно вздохнули. Кто-то поднял мою ватную шапку. Ее надорванные уши напоминали бессильно поникшие крылья дохлой вороны. Какой-то парнишка со смехом водрузил эту «дохлую ворону» мне на голову и ободряюще прихлопнул ее сверху, чтобы сидела плотнее. Только теперь у меня достало духу оглядеться. Не знаю, что подумала о случившемся Мимоза; повернувшись ко всем спиной, она направилась прямиком к канаве. Мои «друзья-приятели» держали нейтралитет. Сгрудившись возле навозной кучи, они с интересом наблюдали за происходящим.

Теперь я уже не мог ехать с Хай Сиси подручным. На мое место бригадир поставил Начальника, а мне велел вернуться к Дохлой Собаке. Начальник наотрез отказался. Хай Сиси поплевал на ладони, поднял свою лопату и рявкнул:

— Идите вы все! Сам управлюсь!

Это была какая-то исступленная пляска с лопатой, и повозка враз наполнилась доверху. Послышался свист кнута — это Хай Сиси погнал лошадей в поле.

Вернулась Мимоза, неся мои вилы. Она вручила их мне, как победное знамя.

— Вот! — ласково проговорила она.— Гляди-ка, все пуговицы отлетели, придется пришить.

Я посмотрел — грудь и в самом деле нараспашку. Хай Сиси постарался.

24

Вечером, как повелось, я отправился к Мимозе. Всякое действие от частого повторения превращается в привычку, и человек теряет самостоятельность — становится рабом привычки. Меня не голод гнал к Мимозе, меня влекла к ней душевная склонность. В ее доме, с нею рядом,— пусть между нами и присутствует третий, Хай Сиси (хотя третьим уж скорее следует считать меня),— я мог обрести то, чего так страстно алчет человеческое сердце. Немного тепла, немного сочувствия, немного уважения, немного... одним словом, любви, пусть призрачной, несбыточной — какой угодно.

Ребенком я жил возле буддийского храма. Он притулился на склоне холма, и его красные стены скрывала зелень бамбуковой рощи. Каждый день на закате долетал до нашего дома низкий протяжный звук храмового колокола. Звук плыл и плыл, а я в мечтах уносился ему вослед, пока он не тонул в туманных водах Цзялина. Следующий удар колокола увлекал меня в иной, воображаемый мир... Я оказывался в призрачной стране, где не было людей, не было и меня самого — ничего не было...

И вот, не знаю почему, дом Мимозы напомнил мне тот колокол. Когда я так мучился, так страдал, терпел насмешки и издевательства,

это она, Мимоза, извлекла меня из жуткого барака, набитого одинокими мужчинами, и привела в свой дом, где царили тепло и уют. Она была чудесной и была достойна любви. Я покинул земную юдоль, устланную соломенными тюфяками, ради этой комнаты с мерцающей масляной лампой. Это вовсе не та призрачная страна, где не было людей, не было и меня самого, ничего не было — нет, но в этом мире все обрело для меня какую-то свежесть и новизну.

Пожалуй, смысл происшедшего внятен только мне: я вернулся к нормальной жизни — не ушел от мира, а возвратился к людям.

Мои воспоминания с годами утратили отчетливость, как бы подернулись пеленой — так мчащиеся по небу тучи затеняют яркую луну. Но в доме Мимозы всегда находилось что-то, связывающее воедино разрозненные обрывки памяти, что-нибудь будило мое воображение, детство выплывало из глубин сознания — и я чувствовал себя человеком. Даже сегодняшняя драка с Хай Сиси — для нынешней моей жизни событие совершенно естественное, поступок нормального человека. Это, собственно, был едва ли не главнейший признак того, что я стал наконец человеком. Люди ободряюще посмеивались, бригадир не вмешивался до поры, но потом ополчился на Хай Сиси — это свидетельствовало: я сделал верный ход, и они его одобрили. Жизнь проэкзаменовала меня, и я выдержал испытание. А те, кого поистине взрастила эта действительность, приняли меня как своего.

Мимоза укладывала Эршэ. В деревне дети рано ложатся. Увидев меня, тотчас торопливо спрыгнула с лежанки и проворно заперла дверь. Потом сказала, вытирая руки о куртку:

— Ну-ка покажи, что этот осел с тобой сотворил?

И тут я вдруг почувствовал, как саднит лицо. В драке я совсем забыл об ударе кнута.

Обеими руками она повернула мое лицо к свету и принялась внимательно изучать его своими чудными, с ярким блеском глазами. Время от времени она что-то возмущенно бормотала. Я опустил голову, доверясь ее пальцам. Пока они ласково, будто легкий ветерок, касались воспаленного рубца, я понял, что в мире не существует лучшего утешения, а в сердце моем звучала и звучала «Колыбельная» Брамса.

Да, не всегда судьба несправедлива ко мне!

Теперь я с очевидностью понял, что чувство этой женщины ко мне много глубже, чем обыкновенная жалость. Душа моя обрела покой. Любовь наделяет человека правами, и безо всяких колебаний я уселся за стол, дожидаясь, пока меня накормят.

Сегодня вся она излучала какой-то особенный свет. Глаза сияли ярче обычного, длинные ресницы трепетали.

За едой я рассказывал ей о событиях этого дня. Из головы не выходило, что она заперла дверь, впервые за двадцать с лишним дней Хай Сиси не сможет войти в дом. И все-таки я опасливо прислушивался — вдруг да зашаркают его подошвы.

А ее вовсе не интересовало, что происходит там, за порогом. Она живо обсуждала сегодняшний день, всячески сочувствуя мне и не скрывала этого; Хай Сиси вызывал у нее резкое осуждение. Явная ее пристрастность обеспокоила меня — это ведь было несправедливо.

— Разве ты с ним не в добрых отношениях? — спросил я.— Мне казалось, он твой близкий друг.

— Ха, друг! — Она покраснела и со злостью буркнула: — Осел этот дуреет с каждым днем! Вот раньше...

Она резко оборвала себя — так шофер нажимает на тормоз, а вас по инерции еще влечет вперед. Потом она уселась на лежанку и замерла в молчании, только руки ее проворно латали одежду.

Я понял свой промах: слово «друг» значило для нее вовсе не то,

что для меня, она воспринимала его в смысле «сердечный друг», как пелось в той ее песне:

Если замуж я не выйду,
мил-дружочка заведу!

Интуиция меня не обманула.

Немного помолчав, она подняла голову. Румянец на щеках поблек, но глаза по-прежнему блестели. Она легко рассмеялась и выпалила:

— А ты стал совсем свой!

Я понял, что она хотела сказать, и улыбнулся. Сколько смысла в этом «свой»! Как же это важно, что я стал своим для крестьян — потомков давних переселенцев из Средней Азии. После этих ее слов я понял, почему именно сегодня она с такой очевидностью проявила свое чувство ко мне. Что для нее какой-то там «книжник», «ученый», способный разве что пересказать несколько ветхих сказок,— в лучшем случае он может пробудить жалость и сочувствие. А вот мужчина, не гнушающийся любой работы, умеющий ответить ударом на удар, защитить свою независимость, достоин ее любви. Так вели себя потомки выходцев из Самарканда, и теперь я был среди них своим!

Она сказала, что пока не нашла подходящих черных пуговиц для моей куртки — в те годы даже пуговиц не хватало. Но завтра непременно отыщет и пришьет. Потом достала из-под подушки пояс, сплетенный из лоскутов, и велела мне подпоясаться.

— А то у тебя и куска веревки нет, я знаю,— улыбнулась она.

У меня и правда нечем было полы куртки подвязать.

— Ты многое обо мне знаешь,— теперь, когда я понял, что она любит меня, мне больше не приходилось стыдиться своей нищеты. И спросил с деланной небрежностью: — А я почти ничего о тебе не знаю. Вот скажи, кто отец Эршэ?

Она опустила голову и молчала, слегка улыбаясь. Потом вдруг расхохоталась:

— Ох, нельзя мне с мужчинами, в момент тяжелею...

Эти слова ошеломили меня, но ведь она не ответила. Я надеялся, что мне поведают историю — печальную, может быть, и трагическую, а вместо этого она стремилась весело и непринужденно предать забвению все, что связывало ее с прошлым. Судя по ее тону, она полагала, что слова ее никого не огорчили — сама она во всяком случае не огорчилась...

Вот судьба! Благодаря Мимозе я вновь сделался нормальным человеком, она возвратила мне память о прошлом и помогла обрести себя сегодняшнего — и все-таки я был сбит с толку, она все время ставила меня в тупик. В ней было столько непонятного, в корне расходящегося с моими прошлыми представлениями о морали и нравственности; впрочем, все это было так искренне и добросердечно, обладало такой несомненной привлекательностью, что мне становилось ясно: она превзошла мои понятия о нравственности, она права и она безупречна.

Мимоза и Хай Сиси, сами того не желая, привили мне дикость и необузданность обитателей степных просторов. Сейчас, когда я сделался «как все», я с особенной остротой ощутил, сколь могучим было их влияние на меня.

25

Впервые в жизни я почувствовал радость, которую испытывает человек могучего здоровья. Силы мои казались поистине безграничными. Не об этом ли писал Уитмен:

О, радость борца — силача, что, как башня, стоит на ринге,
вполне подготовленный к бою, в гордом сознании силы, и
жаждет схватиться с противником! [1]

[1] «Песня радостей». *(Перев. К. Чуковского).*

И мне пришлось состязаться с местным силачом и лучшим работником, его все боялись, а я, хотя и не одолел его, но и не проиграл — ничья! Я чувствовал, как становлюсь все сильнее, как крепнет мое мужество, оно буквально трубило во мне, как трубит, давая о себе знать, морской лайнер...

На следующий день Хай Сиси опять управлялся в одиночку. А я ездил с Дохлой Собакой. Когда наши повозки встречались, он даже не смотрел на меня, но его унылый вид бросался в глаза. Ярость ушла, и он попросту погрузился во мрак собственных переживаний. Этот воинственный гигант, преисполненный жизненной энергией, переменился в один миг, словно тростник, побитый изморозью. Дело не в том, что я ударил его,— был нанесен сильнейший удар по его гордости.

Я сызмальства как-то слабею при виде страданий ближнего. Это именно слабость, а не сочувствие. Сочувствие вызывает прилив деятельной активности, слабость рождает один только страх. Если мне приходится читать о паралитике, я сам несколько дней ощущаю себя парализованным; читаю о слепце и боюсь ослепнуть. Страх за себя побеждает жалость к другому. Опираясь на слабость, крепнет мой инстинкт самосохранения, исчезает тяга к самопожертвованию. Вот и сейчас я вовсе не сочувствую Хай Сиси, а только боюсь лишиться любви, как лишился ее мой соперник.

Когда смена закончилась, я соскочил с повозки Дохлой Собаки. Мимоза стояла возле конюшни, что-то сжимая в руке. «Пуговицы,— догадался я,— она показывает мне пуговицы». Наскоро поужинав, я отправился к ней.

Теперь из нашей восьмерки не работали по крайней мере четверо. Сегодня им надо в контору, завтра — в Чжэннаньпу на почту: то отправить заказное письмо, то получить. А ведь туда-обратно — 60 ли. Со времени нашего приезда сюда мы не читали свежих газет, не слушали радио. Как заметил Начальник, здесь похуже, чем в лагере. Все они думали только об одном: поскорее бы отсюда убраться. Их совершенно не интересовали мои ежевечерние отлучки. Этот «дом» с подстилками из соломы служил им временным пристанищем, и что за дело до соседа-постояльца!

Сегодня у меня особенное настроение, я весь в предвкушении чего-то важного. Нынче вечером... Меня пьянили сладостные видения, которые проплывали передо мной, как закатная дымка над пустынной равниной.

Когда я появился на ее пороге, мое лицо так и светилось, глаза странно сияли. Она взглянула на меня, и ее взор ответно блеснул. В обрамлении длинных ресниц глаза ее с яркими зрачками казались бездонными. Как и вчера, она прилегла на лежанку, баюкая Эршэ. Она гладила ребенка, но глядела на меня чуть улыбаясь и с какой-то затаенной мыслью.

На печке меня дожидалась еда. Я сам взял чашку. Ел я медленно, стараясь смирить волнение и успокоиться. Тут донесся ее голос, она запела:

Серебряный холм и холм золотой —
Высятся рядом — один и второй.
Сколько богатства скрывают холмы!
Парой влюбленные... Жаль только, мы
С милым навеки разлучены.

На белой скале вьет гнездо голубок,
Может быть горлинка? Мне невдомек.
О друге мечтала я ночь напролет.
Звезды небесные — кто же сочтет?

Вся известная мне любовная наука не имела ничего общего с тем чувством, которое ныне поглотило меня. Прежде любовь представлялась мне длительной сердечной привязанностью, очаровательной

ной, хотя и не лишенной меланхолической грусти, если и причиняющей боль, то совсем слабую... А вот любовь, о которой пела Мимоза, была иной — откровенной, даже грубоватой, исполненной неутоленной страсти. Эта любовь налетала, как дикий вихрь, и устоять перед ней было почти невозможно.

Под песню матери Эршэ уснула. Женщина оправила кофту и поднялась с лежанки, потом обеими руками пригладила волосы. Улыбнулась мне. Впервые она выглядела смущенной, с горячим румянцем на смуглых щеках. Закинула руки за спину, потянулась — мне казалось, что она прямо-таки томится от любви.

— Ну, сними куртку, а то как я пуговицы пришью,— она опять засмеялась.

С иголкой в руке она подошла поближе. Этот яркий южный румянец смущал мою душу. Заикаясь, я пробормотал:

— Э-э... А если прямо на мне пришить... Ведь там... там под ней ничего нет...

— Ладно! — Она со смехом потянула меня, заставляя подняться.— Бедненький мой. Потом сошью какую-нибудь душегрейку. А теперь живо, раздевайся. Долго мне ждать!

Она отдавала приказания. Так в семье жена распоряжается, командуя мужем. И я без тени смущения стал раздеваться прямо на ее глазах, словно это было совершенно естественным делом. Счастливый, я доверчиво отдавал себя в ее руки, вверялся ее доброте.

Пуговицу у ворота она пришила не наклоняясь. На ее густых, вьющихся волосах лежал светло-желтый блик от лампы, и они отливали синевой. Изящные, маленькие уши, будто вырезные. Взгляд мой скользнул с высокого ее лба на брови, которые изгибались в очаровательной выразительности. Расстегнутый ворот куртки открывал ямку на шее, гладкой и белой, точно мраморной... Меня захлестнуло возбуждение, и не было сил ему противиться. Я потерял голову. Нечто похожее случилось со мной, когда Хай Сиси вздернул меня на воздух. Я обнял ее.

Мимоза тихонько ахнула, подняла голову, пытаясь поймать мой взгляд. Но я не смел встретиться с ней глазами, а, наклонившись, зарылся лицом во впадину на ее шее, в ложбинку возле ключицы. Она не сопротивлялась, а покорно прижалась ко мне, часто и сбивчиво дыша. Но это продлилось лишь несколько мгновений. Она высвободилась из моих объятий, провела рукой по кофте, словно пыль стряхнула; лицо ее так и пылало. Искоса глянула на меня отсутствующим, затуманенным взглядом и с глубоким чувством промолвила:

— Ну будет тебе... будет... Нельзя так... Лучше уж книжки читай.

26

Так-то вот!

Пошатываясь, я брел «домой», голова шла кругом. Пробрался к стене и рухнул как был, не раздеваясь, только натянул на себя ветхое одеяло — порву не порву, что за разница!

Вскоре и остальные улеглись. Старик бухгалтер задул лампу над моим изголовьем и зарылся в одеяло. Воцарилась тишина. Мне чудилось, что я уже умер.

Смерть. Человек думает о ней непрестанно. Какая зыбкая граница между жизнью и смертью! Шаг — и ты уже мертв.

Разом покончить со всем — со стыдом, с раскаянием, со страданием.

Я думал: она может отказать мне, дать пощечину, но сказать такое, что в момент погасит мою страсть...

«Лучше уж книжки читай!» Хуже пощечины. Меня била дрожь.

Умереть! Только умереть!

Я и вправду чувствовал себя мертвецом. То страстное объятие, кажется, отняло всю мою энергию. В голове стучало, словно мозг

пытался разорвать мой череп. Я не смел вспоминать о своем поступке, но сцена моего позора опять и опять возникала перед глазами. Чем плотнее сжимал я веки, тем отчетливее была картина. Хай Сиси вновь вздымал кулак: «Хватит брюхо набивать!»

А чья любящая доброта помогла мне восстановить здоровье? За подачку как нищий, я предложил ей перестроить лежанку, являлся рассказывать свои истории... Играл роль бедного монаха, а в глубине души оставался распутным паразитом. Гёте однажды назвал неблагодарность добродетелью. Ведь нежелание благодарить присуще беднейшим из бедных, тем, кого понуждали принимать благодеяния, отравленные презрением благодетелей. Но со мною все наоборот: мое презрение отравляло моих благодетелей. Едва я восстановил свои силы, как демон выбрался из меня, точно тот джинн из бутылки, грозившийся уничтожить своего спасителя. Но почему? Почему? А потому, что я не родился беднейшим из бедных. Сынок богатых родителей, которого в тяжкую годину спасает бедная женщина, платит ей тем, что старается переспать с ней,— история, старая как мир.

Все мои терзания предшествующей ночи приняли облик буддийского чудища — человека с головой зверя, и Мимоза билась в его порочных страшных объятиях.

Да, она оказалась нравственнее, добрее, чем я, и от этого стыд мой делался невыносимым.

Мне хотелось каяться, хотелось молиться. Но кому нужна исповедь и молитва неверующего? Во мне не было веры. После той, первой «смерти» в лагере я уже не мог верить — какая там религия! Так кому же молиться? Людям? Но это они превратили меня в отверженного. «Так тебе и надо. И нынешние твои поступки только подтверждают нашу правоту. Тебя наказал не какой-то начальник — на то была воля всего народа! Ты обречен на вечное бесчестие!»

Я слышал зловещее шипение из угла — казалось, оно родится в мире абсолютного мрака. Я знал, что это не верховное божество, не демон — это смерть зовет меня. Издавна смерть притягивала меня: я любил ее так же сильно, как жизнь. Потому что смерть недоступна пониманию, и вечной ее загадочности сопутствует вечная притягательная сила. Большинство людей видят в смерти только важный элемент жизни: те, кто особенно любят жизнь, меньше других боятся смерти. Для такого, как я, лишенного веры, смерть — самый легкий выход. Перестает биться сердце — и наступает конец всему. А миру явится вечная тайна.

Завтра, как обычно, взойдет солнце, и ветер умчит облака, и выйдут в поле крестьяне,— а я стану безжизненной грудой мяса и костей, ровно дохлый пес или дохлая овца. Исчезнут без следа и стыд, и раскаяние, и упреки себе самому. Я умру, но возникнет тайна, непостижимая, вечная тайна.

Когда я погибал от голода, мне страстно хотелось жить. А теперь я сыт, но жажду смерти. Прежде, не надеясь на чудо, страдая, я мечтал о яде, о веревке, о ноже. Сейчас, в темноте, я ощупывал пояс, который она мне дала. Он мягок и эластичен. Для моей шеи он придется как раз впору. Как таинственно все сходится в мире! Вчера она дала мне этот пояс, чтобы мне было теплее, а сегодня я собираюсь использовать его, чтобы покончить с моей проклятой жизнью. Она сказала, что у меня нет и кусочка бечевки,— ее сочувствие и жалость сделали меня обладателем орудия для самоубийства. Какое счастье было держать ее в объятиях — а в результате горечь, раскаяние, жажда смерти... Что за странная судьба! Последний ребенок в семье, представитель класса, обреченного на гибель, я так и не насладился счастьем: все, что случалось со мной хорошего, непременно оборачивалось кошмаром... Нет, только смерть! Это последнее, что еще может освободить меня!

Итак, я мертв.

Голова — все, что осталось от меня,— улетает-уносится в мрачно темнеющий, жуткий лес. Лишенная тела, она скользит по воздуху. Плывет с воздушным потоком все дальше и дальше... Кругом — деревья, причудливо возносящиеся стеной. Вершины их, не достижимые для глаз, застят солнечный свет, но ветви и листья не хлещут по лицу. Они расступаются при моем приближении, словно ряска на водной глади. У меня нет цели, я только чувствую и знаю, что какая-то сила подталкивает меня вперед, влечет то тем путем, то этим. Здешний мрак кажется прозрачным, он светится таинственным светом. Гигантские деревья не имеют объема — они плоские, как те, что написаны на заднике театральной декорации. Лес бесконечен. Растения стоят недвижно и лишь расступаются при моем приближении да смыкаются позади меня. И нет ничего зловещего... Разве что голубоватые огоньки, которые призраками исторгаются из моей головы, чтобы заполнить пространство между могучими деревьями. Тихо. Но у меня есть уши. И вдруг среди деревьев возникает громоподобный рев:

— Почему ты должен умереть — умереть — умереть?..

Это «умереть» звучало непрерывно, уносясь сквозь деревья, с металлическим лязгом.

Я бестрепетно усмехнулся. Чего мне бояться? Теперь мне и смерть не страшна.

— Об этом я и хочу спросить тебя!

Моя голова силилась проследить за полетом звука. Но звук этот был повсюду и не был нигде. Я прокричал:

— Почему я должен жить — жить — жить?..

«Жить — жить» — мой крик тоже отозвался лесным эхом.

Стало тихо. Так все стихает перед ураганом.

— Ага! Не можешь ответить!

Я продолжал продвигаться сквозь лес. И радовался смерти.

Но могучие деревья становились все гуще. Их ветви вверху и внизу сплетались в непроходимую сеть. Все меньше оставалось свободного пространства. Наконец я замер недвижно: глаза мои дико вращались, отверстый рот задыхался. Лишенный рук и ног, я был бессилен. Приходилось ждать: какие еще дьявольские штучки можно сыграть с мертвецом.

Звук возник снова:

— Иди на небо! Иди... иди... иди...

— На небо? — Лоб покрылся испариной, но я не испугался.— Где это небо?! — заорал я, возмущенный.— Я не верую! Зачем обманывать мертвого?

— Преодолей себя! Преступи... Для тебя это значит обрести небесный приют — небесный приют — преодолей себя... преступи...

От этих слов я вдруг разрыдался. Слезы капали туда, вниз, где от древесных корней восходили ядовитые испарения. «Преодолей себя! Преступи!..»

И это уже не был тот странный голос; скорее в звуках его слышалось что-то родное — да, этот новый голос был так похож на тот, что я потерял.

— Но как, как смогу я преодолеть себя? — вопрошал я с тоской.

Здесь, среди дикости и запустения? Как похожа эта местность на меня своею заброшенностью, бесконечной удаленностью от мира. Здесь не преодолеть себя!

— Людская мудрость... мудрость... мудрость... Вспомни, что говорила тебе та женщина, что она говорила...

Голос звучал едва слышно, откуда-то издалека, а потом и вовсе смолк, растаял. Моя голова, вся в ледяной испарине, словно перезревший плод, падающий с родной ветви, рухнула вниз, в густую плотную пелену тумана — кажется, прежде только голос поддерживал меня, не давая упасть. Это, верно, болотная кочка... Щека моя косну-

лась мягкого моха, роса увлажнила лицо — будто слезы потекли. Холодный влажный воздух остудил мое воспаленное сознание.

И в тот же миг воцарился покой и в этом лесу гигантских дерев. Густой туман поплыл вверх, рассеиваясь. Луч солнца золотым клинком пронзил туманную завесу и коснулся древесных вершин. Неведомо откуда здесь, в лесу, зазвучал рояль: там-та-ра-там! Судьба стучалась в ворота! Ее зов вселял беспокойство, но звучал с твердой решимостью. Сейчас, вот сейчас вступит рожок. Могучая, возбуждающая музыка повлекла меня за собой, как волны моря, освещенного солнцем. В ней слышалась бетховенская решимость сражаться с судьбой, не уступать... О, как же прекрасна жизнь!

...Я проснулся. Лицо мое все в слезах, даже подушка мокрая. В изголовье я нащупал толстый том в твердом переплете — «Капитал».

27

Назавтра солнце взошло как всегда, и как обычно задувал ветер, и облака неслись по небу, воплощая вечное постоянство жизни. Золотистые, слепяще-яркие солнечные лучи сквозили через старые газеты на окнах, и на глинобитной стене являлись и исчезали светлые блики. Время шло: да, да, я совершил вчера что-то до невозможности постыдное, большее чем обычный промах. Опять возникло гнетущее чувство вины. Потом мысль моя переметнулась на другое: вот они просыпаются и видят, что я умер; конечно, все удивлены, но ведь и дело хлопотное... правда, можно не ходить на работу, устраивая похороны, но это утром, а после обеда — выходи как обычно. Так что кроме старухи матери никто обо мне и не погорюет. Конечно, для меня моя смерть — великое событие, но для всех прочих — мелочь, пустяк. Ну, выдумают несколько историй о душах умерших, чтобы скоротать долгие зимние вечера... Что мне в подобной смерти?

Начальник раньше других сбегал за едой и теперь грелся у печки, дышал на пальцы, приговаривая:

— Вот холодрыга! Собачья погода!

Бухгалтер, осторожно неся миску с едой, подошел к своему тюфяку и сел, скрестив ноги. Снял шапку, скинул рукавицы и с молитвенной сосредоточенностью уставился на похлебку, прежде чем начать скорое и беззвучное поглощение пищи. Он не решился сесть поближе к огню, боялся обеспокоить соседей нечаянным звуком — звяканьем ложки, громким глотком. А может, в своем скупердяйстве не хотел и звуком поделиться с другими? Я смотрел, как он жмется, только бы не ссориться ни с кем, и меня мучила мысль, что своей смертью мне, может быть, придется нарушить его размеренное существование.

Позавчера Лейтенант отправился с письмами в Чжэннаньпу, но почта оказалась выходной, и теперь он снова собирался в дорогу, бормоча ругательства:

— Черепашье отродье! И работа у них сидячая — так еще и выходной им нужен! Недоноски!

Он забыл, что когда-то сам сидел в штабе и все-таки отдыхал регулярно.

Редактор и все остальные держались с привычной обыденностью — так что ни день меняются листки отрывного календаря, но картинка над ним весь год остается неизменной.

Удивительно, но они вовсе не ощутили той внутренней бури, которая бушевала во мне минувшей ночью. Пора понять: моя смерть или смятение моей души, мое превращение в труп или в «нового человека»— ничто не произведет на этих людей, привыкших заботиться только о себе, ни малейшего впечатления. Они лишены способности чувствовать, их нервы иссушены жизнью, вернее — ее однообразием. Да, но при такой их душевной глухоте мне легче незаметно

начать новую жизнь! Эта мысль взбудоражила меня. Я откинул одеяло, встал, протер лицо влажным полотенцем и отправился за едой.

Пустые поля лежали передо мной в суровой бескрасочности. Душа моя дрогнула: «Напоите меня вашим величавым духом!» Я еще встану на ноги, я сумею преодолеть себя, превзойти самого себя.

Дохлая Собака лениво, не переча медлительным своим лошадкам, правил их в поле. Все купалось в лучах зимнего солнца. Радостно стрекотали белобрюхие сороки. Они следовали за повозкой и склевывали свежие конские яблоки. Желтела солома, над нею словно висела золотистая дымка. Далеко на востоке, куда едва достигал взгляд, пыхал черным дымом паровоз. Горизонт скрывала узкая длинная полоса тумана и все никак не рассеивалась. По концам она делалась лиловой, и это было красиво под ярким синим небом. Полное безветрие. К легкому аромату сухой травы примешивался запах пыли. Клонило в сон. Ощущение полноты счастья недоступно тому, кто совсем проснулся,— по-настоящему переживаешь его только на границе сна и яви.

Сердечная буря улеглась. Пришли ясность, соразмеренность мыслей и чувств. Тело словно бы впитывало прелесть цветущего луга с щебечущими птицами. Конечно, смерть влечет человека, но жажда жизни много сильнее. Счастье — это способность ощущать себя, но ведь и страдание и раскаяние тоже в некотором смысле самоощущение, и если в жизни непременно присутствуют страдание и раскаяние, значит, и они входят в понятие «счастья». «Чирик-чирик»— воробей пролетел над моей головой, огляделся и устремился выше, в поднебесье. Ого! Даже такая кроха и та тщится превзойти себя.

Преодолеть себя! Превзойти себя!..

В тот день после ужина я не пошел к Мимозе, а устроился на своем соломенном тюфяке, подложил под спину одеяло и открыл том «Капитала», который вот уже двадцать дней не брал в руки.

Лейтенант как раз дочитал письмо из дому, несомненно обрадовавшее его, а потому весьма учтиво предложил мне лампу и даже подкрутил немного фитиль. Право слово, я недостоин подобной любезности. С некоторым страхом принялся я листать страницы и гладить светло-желтый переплет. Сейчас эта книга представлялась мне единственным средством «превзойти себя». Но способна ли книга научить меня чему-нибудь, помочь мне? А мой ум поэта — сумеет он переварить это блюдо, приготовленное из абстрактных истин? Когда-то давно, во время очередной политучебы, мне пришлось изучить «Политэкономию» Леонтьева, которая входила в список обязательной литературы. Книга эта показалась мне сухим изложением догматических понятий, не имеющих ни малейшего отношения к реальной жизни...

Теперь я собирался осилить «Капитал», и хорошо хоть сегодня моя голова была свободна от забот о желудке. С почтительной нерешительностью я отыскал то самое 51-е примечание, на котором остановился двадцать дней назад. До меня долетали обрывки разговоров, скучные, унылые голоса. Начальник уверял Бухгалтера в действенности «забытого» рецепта, как избавиться от привычки скрипеть во сне зубами. Следует, загоготал он, попросту выбить такому «скрипуну» все зубы. Никто не рассмеялся на эту жестокую шутку.

Через некоторое время я уже не различал посторонних звуков, поглощенный мудреными экономическими вопросами. Я читал и читал, пораженный логикой, глубиной, даже литературным изяществом изложения... Комнатка в глинобитном доме, пропахшая соломой, мышами и угольным дымом, неожиданно превратилась в историческую сцену, на которой исполняли свои роли владельцы товара и владельцы денег. Я совершенно забыл, где я.

Все спали. Тусклый мерцающий свет лампы никого не беспокоил. Старый Бухгалтер, как всегда, отчаянно скрипел во сне зубами. Лей-

тенант трубно всхрапывал, что-то сонно бормотал Редактор... Когда у хромого кладовщика прокричал последний в деревне петух — других уже давным-давно съели,— я как раз дочитал второй раздел.

Потом я заснул, и прочитанное у Маркса странным образом преобразилось в моем сновидении. Я видел отца и дядю в толпе столь почитаемых ими «морганов», которые жаждали «приступить к делу», а за ними следовали нанятые им рабочие. Внезапно все переменилось, и впереди уже шагали рабочие, «многозначительно посмеиваясь и горя желанием приступить к делу», а только что шедшие впереди плелись теперь сзади, «съежившиеся, словно везут свои шкуры на рынок, где эти шкуры будут дубить». А я в рваной ватной куртке, всклокоченный, грязный, словно нищий, не мог быть с рабочими и «многозначительно посмеиваться», не мог присоединиться к отцу и дяде, потому что с меня нечего было «содрать». И я в растерянности переминался с ноги на ногу, не примыкая ни к кому, бессильный двинуться и вперед и назад.

28

После всех потрясений спал я особенно сладко, а проснулся в отличном настроении, бодрый, словно испил живительного напитка. Снисходительность к окружающим, чувство собственного превосходства охватили вдруг мою душу...

Сходили на кухню за едой. Начальник взъярился до невозможности — повар всучил ему ущербную лепешку. Все расселись по своим тюфякам и принялись есть, а он все кряхтел возле печурки, разглядывал лепешку, вертел ее и так и эдак, понося повара. Потом высказался в том смысле, что надо впредь пораньше гасить лампу и укладываться, а не мешать другим спать, потом проворчал, что «мерзавец бригадир даже не добавил ничего к этой жалкой лепешке». Но все поглядели на меня. Я и сам знал, что его «критика» адресована мне.

Раздражения у меня он не вызвал. Да, я был вместе со всеми в глинобитной лачуге, сидел на соломенной подстилке, ел просяную лепешку, но мое сердце было словно отделено от своей телесной оболочки, какая-то глубоко скрытая во мне мысль вырвала меня из суетного мира. Хула, насмешки, презрение обрушивались на мою бренную плоть, не затрагивая души.

Возле конюшни, дожидаясь, пока запрягут лошадей, я услыхал, как возчик доложил бригадиру Се, что Хай Сиси взял на несколько дней отгул и отправился в город «прошвырнуться». Бригадир поморщился, скривил тонкие губы под щеткой усов, но смолчал. Вон повозка Хай Сиси, а вон его лошадки жуют с аппетитом сено. Кто-то решил дать передышку своей запряжке и направился к лошадям Хай Сиси, но бригадир, выпучив глаза, заорал:

— Ах, наглец, небось и отца родного запряг бы! Что надумал! Ну-ка оставь! Отдых всем нужен!

«Отдых всем нужен» — кого он имел в виду? Может, Хай Сиси? С чего это Хай Сиси вздумалось отправиться в город? Мало того, что он каждый вечер к Мимозе ходит! Мне вдруг стало грустно. Какой бы ни была любовь, кто и кого бы ни любил — все, конечно, судьба, но от чужой любви так просто не отмахнешься. Вот и этот Хай Сиси, какой он ни на есть, невольно вызывал мое сочувствие. Пусть мы с ним соперники, но необоримая сила влечет меня к нему.

Мимоза смотрела на мир много проще.

После полудня, когда мы возвращались из очередной поездки, она уже поджидала нас у конюшни и сделала мне знак, чтобы я приходил к ней. По близорукости я видел только ее улыбку, но что в ней — насмешка, ехидство, игривость или доброжелательность?

Опыта у меня никакого, молод еще, о любви знаю только из книг. Мне казалось, что после всего случившегося между нами при встре-

че обязательно возникнет тягостная неловкость. Поужинал, немного почитал, все терзался душою — пойти или не пойти? Промаялся я до темноты, но все-таки пошел.

Луны не было. Сразу за порогом царила глубокая темень, холод пронизывал до костей. В небесах сверкали-переливались звезды. Часто в зимнюю ночь небо кажется ярче, точно мороз мешает свету проникнуть к самой земле, где мрак и чернота.

Я втянул голову в плечи и шел безрадостный, будто на казнь.

Она, как всегда, сидела на лежанке и чинила одежду — у нее постоянно отыскивалось что-нибудь, требующее штопки. Позже я узнал, что она помогала многодетным мамашам. Завидев меня, она грациозно спрыгнула с лежанки, отложила работу и улыбнулась:

— А вчера чего не пришел?

Удивительное дело! Этот шутливый вопрос разом рассеял все мои сомнения — так исчезают мгновенно дым или облака. Я видел ее беспечность, слышал это «чего»— она, передразнивая меня, сложила губы, точь-в-точь листок лотоса — и не знал, плакать мне или смеяться. Выразить ей мои сожаления, покаяться?.. Но она держалась как ни в чем не бывало, и я понял, что ничего этого не нужно. На душе сделалось легко.

— Разве ты не хотела, чтобы я читал свои книги? Вот я и читал их дома.

— Дурачок! А почему не здесь? Ночью вчера я приходила глянуть на тебя через щелку в двери.— Она рассмеялась.

В ней не было и тени желания подразнить меня — ничего, кроме безграничной искренности ребенка. Мне стало стыдно собственных мыслей, и я густо покраснел. Наука и книги приучили меня делить людей на определенные типы, скажем, в психическом отношении — на флегматиков, холериков, сангвиников и прочее; в художественной литературе представлено бесконечное разнообразие серьезных и легкомысленных, распущенных и суровых... но нынче я понял, что в мире не существует раз и навсегда установившихся характеристик, разве что Марксова классовая принадлежность... Вот и Мимоза — живой человек, то серьезна, то весела и легкомысленна, то строга и сурова. В прошлый раз от ее суровости я чуть было руки на себя не наложил. Понять явление вовсе не то же, что понять человека. Одним только разумом человека не постигнешь, тут требуется чувство...

Пока я поглощал кашу, она взяла с лежанки новенькое байковое одеяло и объяснила, что его специально по ее просьбе купили в Чжэннаньпу (больше семи юаней стоит!) — из него выйдут отличные теплые штаны для меня, а из остатков — брючки и куртка для Эршэ. Любовно похлопала по одеялу и сказала:

— Будем, как городские, в теплой одежке из хлопка!

Она толковала мне, что здешние носят только грубошерстные вещи. Из овечей шерсти да на простом костяном веретене пряжу прядут, потом вяжут безо всякого кроя, вроде мешка. Грубая овечья шерсть ужасно колется. Я представил, как страдает ее нежная кожа от жестких шерстинок, и снова покраснел... В душе моей мешались жалость и сочувствие: одежда из хлопка кажется ей верхом роскоши — такую ведь городские носят! А что бы она сказала о вещах из настоящей тонкой шерсти! Боюсь, в свои двадцать лет она ничего похожего и не видела, она, такая прекрасная, такая добрая. А уж мое обеспеченное детство для нее и вовсе непредставимо...

Она встряхнула одеяло. Это было одно из тех серых с красными полосами бумазейных одеял, что громоздились кипой в магазинчике в Чжэннаньпу. Принялась мерить его ладонью, что-то бормоча— верно, считала. Лампа освещала ее ресницы, похожие на птичьи крылья, ясные глаза, льющие загадочный, согревающий душу свет. А ведь и шерстяной одежды не носила, и хлопок за роскошь почитает! Примирить мои прежние представления о красоте с бесспорной

ее красотой — это как мирт пересадить сюда, в ледяную безводную пустыню.

Покончив с едой, я вспомнил о Хай Сиси.

— Я слышал, Хай Сиси отгул взял и отправился в город.

— Да кто его ждет-то! — Она продолжала усердно вычислять и даже головы не подняла.— Пусть себе идет куда хочет!

Как просто все! Видно, зря я так мучился два минувших дня. И на жизнь, и на людей у нее пусть и грубоватый, но вполне естественный взгляд. Так степной ветер дует туда, куда дует, и ему не прикажешь дуть во все стороны понемногу.

Конечно, подход интеллигента тоньше, деликатней, но как примиришь его с бурным движением истории? Сколько раз потом, спустя годы, я с благодарностью вспоминал, как незаметно влияла она на меня, как обретал мой характер цельность степного ветра.

29

Теперь всякий вечер после казенного ужина я отправлялся к Мимозе с томом «Капитала» — то-то Начальник оставался доволен. Она снимала со стены масляную лампу и прилаживала ее на консервную банку на столе, приговаривая: «Лампа повыше — свету побольше!» В комнате и в самом деле становилось светлее.

Эршэ была послушным ребенком и почти не шалила, разве что пристанет к матери, чтобы та спела. Мимоза никогда не интересовалась, что за книгу я читаю и зачем, не заговаривала со мною и о том вечере, когда, освободившись от моих объятий, произнесла:

«Лучше уж книжки читай!» Только чувство подсказывало ей, что чтение — благое занятие, вполне достойное мужчины; ум ее не в силах был этого постичь. Мои давние наставники-философы думали несколько иначе...

— Мой дед тоже читал,— сказала она.— Все сидел с книгой вроде тебя, да и книга была похожа — толстенная, старая-престарая.

Спустя время промолвила:

— Вот у Сиси такой товар не в цене, уж он-то книг не читает. Ему бы только по свету мотаться. Я и не жду его!

Вот оно, оказывается, как! Я проник в тайну: его она «не ждет», стало быть, «ждет» меня. А дедовская книга, судя по ее описанию,— что-то из вероучительной классики. Между тем у самой Мимозы — ровно никакого понятия о вере, да и откуда у такого живого, открытого человека, к тому же битого-перебитого жизнью, взяться какой-то мистике!

Светила лампа, а я, охватив голову руками, читал и читал. Они с Эршэ щебетали о чем-то на лежанке; на них падала моя тень. Эршэ отчего-то хихикала. Иногда, прервав чтение, я вслушивался в их голоса и проникался ощущением дружеской теплоты, которая струилась от них ко мне. В этой убогой комнатенке связала нас накрепко нить взаимной приязни. Мне вспоминалось детство и легкий катерок, плывущий по недвижной глади вод.

Когда Эршэ уснула, Мимоза устроилась с ногами на лежанке и принялась кроить для меня «городские» штаны. Ножницы с мягким шелестом резали ткань, и этот звук был какой-то удивительно легкий, словно шорох теплого дождика в зеленых зарослях. Шила она молча. Время от времени я поднимал голову и видел ее чудесные глаза, ее мимолетную кокетливую улыбку. Освещенное призрачным светом лицо ее было преисполнено покойным довольствием — она наслаждалась семейным духом: ведь рядом мужчина, погруженный в книгу,— воплощение ее отроческой мечты, дивного сна, издревле грезившегося женщинам Китая.

Штаны были сшиты в один день. Украшавшие одеяло три красные полосы теперь рассекали мои ноги пополам. В этой «городской» одеж-

ке я предстал вылитым клоуном из цирка. Эршэ, глянув на меня, захлопала в ладоши, захохотала:

— Кукла-Тряпичка! Кукла-Тряпичка!

— Не смей! Так нельзя! Нужно говорить «папа»!— Она дала дочери легкий подзатыльник, потом присела на корточки, расправляя штанины и разглаживая швы. Лица ее я не видел. Мое сердце громко колотилось; она двигалась порывисто, как бы спеша, и от рук ее, казалось, слегка колебался воздух; смысл сказанных ею слов все еще не доходил до меня.

— Ну вот и хорошо! В самую пору! — Она выпрямилась и произнесла с улыбкой: — Я еще и шапку тебе сшила!

Из остатков одеяла она соорудила мне некое подобие той шапки, что носил мой сосед, старый Бухгалтер. Такой фасон был в ходу зимой среди шанхайцев — с красным шариком и кисточкой на макушке.

— Надо же, сколько хлопот! — улыбнулся я, водружая шапку на голову.— В детстве я в такой в школу ходил.

Вечером я облачился в «клоунские» штаны — мои ватные она распорола и выстирала, нахлобучил «шанхайскую» шапку и приступил к чтению третьего раздела «Производство абсолютной прибавочной стоимости». И ноги и голова были в тепле, а желудок вполне сыт. Мне припомнились слова Энгельса, что в первую очередь человеку необходимы еда, питье, жилье и одежда, и, только обретя все это, он способен заняться политикой, наукой, искусством, религией. Простое это соображение легло и в основу Марксовых законов общественного развития. Я ощущал в себе духовную силу, жажду деятельности. Мой мозг буквально разрывался в стремлении мгновенно постичь, как приложить абстрактные эти мысли к моей нынешней жизни, к грядущему моему существованию. Мне вспомнился Фауст:

> Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
> Жизнь и свободу заслужил [1].

...Она тихонько подошла и встала за моей спиной. Положила руку мне на голову, потом заглянула через плечо — что меня так заинтересовало в книге. Я подумал: и она поняла бы в том, что я читал, почти столько же, сколько понял я. Осторожно я взял ее руки в свои — распаренные, красные от постоянной стирки, с белыми мозолями, загрубевшие в работе, они все равно были прекрасны — сильные, теплые.

Мое чувство сделалось теперь ровнее, спокойнее, но и глубже — так смиряется бурливый многошумный поток, впадая в полноводную реку. Нежное, словно вода, прикосновение — это рука ее осторожно, словно во сне, касается моих губ. И я целую ее пальцы, один за другим — указательный, безымянный, мизинец... Сердце разрывается от нежности, и я шепчу:

— Дорогая, я люблю тебя!

Она стоит за моей спиной, чуть наклонившись, ее рука покорно затихла в моей ладони, другая — покоится на моем плече. Когда я целую ее пальцы, та, вторая, начинает мелко-мелко подрагивать, а едва я произношу эти слова, Мимоза высвобождает обе руки и, притянув к себе мое лицо, спрашивает, бессильная совладать с нечаянной радостью:

— Как, как ты назвал меня?

— Я... я сказал «дорогая»...

— Нет, так плохо! — Она сжимает мою голову и смеется, смеется.

— Но как же тогда?..— удивляюсь я.

— Ты должен звать меня «кровинка-кровиночка»!— И она наставительно тычет в меня указательным пальцем.

---

[1] Гёте. Фауст. Часть вторая, акт пятый. *(Перев. Б. Пастернака.)*

— А кто же буду я?

— Ты будешь «песик-псиночка»!

...Ничего не скажешь, нежнейшее имя «песик-псиночка»— я был покорен. Где-то в глубине души возникло ощущение нашей несхожести — ведь не к таким «изящным чувствам» я стремился. Эти ее любовные словечки были мне вовсе не по сердцу, совершенно чужеродные, способные разве что насмешить. Я подумал, что она невольно выразила разделявшую нас вовеки непреодолимую пропасть, которая сделалась вдруг такой очевидной.

30

Во всей нашей бригаде нет календаря. Вернее, был один, в правлении, но его кто-то увел еще до нашего приезда. А потом уже и покупать не стали — всего-то осталось полгода, да и вряд ли сохранились календари в «сольмаге». Как выразился бригадир Се, «этот оселворишка стибрил у нас сто восемьдесят дней из трехсот шестидесяти годовых. Прямо разбойничье отродье!» Все оценили его слова, тем более что «разбойничье отродье» вовсе не интересовалось днями недели, а свистнуло календарь на самокрутки.

Бригадиру Се в его бухгалтерии приходилось рассчитывать на то, что раз в два-три дня кто-нибудь приезжал из отделения и, как говорили у нас, «привозил день». Бывало, кто-то отправлялся в Чжэннаньпу за покупками или в другую бригаду родственников навестить, тогда бригадир непременно говаривал:

— И день прихвати с собой!

«Прихватить с собой день» сделалось постепенно обязанностью всякого, кто выходил во внешний мир, то есть ему следовало узнать, какой нынче день, какой месяц, который сейчас из двадцати четырех сельскохозяйственных сезонов[1] и сколько осталось до праздников. День недели нас не интересовал: ведь отдыхали мы не по воскресеньям, а сразу после получки и понятия не имели о неделях. Так что ходившие по делам в Чжэннаньпу часто проделывали этот поход зря — они попадали на выходной.

Иногда бригадир принимался отчитывать хромого кладовщика, который ездил в город за покупками:

— Пугало чертово, купил бы прошлогодний календарь! Тогда хоть сможем день для твоей свадьбы выбрать!

Хромой краснел. Его старуха уже несколько лет как померла, а он все никак не женится во второй раз, хотя и сорок лет вот стукнуло.

Так и шли дни, неотличимые друг от друга, день за днем, и только если кто-то «прихватывал день», мы с радостью узнавали, что все ближе Праздник Весны.

В те трудные годы и на Праздник Весны и в Новый год людей ничем особенным не баловали, но они невольно воодушевлялись от самого известия, лица празднично сияли. И все-таки в каждой бригаде стремились как-то отметить праздник. Поэтому несколько дней только и было разговоров, сколько на овчарне прирежут баранов, сколько мяса придется на семью и кому достанутся потроха.

Нам, одиноким, не полагалось ни мяса, ни потрохов. Нашу долю готовил для нас повар на кухне — по два-три куска баранины каждому выходило. Потому на все предпраздничные хлопоты мы и взирали равнодушно. В нашей группе помаленьку все определялось: Лейтенант уже уехал, другие должны были отправиться по домам после праздников; Начальник, чья семья жила в главном городе провинции, со дня на день ждал вызова от одного из тамошних госхозов и после праздников тоже мог оказаться дома.

---

[1] По древней земледельческой традиции, год делился на 24 сезона, каждый из которых был связан с определенными крестьянскими заботами.

До праздника оставалось три дня. После полудня небо померкло, и пошел мелкий снежок. Холодные снежинки падали за воротник, ложились на мотыги и лопаты. Намокли рукавицы. Бригадир все поглядывал на небо, потом буркнул «дьявольщина!» и приказал: «Кончай работу!» Мы разбрасывали навоз на дальнем поле и, едва стих бригадирский голос, со всех ног бросились домой.

Снег сыпал, становился все гуще и гуще. Я шел не торопясь. Дорога прямо на глазах скрывалась под снежным покрывалом. Воробьишки, отчаянно маша намокшими крыльями, торопились укрыться в насквозь продуваемой рощице. Там они дружно принялись чистить перышки, время от времени поглядывая на помрачневшее небо — точь-в-точь как бригадир Се.

Снег летел откуда-то с северо-запада. Снежинки ложились на тыльную сторону ладони, и узор их был столь причудлив, что никто бы не усомнился — небесное изделие. Они медленно таяли, долго храня свой удивительный облик.

Небо еще больше помрачнело. В пространстве между землей и небесами мерцал туманный свет. Широко распахнутый горизонт; и там, далеко, под закатным небом, взгляд угадывал тонкую струйку паровозного дыма, которая протыкала снежную завесу, и волшебный пейзаж в его призрачной нереальности казался словно прошитым четкой нитью.

В деревне возле конюшни уже никого не было; Мимоза, видно, тоже ушла домой пораньше. В нашем глинобитном домишке царствует сумрак. Редактор, который нынче не ходил на работу, докрасна раскалил печурку; мечутся языки пламени. Вот и еще одна радость: повар порубил редьки, заправил луком, солью и налепил пельменей для всех прикрепленных.

Предстояла скорая разлука, каждый пойдет своим путем, и последние дни здешней жизни тянулись особенно мучительно. И все были доброжелательны друг к другу. Вот и старик счетовод позаботился обо мне — взял мою порцию пельменей и устроил на печке, чтобы они не остыли.

Все ели пельмени и рассуждали о будущем. Начальник собирался вдоволь наесться баранины. Бухгалтер, уроженец Шанхая, рассказывал о тамошней кухне, а Редактор — о том, что едят у него на родине, в Ланьчжоу, где родственники уже подыскали ему прекрасную работу.

Домой я вернуться не мог — у меня не было дома. Не мог даже поехать повидаться с матушкой: из главного города провинции до Пекина даже в общем вагоне билет стоит больше двадцати юаней. А мне и с Мимозой вовек не расплатиться. Теперь вот она принялась за обувку для меня. А что я, что я могу? Она, конечно, ни о чем таком не думает, но мне необходимо сделать выбор...

Жениться на Мимозе, поселиться в маленьком сельском домишке? Такая мысль уже приходила мне в голову, о чем-то подобном я ведь и мечтал когда-то. А сейчас вдруг спасовал. И все-таки я ходил к ней изо дня в день, дом мой понемногу переместился туда, и Эршэ наконец-то привыкла ко мне. Я не только рассказывал сказки или читал «Капитал», но и смешил ее, забавлял. Она способна была играть без устали с утра до вечера. Мать кормила ее хорошо, лучше, чем обычно питались здешние детишки, потому и выглядела она как мальчик — крупная, рослая, но изяществом и нежностью оставалась девочкой. Ей нравилось, когда я напяливал новую шапку — тут она заходилась в хохоте.

Впрочем, до сих пор было непонятно, собирается ли Мимоза замуж — за меня или за кого другого. Правда, когда Эршэ опять назвала меня в шутку Кукла-Тряпичка, она, как и в прошлый раз, отругала ее и велела звать меня «папа». Лицо ее при этом не выразило ничего особенного.

Однажды, проснувшись глубокой ночью, я размышлял о наших с ней отношениях. Пусть я стал «нормальным человеком», уже начал преодолевать себя прежнего, но сделаться навсегда объектом для жалости, для благодеяний... Я могу жить в этой убогой хижине, спать на соломенной подстилке, я привык к тому, что Бухгалтер постоянно скрипит во сне зубами... все это мне по силам. Но жить из милости невозможно — это позор, а ведь еще шаг — и мы муж и жена.

Хочу ли я этого? В глухом, ночном безмолвии я оценивал свои чувства, эту зыбкую, как вода, и мимолетную, как сновидение, нежность. Я любил ее так, как вычитал когда-то в книгах, а она не понимала меня, может быть, и вовсе не догадывалась о моей любви. Вот оно различие в культуре, его уже вряд ли восполнить! Одним словом, я вдруг понял: мы не пара друг другу!

И тем не менее, поев пельменей, я отправился к Мимозе.

Темнело. Снег валил еще гуще, чем утром. В пепельно-сером небе, над пепельно-серыми полями и над деревушкой бушевала белая круговерть. Снежинки не похожи на дождевые капли, они не падают отвесно вниз, а крохотными мотыльками беспорядочно вьются-порхают, словно мысли в моей голове.

Дверь не заперта. Мимоза стоит на пороге, закутавшись в шаль, похоже, куда-то собралась. Эршэ тоже готова — закутана и в руке лепешка, ждет мать. Та, едва завидела меня, улыбнулась и посторонилась, давая мне войти. В комнате я тотчас углядел миску с пельменями — столько и втроем не одолеть.

Нахмурившись, я спросил:

— Откуда пельмени?

— Как откуда? Люди дали! — ответила она без тени смущения и поправила платок.

— Кто? Кто дал?

— Кто захотел, тот и дал! — Ноздри ее вздрагивали, ей приходилось сдерживаться, чтобы не рассмеяться.

— Ладно! — Я тоже усмехнулся.— Тогда я не стану есть! — Едва я вымолвил эти слова, как сообразил, что мой пыл попросту смехотворен. Почему я лезу в ее жизнь? По какому праву? Кто я ей? А внутренний голос твердил мне: «Хватит! Пора кончать!»

— Хо-ро-шо! Что сами не съедим — то собакам отдадим! — смеясь, пропела она детским голоском. По ее разумению, ровно ничего не произошло, так, ерунда. Сколько раз уже я пасовал перед этим ее легкомыслием — смутить ее было совершенно невозможно.

— Знаешь, подвернулось выгодное дельце! — Она, прищурившись, глядела на меня, а потом прибавила, улыбаясь: — Будут баранов резать, десять голов! Днем все непременно бросятся за потрохами, того гляди, овчарню разнесут, вот Борода Се и велел резать ночью, а всю требуху схоронить на кухне. Хромой и сказал, чтобы я шла помогать. Ну, разве плохо? Дождись меня, приду сготовлю тебе чего-нибудь из свежей баранины, а пока поешь пельменей. Десять матерых баранов! Пока прирежут, пока освежуют, пока разделают — боюсь, к утру, не раньше дома буду. Эршэ со мной пойдет, поспит в овчарне, там тоже есть теплая лежанка.

Я продолжал тупо сидеть. Эта миска пельменей... Наверняка это Хромой! Да он же попросту вынул их у нас изо рта и отдал ей! Вот тебе и «Ресторан «Америка»! Во мне бурлили гнев и... ревность. Я понимал, что она идет свежевать баранов, что там требуются ловкие руки, что это — ее обязанность как члена бригады, ее ведь направили, но мне казалось, что кладовщик совершил с ней, так сказать, сделку — иначе с чего бы ему уступить ей это «выгодное дельце»?! «Женщины изменчивы!» — эта мысль неотступно преследовала меня.

— Что ж, иди. — Я встал и подчеркнуто безразлично прибавил: — А я пойду домой, в бригаду.

— Ну зачем? — Ее прекрасные глаза широко распахнулись, полные неподдельной наивности. — Сначала поешь, почитай немного. Меня не жди, иди к себе спать. Будешь уходить — запри дверь... Мой глупенький песик!

Вытянула губы и крепко прижалась к моему лицу, мне показалось, что она при этом чуть улыбнулась. Усадила меня обратно на лежанку, подхватила Эршэ и исчезла за дверью, словно внезапный порыв ветра.

31

Я сидел как в столбняке. На фотографиях возле лежанки богач Артынов бросал на красавицу Анну глупо-обольстительный взгляд; мне это показалось вдруг злой насмешкой. Комната опустела и обрела какой-то заброшенный, нежилой вид. Только сейчас я ощутил, что Мимоза с дочкой сделались неотделимой частью моей жизни, и комната без них лишилась тепла и уюта. Как же быть мне и что делать? Мимоза... она ведь такая... такая... Мысли мои путались. Настроение — хуже некуда. Я встал, засветил лампу и под крышкой котла отыскал кашу, еще теплую. Поел наспех и уткнулся в книгу. Из овчарни донеслось протяжное блеянье — верно, начали резать баранов.

Дочитал я до строк Горация: «Да! Римлян гонит только судьба жестокая за тот братоубийственный день...» [1] — тут со стуком распахнулась дверь, будто порыв ветра ворвался в дом. Забился-затрепетал язык пламени в лампе, и на пороге возник огромный детина.

Это был Хай Сиси!

Я вскочил, пораженный, принял помимо воли боевую стойку и вперил в него взгляд.

— Знаю, Мимоза в овчарне. Думал, ты дома, искал тебя там. — Ему, как и бригадиру, даже в голову не могло прийти, что место, где человек спит, называется не «дом», а как-то иначе — «общежитие», к примеру.— Я к тебе, парень, по делу, больше не к кому!

Он говорил удивительно мягко, и я успокоился. Никакой враждебности. Он давно уже не был у Мимозы и озирался по сторонам, как я, когда впервые пришел сюда. В глазах его мелькнуло разочарование.

— Что ж, садись,— жестом хозяина я указал ему на лежанку. — Поговорим!

— Лучше давай ко мне. Там дверь не запирается, а в комнате вещи. — Объясняться со мной он, похоже, не собирался, не сказал и ничего вроде «не бойся», словом, держался, как давний друг. Он вызывал доверие, этот человек, не помнящий прежних обид.

— Ладно,— я пристроил под мышкой книгу,— идем!

После нашей драки Хай Сиси несколько дней «гулял» в городе, а вернувшись, спокойный и молчаливый, как и прежде, правил повозкой. При встрече он и глаз не подымал, словно мы вовсе не знакомы, он и с Мимозой перестал знаться. Меня угрызения совести не мучали — обычная психология победителя на любовном ристалище, но при Мимозе я избегал упоминать о нем. Сама она говорила о Хай Саси с удивительным бесстрастием. А он, он искал не ее — меня. Что-то он скажет? Идет понурившись, тяжело ступая — дело, видать по всему, важное. Подобравшись, я двигался следом; меня одолевало любопытство.

Снег все сыпал и сыпал. Пронзительный, ледяной ветер взметал белые снежинки, и в непроглядном ночном мраке от них рябило в глазах. Шагать приходилось, высоко поднимая ноги. Наконец мы добрались до конюшни; наши плечи и шапки покрывал слой пышного снега.

[1] Из эподы Горация «К римлянам».

— Входи! — Он толкнул узкую дверцу рядом со стойлом. Низкая крохотная каморка, потолок подперт жердиной, а на ней — яркий походный фонарь. Мы отряхнули снег, а он скинул грязную обувку и устроился на лежанке, скрестив ноги.

— Усаживайся! — пригласил он, потом дотянулся и ухватил с печи пыхающий чайник — большущий, потемневший от времени. Заварил две кружки чаю, видно, заранее все приготовил.

— Пей, это настоящий чай, язви его! Я и сахару бурого положил!

Я взобрался на лежанку и сел против него. Здесь поместился низенький столик красного лака, ветхий, но протертый до блеска. Больше никакой домашней утвари, зато на полу заботливо сложены уздечки, кнутовища, ременные подпруги.

Он хмуро молчал, с шумом прихлебывал чай, касаясь вытянутыми губами края кружки, будто заботил его только вкус чая. Отпил и я — чай в самом деле оказался необыкновенно сладок. В комнате было тихо, только за стеной время от времени слышался перестук лошадиных копыт. Хай Сиси выхлебал полкружки, заметно было, что он старается изо всех сил сдержать возбуждение. Отер ладонью рот и, уставившись куда-то в угол, произнес:

— Знаешь, уехать хочу.

— Уехать? Куда? — Он обращался ко мне как к задушевному другу, и я невольно ощутил свою причастность к его судьбе.— Почему уехать?

— А какого дьявола торчать в этой мерзкой дыре! — Он слабо повел рукой.— Сил у меня вдоволь, работу я знаю — неужто не получу в другом месте те же тридцать монет?! Правду сказать, поначалу и не собирался тут засиживаться, да вот встретил... ну, короче, с Мимозой... познакомился...

Он умолк. Молчал и я — какие уж слова, коли он о Мимозе заговорил. Глядел на него и чувствовал, что краснею. За стенкой лошади били копытами. Он ухватился за лаковую крышку стола, руки поникли, словно ослабевшие крылья орла, глаза — точно остекленели. Дерзкий задира в один миг сделался строг и серьезен. Я разволновался. Вдруг явилась мысль уступить ему Мимозу — вот уж поистине подходящая пара! «Хороша доброта, нечего сказать, собственную подлость прикрыть захотел! А ее любовь? Предать ее?» Я не проронил ни звука.

Все длилось тягостное молчание, наконец боль его, верно, поутихла, он успокоился. Глянув на меня, он произнес:

— Там у меня мешок соевых бобов, цзиней на сто. Возьмешь его, поедите вместе с Мимозой. Столик этот тоже мой — заберешь завтра утром. Мешок я упрятал там, за стогом, ты видел где... Днем не ходи, только ночью, чтоб никто... Понял?

— Я... это...— Принять подарок или отказаться? Но как откажешься? Я понимал, что он добр, что он благороден и великодушен, но мне было стыдно — до каких же пор пробавляться чужими милостями?

Он по-своему понял причину моих колебаний:

— Будь спокоен, не краденое! Вы, грамотеи, не едите такого, знаю. Так вот: еще давно, только приехал сюда, я на брошенной земле бобы посадил, здесь такой земли полно. Осенью и собрал цзиней триста-четыреста. Этот разбойник Се обо всем пронюхал, но не донес — он ничего, с ним можно ладить!

Все они думали обо мне слишком хорошо: ишь какой «благородный», краденого не ест! Уж я-то знал, что вовсе не таков. Не я ли обманул старика торговца на рынке или выманил просяной муки на кухне? А к Мимозе поесть даровой еды разве не ходил? Пока я ловчил, он своим трудом урожай выращивал — вот и вся разница между нами! Так кто же из нас благороднее?

— Что же ты с собой все не заберешь? — спросил я, проникшись искренней заботой.

— Зачем? Куда не приду — без еды не останусь! Вы другое дело — барышня и грамотей...— Он кивнул на дальний угол лежанки и прибавил: — У меня еще вон какой груз!

Тут только я углядел, что сидим мы на голых циновках, а постель свернута в узел и увязана вместе с деревянным сундуком на здешний манер — подхватил на плечо и в путь.

— Прямо сейчас и двинешься? — спросил я.

— А когда же? — Он фыркнул.— Думаешь, лучше белым днем, при ясном солнышке? Я не то, что вы все: у вас прописка, паек, просто так ни шагу не сделаешь. Они думают, буду на них здесь вечно спину гнуть! Пошлют за мной погоню, могут и просто связать. В прошлом... нет, теперь уже в позапрошлом году они уже нескольких беглецов повязали...

— И куда же ты?

— Китай велик! Я много где побывал! — Он ударил себя в грудь и с гордостью произнес: — Знаешь, я ведь со специальностью, да и сила есть, так что примут меня где хочешь. Двинусь к подножию гор, там моя тетка живет. Переберусь через горы — там Внутренняя Монголия, госхозов полно, денег побольше платят. Только об этом никому!

Я кивнул:

— Ладно, молчу. Так и будешь все время бегать? Бригадир говорил, ты уже не раз пускался в бега...

Внезапно он понурился, помрачнел — ему не хотелось меня слушать. Такого отговаривать — пустое дело.

Шумел на печи чайник, лошади печально всхрапывали за стенкой. Мы молчали. Сделалось как-то душно Хай Сиси допил свой чай. Грохнул кружкой об столик Казалось, он выпил не чай, а вино: точно во хмелю покачивал головой, щурил глаза. Потом отер рот ладонью. Из груди его рванулась, словно из долгого плена на волю, печальная песня:

В Лянчжоу гулял я с утра до утра,
А вот на лице печаль,
Печаль на лице — как жаль!
Сгубила меня малютка сестра.

Он хлопнул себя по колену и глубоко вздохнул:

— Да, девушки любят молодых!

Мне стало жаль его. Он ведь мог осесть здесь, завести семью, детишек, получить постоянную работу, а вместо этого отправляется опять бродить по свету. И все из-за меня — я порушил его жизнь. И я склонил голову, словно дожидаясь удара.

Опять воцарилось молчание. Потом он снова глубоко вздохнул, тряхнул руками, словно хотел отогнать все горести, как докучливых комаров. Будто хмель прошел, и он приободрился, взял чайник, долил в кружки воды, слегка поерзал и сказал, наклонившись ко мне:

— Слушай, скажи по правде, что это за книга у тебя? Я иной раз там у нее... ну... под окном случайно видел, как ты все читаешь. В детстве и мне приходилось читать древних учителей!

Смотри-ка, Мимозу это ни разу не заинтересовало. Я обрадовался, теперь можно как-то разрядить обстановку. Похлопав ладонью по «Капиталу», я объяснил, что эту книгу не «древний учитель» сочинил, а Маркс, в ней изложены законы развития общества. Зная эти законы, можно смягчить житейские страдания. Ну, как за весной наступает лето, а потом осень и зима — так и законы, в них сосредоточена необходимость.

— Не-об-хо-ди-мость! — пробормотал он на местном диалекте, он пытался постичь значение этого слова.— Не-об-хо-ди-мость! Понимаю, у нас тоже есть похожее, только мы говорим «воля Аллаха».

— Ну, это не совсем то...— Я попытался объяснить, но он перебил меня:

— То, то самое! — махнул рукой и сказал:— Есть «воля Аллаха» — это необходимость, а есть еще... вот не знаю, как назвать... ну, к примеру, я был служкой в мечети, мог выучиться и стать ахуном, а вместо этого мотаюсь по свету — вроде по своей воле...

Его объяснения смутили меня. Кажется, в марксизме это называется «свобода выбора»? Пока я напряженно размышлял, он продолжал свои рассуждения, словно стремился прогнать тоску, и все больше воодушевлялся, но, пожалуй, теперь уже нес одну околесицу.

— Слушай, женись-ка ты на Мимозе! — вдруг сказал он.

Я оцепенел. Мне и в голову не приходило, что я услышу от него что-нибудь подобное.

— Поверь, она хорошая! «Ресторан «Америка» — все это глупая болтовня! Она, чертовка, сообразительная, берет подарки, но себя соблюдает. Женись на ней, правда! Заживете лучше некуда — и ей хорошо!

— Я... я не думал об этом... пока,— лепетал я.

— Не думал! — Он в сердцах стукнул по столику.— Может, считаешь, она тебя, грамотея, недостойна? Слушай, я однажды подглядел, как она моется... все, доложу тебе, при ней!

Я никогда не знал заранее, что он скажет или что сделает. Говорит вроде грубовато, даже бесстыдно, но в словах-то его неподдельная забота. Он, значит, до нее не дотрагивался...

— Ну что? — спросил он.— Надумал? Ты под завязку набит книжной премудростью, а она может и с иглой управляться, и с котлом, и с мотыгой в поле. Если уж кому из вас будет плохо, так это ей!..

Из овчарни снова донеслось блеянье, и он сказал, что уходит. Допили чай, я пристроил ему на плечо пожитки.

— Дотащишь? — забеспокоился я.

— Еще бы! До гор — рукой подать, один шаг, можно сказать! — Он легко повернулся с тяжеленной поклажей, не попрощался, не пожал мне руку, а только велел задуть лампу, притворить дверь да в ясли сена добавить. Протиснулся в узкий дверной проем и растворился в ветреном снежном сумраке ночи.

Я вышел из конюшни. Мир наполняла чистая белизна порхающих снежинок.

Мимоза все еще трудилась в овчарне. И я отправился «домой» спать.

32

Ранним утром я пошел к Мимозе. Она только недавно вернулась из овчарни и как раз заканчивала разделку бараньей головы. На полу расставлены были глиняные тазы, клубился густой пар над котлом, остро пахло свежей бараниной. Эршэ сладко спала на лежанке. Усталая, с выбившимися прядями волос, Мимоза хлопотала среди тазов. Когда я вошел, глаза ее радостно блеснули. Она уже наверняка знала о бегстве Хай Сиси, но не подавала виду; меня это слегка рассердило — неужто моя будущая жена начисто лишена милосердия?!

— А знаешь, что сказал мне Хай Сиси на прощание? — с вызовом спросил я.

— Да не слыхала я ваших разговоров! — Она возмущенно принялась шуровать тазами, но минуту спустя, уже с обычной своей веселостью протянула: — Отку-у-да мне знать?..

— Он уговаривал меня... жениться на тебе! — выпалил я. Едва эти слова сорвались с моего языка, мне тотчас стало понятно, как непохожи они на те романтические, исполненные любви и поэзии речи, которые я готовился произнести, собираясь объясниться с Мимозой.

— Ему-то что за забота! — произнесла она резко, с поразившей

меня холодностью, хотя, возможно, и напускной. На секунду мне почудилось, что я ошибся,— она не любит меня, не любит...

Меж тем Мимоза вымыла дочиста один из тазов, водрузила его на глиняную полку и потянулась, расправляя затекшую поясницу.

— Другим за нас решать нечего, о себе я и сама подумать могу! — заявил она решительно.

Так, провалилось, значит, мое сватовство. Едва поманила меня жизнь удачей и счастьем, и враз обернулась опять ко мне своей привычной стороной — жестокой, лишенной поэзии. И все-таки, что значит эта неустанная забота Мимозы обо мне? Любит? А может, просто капризничает, развлекается? Я был как в столбняке, тупо стоял, не понимая: уйти мне, что ли, и еще дверью на прощание хлопнуть или остаться и выяснить все до конца?

Но тут с улицы донеслись шаги, какие-то странные, с притопом — я узнал характерную поступь Хромого. Мимоза метнулась, едва не сбив меня с ног, схватила прислоненную к стене жердину и заложила дверь. Потом с той же стремительностью прижалась к моей груди, втянула голову в плечи и застыла с настороженностью ребенка, играющего в жмурки; она ждала, пока Хромой начнет колотить в двери.

— Эй, Мимоза! — раздался хриплый голос кладовщика.— Мимоза!

Она не ответила, но, выждав какое-то время, лениво поинтересовалась:

— Кто там? — подняла на меня глаза и тихонько хмыкнула, смешно наморщив лоб.

— Я, Мимоза, это я!

— Да мы спим,— с расстановкой ответила она. Ее серьезный голос никак не вязался с веселым выражением глаз.— Устала очень, умаялась. Небось работу мне нашли, так подожди, пока высплюсь.

— Какая работа, что ты! В овчарне у третьего столба я припрятал для тебя бараньи потроха. Сходи забери.

Он делал ей подарок, но по тону казалось, что он молит об одолжении.

— Ладно! — Она снова скорчила смешную гримасу.— Отосплюсь, тогда схожу.

Но Хромой все не уходил, топтался на крыльце, чего-то ждал. Мне было не по себе. Мимоза все это время стояла, тесно прижавшись ко мне, перекрикивалась с кладовщиком и крутила пуговицу на моей ватной куртке. Раньше, когда я ежедневно ходил к ней ужинать, я, конечно, тоже рисковал — всякий раз кто-нибудь мог застать меня в этом доме. Но сейчас она так близко... Меня пробирал озноб. Мимоза улыбалась, корчила гримасы, но мне было не до смеха. Казалось, этому не будет конца. Наконец опять донеслась характерная поступь Хромого — он уходил. За дверью воцарилась тишина.

— Ха-ха! — Она подняла ко мне смеющееся лицо.— Дурак дураком, а что придумал! Чуть выжду и схожу, еда — и задарма!

От напряжения я не мог вымолвить ни слова.

— Да ты совсем заледенел, прямо ледышка! — Она распахнула халат, взяла мои руки в свои и положила себе на талию, вынудив меня как бы обнять ее.— Сейчас согреешься!

Под тонкой тканью блузки я чувствовал ее жаркое тело, но не ощутил в себе ни капли страсти. «Чему верить,— упрямо спрашивал я себя,— недавней ее холодности или этой вот откровенной ласке?»

— Дурашка, родной мой, песик-псиночка! Да как тебе это в голову взбрело — жениться! Подумал ты, что в семье придется тебе рубить хворост, воду таскать? А там, глядишь, ребеночек — пеленки начнутся, стирка. За день так по дому наломаешься — башка травой прорастет! Твоих восемнадцати юаней и тебе-то не хватает — так где уж тут втроем да с маленьким! То ли дело сейчас: пришел, поел — и за книгу! Нет, ты у меня и вправду дурачок!

И тут я прозрел.

Да ведь она готова всем ради меня пожертвовать, любовью — всем! Но я же недостоин, мне и ее трудно понять потому только, что сам-то я не способен ничем пожертвовать для другого человека, даже для любимой. Моя душа полна мною одним, больше там никому нет места. И даже «превзойти себя» стремлюсь я для собственного блага! Вот разница между нами.

Я крепко прижал ее к себе, с внезапной ясностью осознав, как люблю эту женщину — не испытываю к ней благодарность, признательность, даже нежность, а просто люблю.

Жаркий невнятный шепот слетал с моих уст:

— Прошу тебя, поженимся! Живут же другие, и мы будем жить, я разделю твою тяжкую ношу — разве это так плохо!

Она чуть отстранилась и с глубоким чувством глянула мне в глаза. Потом проговорила:

— Да как я могу, чтобы ты — как другие! Жена, детишки, теплая лежанка — нет уж, это все ерунда. Ты у меня грамотный, должен книги читать! Только бы ты читал, а трава на башке пусть у меня прорастет, это мне только в радость. Нечего «ношу делить»! А потом после свадьбы все эти дурачки небось не станут мне подарки таскать, не то что сейчас. Видал, я и пальцем не шевельнула, а бараньи потроха тут как тут. Тебе только и осталось, что дождаться, пока накормлю,— разве плохо, родненький?

Ей хочется, чтобы я книги читал. Но почему? Считает, верно, что этой мой удел. Кошка должна ловить мышей, я — читать. Мне стало смешно, но ведь, честно говоря, она правильно рассудила, правильно все поняла, мудро.

И все-таки это позор. Неужто я могу принять такой подарок?

Страшно и помыслить: женщина будет спину гнуть, а я — читать книги! Так унизиться — нет! Нет!

— Нет! — выдохнул я.— Мы должны пожениться!

— Вот глупыш, да разве я отказываюсь выйти за тебя замуж?! Я ведь об этом давно мечтаю, для чего, думаешь, так старалась все эти месяцы?! Вот подожди, жизнь станет полегче, и мы с тобой распишемся — то-то мои дураки-ухажеры глаза повытаращат!

— Нет,— твердил я упрямо,— нет! Это ложь, обман!

— Будет тебе, кого это, спрашивается, мы обманываем? Ну приносят они мне кой-чего из еды — так не от себя ведь отрывают, воруют! Я откажусь — другие сожрут. Нет, лучше уж мы с тобой посытее будем. Знаешь, в нашей бригаде только один Се приличный, остальные — хуже некуда, а повар — тот и вовсе негодяй!

У Мимозы, как видно, все было замечательно продумано и учтено, кроме одной малости — моего мужского достоинства. Мне-то как жить? Я уже отъелся на ее даровых харчах, читать начал, но стыд еще не потерял, и так дальше продолжаться не может. Потому и твердил я с каким-то отчаянным упрямством:

— Поженимся! Прямо сейчас пойдем к бригадиру, пусть он нас распишет. Пойдем! Это нужно!

Мимоза по-своему истолковала мое упорство.

— Ты не веришь мне, думаешь, я с кем другим живу? — спросила она с каким-то необыкновенным достоинством. Потом прильнула ко мне, встала на цыпочки, потянулась и потерлась щекой о мою щеку, шепнула нежно:

— Тебе все можно... если ты хочешь... сейчас...

Всю ночь она работала на скотном дворе, ни на минуту не прилегла, но в лице ее не было и тени усталости. Ее глаза светились любовью, жертвенной любовью, для которой не существует ничего, кроме желаний любимого существа. Меня душило счастье. Необыкновенное чувство, чистое и прекрасное, захлестывало меня, в нем не было страсти, одно лишь святое стремление к любимой.

— Нет,— выдавил я,— нет... это потом...

— Только ты знай,— решительно сказала она, глядя мне прямо в глаза,— ты знай: даже если мне отрубят голову, мое тело все равно будет принадлежать тебе!

Чего стоят все клятвы на свете в сравнении с этими простыми словами, жестокими, даже кровавыми! В страхе замер я перед непостижимым величием жизни.

33

Я спал и спал, пока в полдень меня не разбудил тот самый хмурый человек, который некогда впервые вел нас на работу. Бригадир Се велел ему впрячь в тележку ослика и отвезти меня в правление госхоза. Мне следовало и постель с собой прихватить. Наверное, они там, в правлении, сами с делами управиться в праздники не могут, придется несколько дней им помогать.

Собрался я быстро — мигом скатал свою постель. Потом поспешил к Мимозе — проститься и за обувкой, которую она для меня сшила; потолкался в дверь, но они с Эршэ, видно, еще не проснулись. Ну, ничего, потерплю до возвращения, покуда сгодятся и старые мои башмаки на вате. Угрюмый вручил мне четыре просяные лепешки — бригадир приказал на кухне взять, чтобы мне было чем подкрепиться в дороге. Я погрузил свои пожитки на тележку, и мы поехали.

На центральной усадьбе мне еще не приходилось бывать. Это селение было пообширнее нашего, виднелось даже несколько кирпичных строений под черепицей. Рядом — мукомольный заводик, чуть подальше — небольшой магазин, была и машинно-тракторная станция. За гаражом прямо на снегу валялись две серебристые цистерны для горючего. Наконец тележка остановилась, Угрюмый окликнул кого-то, а мне велел сгружаться и следовать за ним. Мы вошли в дом.

В комнате уже собралось пять человек, по виду — крестьяне из окрестных бригад. Одни сидели на скамьях, другие устроились прямо на полу, у каждого при себе постель и кое-какие пожитки. На меня никто и не глянул, каждый сосредоточенно думал о своем. В сердце разом возникло недоброе предчувствие, я беспомощно обернулся, ища глазами нашу тележку, но Угрюмый, видно, укатил назад в бригаду.

Потом в комнату вошел какой-то местный начальник с листом бумаги в руке. Следом — парнишка-шофер. Хмуро уставившись в список, начальник устроил перекличку.

— Кажется, все,— буркнул он парню.— Отвезешь их.

Следом за водителем мы двинулись к гаражу и столпились возле колесного ДТ-24. Парень оглядел нас, словно прикидывал, кто чего стоит, потом спросил меня:

— Кто из вас, ну, этот, «правый», который раньше преподавал в провинциальной школе для начальников?

Я шагнул вперед.

— Вообще-то я преподавал, но давно...

— Понятно, что давно,— парень хмыкнул.— Полезай в кабину! Остальные живо в прицеп грузитесь!

Все бросились карабкаться по высоким бортам, пучками соломы принялись сгребать снег со дна прицепа. Я забрался в кабину, приткнул за спину одеяло. Парень дождался, пока все устроились, проверил сцепку, запустил, дернув промасленный шнур, движок трактора, мы с грохотом двинулись вперед.

Трактор катил по грунтовой дороге прямо на запад. Кругом все было бело от снега, деревья по обочинам поникли под тяжестью ледяной корки, ветви их напоминали хрустальные кости. Солнце пробивалось сквозь густые облака, и лучи его золотили снежно-белую степь. С криками проносились вороны и сороки в безнадежных поисках корма. Ехать было трудно. Колеса то и дело пробуксовывали, и водителю приходилось внимательно следить за дорогой. Он казался

примерно одних со мной лет, над верхней губой чуть пробивались темные усы; нос, пожалуй, чуть грубоват, зато глаза так и светились энергией.

Наконец мы выбрались на сравнительно ровную дорогу, и парень слегка расслабился, откинулся на спинку сиденья и, глянув на меня, произнес:

— Мой отец тебя знает, ты его когда-то учил в той самой школе.

— Понятно,— сказал я, но не стал спрашивать, кто его отец. Какая мне разница? Все это там, в далеком-далеком прошлом. А сейчас трактор везет меня по заснеженной степи туда, к подножию гор, скрытых в густом тумане. Что ждет меня впереди?

— Знаешь, куда мы едем? — спросил парень, крутя баранку.

— Нет, куда?

— Эх, ма-а! — сочувственно вздохнул парень.— Директор госхоза велел отвезти вас в ту бригаду, что у самых гор. Слыхал, наверное. Там упрямцам мозги вправляют. Те, пятеро, в прицепе, как раз из таких. С тобой, правда, другое дело. Сегодня утром из вашей бригады один приходил, старик такой худой, кажись, бывший начальник. Ну ты знаешь, он с тобой в комнате жил... Так он донес в отдел кадров, что ночью от вас сбежал один, а ты с этим, ну, беглецом, дружил вроде... шастал к нему по вечерам, а он тебя перед побегом разыскивал. Значит, вы с ним в сговоре были. Ну, кадровик проверил твое дело — родня у тебя никудышная, разоблачили тебя не до конца, как говорится, «шапку не сорвали». Вот они, начальники, и порешили включить тебя в список. Это я сам видел. Потом, правда, примчался этот ваш разбойник бригадир, ворвался в отдел кадров и давай орать: мол, ты ни при чем, ты хороший. Ну, и ему досталось. Пришили потерю бдительности, обвинили в разбазаривании рабсилы и потворстве «правым», которых все газеты клеймят. Приказали письменное объяснение написать, покаяться... У нас всегда так: под Новый год или на праздник начинают порядок наводить. В Новый год отвозил четверых, теперь вот вас... Ты там поосторожнее, могут шкуру спустить.

Странно, но я ничуть не удивился. О растерянности или страхе даже речи не было. С радостью думал я, что по-прежнему буду работать в одном госхозе с Мимозой и рано или поздно мы свидимся. Начальник, конечно, дрянь! Даже перед отъездом не оставил меня в покое. Ну что ж, встречаются хорошие люди, попадаются и негодяи. Во мне закипела ярость, перед ней померкла даже любовь к Мимозе. Я всматривался в даль; там, за бескрайней белой степью вставали горы, и солнце, пробив густые облака, освещало горные вершины — яркие лучи отвесно падали вниз, создавая нечто вроде яркого мерцающего занавеса. Все это я как будто уже видел где-то, может быть, во сне... Меня не покидала надежда, что мне — теперь окрепшему, бодрому духом — достанет сил переломить свою злосчастную судьбу.

Трактор опять стало трясти на ухабах, и парень крепко взялся за баранку. Я вспомнил, что не сказал Мимозе про столик, который оставил нам Хай Сиси, и про мешок бобов. Столик, конечно, украдут, а место, где спрятан мешок, только мне известно. Растает снег, потеплеет, и бобы прорастут.

В бригаде меня сразу лишили отпуска и свиданий. Месяца два спустя один парень из медпункта сообщил по секрету, что ко мне приходила девушка, очень красивая, приносила что-то, но ее сначала допросили в правлении, а потом отправили назад, не разрешив и гостинец оставить. Я только что десять часов подряд таскал камни в устье канала, сил не было ни на что, и, успев только пожалеть ее за бессмысленно проделанный путь, я провалился в глубокий тяжелый сон.

Вскоре появился лозунг «О классовой борьбе нужно говорить каждый год, каждый месяц, каждый день!», и я за «написание реакционных заметок» попал под надзор. Потом меня обвинили в попытке «реабилитировать «правых» и приговорили к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Отбыв срок, я вернулся в госхоз, но тут подоспела «великая культурная революция», и меня «повысили»: оказалось, что я «контрреволюционер», и со мной расправились массы. В 1970 году загремел я в госхозовскую тюрьму. Такие тюрьмы создавали сами госхозы, и они были исключены из ведения органов внутренних дел.

Для этих тюрем не существовало ни закона, ни инструкций — это была прямо-таки средневековая инквизиция на китайский лад.

Еще в 1968 году, когда после лагеря я вернулся в госхоз, мне стало известно, что Мимоза не вышла замуж, пока я был под надзором. Они с Эршэ уехали в город, там жил старший брат Мимозы, и уже вместе с ним возвратились на родину, в Цинхай. Говорили, что ее брат тоже в чем-то провинился.

В 1971 году в госхозовской тюрьме заключенным не разрешалось читать даже «Избранные произведения Мао Цзэдуна», ибо главной нашей задачей считалось трудовое перевоспитание, а у Мао Цзэдуна мы могли научиться тактике борьбы с руководством госхоза. Однажды меня послали в местную школу сложить печь. Учительница ушла на урок, а я — словно жаждущий глотка воды — кинулся искать какую-нибудь книгу. Среди ученических тетрадей на столе нашелся только толковый словарь. Листая его, я наткнулся на статью «Мимоза». Как же замечательно подходило к ней это описание! «Светолюбивая, засухоустойчивая, хорошо растет на неплодородных почвах» — это ли не моя Мимоза!

А ночью меня мучила жестокая бессонница, и даже «лекарственные свойства» мимозы не могли мне помочь. Перед глазами возникали зеленеющие деревья, одно, второе... и вот уже волнуется огромный зеленый океан...

34

Прошли годы. Вместе с моей страной я пережил тяжкие времена, и мы вместе заплатили ту цену, которую потребовала от нас история. И вот опять, но уже в юркой «тоёте», вместе с руководителем местного отдела культуры и киношниками со студии, я ранней снежной весной еду в тот самый госхоз. Мы везем туда фильм, снятый по моей повести,— показать тамошним жителям и поблагодарить их за помощь. После просмотра директор провожает нас в дом для гостей, и я спрашиваю его о бригадире Се. Он о таком и не слышал, его прислали сюда только в 76-м, а Се уехал задолго до того.

Глубокой ночью я, крадучись, покидаю дом для гостей, где все так замечательно, так уютно. Яркая луна, стылый ночной воздух. Мне не хочется беспокоить водителя, и я в одиночестве шагаю по знакомому большаку.

Снег такой же белый и чистый, как прежде. Пока я бреду к «дому» нашей бригады, только лай собак нарушает мирный, сонный покой ночи. Останавливаюсь у маленького мостика. Прошлое словно подернуто туманной дымкой. Кажется, вон там... В ушах отчетливо зазвучала песня, которую она пела, нежная и страстная народная песня:

Серебряный холм и холм золотой.
В чудесном лесу прилегли мы с тобой.
Теперь не расстанемся мы никогда —
Скорей в Хуанхэ пересохнет вода.

Мне почудилось, что она с ласковым смехом идет мне навстречу. Вернее, летит по воздуху, потому что на снегу не остается следов. Она все так же прекрасна, так же молода, и от нее исходит все то

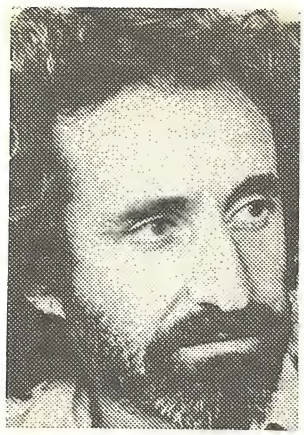
же сияние. Приблизившись, она смеется — как памятен мне этот ее смех — и говорит:

— Даже если мне отрубят голову, мое тело все равно будет принадлежать тебе!

...Вокруг по-прежнему ночное безмолвие, белая равнина в снежных наметках. Кроме меня ни души. Тихо. Я продолжаю вспоминать. И вдруг глаза мои увлажнились. Я и забыл уже, когда плакал, думал, и слез уже давно не осталось, но они рождаются где-то глубоко, вместе с воспоминаниями — так невесть откуда появляется влага на дне пересохшего колодца. Человек не вправе забывать; теряя память, он теряет и свое «я». Здесь мне пришлось немыслимо тяжело, но здесь же я начал постигать красоту жизни. Мимоза, бригадир Се, Хай Сиси... мы ничего не знаем друг о друге. Но в моей душе хранится светлое воспоминание об этих простых людях, ведь это они помогли мне измениться, стать другим.

А Мимоза... может быть, она и есть истинное украшение моей жизни и моей земли.

■



БРЕЙТЕН БРЕЙТЕНБАХ

■

Перевод с африкаанс Е. ВИТКОВСКОГО

...Тюрьма. Одиночная камера. Отворяется дверь, входит Достоевский. Просит арестанта дописать несколько строк в «Братьях Карамазовых» — сам он их дописать не успел. Арестант дает обещание. Галлюцинация, конечно...

Тюрьма — на Юге Африки. Арестант — наш современник Брейтен Брейтенбах, поэт с мировым именем. Африканер, или, как говорили раньше, бур. Там, в тюрьмах Претории и Кейптауна, он провел семь с половиной лет. Рядом с его одиночкой были камеры смертников. Ночами там пели раздирающие душу заунывные песни, ожидая, как с рассветом их поведут на виселицу.

До тюрьмы, да и после нее — эмиграция. Отсюда и выстраданные, всем естеством понятые слова Назыма Хикмета: «Изгнанье — суровое ремесло». Они и стали эпиграфом к одному из публикуемых «Иностранной литературой» стихотворений.

Вдали от родины прошло больше половины сознательной жизни Брейтенбаха, с начала 60-х годов, когда он, нарушив расистские законы Южно-Африканской Республики, женился на «небелой» — на вьетнамке. Въезд в страну молодой чете оказался закрыт: когда в 1967 году Брейтенбах с женой попытались приехать в Кейптаун, повидаться с родителями поэта, им не дали сойти с парохода. В 1973 году, правда, власти сделали «жест» — разрешили Брейтенбахам трехмесячное пребывание в ЮАР, временно пожаловав жене поэта анекдотическое звание «почетной белой» (этот «чин» дается в ЮАР, к примеру, японцам — гражданам страны, торговля с которой для ЮАР слишком важна, чтобы считаться с неудобным цветом кожи). Результатом поездки стала книга «Одно лето в раю», увидевшая свет позже, когда поэт был уже за решеткой (где мысленно и беседовал с Достоевским) и не мог допроситься книг даже из тюремной библиотеки — тюремное начальство язвительно ответило: вы, мол, сами писатель, вам книги не нужны для чтения, вы пишите, мы почитаем... Но это было уже в конце 70-х.

Проявив беспечность (на что, видимо, и рассчитывали власти, дозволяя ему в 1973 году легальное пребывание в ЮАР), поэт прилетел в июне 1975 года в Йоханнесбург по поддельным документам. Дальше аэропорта не пустили: вплоть до декабря 1982 года Брейтенбаху была предоставлена возможность дышать воздухом родной страны — в тюремной камере.

Мы уже как-то привыкли к мысли, что судьбы поэтов трагичны. Сразу вспоминаем Пушкина и Лермонтова, Есенина и Маяковского, Мандельштама и Пастернака. И что поэт в России больше чем поэт. Но Владимир Высоцкий, который, к нашему всеобщему стыду, тоже испил эту чашу, в своей песне «К поэтам» не зря упомянул и Байрона и Рембо: так что не только в нашей стране... Даже если не поминать античную древность, а начать со средневековья, с Вийона, с Камоэнса — много ли вспомнится нам «счастливых поэтов»?

Поэтический дар наших современников трудно сопоставлять с талантом великих мастеров прошлого, это дело истории. Но судьбы... Тяготы, выпавшие на долю Брейтенбаха, никуда не деться, невольно вызывают ассоциации. Поэтому именно Брейтенбаха пригласили зажечь вечный огонь перед пока еще единственным в мире памятником Неизвестному Поэту. Это было весной 1986-го, в дни фестиваля поэзии в Роттердаме. Самого Брейтенбаха выпустили из тюрьмы в декабре 1982-го благодаря протестам поэтов и деятелей культуры многих стран.

За плечами Брейтенбаха уже почти пять десятилетий. В чем только не обвиняли его за эти годы, причем с разных сторон! Власти ЮАР — в подрывной деятельности. Представители революционных сил — в индивидуализме, в непродуманных поступках, в левацких загибах.

Наверное, он и вправду не всегда и не во всем был последователен, особенно на ниве практической деятельности. Многие ли поэты преуспевали на этой ниве?.. Но

© by Breyten Breytenbach 1976, 1977, 1980, 1983

против несправедливых порядков на своей родине он протестовал всегда. Всегда выступал против унижения людей по расовым и национальным признакам. Это делало его — и не раз — жертвой государственной машины его собственной страны.

Сейчас можно сказать, что Брейтенбах получил широкое признание. Его стихи, рассказы, автобиографические книги выходили не только на африкаанс, его родном языке, но и на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, польском, венгерском, болгарском...

Стихи его сложные, трудные для перевода, к тому же часто для их понимания требуется комментарий. К стихотворению «Не пером/но пулеметом» — трагическому размышлению о судьбах родины поэта — южноафриканский прозаик Андре Бринк в монографии «Поэзия Брейтена Брейтенбаха» дал именно такой, обширный комментарий. Брейтенбах намеренно смешивает мифы народов Южной Африки. Имя «Ян», самое распространенное африканерское имя, связано с народным поверьем, что и у африканеров будет свой «мессия» — следовательно, Ян-Иисус; к нему обращается поэт с горьким предсказанием, что и он никого не спасет. «Бесперый петух» (образ из спора Диогена с Платоном) — человек. Кой-коины — народ, когда-то прозванный в Европе готтентотами; в мифологии кой-коинов богомол — демиург, творец мира, но ведь и он также бессилен. Непросты и другие стихотворения. Читатель должен знать, что «Слушок» и «Сентябрьское море», написанные в форме письма с чужбины на родину, обращены к тем, кто действительно живет в ЮАР: первое — известному прозаику Этьену Леру, второе — Башану (Себастьяну), одному из братьев поэта. Стихотворение «На улице Мсье-ле-Принс...» написано в преторийской тюрьме, а «Заключенный» — в другой тюрьме, в кейптаунской.

Впрочем, русский читатель встречается с Брейтенбахом не впервые, не впервые расшифровывает сложную метафорику этого поэта. Во многих газетах были статьи о нем, его интервью; первые переводы его стихов появились в 1975 году, а сейчас на русском опубликовано уже около сорока его стихотворений.

Продолжим знакомство.

АПОЛЛОН ДАВИДСОН

Слушок

Этьену Леру

друг мой, что отвечу на твой вопрос —
каково живется в изгнании?
что я слишком молод для горьких жалоб,
что я слишком стар для покоя,
для покорства судьбе?
что таких, как я, очень много —
все они ни на что не годны,
все беженцы, рассеянцы,
обитатели мрачной утробы города,
сказать, что я «француз, хотя с дефектом речи»,
сказать: мол, в Париже-то я как раз дома?

Да, конечно, одиночество здесь как науку учу,
тяжелые сны, огрызки воспоминаний,
рыданье чуть слышной скрипки,
глаза, устремленные в слишком далекую даль;
слух, напротив, следит за малейшим движением рядом;
да, и я, словно нищий,
клянчу мелочь — «вести из дома»,
умоляю — «вспомни еще»,
твержу про «тот самый день»

Нет, ничего я не помню,
забываются в песнях слова,
лица все как чужие,
мечты отмечтались

Как змеистые волосы женщины, ждущей любви,
погребает тебя анонимности пенистый вал;
прежде временные старики (а когда-то — борцы за свободу),
поэты, забывшие всякую речь, слепые художники,
письма без новостей — словно море без шума прибоя,
отупение,
гадание на кофейной гуще,
набормотанные пейзажи,
отреченье от всякого знания

— Может, избрать философский аспект?
наплести, что каждый из нас — изгнанник Великой Смерти
и, к ней приближаясь, мы просто идем домой?

Нет, руками, почти непослушными, я начинаю письмо:
вспомни всех изучавших науку изгнанья,
а потом отвечай,
для кого этот странный вопрос, отвечай —
кто едет сюда — когда ожидать — что приготовить —

(Париж)

Не пером/но пулеметом

О чем расскажу я тебе Ян-Иисус из Назарета
я африканер я бесперый петух
с револьвером я даже сплю не раздеваясь
всеведенью ли твоему дарить мне мою землю
тебе ли дарить если даже заветов своих ты не помнишь
тебе чье наследие оскал черепов и клубы фимиама
во имя твое на холмах распятья трещат
хуже того во имя твое дети черного цвета
замотаны в коконы мерзкой паучьей слюной
так о чем говорить — о культуре порядке?

Рассказать ли тебе о больничных палатах
где ставятся опыты над живыми детьми
каждое лето зреют колосья
о бледных трупах крадущих черное сердце
маком цветущим покрыты холмы
о зеркалах где круги пред глазами
сладок лавандовый летний мед
беспокойны черномазые выгнанные из конур
богомол творит под вечер намаз
богомолу что черномазый что бур
бур не бес не бурый но белый воля небес
бог мол не бес кой-коины считают мол богомол
бог баас молиться ли мне творить ли намаз?

Так о чем я скажу темнокожим Ян-Иисус из Назарета
о смиренье твоем
о каком таком смиренье
разве только мне руки умыть
разве еще попросить чтобы минула чаша сия
о смирении
об умении не отрекаться но презирать

об умении не предавать но бежать от погони
и писать по белому белым
Царь Иудейский Бушменский властелин Павианский?
Откуда смиренья занять Ян-Иисус из Назарета
получая в наследство роскошное тулово мира
ибо я африканер я бесперый петух
никогда не раздеваюсь не расстаюсь с револьвером
ибо черен я как несотворенное словотворенье

Заключенный

ты отныне сокамерник помни почем фунт плетки
вечно голодный отсидчик —
хоть покурить бы но противится каждое легкое
ибо дело нелегкое
привыкать к конопле самокруток из газет прошедших досмотр
в них устаревшие новости даже реклама изъята —
губы от вязнущей брани подобные ране —
обоняньe заполнено запахом плоти немытой
и при этом ты никогда не один ты не сам по себе —
повторенье позора
бытие битье и все ни к чему —
но полагается выжить и максимум выжать —
вместо имени номер но не вздумай выкидывать номер
изучай науку тюрьмы —
быть заключенным

оливы забытые жесты былое на нары уложит и гложет
в поту беспрестанных подсчетов а в памяти золотое колечко
крылечко

декламация пение моря веранда рассвет
плавленый сыр и газета с невысохшей краской...
и эдак и так словно трепет любовной горячки
в горечи в спячке знобящая память
ветер ласкающий пряди волос дождь на дубовой листве
песня утра в тростинках пальцев гладь проведи погладь
глядь: по улицам длинным бредущие толпы людей
запах металла бензина машин
нежность шуршащая шелковая рубашка
вьющийся дым от сигары
голубой саксофон исступленный до мозга костей
нежный запах вина и пламя в пылающем сердце

вчера и сегодня слиты в единый поток
слабость в коленях
а ты вспоминай прежнюю сладкую плоть
ту что ласкал вглядись в темноту увидишь оскал
прочь ускользает прежняя сладкая плоть

чувствуешь струп своего языка
осторожный острожник нищий помнящий почем фунт плетки
долгосрочник вечно голодный —

Сентябрьское море

Башану

Изгнанье — суровое ремесло
Назым Хикмет

от долгих скитаний
сердце замолкло набрякло водой
как черепаха морская
что выберет берег подальше и там
шарики теплых яиц зарывает в песок
чтоб потом до воды дотащиться уплыть в слепоту
— но нужны ли слова у которых еще не успела застыть оболочка?

здесь тоже есть море:
над горизонтом акулий плавник рыбацкая лодка —
капля с ресницы зеленого глаза —
только здесь непривычное плоское море
в нем ни тунцов ни бурунов

вспомни еще
— это кажется было на мысе Игольном —
луч маяка словно длинная желтая кисть
окоем подметает ритмично и мы в полудреме
и катер почтовый торопится прочь вдалеке
где кровавой стрелой пролегает закат
и уходит тропа на чужбину кто знает куда?

вспомни лунную пену высоких валов
набегавших один за другим
как на выставке волны зевак набегают
набегали валы и шипя отбегали
вспомни как катались на них
как в рот набивался песок

вспомни еще
лиловатое брюхо небес
прибрежный тростник и плесень у кромки прилива
Стрейсбай
и первый дымок обращенный в простор говорящий о том
что здесь далеко не спокойно
что прожорливы в море акулы

вспомни еще
— это кажется было зимой
мы с отцом уезжали в Херманус
темно-индиговый яростно-синий живой океан
рвущийся пеной через гряду тростников
высоко непривычно звуча
и отец козырьком задержав над глазами ладонь
произнес: «Будто белые лошади скачут»
мы услышали ржанье коней что встают на дыбы —

...но к чему это мне...
вспомни еще... воспоминанья прекрасны
ты обязан сейчас вспоминать за двоих
— ибо я
в скитаниях вечных кто знает откуда куда
приукрашивать вынужден все чего вспомнить не в силах
высокий прилив
только здесь берега бережливо закутаны в гальку
и волна еле слышно плеснув надо мною смеясь
возвращает земле неизвестно какие обломки
люди ходят вокруг приседают на корточки ищут
и за скалы что дикой опунцией густо покрыты
— словно детские шапочки алые гроздья плодов —
каждый день неприкаянно шляюсь хожу размышляю
воспоминанья прекрасны
нынче вечером жизнь переполнила пеной меня
я стою у воды и копаю грядущему ямку
чтобы прошлое бросить туда —
день у моря, застывший навеки;
горечи полный глоток
утешенье побыть на ветру

(Пестум, Италия)

* * *

На улице Мсье-ле-Принс,
спускающейся левее
к Люксембургскому саду,
где солнце по вечерам зажигает мелкие сучья
чтобы свить себе гнездо среди деревьев,
на той стороне, где театр Одеон,
где медовая тропка свободы,
что теперь далека, как и та весна, которую не забыть

На улице Мсье-ле-Принс
есть ресторан, где когда-нибудь мы
встретимся ровно в девять —
ты узнаешь меня, я снова отращу бороду
пусть даже она засквозит серебром —
и хозяин-алжирец
с усами, жестко торчащими из красных щек,
выйдет, положит руку мне на плечо
и скажет:
Ну вот, дорогой, все как в старые добрые времена..
Так как насчет баранины по-магрибски на двоих?
Я положу туда масла
и пряных светло-желтых зерен —
а хочешь бутылку самого темного Сиди Брахим,
отдающего запахом солнца и моря?
напоследок могу предложить мятный чай
в цветастых, окутанных паром чашках...

Услышь — прежний ветер кричит
среди древних улиц Парижа

«Любовь моя, счастье вернулось!..»

(Претория, тюрьма)

* * *

Чужак
когда у тебя захватит дух
и покроются влагой глаза
от прелести нашего утра
от свежего ветра шелестящего в кронах
от синей птицы солнца пылающей в небе
тогда внемли:

сам по себе я безголос
я — только старая голосовая связка моего народа
вздох его сердца
очевидный как смерть
и все сказанное мною
лишь эхо

внемли же
внемли же на этой земле
все ближе новый мятеж
в мире новый раунд борьбы за свободу внемли
это солнце поющее в каждом зерне
славящее крестьянина и рабочего
внемли попутному ветру —
запах земли справедливость

внемли
и ступай своей дорогой
никому не слалить со смертью
но наша крупица в тебе останется жить

■

Публицистика

ПЕТЕР ШЮТТ

ПОЕЗДКА В ИРАН

Главы из книги

Перевод с немецкого В. БРУН-ЦЕХОВОГО

Мягкая посадка в Тегеране

Сначала войны самолеты из Дамаска в Тегеран летают не по обычной международной трассе, а огибают Ирак, описывая огромную дугу. За долгий перелет пассажир вознаграждается видом на несколько красивейших уголков Земли, расположенных на самой пуповине, связывающей младенца Европу с матерью-гигантшей Азией. Самолет летит над Евфратской долиной, над горами дикого Курдистана, над Араратом. Далее полет продолжается над советскими республиками Арменией и Азербайджаном — до тех пор, пока самолет не разворачивается и не берет курс на юг вдоль Каспийского моря. Вот словно бы из моря круто вздымаются горы Эльбурс с резко выделяющейся вершиной Демавенд, и уже через пятнадцать минут машина заходит на посадку.

Посадка в Тегеране была мягкой — так плавно коснулись мы твердой почвы реальности после парящего полета. Выйдя из машины, я первым делом глубоко вдохнул, втягивая в себя теплый воздух Персии как бы силой двенадцати легких — именно двенадцать друзей просили меня, чтобы я дал им место в сердце при первом вздохе на персидской земле.

Таможенники, полиция, «стражи исламской революции»[1], представители валютного контроля и иммиграционной службы дотошно опросили меня и проверили мой багаж. Правда, возле каждого барьера обращение было вежливым и корректным, но страх меня не отпускал, и я тайком молился всем трем моим ангелам-хранителям. Они помогали, объединив усилия, так что после прохождения всех контрольных служб меня ждали не полицейские, чтобы арестовать на месте, а дорогой иранский друг. Не тратя времени на долгие приветствия, он усадил меня в автомобиль.

Нам понадобился не один час, чтобы проехать через всю столицу и очутиться на ее северной окраине. Движение автотранспорта в Тегеране не подчиняется никаким правилам, оно опрокинуло все мои умозрительные представления о развивающейся стране Персии. Иранская столица не только не уступает моему родному Гамбургу по оживленности движения — она опережает его на целое поколение шоферов-лихачей. На взгляд такого заядлого велосипедиста, как я, транспортное движение в Тегеране напоминает тот автомобильный хаос, которым будет отмечено наступление следующего тысячелетия. Мне вспоминались кадры разных антивоенных фильмов: объявлено об угрозе ядерного нападения, за полчаса все сворачивается, и люди пытаются покинуть город с помощью всех мыслимых средств передвижения.

Очередная мягкая посадка — в доме моего друга, где меня приняли с величайшей сердечностью и предупредительностью. Совершенно очевидно, что радушие — неотъемлемая часть духовного богатства иранцев. Мои гостеприимные хозяева вели себя так, словно я для них — долгожданный друг из чужой страны. Они сразу доверились мне и делились со мной всеми радостями и горестями, всеми своими малыми и большими заботами. В стенах их квартиры я ощущал себя в безопасности и возвращался в этот дом после каждой вылазки в город, испытывая чувство облегчения и защищенности.

Быть может, многие иранцы только потому сумели вынести бремя угнетения, которое на протяжении семи лет становилось все более тяжким, что нашли — и по-прежнему находят — в семье, среди домашних опору и защиту против окружающего их

© Pahl-Rugenstein Verlag, Köln, 1987.

[1] Корпус «стражей исламской революции» — особое военизированное формирование, созданное режимом Хомейни; члены его именуются пасдаранами. *(Здесь и далее прим. перев.)*

враждебного мира. Традиционная семейная сплоченность — сегодня единственная форма коллективной самообороны и стратегии выживания в условиях произвола правящего режима. Как противовес государственному терроризму мулл возникла особого рода культура, основанная на семейных и дружеских связях. Она стала оплотом, противодействием тотальному контролю со стороны властей Исламской Республики.

Вот почему семьи друзей в самый разгар войны казались мне оазисами мира, островками человечности в обществе, где правят страх и ненависть.

Будни Тегерана

В Тегеране строго запрещается продавать и использовать планы города, чтобы затруднить врагу обнаружение возможных целей для бомбардировки. Поэтому дорогу в многомиллионном городе мне приходилось искать без плана. Задача осложнялась тем, что многие улицы носили по нескольку названий: старое, со времени правления шаха, новое, присвоенное после революции, и еще одно — сугубо исламское. Жители же в соответствии со своими политическими убеждениями выбирают то, которое их больше всего устраивает.

Тем не менее я неплохо ориентировался в Тегеране, в основном благодаря радушию его обитателей, их готовности помочь чужеземцу. Несмотря на войну и постоянные предупреждения об иностранных шпионах и агентах, они выказывают себя настоящими друзьями иностранцев; со мной они были допельзя предупредительны, это даже меня смущало. Мой фарси был раза в три хуже английского тех, кого я просил о помощи, но, невзирая на языковые трудности, иранцы старались показать мне дорогу — или с помощью подробного чертежа на листке бумаги, или же просто сопровождая меня до цели. С начала ирано-иракской войны иностранцы стали в Иране редкими гостями, и многие местные жители жестами, словами, взглядами выражали свою радость по поводу того, что хоть кто-то приехал к ним из-за границы. Пренебрежительно кивая на портреты старца, вывешенные на каждом углу, они давали понять, что вовсе не ожидают от него счастья для своей родины. Во время моих странствий по Тегерану, длившихся часами, а то и целыми днями, самые разные люди приглашали меня на чай и на редкость откровенно делились своими мыслями. Среди них были верующие приверженцы Хомейни, тайные и открытые сторонники шаха, разочарованные последователи моджахединов и других левых групп. Политика осточертела почти всем. Конечно, я был осторожен в разговорах и никогда полностью не раскрывал своих взглядов, но, случалось, упоминал, что состою в комитете, выступающем за прекращение ирано-иракской войны. Это производило впечатление на большинство моих собеседников, так как они полагали, что весь остальной мир давно уже об их войне позабыл.

На плане Тегеран похож на крест, на перекрестье прицела. Проспект Вали Эср, названный в честь «скрытого имама»[1], на чье спасительное пришествие отчаянно надеются благочестивые шииты, перерезает столицу, начинаясь далеко на севере и заканчиваясь далеко на юге. Почти посередине его пересекает другая главная улица, идущая с востока на запад. Ее западная часть называется Азади (Свобода), а восточная — Энгелаб (Революция). На севере Тегерана вздымаются покрытые снегом вершины Эльбурса, которые выше даже самых высоченных небоскребов. У их подножия — зловещая тюрьма Эвин. За ее стенами было насильственно покончено со столькими возвышенными устремлениями и планами! На южной окраине столицы — нескончаемые ряды могил, кладбище Бехешт Зохра, где теперь преимущественно хоронят погибших на войне. В конце улицы Свободы, на западной окраине Тегерана,— аэропорт Мехрабад, единственные ворота, открывающие путь к свободе. Для большинства иранцев они закрыты. На противоположной, восточной, стороне города — комплекс казарм армии и ВВС. Последний оплот старого режима, сегодня это — один из главных центров власти Исламской Республики.

В сердце города, там, где перекрещиваются пути, ведущие с четырех сторон света, и сталкиваются самые разные «земные» движения, расположен Тегеранский университет. Университетский квартал окружен базаром — деловым центром национальной торговой буржуазии. Чтобы представить себе поразительную коалицию, без малого десять лет назад свергшую шахский режим, надо иметь перед глазами картину этого необычного города. Возникновеиие коалиции отчасти объясняется тесным соседством в Тегеране университета, базара, мечетей, приюта для бедных, казарм и фабрик. Это такое смешение самых разных классов и слоев, которого, наверное, не встретишь ни в какой другой столице.

Геометрический план Тегерана позволяет увидеть конфликт «Север—Юг», разыгравшийся на довольно ограниченной территории. Он во многом объясняет гигантскую силу столкновения в 1978 и 1979 годах. Здесь непримиримо противостоят две культуры — «северная» культура иранских верхов и исламская культура низов столичного «Юга». Последняя после революции возобладала, но не смогла покончить с влиянием обитателей северных кварталов, воспитанных на иных ценностях.

Северная часть Тегерана со своими примерно полутора миллионами обитателей напоминает многие столицы Запада. Улицы здесь широкие, прямые и чистые. Проспект Вали Эср можно кое-где вполне принять за Елисейские поля. Правда, витрины сейчас не так заставлены, как раньше, зато платаны гораздо красивее — вместе с родниковой водой, текущей в арыках по обеим сторонам улицы, они распространяют влажный аромат прохладных горных лесов, которого нет и в благоуханном Париже. Слева и справа от бульваров — кварталы высотных домов. Есть здесь и кварталы вилл, подобные которым я видел разве что в Калифор-

[1] «Скрытый имам» в шиизме — мессия, который вот-вот явится, дабы установить на земле абсолютную справедливость.

нии между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Со времени революции их аристократический лоск нимало не потускнел. Просто место шахской бюрократии заняли новые властители из кругов мусульманского духовенства. Там же селятся коммерсанты, врачи и профессора, которые скорее выиграли в результате революции, нежели потеряли. На этих улицах я замечал больше «мерседесов», чем в похожих кварталах Гамбурга; нередко поблизости можно увидеть детей, которые за несколько мелких монет охраняют автомобили благородных господ.

На севере Тегерана расположены и дипломатические представительства почти всех стран, в том числе и обоих германских государств. Здесь же находится и институт Гёте, закрытый после скандала из-за программы Руди Карреля [1]. Здание американского посольства, штурм которого в 1979—1980 годах вызвал международные осложнения, так с тех пор сиротливо и стоит, увешанное плакатами, размалеванное антиимпериалистическими лозунгами и карикатурами. Оно обнесено высокой бетонной оградой, колючей проволокой и вдобавок защищено огромными стальными воротами.

На первый взгляд следов войны в северной части столицы почти не заметно, если не считать отдельных воронок от бомб и ракет. Очевидно, здесь живут главным образом иранцы, которым удалось остаться в стороне от войны, а также те, кто изрядно нагрел руки на военных поставках. Ни во времена шаха, ни при аятолле богатство не считалось и не считается в Иране позором; прибыль же, полученная от торговли оружием, рассматривается как дело чести, потому что в итоге тоже служит войне за отечество. Повсюду на Западе тайные сделки по приобретению Ираном оружия у заклятых врагов — Израиля и США — воспринимаются как грязные махинации, иранские же средства массовой информации поднимают на щит земляков, участвующих в этих операциях, как героев, которым удалось «перехитрить даже дьявола».

Тот, кто на автобусе или маршрутном такси едет по проспекту Вали Эср либо идет пешком по улице Фирдоуси или проспекту Шариати на юг, постепенно оставляет за своей спиной «первый» мир и, миновав базар, попадает в «третий». На очень тесном пространстве, в перенаселенных южных кварталах Тегерана, ютятся восемь или девять миллионов человек — сколько в точности, не знает никто. И живут они, как правило, в нищете и лишениях. Большая часть этих людей обосновалась в Тегеране в 70-е годы когда непоследовательные аграрные реформы шаха погнали в города многих безземельных и малоземельных крестьян. Менее чем за десятилетие численность окраинного населения удвоилась, а потом и утроилась и возникла та «гремучая смесь» взрыв которой в 1978 году и повлек за собой исламскую революцию.

Условия существования широких масс после революции улучшились ненадолго — началась война, которая все эти улучшения «проглотила». Сегодня в Иране экономическая разруха и, соответственно, доходы и жизненный уровень городского пролетариата очень низки, гораздо ниже уровня, достигнутого при шахском режиме. Жизнь в этих трущобах невероятно тяжела — людям приходится бороться с таким множеством каждодневных трудностей, что у них уже не остается сил и энергии для того, чтобы сопротивляться войне и угнетению. Безработица в южных кварталах Тегерана составляет примерно 70 процентов — правда, ее уровень официально ни разу не подсчитывали. Пособий по безработице не существует. Длинные очереди перед продовольственными магазинами красноречиво свидетельствуют, как трудно «достать» самое необходимое. Продовольственные карточки, распределяемые через мечети, призваны заглушить голод и воспрепятствовать вспышкам голодных бунтов. Единственное социальное завоевание революции, сохранившееся до сих пор,— дешевый хлеб. Благодаря государственным дотациям тонкая, душистая, свежая лепешка стоит по-прежнему один туман. Но ведь и в Тегеране не хлебом единым жив человек. Хотя бы раз в день ему нужно мясо, а мясо получают по карточкам лишь изредка; килограмм баранины стоит 240 туманов — в три раза больше среднего ежедневного заработка рабочего. Человеку, по крайней мере новорожденному, необходимо еще и свежее молоко, но все коровы «на фронте», так что с молоком туго. И матерям приходится довольствоваться старым порошковым молоком и смесями из Западной Европы, которые, не исключено, заражены радиацией. Порошковое молоко, хотя и выдается по карточкам, но стоит 360 туманов килограмм, только матери мучеников, погибших на фронте, получают его по более дешевой цене.

На юге Тегерана совершенно иная атмосфера, чем на севере. Люди там озабочены прежде всего тем, как выжить. На пришельца, бредущего среди одно-, в лучшем случае двухэтажных домишек, они едва обращают внимание. Повседневные тяготы пригибают этих людей к земле, заставляют смотреть прежде всего себе под ноги, а не вверх и прямо перед собой. Если у них и есть «рабочее место», то на улице. Присев на корточки, они торгуют спичками, сигаретами — поштучно, газетами, старой одеждой, пластмассовой посудой, шариковыми ручками, запчастями к автомобилям, попадающими к ним из вторых, третьих или четвертых рук. Они собирают по обочинам тряпье, обрывки бумаги, железный лом, пустые бутылки, хлебные корки. Здесь же чистят обувь, варят для самых бедных суп из потрохов, шьют на древних ножных швейных машинках, предлагают свои услуги, чтобы написать или прочитать письмо — ведь в большинстве своем бедняки неграмотны. Все здесь в буквальном смысле происходит на земле; всех и вся покрывает серая пыль. Убогие домишки, припорошенные пылью, словно решили последовать призыву пророка: земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху. Как раковая опухоль,

[1] Руди Каррель — ведущий развлекательной программы западногерманского телевидения «Тагесшоу», один из выпусков которой в феврале 1987 года содержал сюжет, оскорбительный для аятоллы Хомейни.

на окраине города разрослись скопища нищих лачуг — желтые, цвета суглинка, серые, как цемент или пепел, они поднимаются вверх по холмам, завоевывая все более высокие плацдармы. Против метастазов бедности, похоже, нет никаких средств.

В мечети

Въездную визу я получил как «желающий познать истины ислама», и уже поэтому у меня было достаточно причин, чтобы посетить мечеть рядом с домом, где я жил. Это одна из трех тысяч мечетей сегодняшнего Тегерана, самая обычная, не поражающая ни древностью, ни великолепием. В 50-е годы ее своими силами возвели верующие — камень за камнем. Имена дарителей первых семидесяти камней увековечены на мемориальной доске у входа.

Со мной пришли мой хозяин и его сосед, представившие меня хадему — служителю мечети. Он вежливо и дружелюбно приветствовал меня, хотя я и не мусульманин, и предложил осмотреть мечеть. Тут и в помине не было торжественной тишины. Напротив, то и дело заходили и выходили прихожане, во всех помещениях велись громкие разговоры. Во весь голос разговаривали даже в большом молитвенном зале. В углу о чем-то спорила группа женщин, храпел во всю мочь какой-то старик, свернувшись калачиком за колонной. Вдруг возник молодой человек с допотопным пылесосом и принялся чистить молитвенные коврики. Еще один человек отмывал мозаичную стену, обращенную в сторону Мекки. Мне представили его как пишнамаза — предстоятеля на молитве. Этот человек обладал неистощимым запасом острот и умел радоваться жизни. Позже я увидел, как он, смеясь, возился со светильником. Появилось еще несколько прихожан. Они отбивали поклоны, касаясь лбом глиняных плиток из Мекки или Кербелы, и, пробормотав несколько благочестивых изречений из Корана, пятясь покидали молитвенный зал. Атмосфера в мечети несравнима с отрешенностью от мира и покоем, которые царят в христианских церквах.

Мотавалли, настоятель мечети, был горд тем, что принимал у себя гостя из Европы. Он отлично говорил по-английски и охотно провел меня по всему зданию. Достаточно было немногих слов, чтобы понять: мечеть служит не столько духовным, сколько вполне светским, социально-политическим целям. Здесь больше пекутся не о делах небесных, а о насущных нуждах людей, живущих по соседству. В большом молитвенном зале окрестные жители могут отметить семейный праздник, справить свадьбу, совершить траурный обряд, встретиться с соседями, провести предвыборный митинг или собрание членов какой-либо организации. Мечеть — это центр общения, открытый днем и ночью, где можно поделиться своими заботами, получить совет и помощь. С недавних пор в мечети работает даже брачная консультация, содействующая заключению браков в обход традиционных соглашений между родителями жениха и невесты. Социальная служба опекает старых и больных членов общины, обеспечивает им вспомоществование. Есть и кредитное отделение, которое оказывает верующим содействие при покупке мебели и предметов домашнего обихода, а в случае необходимости — и при строительстве новых домов.

Но сейчас, как объяснил мне мотавалли, важнейшая задача мечети — справедливое распределение продовольственных карточек и талонов на право преимущественного приобретения телевизоров, стиральных машин и других предметов роскоши.

Я спросил, все ли жители квартала получают одинаковое количество карточек и талонов. Настоятель мечети объяснил, что распределение поровну было бы несправедливо. «Мы принимаем решения, во-первых, в зависимости от нуждаемости людей, а во-вторых, в соответствии с их заслугами,— сказал он.— Если мы даем матерям или вдовам мучеников, павших на войне, больше, чем другим, это отвечает божьей справедливости. Того, кто доказал свою верность пророку, проведя во имя ислама на фронте более двух лет, мы тоже вознаграждаем — он получает больше продовольственных карточек. Каждый же верующий мусульманин получает от нас столько карточек, сколько нужно, чтобы не голодать».

«А что получают «неверные»?»— поинтересовался я. «Те, кто исповедует религии, имеющие Священное писание,— зороастрийцы, иудеи и христиане,— тоже получают карточки, только не в мечети, а в банке».

«А остальные?» Мотавалли недовольно покачал головой: у нас, мол, таких нет.

Несомненно, настоятель мечети — один из самых влиятельных людей в квартале. Враждовать с ним неразумно. Тому, кто хочет получить работу или высшее образование, приобрести профессию или поехать за границу, нужно свидетельство о благонадежности, выдаваемое мечетью. Во время моего разговора с настоятелем его поджидали трое молодых людей с какими-то бумагами в руках. Им как раз нужно было подтверждение, что они — правоверные мусульмане.

«Вы дадите им свидетельство?» — спросил я. «Конечно,— ответил мотавалли,— я не помешаю молодым людям получить работу. Я хорошо знаю всех троих. Они уже были на войне и, конечно, заслужили право на профессию!»

Из разговора и осмотра различных помещений при мечети (мне даже показали склад запасов риса и муки на черный день) я понял: у большинства иранцев — серьезные и вполне «земные» причины хранить верность мечети, независимо от того, во что они веруют, тем более что ислам, в том числе шиизм, не знает отделения религии от государства. Община мусульман — не просто религиозное объединение. Это одновременно гражданская инициатива, союз, партия, своего рода парламент. На мой взгляд, во многом именно из-за этого в Иране до сих пор находили столь малый отклик призывы следовать западным моделям политического развития. Тому, кто захотел бы направить народ по другому пути, освободив его от пристрастия к исламу, пришлось бы сперва распространять свои альтернативные идеи там, где чуть ли не

ежедневно собирается множество людей — и не только для молитвы.

У меня были все основания выразить гостеприимному мотавалли глубокое уважение — по поводу социальной активности его мечети, ее связи с кварталом и попыток сообща браться за решение сложных проблем. Теперь я куда лучше понял, что такое ислам на практике. Речь идет о гораздо большем, нежели религия — о социальном устройстве, о сложившейся на протяжении веков форме сосуществования людей, развивающейся по своим собственным законам, которой нет дела как до западных моделей демократии, так и до классовых теорий марксизма.

После осмотра мечети мотавалли пригласил меня вместе с моими спутниками на чай в тесный класс, где уже пятилетним вдалбливают Коран. При этом я кое-что узнал о недавнем прошлом мечети. В 60-е годы она влачила жалкое существование и, казалось, вот-вот рухнет. Как мне рассказывали, шах заманивал людей в ночные клубы, кино и театры и «умерщвлял их души» оглушительной рок-музыкой. Но уже с начала 70-х годов молитвенные залы стали вновь заполняться. Люди снова жертвовали на ремонт мечети, на украшение ее мозаикой и коврами. Скоро на пятничную молитву стали опять собираться тысячи. Одним из проповедников был в то время не кто иной, как Али Шариати, прогрессивный левомусульманский провозвестник революции, убитый в 1977 году в Лондоне агентами секретной службы шаха. Он проповедовал «радикальную веру» в духе своего тезки — двоюродного брата пророка Мухаммеда [1], но включал в свое новейшее учение о спасении идеи Сартра, Фанона[2] и даже Че Гевары. После высылки Шариати из Ирана его последователи, часть которых приветствовала «курс имама Хомейни», продолжали движение за реформы и ориентировали общину на восприятие шиизма в соответствии с учением имама Али. Они привнесли в столицу «дух Кума» [3] и уже в 1976 году дали прослушать собравшимся в мечети магнитофонные записи проповедей Хомейни. Об этом событии напоминает установленная там в прошлом году мемориальная доска.

Я спросил своего собеседника, есть ли, на его взгляд, в учении Хомейни что-либо новое, преобразующее мир. Вот что он ответил: «Во времена шаха ислам годился разве что для длиннобородых стариков да старух. Мы потеряли свое лицо, свою исламскую душу и думали, что мы-де теперь американцы и не нуждаемся больше в боге и пророке. Шах был нашим единственным богом, а его шлюха-супруга — нашей единственной святой. Но затем мы услышали имама и благодаря ему заново обрели себя. Мы вновь заговорили на своем языке, мы вновь познали нашего истинного бога, а не чужих идолов из США и вернулись к общности, основанной на вере в Аллаха. Все люди опять стали братьями, а ведь раньше мы враждовали так, что и словом не перекидывались — ни в автобусе, ни на улице, даже дома. Все опять стали разговаривать друг с другом, восхвалять бога и изгнали шаха...»

На моих глазах мотавалли впал в состояние транса, он уже не говорил, а пел, не на английском — на фарси, и я вслушивался, зачарованный благозвучием персидского языка. Эхо этого языка слышится и в наших словах, заимствованных из фарси: базар, платан, караван, шафран, салат, алебастр... Но язык Хомейни звучит совсем по-другому — это арабизированная гортанная речь, создающая впечатление, будто старец кричит: «Месть, месть, месть!..»

Война — на каждом шагу

Стены тегеранских домов, особенно в бедняцких кварталах, сверху донизу исписаны и обклеены лозунгами, призывающими смерть — смерть американцам, израильтянам, русским, смерть предателям, смерть шпионам, смерть торговцам наркотиками, проституткам, смерть дьяволу Саддаму... Я быстро научился разбирать написание слова «смерть» на фарси, хотя у каждого, кто его пишет, свой почерк.

Там, где живет беднота, смерть вездесуща. В канун рамазана в городе, особенно на южной его окраине, повсюду устанавливают хешлесы — поминальные алтари, в память о погибших жителях дома. В некоторых районах хешлесы стоят перед каждым третьим, четвертым или пятым домом, как единственное украшение убогих переулков. По фотографиям павших видно, что многие едва вышли из детского возраста. Они были зелеными еще юнцами, когда их обрядили в военную форму, вложили в руки оружие — «немецкую винтовку» Г 3 производства завода «Хеклер унд Кох» в Оберндорфе, Швабия, а на лбу повязали красную ленту — символ мученичества.

Для бедноты геройская смерть — зачастую единственный источник дохода. За сына, принесенного в жертву войне, семьи мучеников получают возмещение в размере 50 тысяч туманов; кроме того, им предоставляется преимущество при распределении продовольственных карточек, жилья, строительных материалов, рабочих и учебных мест. Семья, потерявшая на войне двоих, может даже вызволить заключенного из тюрьмы. Матери, потерявшие на войне трех сыновей, имеют право совершить с благословения Хомейни бесплатное паломничество в Мекку. Такова подоплека большинства заявлений с просьбой о добровольной отправке на фронт.

Все верят, что мученики попадают прямо в рай. Менее счастливы «неполные мученики», которым несть числа,— раненые и инвалиды, притулившиеся по обочинам улиц в бедных кварталах— кто без рук, кто без ног. Предлагаемые им протезы неописуемы — изготовляют их в основном из дерева, пластмассы и проволоки. Иные используют роликовые коньки, кое-как пристраивая на них свои культи.

Инвалидам остается утешаться мыслью, что их душам уже теперь обеспечены по-

[1] Имеется в виду первый шиитский имам Али.
[2] Франц Фанон (1925—1961) — афро-американский писатель, публицист и политический деятель, идеолог национально-освободительного движения.
[3] Город Кум — центр шиизма.

четные места на небесах рядом с мучениками. Большинство из них пытает счастья в качестве чистильщиков обуви, продавцов газет или торговцев спичками. Снискавшим особую милость достается привилегированное место для нищенствующей братии у ворот мечети. Там они день-деньской распевают суры Корана, прерывая свое пение лишь для того, чтобы возблагодарить аллаха, если прохожий бросит им монету.

В начале войны раненые получали материальную компенсацию — например, 10 тысяч туманов за оторванную ногу, 5 тысяч за потерянную в боях правую руку и 3 тысячи — за левую. Сегодня средства Фонда мучеников настолько сократились, что он вынужден оказывать услуги в других сферах. Огромные витрины у входа в местное бюро Фонда неподалеку от столичного вокзала свидетельствуют о том, что Фонд ныне взял на себя роль в основном брачного агентства. На одной витрине — фотографии вдов, на другой — раненых мужчин, снятых так, что не видно увечий. Фонд мучеников способствует заключению браков между вдовами и ранеными, предоставляет ссуды до 10 тысяч туманов для устройства таких свадеб и выплачивает премии за каждого ребенка, уже имеющегося у одного из супругов. Когда взамен погибшего мужа не удается найти инвалида, бюро старается подобрать партнера, у которого есть уже две или три жены. Если благочестивый мужчина заявляет о готовности принять в дом женщину, потерявшую мужа на войне, чтобы избавить ее от нищеты, то, с точки зрения мулл и правительства, он совершает богоугодное дело. Так, благодаря ирано-иракской войне «реабилитирована» полигамия, практически ликвидированная во времена шаха.

Война присутствует повсюду, пусть даже и незримо. Чаще всего замечаешь лишь ее тень — на лицах людей, по пустым кошелькам, в очередях перед продовольственными магазинами, в словах людей, а еще больше в их молчании. Как-то раз я ехал в такси, на заднем стекле которого были прикреплены три фотографии. На мой вопрос водитель ответил, что это фотографии тех, кто водил машину до него. Все трое погибли мученической смертью и теперь, саркастически заметил он, прогуливаются по небу. Я спросил его с горькой иронией, не хочет ли он тоже попасть на небо. «Нет, только не на небо аллаха,— услышал я от своего собеседника.— Я зороастриец, у меня пятеро детей и пока что отец нужен им здесь, на земле». Я полюбопытствовал, не понес ли водитель ущерба как немусульманин. Он усмехнулся: разумеется, если считать ущербом невозможность принять мученическую смерть. Надо сказать, с таким отношением к войне я встречался крайне редко, и, конечно, водитель говорил со мной так свободно лишь потому, что в машине не было попутчиков, и потому еще, что был уверен: я—не правоверный шиит и не приверженец Хомейни.

Перед фотоателье я увидел длинную очередь, которая еле продвигалась. Всем было нужно одно и то же — увеличить портреты своих погибших сыновей, братьев или отцов, чтобы в канун рамазана повесить их на входной двери дома. Ждать приходится подолгу. Чтобы снять копию с фотографии, требуется разрешение, каждый заказчик должен заполнить анкету и обосновать свою просьбу.

Вот маленький парк, он оцеплен. За его решеткой под наблюдением и руководством бородатых пасдаранов сотни семи-восьмилетних мальчуганов играют в войну. Дети оглушительно орут и распевают воинственные песни, размахивают пластмассовыми винтовками и учатся по команде нападать друг на друга.

Школа по соседству забаррикадирована мешками с песком. В ней нет подвальных убежищ, и потому возле входа выкопаны и забетонированы десятки ям. Они напоминают одиночные убежища, которые я повсеместно видел в 1973 году во Вьетнаме. На случай возобновления «войны городов» везде, где нет бомбоубежищ, планируется рыть щели, чтобы люди могли укрываться поодиночке или группами. Проблема, как мне объяснили, заключается лишь в том, что тревогу обычно объявляют с опозданием, когда обстрел уже начался.

Насколько я мог заключить, опираясь на достоверные сведения, ожесточенные бомбардировки в феврале — марте 1987 года не вызвали в Тегеране паники. Жители привыкли к периодическим вспышкам воздушной войны и ожидают ответного налета, если иранское радио сообщает об успешном ударе, нанесенном по штаб-квартире ненавистной партии Баас в Багдаде. Когда во время моего пребывания сообщили об обстреле города Киркука на севере Ирака, мои хозяева гадали, «не будет ли опять грохотать сегодня ночью дьявол Саддам». Но на сей раз заклятый враг ответил только нападением на город Ахваз в Хузистане, применив химическое оружие, а Тегерана пощадил.

Война ведется по принципу: око за око, зуб за зуб, жертва за жертву; мишенью может стать кто угодно и что угодно. Вероятно, самое худшее в этой войне, по крайней мере если судить по Тегерану,— привычка. Война обычно воспринимается как удар судьбы, против которой каждый в отдельности человек бессилен. К тому же, далеко за пределами лагеря приверженцев Хомейни и правоверных мусульман бытует убеждение, что война эта навязана Ирану и потому справедливая, пусть и не безоговорочно священная. Для многих существует один-единственный агрессор — Саддам, и чувство исламской справедливости требует призвать его к ответу за нападение на братский народ. Не скрою, в ходе поездки мне стала понятней подобная точка зрения, хотя и сторонником мусульманской идеи мщения я тоже не стал. В принципе я не вижу какого-либо другого пути к прекращению этой совершенно бессмысленной бойни, кроме отставки Саддама — деспота, который, по-моему, ничуть не гуманнее своего антипода в Тегеране. Я утверждаю это вопреки тому, что иные лидеры оппозиции в Иране не прочь вы-

дать президента Ирака за лучшего друга иранского народа.

Единственную надежду на скорое прекращение войны связывают не с организацией движения за мир в самой стране, а прежде всего с вмешательством и посредничеством зарубежных государств, особенно Сирии и Советского Союза. Когда я был в Иране, официальная печать довольно подробно сообщала о переговорах, которые вел в Москве президент Сирии Хафез Асад, а также о последовавшей затем встрече «друга» Асада с «заклятым врагом» Саддамом. Обращали на себя внимание в высшей степени положительные отклики печати на усилия Советского правительства, Генерального секретаря Горбачева, стремящихся к мирному урегулированию в соседнем Афганистане путем включения представителей афганских мятежников в предполагаемое коалиционное правительство и подготовки условий для вывода советских войск. Многие надеются на Горбачева и, несмотря на «образ врага», насаждаемый официальной пропагандой,— на Рейгана. Лидерам сверхдержав следовало бы — так думают те, кто на них надеются,— совместно сказать свое веское слово и заставить обе стороны прекратить войну.

Почти каждый иранец отягощен и угнетен грузом печалей. На улицах бросается в глаза страдальческое, скорбное выражение лиц. Печаль — вот основное настроение, с которым гость Ирана сталкивается накануне рамазана.

Конечно, все это объясняется не только нынешними бедствиями. Шиитский культ мученичества в ходе тысячелетнего развития исламской религии оставил глубокий след в персидском национальном сознании. Большинству иранцев, включая атеистов и левых, земля до такой степени представляется юдолью печали, что выпавшие на их долю страдания воспринимаются почти как естественное состояние. Более того, страдание считается высочайшей добродетелью, в жертвенности, в самопожертвовании многие видят высшее проявление человеческого бытия. Шиитский ислам не что иное, как самоотверженность, самопожертвование. Эта готовность к жертвенности на каждом шагу заявляет о себе в священной войне против «дьявола» Саддама, в добровольной мученической гибели детей-солдат, в смиренной покорности бичу войны.

Разворачивая газеты, иранцы первым делом просматривают полосы с траурными объявлениями. Сообщения о смерти составляют иной раз половину газетного объема. Порою кажется, эти сообщения — своего рода сигналы о том, что душевные силы скорбящих родственников вот-вот иссякнут. Отец, помещая объявление о мученической смерти сына, сопровождает его примечанием: это был мой третий, последний, сын.

Некрологи публикуют от имени не только родных, но и одноклассников, соседей и сослуживцев. В тексте объявлений они, как и предписывается, подчеркивают свою гордость мученической смертью друга — живые будто завидуют мертвым,— но никакие самые возвышенные гимны мученикам не могут изгнать с газетных полос боль о потерях. Как-то вечером я услышал в передаче Би-би-си на страны Ближнего Востока, что в соседнем Ираке приостановлена публикация траурных объявлений в правительственных газетах — их так много, что это заставляет опасаться деморализующего воздействия на массы.

Восемь лет правления Хомейни и семь лет войны наложили на людей свой отпечаток. В Тегеране очень часты заболевания, вызванные нарушениями психики. Число самоубийств велико, как ни в одной из известных мне стран третьего мира, хотя ислам и не обещает ничего хорошего тем, кто накладывает на себя руки. Невзирая на то, что в Иране из года в год публично казнят десятки торговцев наркотиками, в столице, прежде всего в южных кварталах, наблюдается большое число наркоманов, в том числе и совершенно конченых людей. Выглядят они еще более опустившимися и жалкими, чем одержимые болезненной страстью к героину в моей стране. Тела их покрыты кровоточащими и гноящимися ранами, они мало чем отличаются от инвалидов войны, с которыми затевают свары возле южного вокзала за места, где просят милостыню.

Помимо опиума, употребление которого в Иране имеет давнюю традицию и не было запрещено пророком, распространены и другие наркотики. Так, несмотря на все драконовские законы, властям не удалось покончить с алкоголизмом. Торговля спиртным буквально процветает — запретный плод сладок. Вообще-то я не пью, но именно в Иране, где выпивать — означает бросать вызов исламскому режиму, я ни разу не смог отказаться, когда меня угощали ужасной самодельной водкой. Коллективное потребление алкоголя стало для противников режима чем-то вроде заговорщического ритуала. Все участники возлияний могут поплатиться жизнью, и это обязывает их сохранять строгую тайну, превращает в членов сообщества, связанных клятвой.

Находят утешение и с помощью других «волшебных» снадобий. В Тегеране на каждом шагу предлагают успокоительное средство валиум, изготовленное в ФРГ или где-нибудь еще по лицензии, а то и подделку. Маленькая упаковка валиума стоит на улице самое малое пятьсот туманов, подделка — сто. Нигде в мире, в том числе и в крупных городах США, я не видел столь бойкой торговли всевозможными пилюлями, таблетками и каплями — начиная с таблеток от головной боли, превозносимых как средство стать счастливым, и кончая чертовски дорогим настоем из мелиссы, выпускающимся в ФРГ. То, что он на спирту, очевидно, остается тайной для здешних мулл. Подобные медикаменты пользуются громадным спросом. Похоже, вся фармацевтическая промышленность мира во главе с западногерманскими концернами «Байер» и «Хёхст» втянута в конкуренцию ради уменьшения порожденных войной психических и физических страданий иранцев.

У многих, правда, не хватает денег, чтобы купить даже самые дешевые болеутоляющие таблетки.

Однажды я разговорился с рабочим, который хорошо владел английским: во времена шаха он был техником в аэропорту.

Теперь работает на национализированной обувной фабрике «Мелли». Это одно из самых крупных предприятий Тегерана — здесь занято 11 тысяч человек. Он получает восемьдесят четыре тумана в день и на эти деньги должен содержать мать, сестру и себя. Жениться он не может, хотя в тридцать девять лет это было бы в самый раз: того, что он получает на фабрике, никак не хватит, чтобы содержать еще жену и детей. Женщин же, которые сами зарабатывают на жизнь, в Тегеране практически нет — Хомейни почти полностью упразднил женский труд. Мой собеседник — по национальности он турок — в долгу как в шелку. У себя в банке он взял ссуду — 12 тысяч туманов, а на предприятии — два раза по 20 тысяч. Из двух тысяч туманов, которые он ежемесячно приносит домой, почти половину — около 900 туманов — приходится выплачивать в счет погашения долга. 800 туманов уходит на оплату жилья, 120 — за воду и газ. Я полюбопытствовал, как же он выкручивается? Вечерами после работы отправляется на автобусную станцию, пытается там торговать сигаретами, поштучно. «А этого хватает?» — не отставал я. Он отрицательно помотал головой. Правда, у его матери есть родственники в деревне, и они часто привозят овощи, картофель и яйца. В случае чего все это можно продать или обменять у соседей на какие-нибудь другие продукты, которые трудно достать. Голодать им еще не приходилось — ведь, в конце концов, есть талоны на приобретение самого необходимого. С завтрашнего дня, когда начнется рамазан, нельзя будет обедать в столовой — за это выплачивают компенсацию в два тумана...

Под бременем военных расходов курс иранской валюты сильно упал, а расплачиваться за инфляцию приходится рабочим и крестьянам. С началом войны заработная плата была заморожена, зато цены с тех пор возросли примерно в шесть раз. В 1978 году заработная плата в Иране была гораздо выше, чем в Турции, и почти достигала уровня Испании, теперь, если говорить о покупательной способности, она значительно ниже, чем в Южной Корее, Тайване и на Филиппинах. Война превратила Иран в страну с низкой заработной платой, отбросив ее назад, в 50-е годы.

Многим война стоила рабочих мест. В Иране сто раз на дню опровергается старая истина, согласно которой курс на вооружение обеспечивает полную занятость. Программа обеспечения занятости населения, которая уже через год после революции дала тысячам людей работу и хлеб и снизила численность безработных до десяти процентов и ниже, совсем захирела, на ее осуществление нет средств. Строительство метро остановлено в 1982 году — инженеры нужны на фронте. Вообще строительные работы в столице чуть ли не целиком свернуты.

Почти не изготовляются товары повседневного спроса — фабрики перепрофилированы на военное производство; в итоге сокращаются тысячи и тысячи рабочих мест.

Когда нет работы у родителей, работать приходится детям. Вынужденные с раннего детства расплачиваться за войну, они часто познают горький вкус труда раньше, чем могут написать само это слово. На втором году войны был отменен запрет на детский труд, введенный в 1979-м. Последствия этого я наблюдал собственными глазами. Зайдя в ковровую мастерскую возле базара, я увидел там несколько групп 10—12-летних девочек, лица их скрывала чадра. Сидя за ткацкими станками, они молча трудились под строгим взглядом аятоллы на портрете. В другой мастерской под портретом Хомейни висел рекламный плакат с изображением аргентинского танка. Выяснилось, что работающие здесь дети выткали тринадцать дивных ковров, которые были проданы за границей за немалую сумму; благодаря этому добровольческие отряды тегеранской «Хезболла» [1] смогли приобрести новехонький танк. Памятная доска на стене в самых торжественных словах прославляет это героическое деяние порабощенных детей. На фотографии запечатлен момент, когда высокопоставленное духовное лицо вкладывает медали в маленькие ладошки девочек. Надпись над снимком гласит: «Их чистые души угодны Господу».

Я спросил хозяина мастерской (он хорошо говорил по-английски и, по всей вероятности, принял меня за возможного покупателя), оплачивается ли труд детей. «Нет,— ответил он,— родители решительно против этого. Они прислали нам дочерей, чтобы те работали бесплатно, ну, и бесплатно получали профессиональную подготовку. Любого радовала бы возможность потрудиться во славу аллаха и имама Хомейни, и девочки были рады внести свой вклад в дело сокрушения дьявола Саддама».

Пока мы беседовали, маленькие ковровщицы молча трудились, не осмеливаясь даже поднять глаза. Трудно было понять, думают ли они вообще о чем-нибудь или полностью ушли в работу. Движениями они напоминали марионеток. Они ткали ковры темно-красного цвета — казалось, шерстяные нити впитывают кровь с израненных пальчиков.

Война лишает детства многих детей. На краю базара часто попадаются лавчонки, где продают фисташки. Их называют «улыбающимися» — это полуоткрытые орехи, откуда можно без труда вынуть ядрышко. В задних комнатах лавчонок сидят дети, опять-таки большей частью девочки, которые наполовину разгрызают орешки, заставляя их «улыбаться». Нередко это стоит улыбки им самим, ведь они рано теряют зубы и вынуждены всю жизнь довольствоваться дешевыми протезами. Другие дети помогают своим семьям добывать средства к существованию, продавая газеты, собирая окурки, перерывая горы мусора в поисках хоть чего-нибудь пригодного в хозяйстве. Я редко видел играющих детей, а если такое и случалось, то это были мальчики и играли они, конечно же, в войну.

Око аллаха видит тебя

Автомобильное движение в Тегеране с раннего утра до поздней ночи, если только оно не парализовано комендантским ча-

[1] «Партия аллаха», организация шиитских экстремистов.

сом или внезапно объявленной воздушной тревогой, ясно свидетельствует о том, сколь агрессивные инстинкты породила семилетняя война в душах многих иранцев.

Улицы Тегерана казались мне полем битвы, дополнительным театром военных действий. Водители здесь не знают жалости и вовсю «газуют», чтобы дать выход накопившейся ярости. Соответствующим образом выглядят и автомобили — их корпуса покорежены, покрыты вмятинами от столкновений.

С 1979 года у простого смертного нет возможности купить импортную машину, а выпуск отечественных автомобилей марки «пейкан» далеко не удовлетворяет спрос. И тем не менее уровень моторизации очень высок, по крайней мере по масштабам третьего мира. В Тегеране с его одиннадцатимиллионным населением зарегистрировано 2,4 миллиона машин. Это почти половина всех личных автомобилей в Иране.

Пешеходу в этой транспортной сутолоке приходится нелегко. Я чувствовал себя беспомощным, как дряхлый старик, и всякий раз с благодарностью принимал предложения местных жителей провести меня между машинами. На главных и боковых улицах бушует ничем не сдерживаемая борьба за господство — все друг друга блокируют, движение транспорта уподобляется бешеной езде. Водители маршрутных такси, полицейских автомобилей и автобусов тоже в меру своих сил участвуют во всеобщей давке. При этом автобусы дымят, как фабричные трубы, и выбрасывают огромные клубы выхлопных газов.

Когда тегеранцев спрашивают о причинах зловония в городе, они обычно пожимают плечами. Закрадывается подозрение, что они либо обладают иммунитетом против паров бензина, либо все еще принимают запах нагара современной волшебной лампы Аладдина, лишившей разума не одного только шаха, за аромат огромного мира. Если спросишь их о том же во второй и третий раз, они отвечают: у нас другие заботы, чистый воздух — это роскошь, которую, видно, вы можете себе позволить в Европе. И действительно, здесь у пешеходов совсем другие проблемы. Главное для них — добраться до цели, причем любой ценой, и поэтому они виноградными гроздьями висят на открытых дверях автобусов, а то и взбираются на крышу. Человек едет, вот что важно, и ему нет дела до выхлопных газов.

Полиция за транспортом не следит — у нее иные задачи. В Тегеране неукоснительно подчиняются только одному дорожному знаку — «хеджабу» [1], предписывающему всем женщинам на улицах соблюдение исламских законов об одежде. Его давно уже устанавливают не только у тротуаров, но и перед всеми общественными зданиями, гостиницами, больницами, кинотеатрами, возле парков и школ. Во время моего посещения Тегерана газеты писали о закрытии частной больницы «Ираниан» из-за того, что медсестры под чадрой носили джинсы, шелковые чулки и туфли на высоких каблуках и в таком «безнравственном» облачении приближались к пациентам. К тому же, они не полностью покрывали голову, так что «излучение наподобие рентгеновского, исходящее от женских волос», мешало выздоровлению больных.

Око аллаха видит тебя повсюду. За каждым шагом одиннадцати миллионов тегеранцев наблюдает целая армия полицейских и «стражей исламской революции» — самозваной полиции нравов в сегодняшнем Иране, а также бородатые сторонники «Хезболла» — «партии аллаха», считающие себя оком аллаха. Они дежурят на всех углах и перекрестках или ходят группками и устраивают внезапные проверки, чаще всего на боковых улицах. Я сам видел, как трое пасдаранов поступили с женщиной, которая красила губы, сидя в машине. Хранители общественной морали выволокли ее оттуда, швырнули на землю ее косметичку, забрали документы и заставили влезть в ожидавший поблизости грузовой «мерседес», на котором и увезли — прямо к кази, шариатскому судье, рассматривающему дела в ускоренном порядке. В лучшем случае жертва могла быть подвергнута штрафу — от 3 тысяч туманов и выше; повторное же «преступление» такого рода может стоить года тюрьмы. «Публичный разврат» (к нему относится и употребление косметики) считается не только преступлением против шариата—нравственных норм ислама, но и «подрывом обороноспособности» страны: своим поведением женщины подрывают боевой дух войск.

С начала рамазана на главных площадях столицы стоят наготове микроавтобусы, в которых будут увозить арестованных. Поблизости — многочисленные пасдараны и женщины с закутанными лицами. Их задача — охота на женщин, едущих в такси. Водителям такси строго-настрого запрещается возить накрашенных или недостаточно скромно одетых женщин. В противном случае они сами могут предстать перед судьей.

Во время рамазана наказания женщинам, схваченным на улице, ужесточаются. Выставление волос напоказ обходится в тысячу туманов штрафа, при этом грешницы должны обещать «воздерживаться в будущем от проституции в какой бы то ни было форме». Более серьезные проступки, к которым, безусловно, относится и употребление косметики, наказываются поркой. Число ударов зависит от тяжести содеянного. Если замечены и другие грехи, например использование лака для ногтей, нецеломудренные взгляды или «возбуждающие» движения, грешнице как минимум грозит тюремное заключение. Об итогах борьбы за соблюдение правил морали сообщается в газетах.

В этом обществе, где царит строгое разделение полов, мужчина находится в привилегированном положении. Он до известной степени огражден от дерзких посягательств представителей власти. Конечно, многие соглядатаи обращали на меня, иностранца, внимание — и в то же время как иностранец я был защищен от их назойливости.

Бывали, правда, и исключения. Однажды на проспекте Шариати остановился черный «мерседес», из него выскочили трое пасдаранов и задержали меня. Они провери-

[1] Косынка, ношение которой помимо чадры обязательно для женщин в городах Ирана.

ли мой паспорт, с величайшей тщательностью исследовали содержимое моих карманов и захотели узнать, где я живу. Я сунул им под нос карточку гостя из дорогой гостиницы — они с уважением закивали. Кончилось тем, что они прочли мне длинную лекцию об аллахе, Хомейни и Саддаме — понимал я их с пятого на десятое, поскольку пасдараны говорили на фарси. Я наскреб кое-что из моего «неприкосновенного запаса» персидских слов, вознес хвалу имаму и исламу и таким образом сумел рассеять их недоверие. «Вы немец? — спросил один из них, по-видимому, ротенфюрер. — Германия хорошо, очень хорошо». В доказательство он снял с плеча свою отполированную до блеска «пушку» и со словами «немецкая винтовка» вручил ее мне.

У меня, убежденного пацифиста, который ни разу не держал в руках оружия, задрожали колени, но я постарался скрыть от пасдаранов свой страх. Впервые в жизни я держал винтовку и удивлялся тому, какое же тяжелое это простое устройство для убийства. Я попытался втолковать владельцу винтовки, что не больно-то разбираюсь в оружии. Три стража исламской революции поняли в итоге, что́ я хотел сказать, выразили свое сожаление и, похоже, собрались оставить меня в покое. Монотонно повторяя «хейли мамнун», что по-персидски значит «большое спасибо», я постарался выразить им свое глубокое почтение. Наконец, они сели в свой немецкий автомобиль и умчались. Когда я остался один, мне вдруг пришло в голову, что это были совсем еще мальчишки, 16—17 лет, которые, наверное, и читать-то не умели, при том, что делали вид, будто разобрались с моим паспортом.

В другой раз на оживленной улице меня задержали двое полицейских. Поначалу они вели себя грубо, но, увидев в моем паспорте визу, стали гораздо дружелюбнее. Они словно испытали облегчение оттого, что я оказался немцем, а не американцем или англичанином. А после того как с помощью нескольких слов на фарси я дал им понять, что покорен красотой Тегерана, они и вовсе заулыбались. Когда же я сказал, что приехал из Гамбурга, они застыли чуть ли не в благоговейном молчании. Один из них сходил к машине, принес оттуда чайник для заварки и чистую пластмассовую кружку и предложил мне чаю. «А как же рамазан?» — спросил я, сохраняя присутствие духа. Но полицейский лишь отрицательно покачал головой — мол, для полиции и туристов нет никакого рамазана, и мы втроем выпили чаю за процветание Исламской Республики.

Дешево отделался я и при третьей встрече с представителями государственной власти, и опять-таки первоначальная враждебность быстро уступила место приязни. Поблизости от огромного здания советского посольства меня, как нарочно, остановил представитель «Хезболла», о радикально-исламских воззрениях которого свидетельствовала форма его бороды. И снова моя душа ушла в пятки. «Шоурави?» [1] — спросил он меня, желая узнать, не из СССР ли я. Нет, ответил я решительно и ткнул ему прямо в лицо паспорт. Когда он увидел, что я не из «сверхдержав», взгляд его, несмотря на густую темную щетину, покрывавшую лицо, прояснился. Чтобы выставить себя в еще более выгодном свете, я тут же послал обе «сверхдержавы» к черту. Он сказал что-то еще о шпионах, агентах и коммунистах, творящих черные дела за стенами посольства, и отпустил меня, напутствовав самыми искренними благословениями. С тех пор я обходил кругом и район посольства, и советский книжный магазин около армянской церкви. Мне рассказывали, что на этих улицах контролю может подвергнуться любой прохожий.

Силы безопасности Исламской Республики держат столицу в своих руках, пожалуй, крепче, чем в свое время войска шаха. Их штаб-квартира — в восточном районе города, но у них есть опорные пункты в каждом квартале. Только в сердце Тегерана «стражи исламской революции» располагают четырнадцатью «революционными центрами», не говоря об усиленных постах перед каждым министерством, рядом с каждым административным и общественным зданием — от почты до радио- и телестанции. В парках расположены сборные пункты для новых добровольцев. Вдобавок пасдараны наблюдают за мечетями и стадионом для пятничной молитвы, которые в прошлом нередко подвергались нападениям моджахединов. На севере Тегерана на видном издалека горном хребте сооружен лагерь для иракских военнопленных. Подобно зверям в зоопарке, пленных содержат за высокими оградами из колючей проволоки или проволочной сеткой. Это должно продемонстрировать всему миру, что Иран не ведает жалости к врагу. Иногда пленных колоннами проводят по городу для участия в «митингах стойкости». Одно такое шествие пленных я видел. Идя в сопровождении тяжеловооруженных пасдаранов пленные что есть мочи кричали: «Смерть Саддаму, смерть, смерть!..» Все они носили бороды, будто стали правоверными шиитами и приверженцами «Хезболла», глаза их, потухшие от голода и тоски по родине, глубоко запали.

У тюрьмы Эвин

Я представлял себе вход в тюрьму Эвин иным, внушающим страх. Но вблизи он выглядел вполне безобидно и вызывал доверие, словно это был вход в санаторий. Уже к восьми утра там выстроилась очередь из двадцати — тридцати покрытых чадрой женщин, такая же очередь собирается в эту пору перед любой тегеранской молочной лавкой. Несколько солдат и людей из «Хезболла», дымя сигаретами, лениво прохаживались вдоль ворот — стражей было куда меньше, чем на посту у каждого министерства.

Прошли те времена, когда министерство юстиции и «Бюро правды» — пропагандистское ведомство Хомейни — охотно предоставляли иностранным посетителям возможность осмотреть «исправительное заведение», как это было, например, с репортером гамбургского журнала «Конкрет» Каем Херманом. Теперь весь район вокруг тюрьмы закрыт для посещения иностранца-

[1] Советский.

ми, и мне пришлось просить водителя грузовика, проезжавшего по делам мимо тюрьмы, понадежнее спрятать меня под тентом, чтобы я хоть мельком увидел врата ада. Он остановился там и постоял несколько минут, возясь с передним колесом, так что я смог немного осмотреться.

Правда, увидел я мало, но тем не менее пищи для размышлений оказалось достаточно. В эти краткие мгновения, глядя на фабрику страданий, я вспомнил обо всех, кто заточен за ее стенами. Подумал я и о брошенных в застенки из-за своих убеждений в других краях — о Беатрис Бринкман, которая писала мне из тюрьмы в чилийском городе Вальдивия, о Нельсоне Манделе и его соратниках в Южной Африке...

Тюрьма Эвин находится недалеко от фешенебельного, тихого предместья Дараге, где вместо шахских чиновников живут теперь служители нового режима, в зеленой долине, усаженной яблонями и персиковыми деревьями. Снаружи она похожа даже на зону отдыха. Здания близ главного входа напоминают старомодные сельские дома с расписными окнами и цветочными ящиками. Там живет охрана. К заключенным, содержащимся в бетонных блоках за горным гребнем, можно попасть лишь по шестисотметровому туннелю, вырубленному в толще горы Эвин. На электрокаре посетителя доставляют в тюремные блоки — с темной повязкой на глазах, как и у заключенных.

Наверное, никто, кроме дирекции, не знает точно, сколько людей сидит сейчас в камерах за горой Эвин. «Международная амнистия» предполагает, что около 30 тысяч — свыше четверти всех политических заключенных в сегодняшнем Иране. «Политические» и «уголовники» содержатся вместе, ибо исламское право подобного различия не знает и особо выделяет только «людей, совершивших государственные преступления по политическим мотивам». Шесть лет назад, после подавления начатого моджахединами путча, заключенных было вдвое больше. Тогда смертные приговоры приводились в исполнение, чтобы уменьшить перенаселенность камер. За каждого приверженца Хомейни, павшего жертвой покушения, казнили шестьдесят заключенных. Теперь число казней резко сократилось. По официальным данным, в 1986 году был приведен в исполнение в общей сложности 681 смертный приговор, вынесенный шпионам, предателям, торговцам наркотиками, убийцам, «богохульникам» из религиозной общины бехаитов, подстрекателям, террористам и гомосексуалистам. Обоснование смертного приговора за различные преступления — начиная с государственной измены и кончая гомосексуализмом — вплоть до деталей соответствует программе уничтожения, которую осуществляли германские фашисты.

Тюрьма Эвин была построена шахом в начале 70-х годов с целью централизации исполнения приговоров. 12 февраля 1979 года восставшие тегеранцы штурмом взяли тюрьму и освободили тысячи заключенных. В последующие недели и месяцы камеры пыток стали местом паломничества для всех тех, кто своими силами избавился от шахского террора, но не прошло и года, как их опять начали использовать по прямому назначению. Осенью первого года революции эти камеры снова стали заполняться — сперва агентами шахской тайной полиции САВАК, потом — политическими противниками нового режима. Став, подобно Бастилии, памятником освобождения, тюрьма Эвин вскоре вновь превратилась в цитадель угнетения.

О том, что все это время происходило за воротами тюрьмы, можно составить приблизительное представление, находясь и в ФРГ. Достаточно вслушаться в слова иранцев, умоляющих предоставить им политическое убежище,— такие дела что ни день разбираются в западногерманских судах. Из девяти примерно тысяч человек, чьи прошения рассматривались в 1986 году судами ФРГ, каждый второй прошел через тюрьму. В правоохранительных ведомствах ФРГ скопились горы папок с протоколами и показаниями.

Из потока доказательств, свидетельствующих о пытках как повседневной практике, многие западногерманские судьи по делам о предоставлении политического убежища делали вывод, что применение пыток еще не является достаточным основанием для удовлетворения просьбы об убежище, так как пытки в Иране следует, очевидно, рассматривать как правило, а не как «особое обращение».

Ежегодные отчеты «Международной амнистии» сообщают об истязаниях, которые вынуждены день за днем переносить узники тюрьмы Эвин и которые мне представляются неслыханными по своей жестокости. Исламское правосудие, вновь восторжествовавшее в стране после революции, зиждется на идее отмщения: считается, что справедливость восстанавливается, если правонарушителя заставляют расплачиваться за свое преступление по принципу «око за око». В тюрьме Эвин была создана специальная клиника, где традиционные наказания, предусматриваемые исламским правом, например, отсечение руки, выкалывание глаз или отрезание уха, осуществляются методами современной хирургии с помощью техники, закупленной в Японии. Нанесение таких увечий регулярно фиксируется в рапортах тегеранской полиции.

Ни государственная идеология, ни конституция Исламской Республики Иран практически не знают понятия «права человека». Отдельно взятый человек, согласно «чистому учению», предстает прежде всего не как личность, а как абстрактный носитель «добра» или «зла» — в зависимости от идей, которым он привержен.

...Мимо нас проехала машина с заключенными — высококачественное, специальной модификации, изделие немецкой промышленности, изготовленное на заводе фирмы «Даймлер-Бенц» в Унтертюркхайме.

Позже я познакомился с инженером, который лишь три недели назад вышел из тюрьмы Эвин. Он отсидел там почти три года по подозрению в связях с оппозиционной группировкой «Рах-е Каргер» («Рабочий путь»). Он так и не получил письменного объяснения причины ареста, против него не было возбуждено судебного дела, и освобожден он был так же вне-

запно и безо всяких объяснений. Однажды утром инженеру сказали: свободен, можешь идти. Ему завязали глаза, доставили на электрокаре к воротам, и он покинул этот ад, так и не зная за собой никакой вины.

Я пообещал ему не делать никаких письменных заметок, пока нахожусь в Иране, а впоследствии — не называть никаких имен, не давать никаких конкретных сведений, которые могли бы привести к установлению его личности.

«Что за люди сидели вместе с вами в тюрьме Эвин?» — спросил я. «Не думайте, что там лишь закоренелые враги Хомейни. Много убежденных сторонников Исламской Республики, которые попали в тюрьму случайно — потому, что на них донес сосед или их обнаружили возле только что написанного лозунга, к которому они не имели никакого отношения. Кто-то оказался за решеткой только из-за того, что поспорил с фанатиком из «Хезболла». Следствие проводится очень редко — раз уж ты попал в тюрьму, то должен отсидеть свой срок».

«Какие политические группы там преобладают, какие социальные слои?» Вот что на это ответил инженер: «Среди заключенных немало интеллигентов, в особенности таких, которым до сих пор удавалось избежать отправки на фронт. Интеллигенты неизменно вызывают подозрение у активистов «Хезболла», насдаранов, по обыкновению неграмотных, и те всегда находят причину, чтобы упрятать «подозрительных» за решетку. Кое-кто попал сюда из-за книг Маркса, обнаруженных в личной библиотеке. В тюрьме Эвин все еще много бывших моджахединов, некоторые из них сидят более шести лет без суда и следствия, совершенно не общаясь с внешним миром. Среди собственно политических заключенных — представители всех лагерей — от «Пейкара» до федаинов и членов Народной партии, члены и сторонники левых группировок, буржуазной оппозиции, приверженцы Базаргана [1], открытые и тайные сторонники шаха».

«Контактируют ли между собой отдельные группы?» На этот вопрос собеседник ответил так: «Конечно. Люди вместе отбывают наказание, если только они не брошены в одиночки. Целыми днями мы находились в больших общих камерах, нам часто приходилось вместе работать на тюремном дворе или часами маршировать там. Нам говорили, что это учения перед отправкой на фронт. Хотя мы проводили вместе много времени, беседовать о политике было трудно потому, что среди заключенных есть шпионы и кое-кто пытается выгадать на том, что доносит надзирателям на товарищей по заключению. В таких условиях нечего и мечтать о подлинной солидарности заключенных.

И все-таки, доверительно поведал мне инженер, в январе — феврале 1987 года впервые за время правления Хомейни в тюрьме Эвин удалось провести голодовку протеста, в которой участвовало более половины всех заключенных. Некоторые голодали сорок дней и прекратили борьбу лишь тогда, когда администрация тюрьмы пообещала улучшить условия заключения. Двоих заключенных, якобы зачинщиков, в первые дни подвергли жесточайшим истязаниям, причем для устрашения остальных им не оказывали медицинскую помощь. Но эта попытка запугивания ничего не дала. Мы сумели передать на волю, в том числе и за границу, сообщение о начавшемся сопротивлении, и в результате акции солидарности были проведены еще в четырех тюрьмах».

«А имела ли смысл ваша борьба?» — спросил я. «Да, бороться стоило по многим причинам. К концу нашей акции начальник тюрьмы был вынужден выступить перед заключенными и пообещать, что впредь все будут получать одинаковую еду и каждому предоставляется право раз в месяц принять посетителя, а еще — на письмо и передачу. Для всех нас имел огромное значение психологический аспект. Мы снова почувствовали себя людьми, а не просто беззащитными жертвами варварской системы. Мы показали, какая сила сопротивления таится в каждом из нас, а тем более — когда мы вместе, как бы нас ни мучили, ни попирали наше достоинство. То, что мы предприняли, имело еще и очень большое политическое значение: впервые в тяжелейших условиях удалось провести совместную акцию протеста, в которой участвовали не только самые различные левые группировки, но и приверженцы буржуазной и монархической оппозиции. Я уверен, что все товарищи по заключению, если они когда-нибудь выйдут на свободу, будут распространять сведения о создании такой коалиции, а это будет способствовать сотрудничеству между отдельными лагерями оппозиции, созданию нового климата в отношениях между ними».

Три года за решеткой не прошли для молодого человека бесследно. Ему всего двадцать три, а волосы надо лбом и на висках поседели, безбородое лицо изборождено шрамами и морщинами, в особенности около рта. Я полюбопытствовал, правда ли, что пытки в тюрьме Эвин — в порядке вещей?

Мой собеседник замялся. «Возможно, вы, европейцы,— начал он,— представляете себе нашу ситуацию совершенно по-другому. У нас в тюрьмах бьют и пытают заключенных безо всякого смысла и цели. Побои — это как бы наш «хлеб насущный», и их нам «отпускали» регулярно — раз, два, а то и три в неделю. Надзиратели считают, что пребывание в заключении просто подразумевает побои. Тот, кто попал в тюрьму, заслужил их, побои ему нужны для того, чтобы искупить вину и стать лучше. Они бьют тебя, будто дают лекарство, и при этом улыбаются, без малейшего оттенка садизма. Случается, месяцами, а то и годами тебя «обрабатывают» одни и те же. Каждый понедельник и четверг такой кнутобоец раскладывает тебя на «кобыле» и отвешивает положенные тридцать, шестьдесят или сто ударов, а затем принимается за следующего — строго по очереди. Некоторые тюремщики проводят за этим занятием целый день, кроме святой пятницы, и бьют людей с поразительным равнодушием — будто крестьяне, угощающие палками своих ослов, чтобы те лучше тянули плуг.

[1] Мехди Базарган — бывший премьер-министр Временного революционного правительства.

Со временем ты привыкаешь к тому, кто бьет тебя, вы говорите друг другу «ты», между тобой и этим тюремщиком складываются странные отношения. Он знает, как причинить тебе особенно сильную боль, а ты знаешь, как лучше всего отвлечь его от «работы».

«Но ведь применяются и более жесткие методы?» — «Да, но только в исключительных случаях — например, если хотят состряпать против кого-то процесс и для этого выжать из него показания. Но тут используют людей другого сорта, специалистов по ведению следствия, которые обучены соответствующим образом. Их принцип гласит: заключенные никогда не говорят правду. Все они лгут. Сначала их надо «размягчить», чтобы можно было рассчитывать на хоть сколько-нибудь правдивые показания. Пытая обвиняемых электрошоком, горящими сигаретами или кипящей водой, они вообще не сознают неправедности своих действий. Они считают, что лишь таким способом от заключенного можно допытаться правды. Это — система, такой она была при шахе, такой осталась и при Хомейни. Только при Хомейни пытают с еще большей истовостью».

Я спросил своего собеседника, подвергался ли он сам пыткам. Вместо ответа он снял тапочки и носки и осторожно размотал повязки, которыми были перебинтованы его ступни. В середине каждой ступни зияла глубокая рана. Потом бывший узник обнажил левое плечо и показал два больших рубца: отсюда тюремные врачи вырезали два лоскута кожи, пытаясь кое-как залатать ими раны на ступнях, но кожа не прижилась.

«А откуда эти раны?» — «Меня допрашивали несколько недель подряд. Привязывали к «кобыле» и часами били по подошвам. Они хотели заставить меня говорить правду, но я ничего не мог сказать, потому что вообще ничего не знал, тем более о «Рах-е Каргер». В конце концов они поняли это и перестали меня избивать».

«Есть ли в тюрьме Эвин женщины?» — «Да. Женщины составляют пятую часть или даже четверть всех заключенных. Но за все время, пока я был за решеткой, я не видал ни одной. Женщины строго отделены от мужчин и размещены в других отделениях тюрьмы...»

«А свидания с родными у вас были?» — «Первые полгода не было. Затем моя мать через свою мечеть выхлопотала разрешение. Она могла приходить ко мне раз в шесть недель на сорок минут, но нас разделяла стеклянная перегородка, и мы общались друг с другом только через переговорное устройство. Находившийся здесь же надзиратель следил, чтобы не было разговоров о политике. Ему хотелось бы, чтобы мы говорили только об аллахе и исламе».

Я поинтересовался планами бывшего заключенного на будущее. «Попробую остаться в Иране,— сказал он. — Здесь у меня жена, семья. Я хочу залечить раны и сделаю все возможное, чтобы опять работать по своей специальности. Я не был официально осужден, и поэтому надо только придумать, чем я занимался последние три года».

На вопрос, как он представляет себе политическое будущее страны, мой собеседник ответил, что по горло сыт политикой. Он больше никому не даст впутать себя в это дело. Конечно, это не значит, что он перестал быть левым. Он был бы доволен, если бы после Хомейни пришло правительство, которое по крайней мере уважало бы права человека и при котором не пришлось бы постоянно опасаться за жизнь и свободу. Тогда ему было бы почти все равно, кто во главе государства — шах, аятолла или генерал.

(Окончание следует)

Публицистика

ЛАСЛО ДЮРКО

1956

Предварительное исследование и прагматическое изложение событий

Главы из книги

Перевод с венгерского и комментарий П. БОНДАРОВСКОГО

4. Катакомбы на площади Республики

...Самым мощным очагом мятежа, можно сказать, его генеральным штабом была группа, обосновавшаяся в переулке Кишфалуди; о ней мы знаем больше, чем о других, известны и вышедшие в 1982 году в США мемуары ее командира Гергея Понграца...

Гергей Понграц... родился в 1932 году в Самошуйваре[1]... В воспоминаниях он утверждает, что отца его после присоединения Восточной Трансильвании к Венгрии назначили бургомистром. В «Будапештских ведомостях» же сообщалось о том, что «высочайшим указом Его Высочества Регента Венгрии от 7 дня января 1943 года» д-р Шимон Понграц, 1892 года рождения, уроженец Балажфалвы, помощник секретаря управы, пожалован крестом «За оборону страны». Среди награжденных вместе с ним — лакей, старшина полиции, путевой рабочий, механик, цеховой мастер, поденщик, табачник, сыщик, вокзальный носильщик, аптекарь, мельник, служащий таможни, городской писарь. Этот перечень тоже показывает, что Шимон Понграц не являлся важной персоной.

Детей в семье было девять, Гергей — шестой... Как он пишет, в первую мировую войну Шимон Понграц получил девятнадцать (?) медалей. Участвовал во второй мировой... Воевали и четверо братьев Гергея... В конце войны семья перебралась в Венгрию, при разделе земель отец получил 13 хольдов, которые стал обрабатывать вместе с двумя сыновьями. Один из братьев Гергея уехал на Запад, другой за попытку нелегального перехода границы 16 месяцев провел в лагере для интернированных; отбыв срок, устроился чернорабочим, заочно окончил юридический институт. В документах Гергея Понграца записано: «скотовод сельскохозяйственного отдела Цегледского горсовета, школьное образование — среднее, специальность по образованию — агроном». Служил в армии, был разжалован за оскорбительные отзывы о государственном строе, подумывал вступить в партию. Узнав об этом, отец сказал: «Смотри, сынок, меня-то сломать смогли, а согнуть не сумели. Ты, однако, взрослый уже, сам волен решать. Но все же прошу тебя: с того дня, как станешь членом коммунистической партии, порога моего дома не переступай и имя мое носить не смей».

К такой семейной истории добавить нечего.

По воспоминаниям Гергея выходит, что семья Понграц играла в событиях 23 октября главную роль. Шестеро братьев Понграц приняли в них участие...

...Переулок Кишфалуди вошел в историю 1956 года как «переулок Корвин». Он огибает маленькую площадь, в центре которой расположилось овальное здание кинотеатра «Корвин»; во время боев с огромной афиши на повстанцев смотрели герой и героиня фильма «Люди в белом».

Для танков переулок был недоступен. Улочки тут шириной всего десять метров, застроены шестиэтажными домами. В переулке (назовем его так для просто-

Окончание. Начало см. в № 7.

[1] Венгерское название города Герла в Восточной Трансильвании (совр. Румыния). Упоминаемая далее Балажфалва — венгерское название города Блай в Восточной Трансильвании.

ты, хотя на самом деле это целый громадный квартал) разместились два рабочих общежития, на углу улицы Пратер — школа с большой кухней: идеальная боевая позиция в считанных шагах от пересечения проспекта Юллёи с Большим кольцом, напротив казарм Килиан. Позади кинотеатра была автозаправочная станция, где мятежники изготовляли свое главное оружие — бутылки с бензином. Рядом — маленький пустырь: кладбище для погибших. И непрофессиональному военному ясно, что это превосходный опорный пункт для ведения уличных боев. А у братьев Понграц имелся фронтовой опыт.

Когда вспыхнул мятеж, Гергея в столице не было, он работал в провинции. К братьям в переулке Корвин присоединился 25 октября. К тому времени там находилось, вероятно, несколько десятков повстанцев; что это были за люди, установить невозможно, известно лишь, что они непрерывно менялись: одни уходили, другие приходили. «По имени никто друг друга не знал,— пишет Понграц,— да никто и не спрашивал, это ведь действительно не было важно. Мы были соратниками — вот что главное. Каждый получал какое-нибудь прозвище по внешнему признаку, крещение проходило быстро. Трамвай, Очкарик, Кепка, Шляпа, Новобранец, Безрукий, Длинный и так далее... Иные клички прилипали надолго, и никому даже в голову не приходило протестовать против нового имени. Меня назвали Усатый, и кличка эта осталась за мной до конца». А в одном интервью он говорит: «Все, кто там был, присоединились к нам по собственному решению, добровольно. Мы никого не спрашивали, кто он и откуда. Не интересовались и тем, за что человек сидел в тюрьме — по политическому или уголовному делу. Не спрашивали ни национальность, ни вероисповедание. Раз взял в руки оружие и борется за выполнение четырнадцати студенческих требований, значит, соратник!»

Последняя фраза не слишком логична, но у Понграца к этому надо привыкнуть.

По всем имеющимся в нашем распоряжении данным, командиром «корвинцев» был 26-летний Ласло Иван Ковач. Отец его — кадровый унтер-офицер хортистской армии, главстаршина. Этот факт биографии и тот, что в конце войны семья уехала на Запад, о чем Иван Ковач в своих автобиографиях, как правило, не сообщал,— не облегчали ему жизнь в новом обществе. Его исключили из университета, уволили из министерства обороны. Он сменил множество мест работы и должностей, но подвизался, собственно, в амплуа футболиста; куда он переходил, там и получал место. Оружие он раздобыл уже у радиокомитета, а после того, как в здании Национального музея пришлось его сдать, отправился в переулок Корвин, где стал командиром повстанцев.

Понграц это отрицает. Иван Ковач, пишет он, никогда не был командиром «корвинцев», а только болтался там и в конце концов стал предателем. 4 ноября Понграц даже арестовал его, и Ковач чудом избежал расстрела.

В остальных вооруженных группах командиры, как правило, не менялись. У «корвинцев» же их было несколько, и противоречия между ними возникали серьезные. Несомненно, братьям Понграц с самого начала принадлежала решающая роль, и 30 октября Гергея «единогласно» избрали командиром; 24-летний молодой человек возглавил самую значительную группу повстанцев...

Что происходило в расположенных по соседству казармах Килиан, история которых тесно связана с переулком Корвин, точно установить невозможно. Военный историк Петер Гостони, служивший там в качестве офицера резерва, в разных своих работах описывает события поразному. Его варианты известны: в первые дни мятежа казармы придерживались полного нейтралитета; солдаты с первого дня вступили в союз с повстанцами; у солдат не было оружия, и они просили его у мятежников; у мятежников оружия не было, и это они просили его в казармах; казармы Килиан сражались против повстанцев; в повстанцев стреляли только некоторые политработники; казармы Килиан сражались против советских войск; Пал Малетер пытался убедить повстанцев сложить оружие.

На мой взгляд, тогдашнее общественное мнение сильно преувеличивало роль казарм Килиан в событиях, преувеличивается она и сегодня. Это тоже одна из легенд 1956 года. Казармы ни в первый день, ни после прибытия Малетера, ни в момент перемирия не обладали значительной вооруженной силой, а командиры пребывали в растерянности. Вероятнее всего, они то приказывали стрелять по восставшим, то братались с ними, избегали столкновений с советскими танками, но и обстреливали их. Истину установить трудно еще и потому, что в казармах располагалось несколько воинских частей, а временами туда проникали и группы «корвинцев». Казармы Килиан приобрели значимость, собственно говоря, благодаря личности Малетера.

Пал Малетер родился в 1917 году в Эперьеше[2], в семье профессора права. Поступил на медицинский факультет Пражского университета; когда Южную Словакию присоединили к Венгрии, он работал практикантом при больнице. Изменив планы, он поступил в Академию Людовики[3] и в 1942 году получил звание лейтенанта; сражался на фронте, попал в плен, пошел в партизаны, воевал против немцев в отряде парашютистов. После Освобождения, в звании капитана, стал пограничником, вступил в комму-

[2] Венгерское название города Прашов в Южной Словакии (совр. Чехословакия); в 1938 году, по решению «первого венского арбитража», Южная Словакия отошла к Венгрии.

[3] Высшее военное учебное заведение, основанное в 1830 году и названное в честь австрийской императрицы Марии Людовики, жены императора Франца I (1768—1835). Выпускники академии, воспитанные в монархистском, антинародном духе, составляли привилегированную офицерскую касту.

нистическую партию; майором возглавлял подразделение личной охраны президента республики, с 1953 года — полковник, командующий вспомогательными инженерными батальонами министерства обороны.

В подчинении у Малетера находились и казармы Килиан...

31 октября 1956 года полковник сказал в интервью: «В минувшую среду (24 октября.— Л. Д.) на рассвете я получил от тогдашнего министра обороны приказ выступить с пятью танками против тех, кто сражался в VIII и IX районах столицы, и освободить казармы Килиан. Однако, прибыв на место, я убедился, что это не бандиты, а верные сыны венгерского народа. Я доложил министру, что перехожу на сторону повстанцев. С тех пор мы сражаемся вместе».

Однако дело было иначе. Малетер с пятью танками прибыл в казармы Килиан 25 октября и открыл огонь по повстанцам. Что произошло дальше, не вполне ясно. Гостони утверждает, что полковник еще в тот день предложил перемирие, а назавтра сообщил министру, что переходит на сторону восставших, и 27-го вступил в бой с советскими танками. Один из младших командиров «корвинцев», Дёрдь Ласло Бела, свидетельствует, что Малетер начал переговоры с Иваном Ковачем и Понграцем 27 октября, вел их весь следующий день, а 29-го родилось соглашение между переулком Корвин и казармами Килиан. Понграц вспоминает, что Малетер до 27 или 28 октября сражался против повстанцев; когда старший брат Гергея, Эдэн, назвал Малетера господином полковником, тот заорал, что он товарищ; обратившихся к нему за советом повстанцев он выгнал, крикнув вслед, чтобы радовались, если получат амнистию; он неоднократно предлагал «корвинцам» сложить оружие. Братья Понграц не испытывали желания пускаться с ним в переговоры прежде всего потому, что он захватил в плен 30 повстанцев, из которых двоих собственноручно застрелил, а остальных выгнал под огонь советских танков. «Даже в случае победы революции,— пишет Понграц,— приговор независимого суда не дал бы ему уйти от судьбы, за совершенные преступления он вынужден был бы отвечать точно так же, как все «госбезы», его товарищи». Гергей Понграц дает понять, что Малетер, по его мнению, был советским агентом.

...Роль Малетера и казарм Килиан заключалась не в том, что они представляли значительную вооруженную силу, а в том, что стали символом событий. Полковник, как можно предположить, не сразу принял решение, колебался, приказывал стрелять по повстанцам, но и хотел столковаться с ними; успокаивал, предостерегал мятежников, но и сражался против советских войск, хотя мы еще не знаем даже, что стало с теми пятью танками, с которыми Малетер прибыл в казармы Килиан. Казармы — огромные, похожие на крепостные сооружения, с выбитыми стеклами, следами пуль на метровой толщины стенах, с воротами, походившими на ворота замка, окруженные обгоревшими танками и бронетранспортерами,— вполне годились стать символом центра вооруженной борьбы. Легенда же Пала Малетера, вероятнее всего, зиждется на том факте, что он был единственным старшим офицером, сражавшимся на стороне мятежников. Сразу же после объявления правительством перемирия этот высокий, статный армейский полковник стал одной из наиболее притягательных фигур не только для журналистов, с ним захотели встретиться и некоторые иностранные дипломаты; личность его оказалась в центре внимания.

С объявлением перемирия бои не прекратились, похоронные бюро, больницы по-прежнему регистрировали убитых и раненых, но это были уже разрозненные стычки. Началась серия переговоров с повстанцами, в первую очередь с «корвинцами»...

В четверть шестого вечера 29 октября по радио передали: «Внимание, внимание! Министерство обороны сообщает: по договоренности с руководителями будапештских групп сопротивления участники этих групп начнут сдачу оружия венгерским войскам, приходящим на смену советским. Вывод советских войск из Будапешта начнется не позднее чем через 24 часа после сдачи оружия».

Однако вечером 30 октября Имре Надь подписал следующее заявление, составленное Белой Кираем: «От имени Совета министров Венгерской Народной Республики принимаю к сведению и поддерживаю состоявшееся сегодня образование подготовительной комиссии по формированию Комитета революционных вооруженных сил в составе уполномоченных от участвующих в революционных боях отрядов, представителей армии и милиции, представителей организуемых рабочих и молодежных вооруженных сил. Комитет революционных вооруженных сил призван направлять деятельность новых войск охраны порядка, образуемых из участвующих в революционных боях частей армии и милиции, рабочих и молодежных отрядов. С их помощью Комитет должен создать условия для восстановления в стране внутреннего спокойствия и претворения в жизнь объявленных 28 и 30 октября правительственных программ. Деятельность Комитета вооруженных сил продлится до приведения к присяге нового правительства, образованного путем всеобщего тайного голосования. Председатель Совета министров ВНР Имре Надь...»

Почему через 24 часа последовала такая перемена, в точности неизвестно, хотя подозреваю, что сообщение от 29 октября отражало скорее желаемое, чем действительное. Возможно, небольшая группа с улицы Тюзолто, некоторые другие, еще меньшие, и согласились бы сложить оружие, но такие действительные хозяева положения, как «корвинцы», как группы с площадей Барошш и Сэна,— едва ли.

Существенным фактором стало то, что руководство переговорами было возложено на Белу Кирая. В отличие от генералов которые руководили переговорами до него и, похоже, главным образом лишь посредничали, торговались, уговаривали, разъясняли, он отчетливо представлял, чего хочет. «Цель заключалась в том,— пишет Кирай,— чтобы для групп борцов за свободу, возникших и сражающихся спонтанно, изолированно друг от друга, создать руководящий центр. Долг Комитета мы видели в том, чтобы консолидировать освободительные и верные революции вооруженные силы в одну вооруженную силу, в Национальную гвардию, и тем самым воспрепятствовать всяческому влиянию на вооруженные силы сталинистских и других контрреволюционных тенденций».

Бела Кирай родился в 1912 году. В изданной в США книге он пишет: «Я хотел стать ветеринаром, но отец, который служил на железной дороге и был начальником станции Капошвар, не смог бы оплатить мою учебу в институте. Комитат Шомодь, однако, имел стипендию в Академии Людовики, я добился ее и только так сумел получить высшее образование».

Кто имеет хотя бы общее представление о Венгрии 30-х годов, знает, что в областном центре начальник станции — значительного железнодорожного узла — принадлежал к верхним слоям среднего сословия; невозможно поверить, что Йожеф Кирай был не в состоянии материально обеспечить учебу сына в ветеринарном институте. Почему Бела Кирай утверждает это — загадка: он был до мозга костей солдатом и всегда им себя считал.

Кирай описывает свою карьеру до и после войны; окончив академию, стал штабным офицером, сражался на фронте. Он решительно заявляет, что «не присягал на верность Салаши». Однако в бюллетене № 13 «Приказов по армии» от 10 марта 1945 года сообщается, что 13 января 1945 года вождь нации «за героизм, проявленный в борьбе с врагом», наградил капитана генерального штаба Белу Кирая орденом Офицерского Креста с лентами и мечами. Трудно представить, чтобы этой довольно высокой награды Салаши удостоил офицера, не присягавшего ему.

Слова позволяют скрыть очень многое. Возможно, представление к награде было подготовлено еще до прихода нилашистов к власти и застряло в дебрях военной бюрократии. Возможно также, что в те смутные времена Кирай и в самом деле формально не принимал присягу. Невозможно, однако, то, на что он намекает: что он сознательно, по мировоззренческим мотивам не присягал Салаши.

Предположение о неискренности Кирая подкрепляется тем фактом, что об одной из своих наград он умалчивает: о немецком Железном кресте второй степени, принять и носить который ему официально разрешил Хорти...

«В 1951 году меня арестовали и приговорили к смертной казни,— пишет Кирай.— В 1955-м казнь заменили пожизненным заключением».

Генерал-майор Кирай действительно предстал перед будапештским трибуналом, который на закрытом заседании 15 января 1952 года приговорил его к смертной казни, но уже через две недели, 29 января, Высший военный трибунал заменил казнь пожизненным заключением.

Проще всего было бы поставить вопрос таким образом: как можем мы доверять воспоминаниям человека, который не помнит, когда его приговорили к смерти и когда смертный приговор заменили другим.. В первом случае еще может идти речь об ошибке, расхождение всего в несколько недель, однако во втором оно составляет целых четыре года. Нетрудно догадаться, что Кирай хотел предстать в ореоле мученика, дескать, четыре года просидел в камере смертников — подобные случаи в те времена, к сожалению, бывали.

В марте 1945 года Кирай попал в плен, бежал и летом объявился дома; в июле устроился на службу, в августе вступил в коммунистическую партию. Почему — об этом не пишет. Ничто в его прошлом политически не мотивирует этого шага... В декабре 1945 года прошел проверку и получил чин майора, в 1946-м — подполковника; в 1947 году он начальник отдела военной подготовки в министерстве обороны, его награждают орденом Венгерской Республики, в 1948-м — Офицерским Крестом; он становится заместителем командующего пехотными войсками, а в 1949 году — командующим; с 1950 года, в чине генерал-майора, он начальник Военной академии. Возможностей для столь стремительного продвижения у офицеров не было даже на фронте; революция вершит перемены в жизни людей быстрее войны...

«В конце 1956 года меня выпустили из Центральной тюрьмы,— пишет Кирай.— Спустя несколько дней меня разыскали трое моих товарищей, бывших офицеров...

— Бела, мы пришли с ведома, согласия и по совету Имре Надя. За те дни, что находишься на свободе, ты уже достаточно узнал о нем и его дружеском окружении?..»

...Почти неизвестный Бела Кирай... (в дни мятежа) стал комендантом Будапешта, затем председателем Комитета революционных вооруженных сил, фактическим руководителем Революционного комитета обороны, командующим силами повстанцев, армии, милиции...

В тот самый день, когда Имре Надь одобрил создание Комитета революционных вооруженных сил, когда Бела Кирай приступил к организации объединенных сил охраны порядка, площадь Республики превратилась в кромешный ад...

Венгрия стала сенсацией номер один, в Будапешт валом валили иностранные журналисты, в их числе — венгерские эмигранты, и сочиняли истории одна не-

вообразимее другой. Стоит познакомиться с этими дикими измышлениями, чтобы понятнее стало, каким образом вбивалось в умы жителей планеты ложное представление о событиях 1956 года, вбивалось с такой силой, что существует и поныне.

Вот что писал Иштван Толлаш:

«На площади Республики все еще продолжалась осада горкома партии. «Госбезы» еще отстаивали здание от окружавших его пяти тысяч борцов за свободу и вооружившихся горожан. У одного из «госбезов» кончились патроны, и он, переодевшись, пытался сбежать через «черный ход». Толпа набросилась на него и повесила на ближайшем дереве. Как выяснилось, «госбез» был в чине полковника. В кармане у него нашли месячное жалованье — 16 000 форинтов (рабочий в те годы получал 700—800 форинтов!). Никто не присвоил ни единой банкноты; нет, ими облепили повешенного и нацепили ему на шею кусок фанеры с надписью: «За эти деньги я убивал!» Кроме того, в карманах полковника обнаружили пять удостоверений личности на разные фамилии, с указанием разных мест работы. И люди поняли, каким образом «госбезы» могли проникать на все собрания и т. п., чтобы шпионить там. Других «госбезов», попадавшихся в руки разъяренной толпе, тотчас же вешали или расстреливали и бросали не хороня. Многие из защищавших здание при таинственных обстоятельствах исчезли».

Калман Конкой и Аурел Абрани:

«Трупы «госбезов» складывали рядами. Обыскивали карманы, доставали удостоверения. Это были полковники, майоры, капитаны, каждый имел венгерские и русские документы».

Они же описывают следующий эпизод (взятый, впрочем, из ежедневной газеты «Венгерская независимость»):

«Из объятого пламенем дома выбежал «госбез», как щитом, прикрываясь четырехлетним белокурым ребенком. Он полагал, что так сможет спасти себе жизнь. Не смог. Его судил народ. Подвешенный за ноги, страшно вспухший, залитый кровью труп его вскоре болтался на дереве. Таков праведный народный гнев. Ребенка удалось спасти. Еще без сознания, он лежал на руках борцов за свободу, но через несколько минут, к радости обступивших его людей, уже улыбался той счастливой улыбкой, какая бывает только у детей».

Корреспондент журнала «Лайф» Джон Сэдови то же самое увидел иначе:

«Настало время последней схватки у входа в здание. Из дома вынесли малыша. Люди взяли его на плечи. Это был мальчик лет пяти, он вертел головой, удивляясь неистовой суматохе вокруг. «Не убивайте его! Пусть живет!»— раздались крики. Ребенок был сыном одного из находившихся в здании офицеров УГБ. После того что мы наблюдали минуты назад, вид его личика вернул меня к действительности. Они все-таки были людьми, а то, что я видел, было кошмарным сном, от которого пробудил меня этот малыш».

Тогда уже заговорила и венгерская пресса.

Газета «Непсава»:

«Зеленеет газон, колеблются ветви деревьев, дети играют на ступенях театра имени Эркеля — все светится миром и покоем. Течет повседневная жизнь... Перед зданием будапештского горкома партии тормозит грузовик. Из-под брезента торчат свиные туши. Начинается разгрузка. У гастронома на углу стоит длинная очередь. Взгляды вопрошающе устремлены на грузовик, полный мяса. Скоро разгрузка заканчивается, и пустая машина уезжает. Приближается вооруженный отряд. Люди из очереди рассказывают повстанцам о подозрительной сцене. Для якобы пустого горкома грузовик мяса? Невероятно. Отряд решает обыскать здание. Изнутри гремит выстрел. Завязывается перестрелка. Очередь прячется в подворотню. Прибывает подкрепление. Бой длится несколько часов. Наконец превосходящие силы берут верх. Ненадолго все затихает, затем из окон на мостовую летят тяжелые пачки бумаги. Это личные дела. Их поджигают. Погибших и раненых в бою очень много».

«Венгерская независимость»:

«Как известно, борцы за свободу в вооруженной борьбе сломили сопротивление группы, засевшей в бывшем горкоме партии, одиннадцать человек из тех, кто стрелял по мирным жителям, погибли в перестрелке. Ясно, однако, что в горкоме находилось значительно больше людей. После захвата здания на кухне обнаружили большое количество полуготовых блинчиков, а также котлет, которых с избытком хватило бы более чем на сто человек. «Госбезы» тем не менее бесследно исчезли».

Безымянный корреспондент той же газеты:

«Держа в руках флаг с огромным красным крестом, на площадь вышли медсестра и санитар с носилками, чтобы подобрать раненых борцов за свободу. И тут случилось то, чего в самые ужасные часы обеих мировых войн не позволяли себе злейшие, непримиримейшие враги: убийцы-«госбезы» открыли огонь, и шедшая впереди медсестра, обливаясь кровью, рухнула лицом вниз... До тех пор я ненавидел кровопролития и имел дело лишь с авторучкой, но тут схватил ружье и вместе с борцами за свободу ринулся в атаку».

«Студенческая молодежь»:

«На трех грузовиках к горкому подъехали «госбезы»; вбежав в здание, они заняли позиции у окон и без какой-либо причины открыли стрельбу по площади. Проходившие по ней люди, большей частью рабочие, в крайнем недоумении, сменившемся чувством негодования, обратились в отделения милиции сперва на улице Мошони, а позднее в кёбаньское. Прибывшие на площадь милиционеры обоих отделений открыли из укрытий огонь по горкому... Бой завершился не скоро, но в конце концов мы ворвались в здание. Схватили командира «гос-

безов», полковника УГБ, при котором оказалось несколько паспортов и двенадцать тысяч форинтов. Сбежать ему не удалось. Кроме него взяли еще семь пленных».

Много лет спустя главари повстанцев в своих мемуарах и заявлениях повторили эти холодящие кровь эпизоды.

...Гергей Понграц утверждает, будто даже не знал, что горком партии находится на площади Республики. Утром 30 октября один из повстанцев сообщил ему по телефону, что в них стреляют «госбезы». Понграц приказал до его прибытия в бой не вступать. На площадь он прибыл ближе к полудню с отрядом и тремя танками; выстрелами из пушек танки разрушили здание, после чего повстанцы заняли его. Понграц пытался сохранить жизнь попавшим в плен «госбезам», но ничего не смог поделать: толпа чуть не линчевала его самого.

Примечательны аргументы главаря «корвинцев»: «30 октября 1956 года законное правительство признало нас революционерами... Находившиеся же в горкоме «госбезы» и партийные функционеры... обратили против нас оружие вопреки правительственным решениям, противозаконно».

На другой день, продолжает Понграц, в сопровождении пятнадцати человек он вернулся в горком, чтобы попытаться отыскать вход в его казематы. Свежевскопанная клумба во дворе показалась повстанцам подозрительной. Разрыв ее, они обнаружили десятка два трупов молодых парней со связанными за спиной руками, убитых выстрелами в затылок.

Горком обыскивали несколько раз от подвала до чердака, на площади в те дни перебывали десятки тысяч людей, в их числе множество иностранных журналистов, охотившихся за сенсациями. Никто из них не упоминает об этих застреленных в затылок парнях, никто их не видел, никто не слышал о них, один только Гергей Понграц.

Ко всему этому прямо относятся слова Лесли Бэйна о том, что «ни об одном событии новой истории не лгали столько, сколько о 1956 годе». Цель приведенных цитат не в том, чтобы разобраться, что же случилось на площади Республики, а в том, чтобы стало яснее, каким образом разжигались страсти, нагнеталась атмосфера массовой истерии. Страну и без этого лихорадило, люди жили как в тумане, все возрастающие порции яда приближались к смертельной дозе. И это тоже один из существенных моментов событий 1956 года: люди не сами впадали в безумие, их подталкивали к нему.

В некоторых рассказах, например у Понграца, нет и крупицы правды... В других содержатся элементы реальности, но истина и при этом извращена. Один полковник действительно был повешен вниз головой, хотя это был полковник армии, а не госбезопасности. Замученных действительно бросали не хороня. Утром к горкому действительно подъехал грузовик, но привез он не свиные туши, а хлеб, консервы, мясо из комитета партии X района. Из здания горкома действительно вынесли малыша, сына посудомойки. Он сидел на плечах у горкомовского завхоза, а следом, полуживая от ужаса, шла мать; толпа чуть не растерзала их.

Свидетели этих эпизодов должны были видеть и остальное. Кто лгал сознательно, кого ослепило массовое безумие — определить невозможно. Но страна узнавала о событиях именно в таком виде, и в сознании миллионов, не присутствовавших при осаде горкома, запечатлелись именно выдуманные подробности.

Подлинные же события на площади Республики сегодня в основном поддаются реконструкции, хотя есть и неясные моменты...

Решение о захвате горкома повстанцы приняли 28 или 29 октября; операция была спланирована заранее. В осаде принимали участие в первую очередь две самые сильные группы: «корвинцы» и группа с площади Барошш, они и раньше действовали в тесной, постоянной взаимосвязи. Но участвовали и группа с площади Сэна, отряд, укрепившийся в здании редакции «Сабад неп», бойцы других, более мелких групп. Многие прибыли уже после начала боя, когда распространилась весть, что на площади Республики «госбезы» стреляют в народ. По весьма приблизительным подсчетам, осаду вели около пятисот вооруженных повстанцев; некоторые из них уже носили нарукавные повязки «национальных гвардейцев», имели официальные удостоверения. За боем следило несколько тысяч горожан.

Вечером 29 октября командир мятежников с площади Барошш Ласло Никельсбург приказал младшим командирам расстрелять четверых пленных и сам принял участие в казни. После этого он собрал группу и сообщил, что завтра они вместе с «корвинцами» атакуют здание будапештского горкома партии; находящихся там «госбезов» надо уничтожить. Отправиться на ночь домой он разрешил лишь живущим неподалеку, но и те должны были вернуться к шести утра. Был послан патруль: разведать, как охраняется горком... На рассвете Никельсбург с товарищами прибыл на площадь Республики; позади театра имени Эркеля они встретились с руководителями «корвинцев» и разработали план нападения... Вероятно, еще накануне прошел слух, что в горкоме «госбезы» содержат много пленных; в переулке Корвин будто бы говорили, что на площади Республики держат под арестом двух братьев Понграц и собираются их расстрелять. Проверить эти слухи очень трудно, однако они вполне соответствуют атмосфере тех дней.

Нападение стало возможным благодаря тому, что 29 октября охранявшие горком советские танки получили приказ покинуть Будапешт. Повстанцам противостояла только охрана, вооруженная ручным оружием.

30 октября в здании горкома кроме двух взводов солдат внутренних войск

находились восемь офицеров, три милиционера и около восьмидесяти штатских — это были работники аппарата горкома, хозяйственники, связисты, шоферы, кухонный персонал, уборщицы.

Солдаты и офицеры внутренних войск на рассвете получили милицейское обмундирование: Управление госбезопасности было распущено. Как именно это произошло, не ясно; в правительственном заявлении говорилось, что УГБ будет расформировано после создания новых вооруженных сил охраны порядка. У командного состава органов госбезопасности возможность освободиться от бремени обращенной на них ненависти вызвала, пожалуй, даже чувство облегчения. Можно представить, какое замешательство вызвало это известие у солдат. Кроме того, мятежников объявили революционерами; почему же тогда с ними надо сражаться? Но они сражались.

Утром 30 октября разведчики повстанцев несколько раз подходили к часовым и допытывались, кто находится в здании и чем занимаются. Один отряд даже прорвался внутрь, разоружил троих дежурных милиционеров, которым удалось скрыться, и захватил в плен семерых солдат. Тут их выбили из здания.

Массированный штурм начался около 10 часов. «Корвинцы» привезли с собой пушку, а к 11 часам прибыл танк, предположительно тоже из переулка Корвин. Обстоятельства их использования не ясны; окажись среди мятежников опытные, квалифицированные артиллеристы, они могли бы превратить здание в руины, рассеянные же выстрелы решающей роли не сыграли.

Секретарь горкома Имре Мезё и его товарищи непрерывно просили помощи у Совета Министров, министерства обороны, милиции, у армейских казарм, но, как неделю назад защитники радиокомитета, они получали лишь обещания.

Около двух часов дня на площадь Республики въехали шесть танков; головная машина произвела предупредительный залп из пушки и пулемета. Нападавшие тотчас отступили. Танки для спасения горкома направлены были по просьбе секретаря комитета партии XIII района Белы Биску из казарм на кольце Кароя Роберта. То, что произошло вслед за этим, до сих пор непонятно: три или четыре машины открыли огонь по горкому. По повстанцам не выстрелил ни один танк. Впоследствии танкисты оправдывались тем, что из горкома их обстреляли, а они лишь ответили. Это маловероятно, как и то, что танки открыли огонь по ошибке.

Вероятнее другое: охватившее страну смятение умов захлестнуло и армию; солдаты понятия не имели, где правда. Уже не только на улицах кричали, что «госбезы» — убийцы, само правительство заявило о необходимости распустить Управление госбезопасности. Уже не только люди между собой говорили, что мятежники правы,— радио и пресса называли их революционерами. Все это не снимает с танкистов ответственности за нарушение приказа. И они ведь не только повернули пушки в сторону горкома. Они наблюдали, как толпа линчевала защитников здания,— зрелище, ужаснувшее даже многих мятежников,— и не пытались этому воспрепятствовать, разве что не позволили повесить одного из солдат на пушечном стволе танка. Позже они, однако, не присоединились к повстанцам, а вернулись в свою часть.

Защитники горкома вскоре убедились, что против танков им не устоять. Вероятно, сказалось и отчаяние: присланные на помощь танки по ним же и стреляют. Имре Мезё принял решение сдаваться. Он настоял на том, что сам отправится на переговоры с мятежниками. Сопровождать его вызвались полковники Асталош и Папп.

Яношу Асталошу было 38 лет; по профессии ювелир, в 22 года вступил в подпольную компартию, был арестован, его пытали. В 1948 году стал политруком. Йожеф Папп на год старше, работал слесарем-механиком, затем радиотелеграфистом; с 1950 года — офицер-артиллерист.

С закрепленной на палке белой скатертью в руках трое парламентеров вышли из ворот горкома и направились к мятежникам. Едва они сошли с тротуара, их скосила пулеметная очередь. Убийцами, по всей вероятности, руководил Янош Мес, известный в преступном мире под кличкой Янко Деревянная Нога; в переулке Корвин он командовал артиллерией.

Все трое были еще живы. Имре Мезё положили в автобус и отвезли в больницу на улице Петерфи. Там он скончался от ран.

Лежащего на земле Асталоша топтали и били ногами, потом поволокли к театру имени Эркеля и, связав ему ноги проволокой, повесили на дереве вниз головой. В заключении судебно-медицинской экспертизы записано: «Пулевые ранения в голову сами по себе были смертельны; повешение вниз головой грозило смертью независимо от прочих увечий. Однако Асталошу еще выстрелили в живот, так что смерть могла вызвать и эта рана».

Йожефа Паппа тоже били, топтали, кто-то искромсал ему ножом грудь, несколько человек пытались вырвать у мертвого уже полковника сердце.

Горком пал, хотя небольшая группа во главе с Дёрдем Варкони, увидев, как расправились с парламентерами, продолжала борьбу. Смертельно раненного, но, вероятно, еще живого Варкони мятежники привязали за ноги к грузовику и протащили по площади.

Схваченных солдат, на ходу нанося им ножевые раны, избивая ногами, прикладами ружей, выводили на улицу. Толпу оттеснили в сторону и сперва одну, а затем вторую группу пленных поставили к стенке и расстреляли. Опубликованная в журнале «Лайф» серия фотоснимков этого расстрела, сделанных

Джоном Сэдови, облетела весь мир. Ужасны их избитые лица на фоне стены, против направленных на них ружей; те же самые лица, искаженные, сведенные судорогой, в момент выстрела; и еще раз все те же лица, но уже рухнувших наземь, мертвых солдат.

«Я стоял в метре от этой группы,— пишет Сэдови.— Вдруг один из них стал оседать. Стреляли, очевидно, в упор, между ребер. Все они валились на землю, как скошенная пшеница. Это было даже красиво. Еще один юноша выбежал из дома. Увидев, что его друзья мертвы, он повернулся и бросился в толпу. Повстанцы вытащили его оттуда. Я успел сделать один-единственный снимок, и с ним уже было покончено. И тут нервы мои не выдержали. Слезы лились по щекам. Три года я был на войне, но виденное там не идет ни в какое сравнение с этим ужасом».

Один из солдат где-то раздобыл штатское пальто. Когда его вместе с остальными вытолкнули из подъезда, в толпе закричали «Штатский пусть уходит!» Солдат крикнул в ответ «Я с ними!» Ударом приклада его сбили с ног и расстреляли. Звали его Ласло Элек, ему был 21 год.

Что это было: политическая убежденность, человеческий жест, инстинктивный поступок?

Все павшие в тот день солдаты внутренних войск были рабочими и крестьянами. Самому старшему исполнилось 23 года. Членом партии был только один.

Погибли 32-летний преподаватель партшколы Петер Лакатош, 40-летний парикмахер Ласло Шульц, работавший при горкоме, 39-летняя работница аппарата горкома Ева Каллаи, когда мятежники подступили к ней, выбросилась из окна третьего этажа. В 23 года она стала членом подпольного Всевенгерского комитета молодежи, работала плечом к плечу с Эндре Шагвари. После ареста жандармы зверски пытали ее; сочтя мертвой, накрыли тело бумагой. Она не хотела испытать такое во второй раз. Вся искалеченная, она жила еще полгода, прикованная к больничной койке.

Жертвами осады стали секретарь горкома, три работника аппарата, два армейских полковника и один подполковник, 18 солдат внутренних войск. Большинство погибли не в бою, а были растерзаны и расстреляны после захвата здания.

В этих цифрах отражено не все. Десятки людей были ранены, из одного хирурги извлекли 13 пуль, некоторые до конца жизни остались калеками. Многие уцелели лишь потому, что их вырвали из рук озверевшей толпы, доставили в больницу, помогли переодеться, укрыться, бежать.

Больница на улице Петерфи входила в зону влияния группы с площади Барошш, в ней даже расквартировался один из отрядов повстанцев, который к началу осады горкома направил на площадь Республики с десяток машин «скорой помощи». Врачи и медсестры, возможно, сочувствовали мятежникам, но подобная резня наверняка вызвала в них отвращение, и они всеми силами стремились спасти раненых. Помочь им отваживались и некоторые из наблюдавших за осадой. Среди повстанцев тоже встречались такие, кто, хоть и участвовал в бое, от линчевания пришел в ужас. Как тот мужчина, примерно сорока лет, в синем берете и милицейском плаще, который помог спрятаться Карою Томпе и нескольким его товарищам, раздобыл для них штатскую одежду и тайком вывел из горкома. По сей день мы не знаем, кто это был.

Конечно, революции и контрреволюции, мятежи и государственные перевороты без убийств не обходятся; смерть, число погибших — это такие вещи, по которым еще нельзя судить о характере выступления масс. При штурме радиокомитета погибло вдвое больше защитников, и все-таки символом, вечным напоминанием стала кровавая бойня на площади Республики. Это была уже явно организованная акция. И здесь наиболее страшную форму приняло массовое безумие, оргия вырвавшихся на волю звериных инстинктов; причем этот психоз разжигался сознательно. Мучили, истязали не только живых: убитым топтали каблуками лица, дробили кости железными прутьями, ножами кромсали тело. До 3 ноября трупы не позволяли убрать с площади. Останки нескольких защитников так и не были найдены. То, что случилось на площади Республики, был сам ад, само безумие...

Численность повстанцев в первые дни оценивают в несколько сотен человек. В свете этого поразительно велико количество убитых и раненых. По сводкам похоронного бюро, в Будапеште с 23 октября по 2 ноября в вооруженных столкновениях погибло около тысячи человек. Очень многие, предположительно несколько сотен, были погребены на площадях, пустырях. По не поддающимся проверке данным, в больницах за те же дни была оказана медицинская помощь 7—8 тысячам раненых.

Число жертв было наибольшим в первые дни, и это нельзя объяснить лишь осадой радиокомитета, залпами на площади Лайоша Кошута. На мой взгляд, количество действовавших в это время вооруженных повстанцев сильно преуменьшено. Несколько сотен их находилось в разных узловых пунктах, но еще очень многие слонялись по городу мелкими группами. Сколько именно — подсчитать невозможно, но число жертв свидетельствует, что их было немало. Советские танки обстреливали лишь опорные пункты на главных магистралях, где горожане перебрались в подвалы, так что снаряды не причиняли им вреда. Венгерские же армия, внутренние войска атаковали разрозненно и малыми силами.

...О тех, кто взял в руки оружие в первые дни, сведения сохранились крайне скудные; одни приходили, другие уходили, люди менялись; до нас дошли имена лишь немногих. В основном это была

молодежь, относительно много учащихся, студентов; большинство их вечером расходились по домам и утром уже не возвращались. Известно об одном парикмахере, который участвовал в боях, когда у него не было клиентов. О чиновнике, который с утра отправлялся за продуктами для семьи, на час-другой ввязывался в перестрелку, потом относил домой хлеб, масло, муку, сахар и шел на службу обсудить события, а по окончании рабочего дня возвращался в свою квартиру и засыпал в супружеской постели. Был один ловкий и смышленый студент политехнического института, он жил в общежитии и подрабатывал репетиторством; у радиокомитета он подобрал автомат убитого повстанца, таскал с собой и в перерывах между частными уроками участвовал в налетах на советские танки...

Приказ о прекращении огня Имре Надь издал в надежде на то, что повстанцы сложат оружие. Желающим предлагался и другой вариант: вступить в Национальную гвардию. Мы знаем, что генерал-майор Варади в ходе переговоров пригрозил «корвинцам»: если не сложат оружие, против них будет предпринята массированная атака. Знаем и результат: оружия повстанцы не сложили, группы их не только не распались, но даже выросли численно.

...Число повстанцев стало стремительно возрастать, когда перестрелки стихли и непосредственная опасность для жизни миновала. 4 ноября, когда бои возобновились, численность групп снова упала. Состав их в этот период известен уже лучше. Школьники исчезли; несмотря на усилия правительства, так и не были сформированы студенческие отряды «национальной гвардии». Росло количество чернорабочих из провинции, не имевших возможности уехать домой; повстанцы с площади Барошш регулярно пополняли свои ряды за счет провинциалов, болтавшихся на Восточном вокзале в ожидании поезда. Основным же источником пополнения повстанческой армии стал к тому времени преступный мир.

Первых заключенных освободили 25 октября, а к 4 ноября из тюрем, колоний на волю их вышло около 13 тысяч, в том числе 10 тысяч уголовников. Понграц пишет, что 31 октября он вызвал десятерых бойцов своей группы, которые, как ему было известно, «по разным обстоятельствам отсидели срок», и поручил им проверить, из всех ли тюрем выпустили заключенных.

Освобождения осужденных требовали многие. Беззакония так глубоко запечатлелись в сознании людей, что теперь любой арестант в их глазах обладал ореолом мученика. К тому же, оказавшись на свободе, уголовники и не думали похваляться былыми делишками, а тотчас перевоплощались в «политических». Освобожденные политзаключенные тоже не были сплошь жертвами беззакония, среди них немало было военных преступников, охранников, нилашистских чиновников и партаппаратчиков, агентов жандармской полиции, генералов и юташских фельдфебелей[4], даже министров и высокопоставленных чиновников хортистского режима...

Менялась не только численность повстанческой армии, ее состав, но и ее роль. Советские части покинули Будапешт, перемирие вступило в силу, уличные бои прекратились. Патрулирование улиц и проверку документов повстанцы считали своей задачей с первого дня. Поначалу они прежде всего искали оружие, охотились за «госбезами», останавливали и конфисковывали автомашины.

Проверять документы они продолжали и в период перемирия, но уже официально, в качестве «национальной гвардии». Если человек был обут в сапоги, коричневые полуботинки, если на нем были брюки из ткани военного образца, сорочка защитного цвета, голубые петлицы летчика, если просто лицо показалось патрулю подозрительным — человек мог считать, что ему повезло, когда он отделывался бранью в свой адрес, пинками или арестом.

Главным занятием повстанцев в это время была охота на людей. Все методичнее прочесывали они город, разыскивая уже не только работников госбезопасности: в их списках фигурировали партийные функционеры, офицеры милиции, прокуроры, государственные руководители, директора, судьи, кадровики, следователи, а то и личные враги кого-нибудь из повстанцев или доносчиков. В захваченных общественных зданиях, райкомах партии, отделениях милиции они собирали личные карточки, но проверяли и картотеки больниц, детских садов, яслей, добывали сведения у задержанных. За некоторыми подозреваемыми или жертвами доносов поисковые группы отправлялись за пределы столицы. Город вновь поразила эпидемия страха. Сотни людей покидали свои дома, прятались у родных, друзей, бежали в Чехословакию, Румынию, Югославию, спасаясь от смерти. Появилось официальное объявление: работники УГБ должны добровольно явиться в тюрьму, где их возьмут под стражу и расследуют их деятельность. И некоторые являлись, если некуда было скрыться, если опасались доноса жаждущих крови соседей, проверки документов, рассудив, что лучше пойти самим, чем ждать, когда за ними придут. В тюрьме действительно было безопаснее, нежели в плену у повстанцев.

По мере того как среди повстанцев росло число уголовников, все чаще становились случаи воровства, грабежа под видом ареста или обыска, все больше было разграбленных магазинов, универмагов. В пораженной параличом стране, где на заводах и в учреждениях не работали, министерства и ведомства бездействовали, милиции не было, улицы

[4] Юташскими фельдфебелями называли в хортистской Венгрии выпускников унтер-офицерской школы в предместье города Веспрем—Юташе. Младших командиров для армии и жандармерии там воспитывали в духе жестокости, ненависти к народу, выбивая из них все человеческое.

не подметались, письма не доставлялись, поезда, трамваи, автобусы не ходили, школы, детские сады, ясли были закрыты,— армия мародеров становилась все сильнее, организованнее, все лучше вооружалась.

Из разношерстных повстанческих отрядов формировались взводы, роты, батальоны. «Корвинцы» стали отдельным полком, подчинявшимся лично и исключительно Беле Кираю; у них были свое главное командование, своя канцелярия, свои тыловые службы, артиллерия, военные советники, следственная часть, гауптвахта, медпункт, интендантский взвод, кухня, склады, оружейная мастерская, отряд агитмассовой работы, разведрота, караульный взвод, офицеры связи. И до тех пор тесно связанные между собой группы стали частями слаженного, управляемого из единого центра механизма. Анархия очень скоро убедила, какая большая сила таится в организованности. Даже если этот слаженный механизм существовал пока лишь на бумаге. Государственная власть бездействовала, на ее место заступила «национальная гвардия»...

Комитет революционных вооруженных сил официально был образован 31 октября ...с целью восстановления и поддержания порядка. Но устанавливал он свои собственные порядки. Комитет начал работу с того, что содействовал созданию легенды о катакомбах под площадью Республики, той мифической сети казематов, которая представлялась жителям страны — да простят их павшие — ужаснее, чем расправа над защитниками горкома партии.

Еще не высохла на площади кровь убитых, в здании еще мародерствовали, жгли, толпу еще распирало от ненависти и рвало от содеянных зверств, когда разлетелся слух: под горкомом, под площадью Республики находится секретная тюрьма, лабиринт подвалов, где томятся невинные узники и прячутся кровопийцы-«госбезы».

Еще на инструктаже группы, пришедшей с площади Барошш, было сказано: горком надо захватить для того, чтобы освободить заключенных. Горком пал, здание обшарили от подвала до чердака, но ни узников, ни охранников не нашли. Еще один повод для подозрений: молва твердила о сотнях засевших в горкоме «госбезов», налицо лишь горстка, куда же делись остальные? Как именно возникла легенда о катакомбах под зданием горкома, неизвестно. Химеры, призраки — тоже плоды «народного творчества», они тоже порождаются коллективным сознанием.

Западногерманский журналист Васерман, который в 1956 году полгода провел в Венгрии и Польше и который, как он сам утверждает, присутствовал на площади Республики, пишет:

«Перед нами (говорит ему сопровождающий.— Л. Д.) одна из штаб-квартир тайной полиции и ее тюрьма. Как видите, здесь были тяжелые бои. Перед входом еще лежат останки полицейских, лежат, как упали — под пулями ли, или выброшенные из окон. Нам некогда убирать трупы. Смотрите, брусчатка площади выложена мозаикой. Работа завершена недавно. Я потому говорю об этом, что свежая брусчатка многое объясняет. Не так давно люди услышали стук, повторявшийся через определенные промежутки времени. Сначала они не догадывались, откуда он раздается, потом установили, что из-под заново вымощенных участков площади. Стало ясно, там должны быть подвалы или какие-то другие помещения, а в них — люди. У тайной полиции там или подземная тюрьма, или убежище на случай такого нападения, какое было на днях. Мы, правда, не знаем, где вход в подвалы, не знаем, кто в них находится. Несколько часов назад на площадь вышел последний тайный агент из тех, что забаррикадировались в здании. Борцы за свободу узнали его и тотчас же застрелили. Теперь уже не у кого выяснить, как можно попасть в подвал и что там за узники. Не знаем и где найти «госбеза», который бы ответил на эти вопросы. Стук из-под земли слышится постоянно. Может быть, это стучат пленники «госбезов», отрезанные от мира, им нечем дышать, нечего есть и пить, и они в отчаянии ждут освобождения. А может, там семьи «госбезов» и тайных агентов. Если бы наши бойцы были уверены, что внизу «госбезы», они взорвали бы всю площадь. Уже не один час продолжаются поиски входа, но пока безуспешно. Потом вдруг пронесся слух, что стук — уловка тайной полиции: они хотят завлечь туда людей и потом подорвать динамитом. Поэтому мы стараемся как можно скорее удалить всех отсюда. Нам с вами тоже пора уходить».

Продолжение этой версии мы находим у другого так называемого очевидца, Иштвана Толлаша:

«На площадь я прибыл около двух часов дня, когда в здании оставалось лишь несколько «госбезов». Многотысячная толпа на площади пришла в волнение. Все наклонили головы к земле и прислушивались. Я тоже ясно услышал доносившийся снизу стук, поскольку транспорт не ходил и люди умолкли. Стук под землей было слышно от площади до Восточного вокзала, то есть на протяжении метров трехсот. Мы заподозрили недоброе; ведь уже ходили слухи о подземных тюрьмах политической полиции. У нас крепла уверенность, что внизу должен быть тоннель, куда, по всей вероятности, загнали схваченных на днях «госбезами» борцов за свободу. По радио объявили: лица, что-нибудь знающие об этих подземных помещениях, должны немедленно явиться в революционный совет. Никто не пришел. В то же самое время были собраны инженеры, работавшие на строительстве метро, но и они ничего не смогли прояснить, поскольку эти подземные тюрьмы, как известно, строили по секретным русским проектам узники, приговоренные к смерти или пожизненному заключению.

Стук продолжался. Революционный совет направил на площадь специальную

военную команду с соответствующим снаряжением; в нужных точках они установили буровые вышки, чтобы попытаться наладить связь с находящимися внизу. Пригнали и другие строительные машины, стали копать. Мы думали, что нашли объяснение, каким образом «госбезы» исчезли из горкома. Захватив здание, повстанцы наткнулись в подвале на железные двери, закрывавшие вход в подземелье. Открыть их можно было только электронным сигналом. За время, которое было в нашем распоряжении, мы, к сожалению, не сумели отпереть ни одну из дверей. Этот подземный ход был связан с городской системой канализации. Мы подумали, что оставшиеся в живых «госбезы» через него и скрылись от нас. Двери обнаружены были и в канализационной сети, мы предприняли все усилия, чтобы их открыть.

Взорвали лифт в штаб-квартире «госбезов», но ничего под ним не нашли. Остальные входы нам, к сожалению, отпереть не удалось — помешало повторное нападение русской армии на Будапешт. Таким образом, тайна подземных ходов осталась нераскрытой».

Западные и уехавшие на Запад венгерские журналисты в разных вариациях повторяют то, что писала в те дни будапештская пресса. Легенде о катакомбах поверили не только Париж, Лондон, Нью-Йорк, но и сотни тысяч жителей Венгрии. За происходившим на площади Республики следили тысячи горожан, сотни ложились на мостовую рядом с трупами замученных защитников горкома, прижимались ухом к земле и, как им казалось, слышали загадочный стук. А пресса, закусив удила, продолжала нагнетать страсти.

Профсоюзная газета «Непакарат» еще относительно беспристрастнее других: «Здание горкома уже обследовано, ищут вход в подземелье. Обнаружена бронированная дверь в бетонной стене, которую, однако, голыми руками открыть невозможно. Вечером саперы собираются взорвать ее... В полночь на площади Республики по-прежнему кипит работа. Экскаватор упрямо вгрызается в землю. Копают около театра имени Эркеля. У нас под ногами зияет яма размером десять на пятнадцать метров. Она все глубже, глубина скоро достигнет восемнадцати метров. Железные зубья ковша ломаются... увязают в плотной почве... Экскаваторщика подбадривают, торопят... Похоже, дело приближается к разгадке тайны. Одновременно продолжается тихоходочная работа в подвале горкома. Как заявил сегодня один инженер, искать надо под шахтой лифта».

Другие газеты куда решительнее. «Будайский вестник»: «Во время ликвидации горкома партии на площади Республики группа неизвестных пока людей оказалась в многоярусном подвале здания... Вход в подвал до сих пор не обнаружен, но, очевидно, что находящиеся там люди пытаются выбраться, снизу постоянно доносится стук».

Заголовок в газете «Мадьяр немзет»: «Подземная тюрьма под будапештским горкомом коммунистической партии». «Едва затих грохот боя,— пишет репортер,— из разных точек площади известили, что слышат доносящиеся из-под земли звуки гулких, сильных ударов. Из этого можно было сделать вывод, что под площадью находится разветвленная сеть бункеров, подземный лабиринт, построенный палачами — приспешниками террористического режима,— по всей вероятности, в качестве секретной тюрьмы»... Из другого номера той же газеты: «В четверг люди, буравшие одну из шахт, наконец-то услышали далекие голоса. С очень большой глубины доносился крик о помощи. «Освободите нас! Мы хотим жить!»— глухо звучало из-под земли. «Сколько вас?»— крикнули сверху. «Сто сорок семь»,— был ответ... По звуку голосов удалось приблизительно установить: люди находятся на глубине восемнадцати—двадцати метров».

Управление госбезопасности действительно имело в Будапеште секретные тюрьмы. Трагичность положения заключалась в том, что лучше всех об их существовании знали коммунисты. Именно их там держали, их допрашивали. И дознавателями, охранниками тоже были коммунисты.

Площадь Республики (бывшая площадь Калмана Тисы) приняла свой нынешний вид в начале века; в соответствии с тогдашними традициями под ней вполне могла быть система подвалов. Новый строй и здесь совершил ошибку, не порвав решительно с прошлым; это часто бывает во время революции. Здание будапештского горкома, где после освобождения Пешта была образована Коммунистическая партия, являлось прежде центром фольксбундовцев, живущих на территории Венгрии немцев, здесь размещалось местное отделение гестапо; подобным же образом в центре новой политической полиции в доме № 60 по улице Андраши раньше была штаб-квартира нилашистов. Здания тоже хранят воспоминания, идеи, они впитываются в стены и живут. Не следовало бы коммунистам размещаться там, где размещались фашисты. Даже если город лежал в руинах, а эти дома по воле случая остались целыми и невредимыми.

Все это, однако, дало лишь несколько лишних кирпичей для катакомб на площади Республики. Основой их была недавняя история Венгрии. Залитый костер революции осенней розы [5] и советской республики, не усвоенная глубоко, но уже поднятая на дыбу вера в их идеалы, окруженные ореолом геройства секиры доблестных палачей в лайковых перчатках [6], четвертьвековой режим сухопутного адмирала [7], расчлененная Три-

[5] Так называют в Венгрии буржуазно-демократическую революцию 31 октября 1918 года: солдаты и рабочие вместо значков прикалывали на шапки астры (по-венгерски — «осенние розы»).

[6] Имеется в виду пришедший на смену необузданному белому террору узаконенный террор, лежавший в основе политики хортистского режима по отношению к демократическим движениям.

[7] Так называли регента Миклоша Хорти имевшего чин адмирала.

аноном страна[8], контрреволюция, благоухающая чистой мужественностью Тихамера Тота[9] и духами венгерских дам[10], мошенническое перемигивание с англосаксами[11], в то время как Венгрия на стороне немцев воевала с Советским Союзом, нилашистский террор, несколько сотен тысяч уничтоженных венгерских евреев, «детские болезни» нового строя, фанатизм, аплодисменты, переходящие в овации, диктатура, раболепство, страх запуганных, нечистая совесть запугивающих, вопли зарвавшихся, вызванное спесью неофитов самобичевание, рухнувшая вера, порожденное химерами разочарование.

Я сказал только о наших преступлениях, из преступлений же вырастают кризисы. Убежденность Аттилы Йожефа в том, что память вносит в историю мир, мы разменяли на мелочь. Мы полагали, что за годы, десятилетия прошлое истлеет, исчезнет, и не заметили, как атмосфера в стране насытилась ядовитым газом, парализующим мысль, как концентрация этого газа стала взрывоопасной, и оказалось достаточно поднести факел, чтобы раздавшийся взрыв разметал сознание сотен тысяч.

...У нас нет доказательств, что главной целью повстанцев был захват будапештского горкома партии, а не уничтожение находившихся там работников госбезопасности. Не в этом суть. Лабиринт — доказательство того, что штурм на площади Республики, независимо от его тактических целей, был направлен уже не против партийного комитета, не против органов госбезопасности, а против строя, утвердившегося в Венгрии всего несколько лет назад.

Газета «Мадьяр немзет» писала: «Все население Будапешта задает законный вопрос: почему существуют средневековые тюрьмы, подземные казематы и коридоры, а главное — каким образом узники попадают в подвал будапештского комитета партии?»

Катакомбы стали символом, стигмой нового строя. Не имело значения, что Имре Мезё был противником политики Ракоши, что защищавшие здание двадцатилетние новобранцы — рабочие и крестьянские дети, чьего жалованья хватало самое большее на стакан вина с содовой в выходной, что в горкоме не было офицера госбезопасности рангом старше младшего лейтенанта, что вниз головой были повешены полковники армии, что работники горкома были такие же люди, как все остальные граждане страны, что солдаты внутренней службы членами партии не являлись, что под площадью Республики не было тюрем, а в несуществующих тюрьмах не было ни охранников, ни жертв. Обуявшее толпу массовое безумие обрушилось уже не на служащих госбезопасности, не на горком партии, а на новый строй в Венгрии. В катакомбах площади Республики воплотилось помутившееся сознание страны и замыслы, цели тех, кто стремился лишить людей способности к здравомыслию.

5. Эндшпиль

28 октября было объявлено перемирие, оглашена новая правительственная программа. На другой день в 6 часов утра по радио зачитали передовую статью «Сабад неп». Газета вышла на двух листах большого формата... Под названием — крупное изображение герба Кошута.

Заголовок передовицы: «Светает...» Газета констатирует: народное движение победило. Выполняются два главных требования: советские части покидают столицу, Управление госбезопасности ликвидируется. Вооруженных повстанцев привлекают к охране порядка. Газета отмечает, что в ряды повстанцев проникли контрреволюционеры. О партии в передовице ни слова, упоминается только правительство, Имре Надь. Заголовок противоречит содержанию статьи. Рассвет — это начало. Победа — завершение.

Публикуются прозвучавшая накануне речь Имре Надя, выступление Золтана Тилди по радио, приказ министра обороны Кароя Янзы о прекращении огня, призыв ЦК партии ко всем коммунистам оказать поддержку правительству, сообщение об образовании президиума партии. Газета возражает «Правде»: то, что произошло в Венгрии, не является контрреволюцией.

Помещена также принятая 28 октября программа Революционного совета венгерской интеллигенции (МЕФТ), она состоит из десяти пунктов. Совет был образован в Будапештском университете, манифест подписали известные люди, большей частью — из группы сторонников Имре Надя: от имени Революционного студенческого комитета — Иштван Пожар, Йожеф Молнар, Янош Варга, от Союза писателей — генеральный секретарь Шандор Эрдеи, от Союза журналистов — Шандор Хэрасти, Миклош Ва-

---

[8] В 1920 году по Трианонскому мирному договору, зафиксировавшему распад Австро-Венгерской монархии, Венгрия лишилась двух третей территории, которые были присоединены к Австрии, Чехословакии, Румынии и Югославии.

[9] Тихамер Тот (1889—1939) — римско-католический священник, писатель, один из наиболее заметных идеологов-клерикалов, поддерживавших режим Хорти; автор многих нравоучительных книг, адресованных юношеству, на одну из которых — «Чистая мужественность» (1924), — очевидно, и намекает Л. Дюрко. Тихамер Тот проповедовал религиозность, послушание, внутреннее самосовершенствование.

[10] Намек на законодательные меры по укреплению фашистского режима, одной из которых стало ограничение избирательных прав в 1924 году; по введенному закону, женщины могли участвовать в выборах только по достижении 30-летнего возраста и при наличии минимум 6-классного образования, что фактически означало лишение избирательного права трудящихся женщин.

[11] Начиная с 1941 года хортистское правительство постоянно вело закулисные «посреднические» переговоры с Англией и США, заранее обсуждая с ними послевоенную расстановку сил в Европе. В 1942 году ему удалось добиться договоренности, по которой Венгрия обязалась не обстреливать англо-американскую авиацию, за что США и Великобритания обещали не подвергать бомбардировкам венгерские города и транспортные коммуникации. Это было выгодно фашистской Германии, поскольку 60 процентов венгерской промышленности работало на нее.

шархейи, Иван Болдижар, Шандор Фекете, от Союза художников — Ласло Бенце, Йожеф Шомоди, от Союза музыкальных деятелей — Эндре Сервански, Пал Ярдани, от университетских преподавателей — Тамаш Надь, Матэ Майор, Иван Кадар, Дёрдь Маркош, от народных коллегий [12] — Ласло Кардош, Отто Тёкеш, от кружка имени Петефи — Габор Танцош, Балаж Надь, от МЕФЕС — Дёрдь Либик.

Воззвание несколько отличается от правительственной программы. Оно содержит требования вывода советских войск из Венгрии, расторжения невыгодных торговых договоров, демократизации профсоюзов, отмены продразверстки, возмещения убытков крестьянам, увеличения заработной платы, образования рабочих советов, разрешения частной торговли, свободы слова и печати, выборов с тайным голосованием и несколькими кандидатами и «приглашает всех героических повстанцев, все вооруженные группы, а также рабочую и крестьянскую молодежь, студентов, членов кружка имени Петефи и воспитанников народных коллегий вступать в Национальную гвардию». Слово «социализм» в манифесте не фигурирует, однако в пункте 4 сказано: «Заводы и земли капиталистам и землевладельцам мы ни в коем случае не вернем». События, названные в правительственном заявлении народным движением, интеллигенция характеризует как национально-освободительную борьбу.

Программа МЕФТ заслуживает внимания не столько содержанием, сколько самим фактом своего появления. Интеллигенты, сыгравшие немалую роль в духовной подготовке 1956 года, организации демонстрации, содействовавшие приходу к власти Имре Надя, предприняли последнюю попытку повлиять на события. Уже решение о демонстрации принимал не кружок имени Петефи, а МЕФЕС, во времена коалиции — высший орган студенческой молодежи, вновь образованный 16 октября 1956 года в Сегедском университете. Той же осенью возродился и НЕКОС — Всевенгерский комитет народных коллегий, являвшийся после освобождения Венгрии одной из самых значительных молодежных организаций. После 23 октября ни эти организации, ни Союзы писателей и журналистов уже не играли никакой роли, и хотя названия их еще встречались в отдельных призывах, воззваниях, возможности влиять, организовывать, действовать у них не было. Это тоже показатель направления развития событий и перемен в составе их участников.

...Кроме центральной программы радио «Кошут» в эфир в тот день вышли и две периферийных радиостанции.

«Национальный совет области Дьёр призывает правительство решительно положить конец вооруженной борьбе и сообщить об этом народу страны по радио. Если этого не произойдет, народ Задунайского края, как один, поспешит на помощь Будапешту».

Мишкольцское радио передало заявление Рабочего совета и Студенческого парламента области Боршод, в котором они отказались принять провозглашенную Имре Надем правительственную программу. Советские войска должны покинуть не только Будапешт, но и страну; состав правительства и президиума партии не устраивает народ: в них остались ракошисты. «Компромиссные обещания, которыми правительство пыталось обмануть людей, не удовлетворяют нас. Мы по-прежнему ждем полного и до конца выполнения требований, а не компромиссов».

Имре Надь, вероятно, полагал, что, как только прекратятся бои, ничто не помешает осуществлению его программы. Ему не терпелось заняться реорганизацией политической и экономической структуры, чего страна с нарастающей силой требовала уже много месяцев. Он считал, что создал для этого все условия: заново сформировал правительство и партийное руководство, объявил перемирие.

Однако не успели стихнуть выстрелы, как вслед за повстанцами у правительства объявились новые противники. Глядя из нашего времени, отчетливо видишь: страну уже заботило не то, что несколько дней назад,— не отмена продразверстки, не упорядочение зарплаты и норм выработки, экономические реформы, демократизация партийной жизни.

«Одно за другим поступают со всех концов страны сообщения об образовании городских и областных рабочих советов и национальных комитетов,— писала 28 октября «Сабад неп».— Сколько сообщений, столько разных названий. Но одно у них общее: это самодеятельные народные органы, вызванные к жизни крепнущим духом демократизма».

...Уже 24-го, а особенно после 25 октября в стране как грибы стали вырастать органы с самыми разными названиями: национальные комитеты и комиссии, рабочие советы, советы предприятий, революционные советы, революционные комитеты. Выступать с оружием в руках хотела лишь небольшая часть масс, но очень многие изъявляли желание участвовать в общественной жизни страны.

Это желание натолкнулось на реальную преграду: государственный аппарат был парализован и за несколько дней полностью распался. А в Венгрии ему было подчинено и производство. Заводы, сельхозкооперативы, учреждения рабо-

[12] «Народные коллегии» в первый период после освобождения Венгрии призваны были в кратчайший срок ликвидировать отставание народных масс, и особенно крестьянства, в области образования и культуры. Дети из бедняцких семей жили в них на полном государственном обеспечении, получая школьное, а потом и высшее образование. «Народные коллегии» обеспечили стране приток новой интеллигенции, тесно связанной с трудящимися массами; многие их воспитанники стали видными деятелями культуры демократической Венгрии. Весной 1948 года в 120 «народных коллегиях» обучалось и воспитывалось около 10 тысяч юношей и девушек. Осенью 1948 года движение «народных коллегий» подверглось безосновательно резкой критике со стороны руководства ВКП, и вскоре они были закрыты.

тали по приказам из министерств, центральная власть — по директивам партийного руководства. И когда на партийное руководство обрушились заботы более жгучие, чем текущие дела, его ведущая роль в жизни страны практически кончилась, оно выпустило из рук поводья.

Насколько «национальные гвардейцы» по сути не были коммунарами, настолько же рабочие советы и национальные комитеты лишь внешне копировали советскую модель. В период становления советской власти выборные органы по месту работы и жительства взяли на себя управленческие и контролирующие функции на производстве, во всех сферах жизни. В Венгрии с 24 октября заводы стояли, учреждения бездействовали, так что управлять в этом отношении было нечем. Советы и комитеты с самого начала играли чисто политическую роль. Состав их изо дня в день менялся. Изменения вызывались не только переменами в общественном настроении, но и личными качествами, организаторскими способностями, напористостью лидеров. Кто вставал во главе, тот и формировал общественное настроение.

По мере того как комендантский час и вооруженные столкновения все сильнее парализовывали жизнь, выбор становился все формальнее. Сначала коллективы просто прекратили работу, потом — не без участия повстанцев, рабочих советов и революционных комитетов — это стало называться забастовкой. «Стачка со всеми удобствами», как тогда говорили. Существенный штрих к картине 1956 года: бастующие получали — и принимали как должное — от государства зарплату, хотя бастовали именно против него. Рабочие, служащие, чиновники приходили в свои цеха и отделы только затем, чтобы обсудить новости, обменяться мнениями, поспорить.

Структура сама по себе еще не определяет суть системы. В дни Парижской коммуны власть советов родилась из реальности, в нее уходили корнями идеология, социальные институты. Но подобная организационная форма, вероятно, возникает везде, где рушатся механизмы власти, управления, порядка. Дальнейшая же трансформация возникших органов отражает глубокие подводные течения. Советы Парижской коммуны и русские Советы становились по ходу событий все левее, а венгерские советы и комитеты — все правее. В 1956 году формировали общественное настроение именно они, все более склоняясь к экстремизму, все более громогласно. Газета Национального комитета Кишпешта [13] требовала, чтобы в рабочие советы избирались патриоты до мозга костей, которые не замарали руки и при прежней системе. Объединенный рабочий совет Секешфехервара заявлял, что надо очистить рабочие советы от лиц, «чуждых освободительной борьбе»: «Бдительно следите, чтобы прислужники прежнего режима, явные и тайные враги революции не проникли в ваши ряды! Если уже существующие рабочие советы не отвечают этим требованиям, переизбирайте их!» Революционный национальный комитет Уйпешта [13] вынес решение о том, что «лица, выполнявшие какие бы то ни было функции при режиме Ракоши, не имеют права избирать и быть избранными. Например, директор предприятия, партийный секретарь, председатель совета предприятия, служащие отдела кадров, лица, имевшие отношение к органам охраны порядка, партизанским отрядам, и все те, кто активно поддерживал террористическую систему или сочувствовал ей. Лица, относящиеся к какой-либо из перечисленных категорий, но уже избранные в действующие рабочие советы, подлежат немедленному выводу из них».

...За несколько дней из рабочих советов, революционных комитетов исчезли не только коммунисты и другие приверженцы левых взглядов, но и рабочие. Из 24 членов Национального комитета Чепеля, крупнейшего заводского района столицы, 31 октября лишь четверо были рабочими.

Рабочий класс сформировался в Венгрии в последней трети прошлого века, когда в стране стала бурно развиваться промышленность. Реакция, наступившая после поражения советской республики, обезглавила его, лишила силы его организации; мировой экономический кризис поверг рабочих в нищету. Подготовка к войне увеличила численность рабочих, военная конъюнктура повысила им заработки, упорная деятельность социал-демократов и профсоюзов укрепила их организованность. Семена радикализма взращивали в рабочих не только коммунисты, но и спекулировавшие на интересах трудящихся фашисты.

Война окончательно подорвала организованность рабочего класса. Многие попали на фронт, а режим военных предприятий, работа на которых, правда, гарантировала верный кусок хлеба, хороший заработок,— парализовывал деятельность организаций.

Война, плен разбросали рабочий класс; восстановление хозяйства в стране сообщило ему силу и самосознание, каких он не знал со времен советской республики; рабочая же власть закономерно отсосала значительную часть этой силы. Самые умелые, способные, сообразительные, самые общественно активные — тысячами становились руководителями государственного аппарата, освобожденными функционерами, директорами, офицерами армии и милиции, высокопоставленными чиновниками, председателями производственных кооперативов. В 1956 году они уже не были рабочими. И дети их шли не к станку, а в институты. На многих других — старых, кадровых рабочих, бывших социал-демократов, профсоюзных деятелей — легла модная в то время печать «рабочей аристократии», обособившая, изолировавшая их от масс.

Ни один класс в таких условиях не в состоянии за десять лет вырастить в своих недрах новый авангард. Да и на заводы тогда пришли не только сотни

[13] Кишпешт, Уйпешт — районы Будапешта.

тысяч крестьян, но и самые разные чины и чиновники прежней Венгрии — от армейских офицеров до фельдфебелей, от старших советников министерств до сборщиков налогов,— те, кто, лишившись должностей, званий, общественного положения, больше работы нигде не нашел.

Одна из основных и до сих пор не решенных проблем социализма — как привить рабочему чувство хозяина предприятия — в то время ощущалась гораздо острее. Рабочим, как прежде, командовали цеховой мастер, нормировщик, инженер, директор: как прежде, он не мог вмешиваться в дела завода. Снижение уровня жизни, несправедливые, вызывавшие постоянную неуверенность в завтрашнем дне пересмотры норм выработки, обязательная периодическая подписка на заем мира, мучительная, унизительная процедура проверки фактов биографии, лживые 1000-процентные трудовые рекорды, обюрократившиеся парткомы, потерявшие свой смысл профсоюзы — все это отнюдь не способствовало возникновению у рабочего чувства хозяина завода, хозяина страны.

К октябрю 1956 года рабочий класс пришел равнодушным, разуверившимся, угрюмым. При Ракоши он не ощущал себя хозяином страны, теперь не понимал, почему должен нести ответственность за преступления: ведь хоть он и замарал руки аплодисментами, как вся страна, но не убивал, не пытал — работал. Он лишился лидеров, лишился своих организаций. Деятельность партийных организаций на предприятиях была парализована, в рабочих советах тон задавали другие. Как учащиеся, студенты исчезли из вооруженных групп, так и рабочие исчезли из жизни страны, ушли в сторону...

Рабочие советы без рабочих, без конца переизбирая свои составы, кроме этого занимались в основном смещением руководителей, уничтожением или раздачей личных дел, препятствовали работе парторганизаций, срывали красные звезды, распределяли поступавшие из провинции продукты. И все же их роль в событиях нельзя назвать незначительной. Не только из-за забастовки, которая чем дальше, тем больше грозила Будапешту голодом: рабочие советы постоянно подогревали страсти, поддерживали напряженность.

Провинция тоже не вмешивалась в жизнь страны. Вооруженные столкновения имели место лишь в нескольких городах; например, в Мишкольце, Мошонмадьяроваре, где толпа атаковала милицию, казармы внутренних войск и где оборонявшиеся тоже стреляли. В обоих случаях столкновения завершились линчеванием пленных...

В провинции тоже возникали всевозможные советы, комитеты, комиссии, называвшиеся революционными или национальными: аппарат местной власти в считанные дни распался или был разгромлен. Во многих местах руководителей отстраняли, кое-где арестовывали, иногда подвергали пыткам, расстреливали; толпа разрушала памятники советским солдатам, сбивала звезды, но многомиллионная масса крестьянства не вмешивалась, оставаясь, как и рабочие, в стороне. Это удивительно уже потому, что социальные, экономические преобразования вызвали наибольшие потрясения в деревне.

Миллионы крестьян испытывали пьянящую радость, когда осуществилась их вековая мечта о земле. Для многих радость сменилась горечью, когда их насильно стали сгонять в кооперативы, когда в результате перераспределения земли отвели участки, на много километров удаленные от дома; продразверстка их разоряла: ведь отбирали даже посевное зерно, а потом требовали урожая. За десять лет крестьянство — класс, наиболее приверженный традициям,— дважды сменило образ жизни: сначала крестьянин стал собственником, затем ему пришлось усвоить, что быть собственником — преступление.

Объяснить поведение крестьян труднее, чем рабочих. Но это в данном случае и не важно: крестьянство не оказывало значительного влияния на обстановку в стране. Иным, нежели в Будапеште, было и положение в провинциальных городах. Разнообразные местные органы впадали в крайности быстрее, чем столичные. Революционный совет города Папа, например, уже 27 октября потребовал от правительства немедленного вывода советских войск, расторжения Варшавского договора, восстановления отмененных национальных и христианских праздников, роспуска органов госбезопасности, восстановления частной собственности. Подобные воззвания рождались сотнями, но на политическую обстановку в стране они не влияли.

Исключением был Дьёр. Национальный совет там возглавил заместитель председателя облсовета Аттила Сигети, некогда депутат Национального собрания от Крестьянской партии: через несколько дней его, однако, оттеснили на второй план. Уже 26 октября прозвучала угроза, что в Будапешт будут посланы вооруженные отряды на помощь повстанцам. В дальнейшем в Дьёре были сформулированы идеи создания своего правительства и собственной «задунайской армии»: отделения Задунайского края от Венгрии, приглашения на его территорию войск ООН.

Почему такой центр возник именно в Дьёре, без должного анализа ситуации выяснить невозможно. То, что рядом находилась открывшаяся западная граница, откуда пришло много эмигрантов, тайных агентов, журналистов, в том числе сотрудников «Свободной Европы»,— причина не самая главная. На автомобиле они за два часа могли приехать и в другой город. Так или иначе, 30 октября, наряду с номинально действующим правительством, с номинально существующей Венгерской партией трудящихся, образовалась единственная в своем роде, хотя тоже существовавшая лишь номинально, организация всевенгерского масштаба — Задунайский националь-

ный совет, к которому присоединились делегации от областей Боршод и Бач. Это был единственный случай реального воздействия провинции на обстановку в стране.

В тот же день в политической ситуации произошел коренной перелом.

В половине седьмого утра по радио передали: «Как сообщает Министерство внутренних дел, сегодня на рассвете обстановка в стране была спокойной». В 10 часов сообщили о смещении Иштвана Ковача с поста первого секретаря Будапештского комитета партии и об избрании вместо него Йожефа Кёбёла. «Обращение Будапештского комитета партии к коммунистам. Формируются отряды Национальной гвардии. Обязанность коммунистов — всеми силами участвовать в охране спокойствия, в защите власти рабочих. Поэтому коммунисты, умеющие обращаться с оружием, должны явиться в центры формирования Национальной гвардии». Как это обращение попало на радио, неизвестно: когда его передавали в эфир, штурм горкома уже начался.

В 14 часов 28 минут по радио выступил Имре Надь:

«Демократический народ Венгрии! Рабочие, крестьяне, интеллигенты! Все шире разворачивающаяся в стране революция, мощное движение демократических сил поставили нашу родину перед выбором. Национальное правительство, в полном согласии с президиумом Венгерской партии трудящихся, пришло к важнейшему для жизни страны решению, о котором я и хочу сообщить народу Венгрии. В целях дальнейшей демократизации жизни мы ликвидируем однопартийную систему и переводим страну на рельсы демократического сотрудничества возрождающихся коалиционных партий. В соответствии с этим мы образуем в рамках национального правительства узкий кабинет, членами которого являются Имре Надь, Золтан Тилди, Бела Ковач, Ференц Эрдеи, Янош Кадар, Геза Лошонци и представители социал-демократической партии, которые будут определены позднее. Правительство сделало представление Президиуму Народной Республики об избрании Яноша Кадара и Гезы Лошонци государственными министрами. Венгерское правительство обращается к командованию советских войск с призывом немедленно начать их вывод с территории Будапешта. Одновременно венгерское правительство сообщает народу страны, что безотлагательно приступит к переговорам с правительством Советского Союза о выводе советских войск с территории Венгрии. От имени венгерского правительства заявляю, что рожденные революцией демократические органы самоуправления венгерское правительство признает, опирается на них и рассчитывает на их поддержку. Братья-венгры! Верные граждане нашей родины! Берегите завоевания революции, всеми силами обеспечивайте порядок, восстанавливайте спокойствие, пусть не льется больше на нашей родине кровь братьев. Предотвращайте любые нарушения порядка. Всеми имеющимися в распоряжении средствами обеспечивайте безопасность жизни и имущества. Братья-венгры, рабочие, крестьяне! Станьте на сторону венгерского правительства, принявшего это жизненно важное решение! Да здравствует социалистическая, демократическая, независимая Венгрия!»

Вслед за Имре Надем от имени Партии мелких сельских хозяев выступил Золтан Тилди, от Крестьянской партии — Ференц Эрдеи, от Венгерской партии трудящихся — Янош Кадар.

...Какая дискуссия, какое обсуждение предшествовали этому решению, на основании каких мотивов оно было принято, неизвестно. Как неизвестно и кто его принял: наверняка не «национальное правительство», от имени которого выступал Имре Надь... Вероятно, в Парламенте наконец заметили, что государственная власть перестала существовать: Совет Министров действовал лишь номинально, партийное руководство сократилось до нескольких человек, государственный аппарат не функционировал. Требовалось создать новую государственную власть, и выход из кризиса искали в воскрешении коалиции. О том, какую государственную форму, какое социальное устройство выработает коалиция, никто из выступивших политиков не сказал ни слова. Вполне возможно, они об этом не думали, поскольку сосредоточились на единственной цели: восстановлении порядка.

Ликвидация солидарных с коммунистами коалиционных партий после установления власти рабочих была серьезной ошибкой. Вне общественной жизни оказались десятки лидеров, тысячи активистов, связанных, в свою очередь, с сотнями тысяч, без посредников добиться взаимопонимания с теми слоями населения было трудно. От возрождения коалиции, по всей вероятности, ожидали и восстановления этой сети посредников, с помощью которых можно было бы убедить народ в острой необходимости нормализации жизни.

Суть дела — что страна находится перед выбором, что руководство приняло важнейшее для ее судеб решение о возрождении многопартийной системы, об образовании коалиционного кабинета — сформулировал Имре Надь. Он заявил и о выводе советских войск, о признании органов самоуправления. Речь Тилди была преисполнена патетики, особенно когда он расценил 23 октября 1956 года как дату более значительную в истории страны, чем 15 марта 1848 года. В его оправдание надо заметить, что подобное мнение в те дни высказывали многие: оно было одним из следствий общего опьянения освободившегося от контроля разума. Тилди говорил напыщенно и вычурно, поэтому, хотя ничего конкретного, кроме решения об отмене прежней системы заготовок, он не сообщил, речь его длилась столько же, сколько речи всех остальных политиков, вместе взятые. Эрдеи был лаконичен. Он, скорее всего, понимал, что

былые соратники не примут его в качестве выразителя своих чаяний: в то время как его партия и большинство ее лидеров давно исчезли с арены общественной жизни, он по-прежнему входил в состав государственного руководства...

Речь Кадара отличается от других. Надь, Тилди и Эрдеи называют события революцией, Кадар — братоубийственной войной. Но главное отличие в том, что он обращается не к стране, не к «братьям-венграм», а к товарищам, к коммунистам. Его явно заботит будущее место и роль рабочих, представляющей их интересы партии в обществе. Он говорит об очищении и обновлении партии, в этом ищет выход.

Руководители основательно ошибались в том. что, обращаясь к повстанцам, все еще полагали, что это — студенты, молодежь, добивающаяся улучшения народной власти, то есть те люди, которые вышли на улицу 23 октября. Ошибались и в том, что рассматривали разного рода советы и комитеты как органы народного представительства, стремящиеся к той же цели. Они не заметили оползня, уносящего почву из-под ног; за толстыми стенами Парламента о нем, пожалуй, и невозможно было догадаться. Те, кого они как союзников призывали к установлению национального единства, добивались не единства, а осуществления собственных целей.

Не осознали они и того, что группа Надь — Тилди — Эрдеи — Кадар — это еще далеко не коалиция. Бросается в глаза, что социал-демократы не выступили вместе с ними, не присоединились к ним. Тогда еще не было известно, и руководители, по всей вероятности, тоже не знали, что социал-демократы решительно отказались от участия в правительстве. 30 октября коалиция была союзом нескольких лидеров, а не коалиционных партий, повстанцев и органов самоуправления.

30 октября стало поворотным днем: в этот день возродилась многопартийная система, был образован коалиционный кабинет, Задунайский национальный совет, Комитет революционных вооруженных сил, централизовавший командование вооруженными группами; в этот день Гергей Понграц стал командующим группой переулка Корвин, а на площади Республики была устроена кровавая баня. Настолько согласованными исторические случайности не бывают; новую ситуацию вызвали действовавшие в стране силы.

В этот день появилась и декларация правительства Советского Союза. Привожу ее в полном объеме; документальную ценность представляют здесь и тональность и формулировки:

«Незыблемой основой внешних отношений Союза Советских Социалистических Республик была и остается политика мирного сосуществования, дружбы и сотрудничества между всеми государствами.

Наиболее глубокое и последовательное выражение эта политика находит во взаимоотношениях между социалистическими странами.

Будучи объединены общими идеалами построения социалистического общества и принципами пролетарского интернационализма, страны великого содружества социалистических наций могут строить свои взаимоотношения только на принципах полного равноправия, уважения территориальной целостности, государственной независимости и суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга. Это не только не исключает, но напротив того, предполагает тесное братское сотрудничество и взаимопомощь стран социалистического содружества в экономической, политической и культурной областях.

На этой основе после второй мировой войны и разгрома фашизма сложился, окреп и показал свою великую жизненную силу строй народной демократии в ряде стран Европы и Азии.

В процессе становления нового строя и глубоких революционных преобразований общественных отношений было немало трудностей, нерешенных задач и прямых ошибок, в том числе и во взаимоотношениях между социалистическими странами, нарушений и ошибок, которые умаляли принцип равноправия в отношениях между социалистическими государствами.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза со всей решительностью осудил эти нарушения и ошибки и поставил задачу последовательного осуществления Советским Союзом в своих взаимоотношениях с другими социалистическими странами ленинских принципов равноправия народов. Он провозгласил необходимость полного учета исторического прошлого и особенностей каждой страны, вставшей на путь строительства новой жизни.

Советское Правительство последовательно проводит в жизнь эти исторические решения XX съезда, которые создают условия для дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между социалистическими странами на незыблемой основе соблюдения полного суверенитета каждого социалистического государства.

Как показали события последнего времени, возникла необходимость сделать соответствующее заявление о позиции Советского Союза во взаимоотношениях СССР с другими социалистическими странами, прежде всего в экономической и военной областях.

Советское Правительство готово обсудить совместно с правительствами других социалистических государств меры, обеспечивающие дальнейшее развитие и укрепление экономических связей между социалистическими странами, с тем, чтобы устранить какие бы то ни было возможности нарушения принципа национального суверенитета, взаимной выгоды и равноправия в экономических отношениях.

Этот принцип должен быть распространен и на советников. Известно, что в первый период формирования нового общественного строя Советский Союз по просьбе правительств стран народной демократии направлял в эти страны некоторое количество своих специалистов — инженеров, агрономов, научных работников, военных советников. За последний период Советское Правительство неоднократно ставило перед социалистическими странами вопрос об отзыве своих советников.

В связи с тем, что к настоящему времени в странах народной демократии сложились свои квалифицированные национальные кадры во всех областях хозяйственного и военного строительства, Советское Правительство считает неотложным рассмотреть совместно с другими социалистическими государствами вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в этих странах советников СССР.

В военной области важной основой взаимоотношений между Советским Союзом и странами народной демократии является Варшавский договор, по которому его участники взяли на себя соответствующие политические и военные

обязательства, в том числе обязательство принимать «согласованные меры, необходимые для укрепления их обороноспособности, с тем чтобы оградить мирный труд их народов, гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту от возможной агрессии».

Известно, что в соответствии с Варшавским договором и правительственными соглашениями советские части находятся в Венгерской и Румынской республиках. В Польской республике советские части находятся на основании Потсдамского соглашения четырех держав и Варшавского договора. В других странах народной демократии советских воинских частей нет.

В целях обеспечения взаимной безопасности социалистических стран Советское Правительство готово рассмотреть с другими социалистическими странами — участниками Варшавского договора — вопрос о советских войсках, находящихся на территориях указанных выше стран. При этом Советское Правительство исходит из того общего принципа, что размещение войск того или иного государства — участника Варшавского договора — на территории другого государства — участника Варшавского договора — производится по договоренности между всеми его участниками и только с согласия того государства, на территории которого по его просьбе размещены или имеется в виду разместить эти войска.

Советское Правительство считает необходимым сделать заявление в связи с событиями в Венгрии. Ход событий показал, что трудящиеся Венгрии, достигшей большого прогресса на основах народно-демократического строя, справедливо ставят вопрос о необходимости устранения серьезных недостатков в области экономического строительства, о дальнейшем повышении материального благосостояния населения, о борьбе с бюрократическими извращениями в государственном аппарате. Однако к этому справедливому и прогрессивному движению трудящихся вскоре примкнули силы черной реакции и контрреволюции, которые пытаются использовать недовольство части трудящихся для того, чтобы подорвать основы народно-демократического строя в Венгрии и восстановить в ней старые помещичье-капиталистические порядки.

Советское Правительство, как и весь советский народ, глубоко сожалеет, что развитие событий в Венгрии привело к кровопролитию.

По просьбе Венгерского народного правительства Советское Правительство дало согласие на ввод в Будапешт советских воинских частей для того, чтобы помочь Венгерской народной армии и венгерским органам власти навести порядок в городе.

Имея в виду, что дальнейшее нахождение советских воинских частей в Венгрии может служить поводом для еще большего обострения обстановки, Советское Правительство дало своему военному командованию указание вывести советские воинские части из города Будапешта, как только это будет признано необходимым Венгерским правительством.

Вместе с тем, Советское Правительство готово вступить в соответствующие переговоры с правительством Венгерской Народной Республики и другими участниками Варшавского договора по вопросу о пребывании советских войск на территории Венгрии.

Защита социалистических завоеваний народно-демократической Венгрии является в данный момент главной и священной обязанностью рабочих, крестьян, интеллигенции, всего трудового венгерского народа.

Советское Правительство выражает уверенность, что народы социалистических стран не позволят внешним и внутренним реакционным силам поколебать основы народно-демократического строя, завоеванного и укрепленного самоотверженной борьбой и трудом рабочих, крестьян, интеллигенции каждой страны. Они приложат все усилия к тому, чтобы, устранив все препятствия, лежащие на пути к дальнейшему укреплению демократических основ, независимости и суверенитета своих стран, развивать дальше социалистические основы каждой страны, ее экономику, ее культуру во имя непрерывного роста материального благосостояния и культурного уровня всех трудящихся, они будут укреплять братское единство и взаимопомощь социалистических стран для упрочения великого дела мира и социализма».

Не стану даже пытаться анализировать здесь сталинскую эпоху, причины ее возникновения, присущую ей систему.

XX съезд стал вехой в истории Советского Союза: на нем была предпринята попытка порвать со сталинским прошлым, вернуться к истокам, к ленинским принципам.

Когда мировая держава выступает со столь жесткой самокритикой, значит, на то есть веские основания. На XX съезде Советская власть взглянула в лицо собственным ошибкам. Польские, венгерские события лишь подчеркнули необходимость этого шага. Декларация, зафиксировав принцип равноправия, выразила согласие с конкретными требованиями, выдвинутыми в Венгрии: следует навести порядок в экономических связях, вывести из Будапешта подразделения Советской Армии; Советское правительство готово к переговорам о выводе своих войск с территории Венгрии.

В советском руководстве не было единства, о чем свидетельствовал и последовавший спустя несколько месяцев серьезный политический кризис. По всей вероятности, единодушия не было и в оценке венгерских событий. Оставалась известная неуверенность; советское руководство смотрело на возможную развязку менее оптимистично, чем венгерское. 30 октября оно вновь направило в Венгрию двух послов по особым поручениям — Суслова и Микояна. О чем шла речь на переговорах, неизвестно. Советские подразделения покинули Будапешт, но в Венгрию были введены новые части. Советские руководители ясно видели, что процесс еще не завершился, и с окончательным решением не спешили.

Еще одна сила мирового масштаба приняла непосредственное участие в октябрьских событиях — радиостанция «Свободная Европа». Можно согласиться с мнением «летописца» радиостанции Роберта Т. Хольта, что РСЕ, «несмотря на частный характер этой организации, все же следует рассматривать как инструмент американской внешней политики». Однако представляла она не только Соединенные Штаты. Хотя финансировало и направляло ее правительство США, в деятельности ее участвовали западноевропейские политики, идеологи, публицисты, эмигранты всех оттенков из стран Восточной Европы — от фашистов до представителей буржуазии и аристократии,— лондонское, нью-йоркское, римское, парижское радио,

секретные службы, центры вооруженной эмиграции.

Этот механизм действовал куда гибче и эффективнее чем венгерское государство С 24 октября «Свободная Европа» перешла от 6-часового ежесуточного вещания к 20-часовому; за считанные дни она в несколько раз умножила свой штат, направила в Венгрию своих сотрудников, наладила доставку повстанцам пропагандистских материалов, денег, оружия, оказывала другую материальную помощь, присылала опытных агентов. Влияние ее было очень значительным, и его только усугубляла беспомощность венгерского радио: передачи «Свободной Европы» слушало, вероятно, пол-Венгрии.

В 1956 году госсекретарь США Даллес дал точное определение политике Запада: «Балансировать на самом краю войны и при этом избегать войны — искусство, без которого нам не обойтись. Кто этого не умеет, неизбежно ввергнет себя в войну. А кто попробует отойти, кто побоится приблизиться к краю пропасти, тот пропал».

Дипломатический корпус Соединенных Штатов с самого начала внимательно следил за венгерскими событиями и докладывал о них своему правительству. Уже 22 октября посольство сообщило о состоявшемся в Политехническом институте собрании: «На собрании студентов присутствовали два служащих посольства, поскольку один из учащихся передал нам по телефону, что приглашаются все иностранные журналисты и дипломаты». Донесение от 25 октября «Должностных лиц американского посольства и офицеров американской армии, наблюдавших за столкновениями, повстанцы встречали как соратников» ...30 октября перед зданием посольства собралось несколько сотен человек. Их требования: премьер-министром должен стать Миндсенти, министром обороны — Малетер, советские части до 15 ноября должны покинуть страну. Если требования не будут выполнены, пусть Запад предпримет военное вмешательство. «В течение всего дня население Будапешта пребывало в состоянии безумия». Из телефонограммы, переданной в 13 часов 31 октября: «Когда в 12 часов 25 минут русские покинули Белварош [14], где они охраняли здания министерства обороны и внутренних дел, начался день «длинных ножей». Повсеместно убивали спрятавшихся работников УГБ» В 15 часов поверенный в делах США Барнс передал в телефонограмме: «...посольству стало известно, что... народ удовлетворила бы как минимум западная демократия американского типа». 1 ноября: «Вчера толпа методично крушила все подряд, уничтожала находящиеся в городе советские памятники, и никто этому не препятствовал... Партизаны раздобыли грузовики и начали уличные облавы на «госбезов»... Сегодня, утром 1 ноября, положение в основном прежнее. Вооруженные люди бродят по городу, и всякий, у кого есть оружие и если ему того хочется, может останавливать и обыскивать автомашины. В дневные часы американский персонал может передвигаться по городу в полной безопасности, однако ночные поездки не рекомендуются».

Это секретные дипломатические депеши; до поры до времени ни венгерское правительство, ни народ ничего о них не знали. Не могли они знать и об оживленном обмене посланиями между радиостанцией «Свободная Европа» и ее нью-йоркским центром. 28 октября, когда было объявлено перемирие, РСЕ, до тех пор прямо подстрекавшая население к вооруженной борьбе, растерялась и запросила указаний. «В ответной телеграмме,— пишет Хольт,— Нью-Йорк передал Мюнхену список тех минимальных условий, которые, по его мнению, могут быть приняты борцами за свободу:

1. Немедленный и полный вывод советских частей с территории Венгрии.
2. Немедленный полный роспуск УГБ; командование новой полицией силами безопасности и армией следует поручить министру, который не являлся членом ни одного прежнего правительства или центрального коммунистического органа
3. Полная амнистия всем борцам за свободу принимавшим участие в восстании
4. Из нового временного правительства должны быть исключены все те, кто находился в какой бы то ни было связи с правительством или высшим партийным руководством до избрания Имре Надя премьер-министром
5. Большинство в правительстве должны составлять представители разных патриотических групп
6. Немедленно созвать учредительное собрание избранное путем свободного и тайного голосования, и поручить ему подготовку новой конституции и новой правительственной программы; конституцию и правительственную программу следует поставить на свободное тайное общенародное голосование в ближайшие, скажем, шесть месяцев чтобы страна приняла или отклонила их
7. Выход Венгрии из Варшавского договора
8. Образованные в период кризиса местные рабочие и прочие советы и патриотические комитеты должны продолжать свою деятельность и поддерживать связи друг с другом до тех пор пока все перечисленные выше условия не будут выполнены»

30 октября Мюнхен докладывал Нью-Йорку: «Придерживаемся прежней линии, идем в ногу с требованиями повстанцев, подчеркиваем значение всеобщей забастовки до вывода советских частей. Акцентируем внимание на необходимости сплочения повстанческих сил»... 31 октября «По-прежнему остаемся рупором требований и планов революционеров, их коммуникационным центром; с этой ролью можем справляться лучше, чем раньше, поскольку из собственных и других источников получаем подробную информацию о ситуации».

Перед нами довольно точный сценарий венгерских событий. В Мюнхене, Нью-Йорке очень хорошо представляли себе соотношение сил, вырастающие из него тенденции, возможности, намного точнее, чем венгерское руководство...

[14] Исторический центр Будапешта.

Эти дипломатические депеши, телеграммы в то время не были известны в Венгрии. Но к «Свободной Европе» прислушивались миллионы. Это не означает, что венгерскими событиями управляли из Мюнхена и Нью-Йорка. Скорее другое: Запад, который в точности знал, чего хочет — свержения социалистического строя в Венгрии,— тщательно проанализировав ситуацию, сумел составить конкретную программу действий и тем самым эффективно содействовал развитию событий в выгодном ему направлении.

Он не только обучал повстанцев изготовлению бутылок с бензином. В самом начале он сформулировал политическую программу, и не в принципе, как венгерское руководство, а очень конкретно. Один из уроков 1956 года заключается в том, что располагающий вековыми традициями, устоявшейся структурой, многократно испытанным механизмом власти Запад оказался куда искуснее в политике и пропаганде, чем страдавшее от детских болезней социалистическое общество.

Предпринимал Запад и другие попытки. 28 октября в эфир вышла неизвестная радиостанция, вещавшая на венгерском языке «Говорит революционный комитет ВЧ, говорит революционный комитет ВЧ. Говорит революционное руководство русских антикоммунистов. Приветствуем вас, героические венгерские борцы за свободу и независимость. С помощью радио и листовок мы готовы призвать русские части к общей борьбе против коммунизма. Мы предлагаем: из солдат и офицеров советской армии, перешедших на сторону борцов за свободу, формируйте штурмовые отряды. Это проявление солидарности подвигнет и другие советские части на борьбу против коммунизма. Мы готовы немедленно послать к вам уполномоченных, чтобы обсудить совместные планы и акции. В любое время связывайтесь с нами по радио на волне 55.6 метра. В любое время связывайтесь с нами по радио на волне 55.6 метра. Наши позывные: «Независимая и свободная Россия». Повторяю «Независимая и свободная Россия». Обращайтесь к нам на русском, немецком или английском языке. Ждем вашего ответа, ждем вашего ответа, ждем вашего ответа. Сообщите нам ваши позывные, сообщите нам ваши позывные, ждем ответа. Внимание внимание! Вызываем борцов за свободу из групп «Зрини» и «Кинижи», вызываем борцов за свободу из групп «Зрини» и «Кинижи». Говорит ВЧ, говорит революционное руководство русских антикоммунистов»

Листовки с подобными текстами тысячами привозили в Венгрию, не удосуживаясь срезать с них название и адрес венской типографии.

Запад добивался эффекта не столь примитивными средствами. Но находились, видимо, и те, кто полагался и на такие.

Американское руководство следило за венгерскими событиями с особым вниманием. Эйзенхауэр пишет в мемуарах, что в первые дни он присутствовал на двадцати трех совещаниях, где обсуждалось положение в Венгрии. 26 октября он созвал заседание узкого кабинета, где подробно анализировались события и их возможные последствия, после этого президент распорядился подготовить общий анализ венгерских и польских событий «с соображениями о возможных формах американского вмешательства».

Тем не менее Венгрия была для Запада лишь пешкой на шахматной доске мировой политики. Соединенные Штаты, следуя принципу Даллеса, подталкивали Венгрию к краю пропасти, но сами прыгать туда не собирались. В то время как пропагандистская машина внушала миллионам, что в случае надобности и США ринутся в бой ради победы восстания, дипломаты недвусмысленно давали понять, что вооруженного вмешательства Америки в венгерские события не будет.

...Если венгерское руководство рассчитывало, что возрождение коалиции даст ему союзников в управлении страной, то оно ошиблось. Восстановление партий шло чрезвычайно быстро. Правительственное решение было объявлено в 13 часов, а уже в 19 часов радио сообщило, что всевенгерский центр Независимой партии мелких сельских хозяев действует в своем прежнем здании на улице Земмельвейса. В тот же день появилась отпечатанная на машинке листовка без подписи, на которую Имре Надь наложил положительную резолюцию: «Представители социал-демократической партии обратились к г-ну премьер-министру с пожеланием вновь вступить во владение старым зданием их партийного комитета по улице Конти, 4 вместе с расположенными в нем типографией и редакцией газеты «Непсава». На другой день объявила о своем возрождении под названием «Партия Петефи» Национальная крестьянская партия. Через два дня у каждой партии уже были свои районные центры, а в некоторых районах даже по нескольку; тут же возникли городские и областные организации в провинции. Партия мелких сельских хозяев объявила, что под ее эгидой будут вновь выходить газеты «Мадьяр немзет», «Хетфёи хирлап», что возобновляется издание ежедневной газеты «Киш уйшаг» Лидеры партий и не думали помогать зашедшему в тупик руководству страны, они занимались восстановлением собственных организаций

С возникновением партий влияние всех других организаций по существу было сведено к нулю Не только кружка имени Петефи, но и Союза писателей, НЕКОСа, МЕФЕСа, Революционного комитета интеллигенции, всевозможных комиссий советов и даже Задунайского национального совета Партии немедленно захватили власть на местах: кроме них реальную силу сохранил лишь Революционный комитет вооруженных сил. В управлявшем страной Парламенте по-прежнему только Имре Надь да с деся-

ток его приверженцев, в том числе Тилди, Эрдеи, пытались обеспечить функционирование государственного механизма...

3 ноября состав правительства вновь изменился. В него входили: премьер-министр и министр иностранных дел — Имре Надь, от Партии мелких сельских хозяев — Тилди, Бела Ковач, Иштван Б. Сабо, от социал-демократов — Анна Кетли, Дюла Келемен, Йожеф Фишер, от Крестьянской партии — Иштван Бибо, Ференц Фаркаш, от коммунистов — государственные министры Лошонци и Кадар, министром обороны стал Малетер. Среди новых министров лишь одно имя — Кетли — было широко известно в стране, однако она еще 1 ноября покинула Венгрию, чтобы принять участие в венском конгрессе Социалистического Интернационала. Возобновить давние международные связи своей партии, заручиться поддержкой западных социал-демократов она, видимо, считала делом более важным, чем участие в руководстве страной. Для ситуации, в какой находилось правительство и вообще руководство, характерен тот факт, что в состав правительства включили и Кадара, хотя он уже покинул Парламент и его разыскивали...

В прессе, по радио все три партии заявляли, что заводы и крупные землевладения обратно в частную собственность не отдадут. Вероятно, не только потому, что в противном случае расписались бы в своей полной политической безграмотности: в те дни они, видимо, и не могли строить свои рассуждения на другой принципиальной основе — для этого потребовались бы концепция, программа, хоть сколько-нибудь зрелые представления о дальнейшем пути.

...Четвертая составная часть коалиции, Венгерская партия трудящихся, к тому времени практически прекратила свое существование. Ее местные организации были разгромлены, на заводах и в учреждениях их деятельность была запрещена, помещения комитетов захвачены, руководители подвергались постоянным нападкам, а подчас и гонениям. Несколько человек предприняли еще одну отчаянную попытку спасти партию: 1 ноября из радиовыступления Яноша Кадара страна узнала о том, что вместо ВПТ образована Венгерская социалистическая рабочая партия. Членами ее временного руководства стали Ференц Донат, Янош Кадар, Шандор Копачи, Геза Лошонци, Дёрдь Лукач, Имре Надь, Золтан Санто. Суть выступления Кадара сводилась к следующему.

«В решающий для судеб страны час мы обращаемся к тем, кого верность народу и родине, беззаветное служение чистым идеям социализма привели в ряды партии, которую венгерские представители сталинизма — Ракоши и его клика — своей слепой и преступной политикой превратили в инструмент деспотизма. Их авантюристическая политика бессовестным образом транжирила то нравственное и идейное наследие, которое вы ценой кровавых жертв накопили в честном бою со старым миром, которое вы завоевали в борьбе за независимость нашей нации и демократический прогресс... Искренне обращаемся к вам. Восстание народа подошло к распутью. Или у венгерских демократических партий хватит сил упрочить свои завоевания, или мы окажемся лицом к лицу с открытой контрреволюцией. Не для того проливали кровь венгерские юноши, рабочие, крестьяне, чтобы деспотизм Ракоши сменился господством контрреволюции. Не за то мы боролись, чтобы из рук рабочего класса вырвали шахты и заводы, а у крестьянства отобрали землю. Или восстание сбережет для народа его основополагающие демократические завоевания — право на собрания и организации, личную свободу и безопасность, правопорядок, свободу печати, гуманизм, человечность,— или мы снова попадем в рабство старого господского мира, а вместе с тем — в иностранную кабалу. Налицо также мрачная и вызывающая тревогу опасность того, что в результате иностранного военного вмешательства нашу родину постигнет трагическая участь Кореи. Тревога за будущее и судьбу нашего народа и нашей родины побуждает нас сделать все для предупреждения этой страшной опасности, мы должны загасить очаги контрреволюции и реакции, решительно упрочить наш демократический строй, обеспечить нормальный производительный труд и условия для нормальной жизни: мир, порядок, спокойствие. В этот тяжкий час те коммунисты, что и раньше вели борьбу против деспотизма Ракоши, в соответствии с желанием огромного множества патриотов, социалистов приняли решение основать новую партию. Новая партия раз и навсегда порывает с преступлениями прошлого. Она защищает и будет защищать от любых посягательств нашу национальную честь, независимость нашей родины. На этой основе, на основе национальной независимости, она будет строить братские отношения со всеми прогрессивными социалистическими движениями и партиями мира. На этой основе, на основе национальной независимости, она намерена установить дружественные отношения со всеми близкими и далекими странами, в первую очередь с соседними социалистическими странами. Она защищает и будет защищать дело демократии и социализма, осуществляя эту цель не слепым копированием иностранных образцов, а способами и путями, соответствующими экономическим и историческим особенностям нашей страны, опираясь на свободный от догматизма марксизм-ленинизм, на учение научного социализма, а также на революционные и прогрессивные традиции венгерской истории и культуры».

О том, какими невероятными темпами развивались в те дни события, свидетельствует хотя бы тот факт, что когда записанная на магнитофонную ленту речь звучала по радио, Янош Кадар уже покинул Парламент, порвал с правительством. Текст его речи отражает то по-

ложение, когда он еще верил в возможность политического разрешения кризиса. Его программа конкретнее, чем те наметки программы, что были у остальных коалиционных партий. Он однозначно заявил, что страна стоит перед выбором, предупредил об опасности гражданской войны, решительно отмежевался от всех ошибок ВПТ и подчеркнул, что ВСРП — марксистско-ленинская партия, отстаивающая социалистические интересы рабочего класса.

В правительственном заявлении речь шла о восстановлении партий, входивших в коалицию. Это, однако, никого не интересовало. «Свободу всем течениям и партиям,— призывает «Мадьяр сабадшаг» в номере от 1 ноября,— за исключением тех, которые хотят монополизировать истину и подавить все остальные течения. Довольно с нас того, что было в 1944-м, затем в 1948—1956-м». Требование это подсказано было логикой событий: остановиться, наметить границу было уже невозможно. Наводит, однако, на размышления факт, что эту газету редактировали бывшие руководящие сотрудники «Сабад неп», которые из проводников политики Ракоши стали проводниками политики Имре Надя, но в октябре отошли и от его позиций. Немало входивших в этот круг писателей, журналистов, творческих работников не пожелали стать членами ВСРП...

Важным преимуществом католических партий, организаций, уний перед остальными партиями являлось то, что у них был известный всей стране духовный наставник, Йожеф Миндсенти.

Его содержали под домашним арестом в Фелшёпетеньском замке; многие решительно требовали освобождения Миндсенти. В 10 часов 31 октября радио «Свободный Кошут» сообщило: «Кардинал-примас Йожеф Миндсенти, освобожденный во вторник из заключения победившей революцией, сегодня в 8 часов 55 минут утра прибыл на свою квартиру в Буде».

Реабилитация Миндсенти, которую от имени правительства объявил Имре Надь, создала двойственную ситуацию. В глазах многих это означало не только снятие вымышленных обвинений, но и реабилитацию политической платформы, взглядов Миндсенти. Для миллионов католиков он был главой церкви и не только патроном всех христианских партий и течений, но, в силу его известных воззрений, и духовным наставником всех правых, консервативных группировок. Прогрессивно настроенным католическим деятелям в те дни точно так же не давали слова, как и представителям прежнего левого крыла коалиционных партий. У тех же, кто прежде не симпатизировал Миндсенти, его убеждениям, отношение к нему во многом изменилось в результате преследований, объектом которых он стал. Бывший знаменосец теперь сам стал знаменем; печать уделяла ему внимания больше, чем всем остальным политикам, вместе взятым.

Примас не выходил из своего будайского дворца. Здесь он принимал руководителей различных христианских партий, группировок, уний, политических деятелей, венгерских и зарубежных журналистов: принял друга Аденауэра, депутата западногерманского парламента герцога фон Лёвенштайна, состоявшего в родстве с Габсбургами, посланников из Ватикана О содержании бесед мы не знаем. Характерная подробность тех дней: правительство сочло своим долгом нанести Миндсенти визит; в резиденцию кардинала приехали Тилди и Малетер. Характерно и короткое радиозаявление, сделанное Миндсенти 1 ноября; примас выступил не как глава церкви, а как руководитель страны: «Мы должны срочно найти решение. Сейчас я собираю информацию и не позднее чем через два дня лично обращусь к нации с проповедью по поводу пути к развязке».

В полдень 3 ноября по радио передали, что Миндсенти обратится к нации в 15 часов. Выступление, однако, по желанию примаса, прозвучало лишь в восемь вечера. Проповедь Миндсенти уже не оказала влияния на события, но обозначила путь, который уготовили стране примас и представляемые им партии и течения.

Как ни туманны формулировки речи, а во многих местах и двусмысленны, суть ее однозначна. Уже в час своего освобождения он сказал обступившим его жителям местечка Ретшаг: «Дети мои! Я продолжу с того места, где восемь лет назад мне пришлось остановиться!» Эту мысль он выделил и в радиовыступлении: «Очень часто в последнее время выступающие подчеркивают, что искренне порывают с прошлым. Я так сказать не могу. Мне нет нужды порывать с моим прошлым».

Мы знаем, каким было в прошлом политическое кредо Миндсенти, какой деятельностью он занимался. Соответственным образом анализирует он и события: «Пусть каждый в стране знает, что происшедшие бои были не революцией, а освободительной борьбой. С 1945 года, после проигранной и бесцельной для нас войны, на насилии строился здешний режим, наследники которого на каждом его обломке выжигают теперь клеймо отречения, презрения, отвращения и осуждения. Этот режим сметен венгерским народом. Да не пожелают наследники еще одного доказательства».

Миндсенти говорил как политик, а не как глава церкви... Будущее Венгрии он в общих чертах изобразил так: «Мы желаем быть бесклассовым обществом, жить в правовом государстве, мы хотим быть нацией и страной исключительно культурно-националистического духа, развивать демократические завоевания на фундаменте частной собственности, разумно и справедливо ограниченной социальными интересами».

В мемуарах Миндсенти пишет, что когда он произносил свою речь, сидевший рядом с ним Тилди прослезился. «После окончания речи он от имени Имре Надя и других министров поблагодарил меня за «большую помощь», кото-

рую я оказал своей проповедью национальному правительству».

...Непонятно, откуда Миндсенти взял, будто его речь помогла правительству: основной мотив его проповеди заключался в том, что и общественный строй Венгрии, и правительство, и коалиционные партии он ни во что не ставит, все это в его глазах — скомпрометировавшее себя прошлое, которым и заниматься не стоит. Мыслил он категориями другого государства, другой власти...

То, что христианские течения называли бесклассовым обществом, а Имре Надь — национальным единством, было исторической иллюзией. Кто не прибегал к этим понятиям сознательно, чтобы напустить туману, пребывал во власти опьянения моментом; единая страна, нация, единый народ — заманчивая, но несбыточная мечта. 3 ноября «Непсабадшаг» писала, что образуется много партий, организаций, с позициями которых нельзя согласиться, но сейчас важно то, что всех их объединяет: порядок. Опытные политики, публицисты забыли прописную историческую истину, что противоположные интересы, особенно в обостренной обстановке, невозможно привести к общему знаменателю красивыми словами и уговорами.

В 1956 году в Венгрии невозможно было такое общественное единство, в котором участвовал бы всякий, кто не являлся фашистом, нилашистом, немецким прислужником. Исторический водораздел проходил не здесь. Основу парламентской модели развитых буржуазных обществ, где господствуют партии, периодически сменяющие друг друга у кормила власти, составляет то, что в главном, в вопросе о социальном строе, о государственной власти, позиции всех партий совпадают. Если же возникает группа, которая высказывается против, то государство прилагает все силы, чтобы исключить даже саму возможность прихода такой группы к власти.

В Венгрии 1956 года ситуация была иной. Разные партии представляли разные классовые интересы, требовали установления разных социальных укладов; никакая парламентская система не могла примирить их противоречия. Победившая партия претворила бы в жизнь свой порядок, препятствуя тем самым возникновению другого. По мнению Дёрдя Лукача, высказанному в польской газете «Нова культура», коммунисты на выборах получили бы 5, самое большее — 10 процентов голосов. Бела Ковач 3 ноября в беседе с Лесли Бэйном оценил количество голосов, которые получили бы коалиционные партии, в 30 процентов. По данной задним числом оценке одного из лидеров христианских демократов. Андраша Поганя, христианские партии набрали бы 60 процентов, то есть большинство голосов.

Излишне углубляться в анализ этих процентных соотношений, прогноз для той обстановки был более чем вероятный. Страна пребывала в состоянии шока, утратила способность к суждениям и действиям, сознание ее потеряло ориентиры. Можно предположить, что христианско-национальные партии благодаря своей глубоко укоренившейся идеологии, целеустремленности, с помощью эффектной демагогии и опутавших всю страну, давно существующих организаций пришли бы к власти. В условиях хаоса решающая роль принадлежит не реальным интересам и воле большинства, а организованности, целеустремленности.

Маловероятно, чтобы Габсбурги получили назад свой трон или Хорти — свое регентское кресло, совершенно исключено, что к власти вернулись бы нилашисты. Не повторилась бы и контрреволюция офицерских карательных отрядов — для осуществления кровавого террора имелась многотысячная армия вооруженных мародеров. Контрреволюция вернулась бы в Венгрию не с полосатой нарукавной повязкой Арпада [15], не в украшенной журавлиным пером шапке Бочкаи [16], не в жандармском кивере.

Христианско-национальные партии, образовав союз, стали бы добиваться своей главной политической цели — восстановления буржуазного строя, скорее всего с оттенком феодализма, и его основы, частной собственности. Каким образом, в какой форме — можно только гадать.

Пришлось бы создать новый государственный механизм. Он мог быть только таким, как в 1945 году, то есть чиновничьим аппаратом режима Хорти: других людей для таких целей не было. Особенно это касается вооруженных сил; офицеры генерального штаба, старшие советники полиции на дороге не валяются. Господская Венгрия заявила бы о себе не герцогами и баронами, не помещиками и промышленными магнатами, а идеологией, государственным механизмом, органами подавления. Какую бы форму государства они создали, тоже можно только догадываться.

Если бы народ очнулся от шока и осознал реальную ситуацию, вернуть себе власть он мог бы лишь в результате кровопролитной гражданской войны. Хватило бы ему, оставшемуся без организаций, без лидеров, сил на это — трудно сказать. Маловероятно, чтобы Запад индифферентно следил за такой войной; в этом случае Венгрия стала бы виновницей и одновременно жертвой кризиса мирового масштаба.

Естественно возникает вопрос: если большинство населения страны в лихорадочном состоянии выступает против чего-либо, вправе ли кто-то противодействовать этому насилием? Однако вопрос можно поставить и так: вправе ли руководители сложа руки наблюдать, как громят народную власть, даже если часть народа в данную минуту против этой власти?

На эти вопросы способна ответить только история: историографы могут

[15] Арпад (? — 907) — князь, предводитель древних венгерских племен, завоевавших территорию нынешней Венгрии, «завоеватель родины».

[16] Иштван Бочкаи (1557—1606) — трансильванский князь, один из руководителей национально-освободительного движения против турецкого ига, впоследствии — против господства Габсбургов.

лишь высказать мнения, каждый в соответствии со своим мировоззрением. Я считаю, что ответ дали минувшие тридцать лет.

Возможно, подобные мысли тревожили и Яноша Кадара, когда он решил порвать с коалиционным правительством и просить помощи Советского Союза в защите народной власти. Этот неожиданный для многих поворот, на мой взгляд, вполне объясним, даже если не знать всех подробностей событий.

Когда история мчится стремглав, когда ситуация постоянно меняется, решения рождаются не так, как обычно: на долгие размышления, на взвешивание всех «за» и «против», на то, чтобы лечь спать и с утра опять ломать голову до тех пор, пока не решишь,— на все это времени нет: аргументы могут терять силу уже завтра, уже через пару часов события просто их обгоняют.

У Кадара были сомнения по поводу того, куда приведет октябрь 1956-го, они прослеживаются во всех его выступлениях. Он тоже горел желанием восстановить порядок без кровопролития, верил, что ситуация разрешима политическими средствами, питал иллюзии насчет того, что трезвая коалиция сможет добиться в стране единства. В какую минуту сомнения в нем сменились уверенностью, в какой момент он понял, что вера его беспочвенна, установить невозможно, как и то, когда именно осознание реальности переросло в решение. Основной для себя вопрос Кадар сформулировал в последней речи: «Или у венгерских демократических партий хватит сил упрочить свои завоевания, или мы окажемся лицом к лицу с открытой контрреволюцией» Убедившись в иллюзорности первого, он стал действовать, чтобы реальностью не обернулось второе.

Когда люди слушали речь Кадара, он уже начал осуществлять задуманное и покинул Парламент. Как сам он рассказывал, утром 1 ноября шесть-восемь руководителей — не только члены кабинета — собрались на совещание, где был поставлен вопрос о том, что следует выйти из Варшавского договора. Кадар, председатель Президиума республики Иштван Доби и председатель Государственного собрания Шандор Ронаи высказались против Решения принято не было, но после заседания Имре Надь сообщил журналистам, что Венгрия выходит из Варшавского договора. В этот момент Кадар решил про себя, что должен порвать с правительством. Жену его не выпускали из Парламента, самого Кадара разыскивали, но он по-прежнему фигурировал в составе правительства как государственный министр.

Жесткая критика и самокритика, прозвучавшие в речи Кадара в мае 1957 года, объясняют не только его собственную роль, но и эпоху «От себя лично могу сказать в гуще событий непросто было понять, что произошло. А следующий шаг — что предпринять — был еще труднее. То есть трудно было осознать, что происходит, и трудно было увидеть, что следует делать... Так мы дожили до ситуации, позорной для руководства, но не для народа, когда, понимаете ли, тысячи людей ждали из центра страны распоряжений, директив, указаний, требовали оружия, лучше нас, сидевших в руководстве, видели, что надо делать, а мы не могли честно указать им дорогу, хотя в такой ситуации руководство обязано это сделать».

Труднее понять позицию Имре Надя. Этот шестидесятилетний политик почти сорок лет отдал коммунистическому движению, оно сформировало его жизнь, его мировоззрение, его идеалы. Долгое время он был закостенелым догматиком, как догматическим было тогда все мировое коммунистическое движение. Действительно ли в 1953 году он больше других подходил для того, чтобы представлять изменившуюся политику, или просто ему выпала такая роль, до сих пор не ясно. Но решения, которые он принимал в 1956 году, оказались трагическими. Он вместе со всеми совершил тяжкую ошибку, когда 23 октября согласился призвать в Будапешт советские части. Он правильно объявил чрезвычайное положение, но он же повинен в том, что эта мера стала лишь угрозой. После этого он, похоже, совсем потерял почву под ногами. 3 октября в интервью голландской газете «Фрайе фолк» он заявил, что «никогда не был решительным сторонником такого строя, который бы наперед позаботился о создании политических партий, противостоящих правительственным». В переводе с журналистской фразеологии это означает, что он не сторонник многопартийной системы. Нет ни малейшего намека на это и в его прежних статьях. Возможность достижения национального единства он видел в Народном фронте, а не в многопартийной системе. Миклошу Гимешу, который предлагал разрешить другие партии, он якобы ответил: «Пока я у власти, об этом и речи не может быть». Неизвестно, почему он перешел на другую позицию, которая предрешила судьбу страны.

Вечером 1 ноября он выступил по радио:

«Народ Венгрии! Венгерское национальное правительство, проникшись глубокой ответственностью перед венгерским народом и историей, выражая общую волю миллионов венгров, провозглашает нейтралитет Венгерской Народной Республики. Венгерский народ на основе независимости и равноправия, в соответствии с духом Устава ООН, желает жить в подлинной дружбе со своими соседями, с Советским Союзом и всеми народами мира. Он хочет укреплять и развивать завоевания национальной революции не принадлежа к какому бы то ни было блоку держав Тем самым осуществляется многовековая мечта венгерского народа. Революционная борьба венгерских героев прошлого и настоящего наконец-то привела дело свободы и независимости к победе Эта героическая борьба дала возможность нашему народу осуществлять в межгосударственных

связях нейтралитет, который отвечает нашим жизненным национальным интересам. Мы обращаемся к нашим соседям, к близким и дальним странам с призывом отнестись с уважением к бесповоротному решению нашего народа. Сейчас действительно можно сказать, что наш народ так единодушен в этом решении, как, быть может, не был еще никогда за свою историю. Миллионы венгерских трудящихся! Революционной беззаветностью, самоотверженным трудом, упрочением порядка защищайте и укрепляйте нашу родину, свободную, независимую, демократическую и нейтральную Венгрию!»

Слово «социалистическая» в этом перечислении уже отсутствует.

На что рассчитывал выросший на коммунистических доктринах, всю жизнь представлявший их премьер-министр после того, как передал управление страной коалиции, допустил восстановление оппозиции, легализацию врага, мы не знаем. Когда вдумываешься в хронику дней и часов октября, кажется наиболее вероятным, что он каждый раз имел в виду лишь ближайшие сутки. И иллюзия национального единства взяла в нем верх не только над определявшим всю его предшествующую жизнь марксистским подходом и классовой теорией, но и над чувством реальности.

1 ноября во второй половине дня Имре Надь известил посла Советского Союза в Венгрии Юрия Андропова о том, что, поскольку в страну прибывают новые советские части, Венгрия расторгает Варшавский договор и провозглашает нейтралитет. О решении были информированы все дипломатические представительства в Будапеште и генеральный секретарь ООН. Тилди и Геза Лошонци провели пресс-конференцию для западных журналистов.

Приверженцы нейтралитета вновь и вновь ссылаются на пример Австрии. Но Австрия, прежде оккупированная четырьмя державами, стала нейтральной в соответствии с обязательствами по мирному договору, а не вышла из состава одного из двух противостоящих друг другу блоков. И что еще существеннее: нейтралитет не привел к изменению общественного строя. Австрия была и осталась буржуазным государством.

Ссылаются также на Югославию. Но в Югославии после освобождения страны установился социализм, и только решением Коминформа она была исключена из сообщества социалистических стран. Нейтралитет и в данном случае не повлиял на общественный строй.

Теоретически и в Венгрии провозглашение нейтралитета не обязательно означало бы изменение социального строя. История, однако, развивается не по теоретическим схемам, а на практике.

Одностороннее расторжение Варшавского договора, по всей вероятности, оказало бы влияние на решение советского руководства... Как и Кадар, оно, возможно, пришло к выводу, что политическими средствами, мирным путем разрядить ситуацию уже нельзя. Этому мог способствовать и тот факт, что опубликованная 31 октября декларация Советского правительства оказалась совершенно безрезультатной и не повлияла на ход событий.

1 ноября советские руководители встретились в Польше с польским и восточногерманским, а в Румынии с румынским, чехословацким и болгарским руководством. В Москве находился специальный уполномоченный из Китая. 2 ноября делегация вылетела в Югославию. Хрущев уже здесь сообщил Тито, что Кадар и Ференц Мюнних установили связь с Советским Союзом. Руководители всех государств, в том числе Польши, Югославии, Китая, которые поначалу приветствовали венгерские события, сошлись во мнении, что социалистический строй в Венгрии можно спасти лишь путем вооруженного вмешательства.

1 ноября... «Правда» писала, что положение в Венгрии нормализуется. 2 ноября сообщила то же самое, но процитировала статью в белградской «Политике», которая предупреждала об угрозе контрреволюции. 3 ноября она дает уже более мрачную картину: в Венгрии всеобщая забастовка, убивают коммунистов. Редакционная статья от 4 ноября: преградить путь реакции в Венгрии.

Советские танковые части вошли в Будапешт на рассвете 4 ноября. В 4 часа этим известием разбудили Имре Надя, который, как утверждают, лег спать около полуночи. В 4 часа 30 минут радио, как обычно, начало передачи с музыки и малосущественных новостей...

Из руководителей в здании Государственного собрания в тот момент находились только Имре Надь, Тилди и Ференц Донат. Каким образом родилось заявление, с которым Имре Надь выступил по радио в 5 часов 20 минут, возможности выяснить нет.

«Говорит Имре Надь, Председатель Совета Министров Венгерской Народной Республики. Сегодня на рассвете советские части предприняли нападение на нашу столицу с явной целью свергнуть законное венгерское демократическое правительство. Наши части ведут бои. Правительство на месте. Сообщаю об этом народу страны и мировой общественности».

Заявление безосновательное, бесцельное, лживое. Венгерские части не вели бои, правительства не было на месте.

Заявление повторяли вновь и вновь, на английском, французском, немецком, русском языках. В 5 часов 56 минут по радио передали, что министра обороны Пала Малетера просят вернуться в Парламент. Однако Малетер, который во главе делегации отправился в пригородное местечко Тёкёл на переговоры с советским командованием, был уже арестован. В 7 часов 14 минут зачитали следующее обращение: «Венгерское правительство просит офицеров и солдат Советской Армии не стрелять. Избегнем

кровопролития. Русские наши друзья и ими останутся».

Неизвестно, кто сформулировал это обращение. Премьер-министра в Парламенте уже не было: с десятком своих сотрудников и членами их семей он попросил убежища в югославском посольстве. Миндсенти попросил и получил право убежища в американском посольстве. Туда же отправился и Бела Ковач, но его впустили с условием, что в течение 24 часов он покинет здание. В английском посольстве попросили убежища Тилди и Иштван Б. Сабо, им отказали.

Парламентская охрана окружившим здание советским танкам сопротивления не оказала.

В 7 часов 57 минут по радио зазвучал голос Дюлы Хаи [17]: «Ко всем писателям и ученым мира, ко всем союзам писателей, академиям, научным обществам, ко всем духовным наставникам обращаемся мы за помощью. Времени мало. Факты вы знаете, нет нужды повторять. Помогите Венгрии! Помогите венгерским писателям, ученым, рабочим, крестьянам, служащим. Помогите, помогите, помогите!»

Этот текст тоже повторили по-английски, по-немецки, по-русски. Характерный, трагический заключительный аккорд октября 1956 года: помощи ждали от писателей, от ученых.

В 8 часов 7 минут радио «Свободный Кошут» умолкло. Но еще раньше, в 4 часа, сольнокское радио передало открытое письмо бывших членов правительства Антала Апро, Яноша Кадара, Иштвана Кошши, Ференца Мюнниха: образовано Венгерское революционное рабоче-крестьянское правительство. «К этому ответственному шагу нас побудило осознание того, что в правительстве Имре Надя, попавшем под влияние реакции и ставшем недееспособным, у нас не было никакой возможности противодействовать все возрастающей контрреволюционной опасности, грозящей гибелью нашей народной республике, рабоче-крестьянской власти, нашим социалистическим завоеваниям».

Этим началась новая глава в истории 1956 года и Венгрии.

---

[17] Дюла Хаи (1900—1975) — венгерский драматург, в 20-е годы жил в эмиграции сначала в Германии, затем в СССР, где вступил в коммунистическую партию; за активное участие в событиях 1956 года на стороне контрреволюции был приговорен к тюремному заключению, в 1960 году помилован. С 1965 года жил в Швейцарии.

От редакции: статью доктора исторических наук Б. И. Желицки, комментирующего публикацию глав книги Ласло Дюрко, читайте в следующем номере журнала.

Критика

Классика и мы

Т. МОТЫЛЕВА

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО

В речи, произнесенной на стадионе в Лужниках по поводу открытия фестиваля Индии в СССР, Раджив Ганди, коснувшись истоков дружбы индийского и советского народов, сказал, в частности, следующее: «Своим возникновением наше освободительное движение во многом обязано тому решающему влиянию, которое Лев Толстой оказал на философские воззрения Махатмы Ганди по вопросам бытия и борьбы, войны и мира».

Влияние Толстого на Махатму Ганди, их письменные контакты — все это освещено в работах специалистов[1]. Но вероятно, впервые об этом было сказано столь решительно в выступлении крупного государственного деятеля, которое услышали или прочитали — или увидели на телеэкранах — миллионы людей.

Людей, недостаточно знакомых с идейным наследием Толстого, утверждение Раджива Ганди могло озадачить. Каким образом проповедь русского писателя-мыслителя, который призывал к непротивлению злу, считал всеобщую любовь основным законом жизни, помогла освободительной борьбе великого народа, находившегося в течение столетий под гнетом могущественного британского государства?

Это можно понять, если отрешиться от ходячих представлений, согласно которым философия Толстого сводится к однозначным евангельским повелениям: любите врагов ваших, благотворите ненавидящих нас, подставляйте обидчику другую щеку... Но на деле все обстоит сложнее. В книге Толстого «Царство Божие внутри вас» сказано: «Христианин ни с кем не спорит, ни на кого не нападает...» Но вся книга насквозь полемична, вся она — острый, открытый спор с властями и идеологами буржуазно-собственнического мира. Попутно Толстой возражает авторам, критиковавшим его книгу «В чем моя вера?»: «Русские светские критики, поняв мою книгу так, что все ее содержание сводится к непротивлению злу (вероятно, для удобства возражения), так, что оно будто бы запрещает всякую борьбу со злом, русские светские критики с раздражением напали на это учение и весьма успешно в продолжение нескольких лет показывали, что учение Христа неправильно, так как оно запрещает противиться злу»[2]. И Толстой развертывает программу *ненасильственного сопротивления:* не участвовать в насилии, не подчиняться властям, не служить в царской армии, не платить податей...

В другой работе, специально предназначенной для англоязычных читателей (предисловие к биографии Гаррисона), Толстой поясняет свою мысль: «Непротивление злу насилием ведь означает только то, что средство взаимодействия разумных существ друг на друга должно состоять не в насилии, которое можно допустить только по отношению низших организмов, лишенных рассудка, а в разумном убеждении; и что к этой замене насилия разумным убеждением и должны стремиться все люди, желающие служить благу человечества» (36, 98).

Молодой индиец, адвокат Мохандас Ка-

[1] Подробно об этом см. в книге: А. И. Шифман. Лев Толстой и Восток. Изд. 2-е. М., 1971.

[2] Л. Н. Толстой. Полн. (юбилейное) собр. соч., т. 28, с. 35. В дальнейшем Толстой, где это не оговорено особо, цитируется по этому изданию, в скобках указываются том и страница.

рамчанд Ганди (получивший впоследствии от своего народа почетное звание «Махатма», «великая душа»), пишет в автобиографии: «Я усиленно изучал также произведения Толстого. «Краткое евангелие», «Так что же нам делать?» и другие его книги произвели на меня сильное впечатление. Я все глубже понимал безграничные возможности всеобъемлющей любви»[3]. Излишне говорить, что эта любовь не простиралась на британских колонизаторов. Толстовская проповедь всеобъемлющей любви укрепляла в молодом Ганди готовность к самопожертвованию, к самоотверженной деятельности, отвечающей национальному характеру и национальным традициям его народа.

Отзвуки толстовских идей о сопротивлении без насилия сказались и в движении чернокожих американцев за гражданские права, сказываются теперь в различных действиях сторонников мира разных стран — вплоть до коллективных отказов крупных ученых участвовать в разработке программ «звездных войн»

Все это заставляет задуматься: вполне ли верно мы подходили до сих пор к проблеме мирового значения Толстого? (Я ставлю вопрос, естественно, самокритически, так как давно занимаюсь этой проблемой.)

Мы часто цитируем известные строки В. И. Ленина из статьи «Л. Н. Толстой»: «Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции»[4].

Понятно, что значение Толстого как художника неизмеримо более бесспорно, чем смысл его проповеди: многие читатели, и, конечно, не только в России, потянулись к его философским и публицистическим трудам именно потому, что эти труды принадлежали всемирно прославленному мастеру слова. Но мы привыкли рассматривать мировое значение Толстого преимущественно в плане литературном изучать его влияние только на творчество писателей, в то время как влияние это значительно шире по своему общественному диапазону.

Очевидно, что значение и влияние Толстого не ограничивалось — и не ограничивается — сферой художественной литературы. Толстой был не только первым русским писателем который при жизни достиг широчайшей популярности на Западе; не только первым европейским писателем, слово которого прозвучало, тоже при жизни, в Индии Японии, Китае в других не европейских странах. Он помимо этого явился первым в мировой литературе писателем, который стал — прежде всего благодаря своей публицистической деятельности — большой *общественной силой*. Ведь, по Ленину, мировая известность Толстого как мыслителя и проповедника *тоже* «отражает, по-своему, мировое значение русской революции».

И это исторически закономерно. Ленин еще на рубеже столетий — размышляя о возможных союзниках русского рабочего класса в революционном движении и в этой связи о настроениях крестьянства — отметил: «...выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития, а не одной России»[5]. Отчасти именно этим объясняется тот живой отклик, который получили религиозно-нравственные идеи Толстого в аграрных, крестьянских странах, особенно на Востоке.

Роль Толстого в международной политической, идеологической жизни и борьбе еще очень мало изучена Но она видна, так сказать, невооруженным глазом, о ней не раз писали ученые и общественные деятели. Так Альберт Швейцер, прославленный философ-гуманист, свидетельствовал: «Как многие другие, испытал его влияние и я. И на меня произвела глубокое впечатление простая и одухотворенная набожность, к которой тяготел Толстой»[6].

Слова Швейцера о «набожности» (хоть их и надо понимать, конечно, не в ортодоксально-церковном смысле) напоминают нам о сложности мировоззрения Толстого, в котором далеко не все для нас приемлемо. Они напоминают вместе с тем, что наследие Толстого-мыслителя надо *изучать* во всей его сложности, чтобы избежать слишком легких и привычных решений.

Незыблемой основой при изучении Толстого остаются для нас и сегодня ленинские статьи: это, разумеется, само собой. Но к ним не надо подходить буквалистски, начетнически, надо учитывать время и обстоятельства их возникновения Понятно, что тот комплекс идей, который мы привыкли называть «толстовщиной» — апелляция к Богу как высшему авторитету, недоверие к политике, отрицание революционных методов борьбы,— все это в свое время удерживало немалое число почитателей Толстого от участия в освободительном движении. Отсюда — обилие резких полемических формулировок в статьях Ленина. Но ведь мировоззрение Толстого — это не только «толстовщина»! У Ленина прямо говорится: «Противоречия в произведениях, *взглядах*, *учениях*, в школе Толстого — действительно кричащие»[7] Если слабые стороны мировоззрения Толстого порою заметно сказываются и в его художественных произведениях (например, в финале «Воскресения», где реалистический анализ внезапно подменяется евангельской проповедью), то сильные его стороны уверенно и блистательно утверждаются на многих страницах его статей и трактатов.

В высшей степени неправомерно рассматривать разные сферы писательской деятельности Толстого, художника и мыслителя, как два несообщающихся сосуда, или два отсека, отделенных один от другого непроницаемой перегородкой. Наследие Толстого — многосоставное единство. И, только обращаясь к текстам, рассматри-

[3] Ганди. Моя жизнь. М., 1969, с. 61.
[4] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 19.
[5] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, с. 228.
[6] Литературное наследство, т. 75, кн. 1, с. 296.
[7] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 209. (*Курсив мой.*— Т. М.)

вая их в совокупности, возможно отделить истинное от ложного, увидеть преобладание истинного над ложным[8].

Примечательно, что Толстой, при всем своем недоверии к политике, именно в философских работах *вмешался* в политическую борьбу своего времени с огромной силой и искренностью; благодаря статьям и трактатам его гений проявился с новой стороны — этим он дал поучительный пример писателям всего мира, претворившийся в практику у лучших передовых художников нашего века.

Притом именно в статьях и трактатах Толстого раскрылся *международный* аспект его деятельности, протестанта и обличителя. Как художник, он воссоздал почти исключительно русскую действительность. А в статьях он обращался и к действительности других стран. Вспомним строки из вступления к «Рабству нашего времени», где говорится о тяжелом положении трудящихся масс: «И так живут большинство людей во всем мире, не в одной только России, а и во Франции, и в Германии, и в Англии, и в Китае, и в Индии, и в Африке — везде» (34, 255).

Ценность публицистических работ Толстого нельзя сводить к их критическому, обличительному содержанию, вызывающему раздражение у власть имущих. Не менее и даже более существенно в них *утверждение положительных нравственных начал*. Именно в нем наиболее наглядно сказывается единство Толстого — художника и мыслителя.

[8] Мысль о том, что художественное творчество Толстого и его идейное наследие надо рассматривать в их взаимосвязи, пробивает себе дорогу в некоторых новых работах. Заслуживает внимания интересная, новаторская книга Г. Я. Галаган «Л. Н. Толстой. Художественно-этические искания» (Л., 1984).

Попытка рассмотреть Толстого — художника и мыслителя — в единстве сделана и в наиболее новом из известных нам зарубежных трудов о Толстом — книге Ричарда Ф. Густафсона (Richard F. Gustafson. Leo Tolstoy, Resident and Stranger. A Study in Fiction and Theology. Prinston University Press. 1986).

Согласно принятой автором терминологии, это название можно передать по-русски словами: «Толстой — родной и чужой». Центральная идея произведений Толстого, по мысли американского ученого,— идея всеобщей любви, отрицание эгоизма и всего, что разобщает людей. Но к сожалению, этот тезис приобретает в солидном исследовании Густафсона преимущественно богословский поворот, выводится из особенностей «восточнохристианской» религиозной идеологии; главные герои Толстого и их духовные поиски рассматриваются в метафизическом плане, «теология совершенствования» трактуется «вне категорий времени, пространства, причинности и личности» (с. 430). Толстой полностью оторван от русской действительности, от общественной жизни и борьбы его времени — это обедняет труд американского ученого.

Тут уместно напомнить. Религиозные взгляды Толстого сложились не только в результате идейного кризиса 70—80-х годов. Они складывались постепенно. Об этом Толстой говорит в письмах и — с полной прямотой — в «Исповеди»: «...со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне» (23, 40). Еще в дневнике 1855 года можно найти запись, которая не раз цитировалась. Толстой говорит здесь о «громадной мысли», которой он способен посвятить свою жизнь. «Мысль эта— основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле» (47, 37). Мечта Толстого о новой религии в конечном счете не реализовалась, но существенно, что его мысль уже в самом начале ориентировалась в сторону религии *практической*, свободной от мистицизма, утверждающей счастье людей на земле, а не в загробном мире.

Противоречивость поисков Толстого в религиозной сфере обнаруживается еще более ярко, более наглядно, чем в других сферах его духовной жизни. В «Исследовании догматического богословия» он подвергает уничтожающей критике и называет безнравственными догмы ортодоксального христианства — учения о первородном грехе, об искуплении, о таинствах, о благодати. Многие страницы этой книги могли бы украсить любую хрестоматию по научному атеизму — так они беспощадно доказательны. Общепринятое вероучение, утверждает Толстой, «не только ложь, но сложившийся веками обман людей неверующих, имеющий определенную и низменную цель» (23,63). И все-таки авторитет Христа оказывается для него высшим аргументом. В «Соединении и переводе четырех евангелий» он прямо говорит, что евангелия эти — продукт коллективного творчества, что в них много произвольных поправок и прибавлений. И сам вносит новые и новые поправки, говорит о «незнании Иисусом своего плотского отца» (24, 49), исправляет слова «не мир пришел я принести, но меч», на «не мир я принес, но раздор» (24, 292), слова «всякому имеющему дано будет» исправляет на «всякому, кто бережет, тому дается лишнее» (24, 323). И в то же время *сам* рассматривает исправленные им тексты как подлинное Священное писание! Но эта же книга, как и другие труды Толстого на религиозные темы, содержит благородные гуманистические положения, стихийно создавшиеся в сознании народных масс в течение веков — и ничуть не устаревшие.

В. Асмус обоснованно утверждает: «Учение Толстого не есть собственно даже религия. Это религия, сведенная почти целиком к этике» [8а]. Сведение религии к практической этике сказывается у Толстого и в том, как он определяет религию. «Под религиозными взглядами я разумею ответ на основной и самый важный для человека вопрос: каков смысл той жизни, которую должен прожить человек» (письмо

[8а] Литературное наследство, т. 69, кн. I, с. 58.

к Токутоми Рока; 76, 143—144). «Религия есть известное, установленное человеком, отношение своей отдельной личности к бесконечному миру или началу его» («Религия и нравственность», 39, 26). Подобния и Кант» 1. В этом плане даже франвысказываниях Толстого, записанных Д. Маковицким: «Религия есть установление своего отношения к миру и вытекающих из этого обязанностей»[9]. Если у человека есть чувство долга, чувство, что он обязан к чему-нибудь, этот человек уже религиозныи человек»[10]. Понятия «религия» и «нравственность» у Толстого не то чтобы отождествлялись, но тесно соотносились, как свидетельствуют записи того же Маковицкого Например: «Можно указать писателеи, у которых имеется религиозное настроение. К таким писателям принадлежат Диккенс, Гюго, Руссо. Никогда не теряет нравственной точки зрения и Кант»[11]. В этом плане даже французское Просвещение ассоциируется у Толстого с религией: «Французская революция была подготовлена работой умов вне Франции: главное, чего хотела достичь, было уравнение людей, égalité, в этом была религиозная сторона революции»[12].

Утверждая свою приверженность учению Христа, очищенному от догматических наслоений и обмана церкви, Толстой в то же время признавал ценность других религий. Он склонен был думать, что «все рационалистические общественные, религиозные учения, возникающие в последнее время из изуродованных жрецами первобытных учений: браминизма, буддизма, иудаизма, христианства, магометанства, имеют великую будущность именно потому, что все эти учения, откинув те уродливые наслоения, которые разделяют их, стремятся к тому, чтобы слиться в одну общую религию всего человечества», в основе которой — идеи «равенства, братства и любви» (74. 207—208)[13]. Отличие христианского учения от других религий он видел прежде всего в том, что оно «провозглашает возможность и необходимость установления на земле царства Божия, т. е. всеобщего блага, включающего в себя понятие всеобщего мира» (74, 261).

Нравственная точка зрения оставалась у Толстого доминантой в ходе его многолетних размышлений над понятиями — вера, религия, Бог, христианство. Он осуждал официальную церковь прежде всего за то, что она не дает человеку ясных понятий о том, как надо жить, требуя вместо этого выполнения обрядов «Нельзя отрицать, и все христиане всегда признавали это, что главное содержание учения Христа есть учение о жизни людей: как надо жить людям между собою» («В чем моя вера?», 23, 340). В дневнике за декабрь 1901 — очень характерная запись о «ближайшей задаче жизни»: «Она в том, чтобы жизнь, основанную на борьбе и насилии, заменить жизнью, основанной на любви и разумном согласии. И огромный матерьял, который должен быть духовно переработан для этого, лежит нетронутым еще в рабочем народе всех рас и вер» (54, 116). Раньше, в августе 1900 года, сделана дневниковая запись, наглядно свидетельствующая, что нравственный долг был для Толстого понятием гораздо более несомненным, чем религиозная вера. «Как-то спросил себя: верю ли я, точно *верю* в то, что смысл жизни в исполнении воли Бога...? И невольно ответил, что не верю так в этой определенной форме. Во что же я верю? — спросил я. И искренно ответил, что верю в то, что надо быть добрым, смиряться, прощать, любить. В это верю всем существом» (54, 38—39).

Прощать, смиряться Толстой далеко не всегда хотел — его непримиримость, сила его гнева несомненна и оправданна, когда он говорит о властях, высших классах или церковной иерархии. Столь же несомненна его любовь и доброта по отношению к подавляющему большинству рода человеческого. Принцип «надо быть добрым» и заодно доброта и доверие к «рабочему народу всех рас и вер»,— пожалуй, самое существенное в мировоззрении Толстого. И здесь, на наш взгляд,— секрет его всемирной популярности, особенно при жизни. В царской России, как напоминал Ленин, произведения Толстого были известны лишь ничтожному меньшинству. Его слава как человека и общественного деятеля намного опережала и превосходила его литературную славу.

Тысячи крестьян, которые сопровождали его гроб в Ясной Поляне, могли и не знать его романов и философских книг. Но они точно знали (как знала Катюша Маслова о революционерах), что он шел «за народ против господ» (32, 367) — и это определяло силу стихийной симпатии к нему в русском народе. И не только в русском, и не только в населении России. Толстой стал одним из наиболее известных, широко читаемых писателей во всех странах и на всех континентах — об этом говорит издательская статистика. Но все-таки и за рубежом его знали и знают недостаточно глубоко, часто — по слабым и сокращенным переводам, по частичным публикациям. Однако репутация великого заступника за угнетенных установилась за Толстым еще при жизни, держится до сих пор. приобретает все большее всемирное распространение по мере роста национального сознания народов, вышедших или выходящих из состояния колониального рабства.

В «Ответе на определение Синода» Толстой признал: «Людей. разделяющих мои взгляды, едва ли есть сотня» (34, 246). Действительно, людей, полностью принявших религиозно-моральное, во многом утопическое учение Толстого, было и есть не столь много. Но людей, которых восхищал и покорял гуманизм Толстого, сила его доброты, независимость его жизненной позиции, были

---

[9] Литературное наследство. т. 90. кн. IV. с. 377.
[10] Там же. с. 342.
[11] Литературное наследство. т. 90. т. I, с. 99.
[12] Там же, с. 325.
[13] Мысль о тождестве или сходстве различных религий особенно часто повторяется в письмах Толстого последних лет. Христос в них подчас упоминается в ряду вероучителей разных народов и эпох. Иногда это делается в обостренно парадоксальной форме. например: «Приписывание особенного пророческого значения некоторым людям, как Моисею, Христу, Кришне, Будде, Магомету, Беха-Улле и многим. многим другим. есть одна из главных причин разъединения людей и вражды их. И потому такое приписывание значения отдельным лицам есть дело противное Богу и великий грех» (81. 77).

миллионы при его жизни, стало еще больше после его смерти. На этой основе возможно взаимопонимание почитателей Толстого — верующих и атеистов. Мне уже доводилось цитировать трезвое суждение итальянского ученого, католика Санте Грачиотти из работы, опубликованной во французском сборнике «Толстой сегодня»: «Вера Толстого в теоретическом смысле всегда была шаткой. Но его вера в человека была непоколебима»[14]. Именно гуманизм, активная любовь к человеку, вера в человека образуют ту константу, которая сохранялась на всех поворотах ищущей мысли Толстого.

Мне думается, что демократический гуманизм Толстого и есть тот фактор, который определяет единство его творчества и мировоззрения. Конечно, очень трудно привести в систему те идеи, которые лежат в основе этого единства. Но в виде рабочей гипотезы можно выдвинуть следующие положения, которые были и оставались основополагающими для Толстого — художника и мыслителя. На уровне межнациональных отношений это страстное отрицание войны и вражды между народами. На уровне межличностных отношений это призыв к единению и братству людей. На уровне отдельной личности это утверждение бесконечной способности человека к совершенствованию. Эти идеи образуют основу мировоззрения Толстого, они много раз им высказывались в статьях и трактатах. И эти же идеи, в художественной форме, органически входят в его творчество — с самого начала.

Война — «величайшее зло» (24, 252), так говорил Толстой после перелома в его взглядах, так думал он задолго до перелома. Один из наиболее горячих почитателей Толстого среди иностранных писателей XX века, Назым Хикмет (кстати сказать, переводивший «Войну и мир» на турецкий язык), особо запомнил в «Севастопольских рассказах» именно эпизод короткого перемирия, когда русские и французы обмениваются репликами. Эта сцена, сказал он, видится ему «как символ будущего мира без оружия, как образ дружбы, братания всех народов земли». В «Войне и мире», как мы помним, этот мотив «братания» развернут в сцене ночевки в лесу под Красном, когда русские солдаты согревают и кормят двух полузамерзших французских вояк, офицера Рамбаля и его денщика Мореля,— и один из старых солдат выражает свое отношение к поверженным врагам в бесхитростных словах: «И полынь на своем корню растет» (12, 196).

«Война и мир» оказала громадное, не поддающееся полному охвату влияние на всех более или менее значительных писателей конца XIX и XX века, занимавшихся проблемой войны — от Золя до Арагона, от Стивена Крейна до Хемингуэя,— причем всеми ими она была воспринята как произведение *антивоенное*. Но по философской глубине, с какою раскрыта антитеза понятий «война» и «мир», роман-эпопея Толстого остается произведением уникальным.

Широко известно, какое большое место занимает антивоенная тема в публицистике Толстого последних десятилетий. Причем, присматриваясь к политической жизни на рубеже веков, Толстой, хоть с явным неудовольствием, мог признавать возможность «оборонительной народной войны» (34, 89) — так оценил он войну буров против англичан.

В период русско-японской войны на прямой вопрос французского журналиста: какие последствия, по мнению Толстого, военный конфликт может иметь для русской или японской «расы» — он ответил: «Я не делаю различия между расами. Прежде всего я думаю о человеке, мне все равно, русский он или японец,— я за рабочего, за угнетенного, за несчастного, к какой бы расе он ни принадлежал» [15].

Нам трудно сегодня в полной мере представлять себе всю оригинальность и смелость этого заявления Толстого, сделанного в период, когда расистские писания Гобино и Чемберлена, теории «сверхчеловека» Ницше приобретали все большее распространение в разных странах Европы. Для нас как-то непривычно обозначать позицию Толстого как интернационалистскую,— но по сути дела он *был* интернационалистом (хотя конечно, и не революционным). Мы не можем найти в девяноста томах Толстого хотя бы одной строчки, выражающей антипатию к какой-либо нации или народности. Он мог писать с симпатией и о французах, и о немцах, и о поляках, и о кавказских горцах, и о башкирах. Настроения национальной исключительности, ксенофобии (которым эпизодически поддавались и такие большие художники, как Достоевский и Лесков) Толстому были абсолютно чужды. «...Для меня равенство всех людей — аксиома» (65, 117),— писал он в личном письме, имея в виду именно равенство людей разных национальностей. Когда во Франции на рубеже веков поднялась волна воинствующего национализма (в связи с дрейфусиадой), Толстой в нескольких интервью (опубликованных недавно В. Лакшиным) безоговорочно осудил подобные явления. «Антисемитизм и шовинизм — это что-то более чем ужасное; это какое-то дикое 'человеконенавистничество, недостойное французской нации» [16].

Та черта мировоззрения Толстого, которую мы, не колеблясь, вправе назвать интернационализмом, ярко проявилась в его отношении к народам и культурам Востока. Вслед за Гёте, автором «Западно-восточного дивана», Толстой решительно преодолевал ограниченность традиционного европоцентризма, присущего крупнейшим деятелям европейской культуры. Он ценил, с уважением изучал философское наследие Индии и Китая, внимательно следил за событиями общественной и культурной жизни стран Востока — само собой разумеется, что это повышало его авторитет, вызывало ответное внимание к нему в названных странах.

Христианство в интерпретации Толстого включало в себя непреложный принцип: «Для отца всех людей нет ни разных народов, ни разных царств: все братья, все сыны одного отца. Не делайте различия между людьми по народам и царствам» (24, 843—844). «Мы... не можем не признать ту основную истину христианского учения, ту,

[14] Tolstoï aujourd'hui. Paris, 1980, p. 112.

[15] Литературное наследство, т. 75, кн. I, с. 484.

[16] Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1986, с. 122.

что мы все сыны одного отца, все, где бы мы ни жили и на каком бы языке ни говорили, все братья»... Отсюда он делал вывод, что «люди все имеют одинаковые права на жизнь и блага мира, что одни люди не лучше и не хуже других, что все люди равны» (28, 91). Эта идея проходит через всю публицистику Толстого.

Утверждение братства и равенства людей, свободы трудящихся и угнетенных часто носит у Толстого — здесь или в других аналогичных пассажах его философских работ — декларативный характер. Толстой-утопист настаивает на том, что оно осуществимо, стоит лишь людям захотеть. Толстой, трезвый реалист, отлично видит, что благих пожеланий или даже «разумного убеждения» недостаточно.

И все же его тезис о врожденном равенстве всех людей, о способности людей к братскому единению — не пустая мечта. Он как бы задает масштаб для оценки социальных явлений эпохи. Он дает художнику высоту точки зрения, необходимую для его острейшей социальной критики. Толстой не мог привести человечество в царство свободы и равенства. Но он мог подрывать основы царства несправедливости. И делал это с великой художественной мощью — не только в «Воскресении» или «Власти тьмы», но и в своих публицистических работах.

Да, в этих работах есть положения, которые не могли быть чем-либо иным, как прекраснодушной абстракцией. Но «стомиллионный земледельческий народ», взгляды которого выражал Толстой, не был для него абстракцией. Толстой обладал такой полнотой знания народной жизни, какой не обладал, быть может, ни один великий писатель до него. Он накопил эти знания на бастионах Севастополя, в Яснополянской школе, в устроенных им столовых для голодающих, в ходе многократных бесед с неимущими крестьянами у «дерева бедных». И когда он говорил о бедствиях народа, он знал то, о чем говорил.

Толстой прилагал громадные усилия к тому, чтобы воздействовать на своих читателей не только опосредованно — силою искусства, но и непосредственно — силою нравственной проповеди. Он стремился пробудить в читателях чувство собственного достоинства, веру в свою способность объединиться общими усилиями преобразовать жизнь на началах справедливости и добра: «...вы не животные и не рабы, а люди свободные, ответственные за свои поступки» (39, 204). Он настойчиво выражал надежду, что стоит массам прозреть — и «сложатся сами собой... новые человеческие, братские условия жизни» (39, 205). Постепенно у Толстого нарастали сомнения в действенности этой проповеди — об этом говорят его дневники последних лет. Однако оставалось и, быть может, даже крепло убеждение, что по крайней мере отдельные личности способны прислушаться к призыву писателя и велениям собственной совести — и осознать свою долю *личной* ответственности за судьбы мира, которая лежит на каждом человеке. Проблема личного совершенствования, глубоко заложенная в мировоззрении Толстого, сохраняла для него свою остроту.

В статье «Единое на потребу» (1905) Толстой писал: «...изменение внутреннего, духовного состояния людей всегда находится во власти каждого отдельного человека... И потому средство избавления от всех тех зол, от которых страдают люди, и в том числе от того ужасного зла, которое совершается правительствами (как все теперешние бедствия в России), как это ни кажется странным, только одно — внутренняя работа человека над самим собою» (36, 205).

Известно, идея самосовершенствования была для Толстого в какой-то мере противовесом против революционных методов борьбы: поэтому стало привычным считать эту идею одним из главных атрибутов «толстовщины». Но такой взгляд по меньшей мере односторонен. Эта идея непосредственно направлена и против догматического богословия. Толстой резко критиковал церковников за то, что они своими догмами о первородном грехе, об искуплении грехов, обрядами, молитвами, постами и т. п. как бы снимают с человека ответственность за свои поступки. В его статье «К духовенству» прямо сказано: «...вместо потребности совершенствования вы говорите, что спасение... в вере, в искуплении, а что совершенствование своими силами, без помощи молитв, таинств и веры в искупление есть грех гордости»... (34, 305) Еще раньше, в «Исследовании догматического богословия», Толстой писал: «Обман о том, что человек всегда порочен и бессилен и стремление его к добру бесполезно, если он не усвоит себе благодати, это учение под корень подсекает все, что есть лучшего в природе человека» (23, 230).

В этом контексте толстовская идея самосовершенствования раскрывается в своей гуманистической направленности и силе. Человек не обременен первородным грехом, он способен к добру, он в состоянии отвечать за себя. Он может духовно и нравственно возвыситься, стать лучше, чище, в результате «внутренней работы» над собой. Притом неверно думать, будто совершенствоваться — значит изолировать себя от жизни, от людей, уходить в себя. «Совершенствоваться можно только в жизни, в общении с людьми» (74, 237).

Стоит напомнить известные строки Горького, сжато определившего исторический, социальный смысл тех тревожных нравственных поисков, через которые проходят, каждый по-своему, основные герои Толстого: «Его книги — документальное изложение всех исканий, которые предприняла в XIX веке личность сильная, в целях найти себе в истории России место и дело»[17]

Личностью титанической силы был сам Толстой. Его основные герои — личности не обязательно сильные, но во всяком случае незаурядные, намного возвышающиеся над привычными взглядами и нравами своей среды, в конечном счете стоящие в оппозиции к ней. При всем различии характеров и судеб у них есть общие типологические черты. Все они — и Николенька Иртеньев, и Нехлюдов из «Утра помещика», и тем более Нехлюдов из «Воскресения», и, конечно, Пьер Безухов и Андрей Болконский, в из-

[17] М. Горький. История русской литературы. М., 1939, с. 295.

вестном смысле и Наташа Ростова, и Анна Каренина — в каждый данный момент своей жизни не равны сами себе, находятся в постоянном движении. Им мало присуще барство, кастовость, они близки к национальным народным основам русской жизни. У них есть высокоразвитое чувство личного достоинства. И есть — и это главное в них — способность к нравственному самоконтролю, самоанализу, самокритике. Они вовсе не безгрешны, они и оступаются и ошибаются,— при построении их характеров Толстой неизменно придерживается принципа «текучести» и смело накладывает тени. Но его основные герои по сути своей *положительные* герои — они имеют полное право на авторскую и читательскую симпатию. Они потенциально способны к самосовершенствованию и показывают — не умозрительно, а конкретно,— что оно в принципе осуществимо. Толстой был убежден: «Невозможно человеку писать, не проведя определенную черту между добром и злом» (64, 21). Он сам в любой точке развития своих героев проводит эту черту со всей определенностью — и мы видим: эти люди в конечном счете стоят *на стороне добра*.

Примечательно, что выражение «внутренняя работа», которым Толстой неоднократно пользовался в философских трудах или письмах, определяя нравственные требования к человеку, встречается у него и там, где идет речь о труде литературном: «Главное — работа внутренняя, душевная, и чтобы показана была не окончательная работа, а процесс работы на самом деле» (65, 197). Толстой представлял себе ход развития человека, его самовоспитание, самоулучшение, не как законченный результат, а именно как *процесс*, в котором не должно быть остановки. Как верно замечает В. Днепров, «Толстому было слишком известно, до чего не просто стать по-настоящему хорошим человеком, и это одна из драгоценных истин, которые он рассказал людям о них самих»[18].

Мы снова и снова убеждаемся, что положения — пусть спорные, пусть противоречивые,— из которых складывалось учение Толстого, не изолированы непроходимой перегородкой от его бессмертных художественных произведений. И нас не должно удивлять, что, чем больше историческая дистанция, отделяющая Толстого от нас, тем чаще возникает он перед нашей памятью как сложное единство: художник, мыслитель, проповедник.

Что может дать наследие Толстого — не только художественное, но и идейное — людям конца XX века? Над этим в последние годы по-новому задумываются писатели и публицисты, у нас и за рубежом.

Очень хорошо сумел сказать об этом безвременно ушедший от нас Федор Абрамов:

«Творчество Л. Толстого необычайно глубоко и масштабно, и каждый осваивает его по-своему. Мне лично Толстой-художник, Толстой-мыслитель, Толстой-человек особенно дорог бесстрашием своих исканий. ...На мой взгляд, сейчас очень важно сделать достоянием нашей молодежи толстовский принцип нравственного самоусовершенствования человека»[19].

В наши дни, когда над человечеством нависла вполне реальная опасность гибели, уничтожения всего живого на земле, наследие Толстого именно как моралиста приобретает особую актуальность, особую жизненную важность. Об этом убедительно и тревожно говорит Алесь Адамович—имя Толстого, строки из произведений Толстого то и дело возникают в его книге публицистики «Ничего важнее». «Нам, с нашими проблемами, впору кликать на подмогу всех великих и сверхвеликих»... «Нам еще тянуться и тянуться до антимилитаристского пафоса Толстого...»[20]

В современных условиях, справедливо говорит Адамович, надо прислушаться к мыслителям прошлого, мечтавшим о вечном мире, пора перестать третировать их как «идеалистов», «пацифистов» за то, что они призывали людей к нравственному просветлению. «Сегодня именно эта сторона — духовно-нравственная, общечеловеческая — важна, как никогда, в борьбе за самое насущное»[21].

Подобные же суждения высказал недавно итальянский прозаик Луиджи Малерба: «Идеи ненасилия, мира и добра, мысли Льва Толстого, Ганди и других титанов духа заложены в глубинной сути человека, они составляют часть его внутренней культуры. Сейчас, по-моему, перед нами, писателями и деятелями культуры, стоит неотложная задача вывести на первый план все ценности гуманизма, вернуть их людям»[22].

К ценностям гуманизма глубоко привержен и швейцарский писатель Макс Фриш, хорошо известный в нашей стране. В своем «Дневнике (1966—1971)» он посвятил несколько страниц размышлениям над публицистическими работами Толстого — «Конец века», «Не могу молчать», «Патриотизм и правительство». Он пространно цитирует эти работы и развертывает на этой основе диалог между двумя условными персонажами — А. и Б. Фришу ближе второй из этих персонажей, Б.; он тяготеет к толстовской идее непротивления злу насилием, но убежден, что нельзя понимать ее слишком буквально.

Б. размышляет, подходя все ближе к современности: «Когда я читаю Толстого, я задаюсь, например, вопросом, что произошло бы, если бы цари распространением известного благосостояния позаботились бы о том, чтобы революция была излишней? Царизм и сегодня существовал бы... Если бы Фидель Кастро, вместо того чтобы завоевать кубинские деревни и экспроприировать иностранных владельцев, обратился к американским лобби, Вашингтон, несомненно, был бы менее жесток (что, возможно, сор-

[18] В. Днепров. Искусство человековедения. Л., 1985, с. 205.

[19] Яснополянский сборник, 1978. Тула, 1978, с. 21.

[20] Алесь Адамович. Ничего важнее. М., 1985, с. 94, с. 135.

[21] Там же, с. 174.

[22] Луиджи Малерба. Писать правду, которой поверят. «Литературная газета», 29.VII.1987.

вало бы эксперимент) и американские эксплуататоры все еще сидели бы на Кубе»[23].

Макс Фриш не дает и не пытается дать однозначный ответ на вопросы, поставленные в этом диалоге. Писатель-гуманист, антифашист в итоге долгой жизни убедился, что острые конфликты, социальные и межнациональные, какими насыщен XX век, слишком многосложны, чтобы их можно было разрешить с помощью какого-то единого рецепта. Но он безусловно искренен в своем отвращении к насилию, в своем желании, чтобы острые проблемы века решались на путях мирных, ненасильственных. И возможно, именно размышления над Толстым привели его к выводу: «...мораль общества, мораль индивидуума должна заключаться в том, чтобы не молчать, не надевать маску равнодушия, когда вокруг совершается зло»[24].

«Не молчать» в нынешних условиях — это значит не только обличать зло, но и утверждать словом и личным примером противоположные злу нравственные начала — добро, милосердие, справедливость. Таков завет яснополянского мудреца современным мастерам культуры, всему современному человечеству.

[23] Макс Фриш. Листки из вещевого мешка. М., 1967, с. 181—183.

[24] Там же, с. 277.

◆

ЮРИЙ КАРЯКИН

ДВЕ ВОЙНЫ ЗА НЕБЫТИЕ, ИЛИ О СЛУЖБЕ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания.

Ж.-Б. Ламарк

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны...

О. Мандельштам

Сначала я натолкнулся на эти слова случайно. Они были затеряны в какой-то журнальной статье, без сноски. Не поверил глазам своим.

Не поверил, что автор этих слов не Бор, не Эйнштейн, не Адамович, а Ламарк!

Как он мог сказать — понять! — такое, тогда и так?

Здесь обе самые главные наши глобальные проблемы — экологическая и военная, убийство природы и самоубийство человечества — две наши войны за свое небытие.

И это даже не зародыш того, что будет названо новым мышлением, а чеканная формула его основной посылки.

Я часто цитировал эти слова, не уставая им поражаться, и, конечно, реакция людей, впервые их узнавших, была такой же.

Но все время донимали и откладывались вопросы: откуда эти слова? когда написаны? в какой связи? Я взял цитату из вторых рук, а тут случаются порой ужасные конфузы. А главное, почему-то предчувствовалось, что слова эти вырваны из какого-то не просто научного, философского, но словно из художественного, а может быть, и жизненного контекста. Слышалась в них какая-то личная горечь и даже исповедальность.

Что я помнил о Ламарке? Что я мог помнить, кроме обрывков того, чему когда-то учили. «Ламаркизм», «неоламаркизм»... что-то давным-давно превзойденное и немного смешное (кажется, мысль о наследовании упражняемых органов). Кювье над ним особенно насмехался. Полемика у них какая-то была, не особенно красивая со стороны автора теории катастроф. Наполеон его за что-то обидел... Что еще? Да! У Мандельштама есть стихотворение, и там... и там что-то очень похожее на эту странную мысль, будто залетевшую в то далекое прошлое из нашего времени.

Наконец, разыскал, откуда цитата: «Аналитическая система положительных знаний человека». Февраль 1820-го! Ему было тогда 75.

Родился 1 августа 1744-го, умер 18 декабря 1829-го.

Искать в изданном у нас двухтомнике Ламарка пришлось довольно долго: слова эти оказались словно нарочно спрятанными в одном большом (в полстраницы) примечании,— петитом, в самом уголке, три последние строчки: том II, страница 442. С первого прочтения, конечно, не нашел. Проклинал автора, подарившего мне цитату без сноски, а потом возблагодарил, потому что, будь сноска, вряд ли я бы взялся читать Ламарка и о Ламарке, вряд ли узнал бы то, что узнал.

Великий день, предопределивший его призвание, это — первое посещение Королевского ботанического сада. Богатейшие коллекции Кабинета естественной истории ошеломляют его, тогда еще студента Высшей медицинской школы. Потом (в 1784 го-

Дополнительная глава к работе «Не опоздать!» (сб. «Пути в незнаемое» № 19. М., «Советский писатель», 1986).

ду) он станет хранителем гербария Королевского сада.

Был и такой подарок судьбы, как знакомство в 1774 году с самим Жан Жаком Руссо (1712—1778). Они вместе бродили по окрестностям Парижа, вместе музицировали.

Революция его окрыляет. Он отказывается от своего древнего дворянского титула и отныне вместо «де ла Марк» подписывается — просто Ламарк или гражданин Ламарк (и во время наполеоновского императорства, и во время бурбонской реставрации). Одну свою работу он посвящает французскому народу: «Прими, о народ великодушный...»

Возможно, в том откровении, которое явили три строчки примечания, сыграли свою роль и наполеоновские войны, казавшиеся современникам не менее страшными, чем для нас — обе наши мировые войны (даже такой суровый мыслитель, как Чаадаев, решил прекраснодушно, что после них вообще война невозможна, ибо — самоубийственна).

Конечно, как биолог и как человек, проживший такую долгую (85 лет) жизнь, Ламарк особенно остро должен был воспринимать контраст между буйной природой его детских лет и чахнущей — в годы его старости: достаточно было наблюдать за судьбой какого-нибудь озерца возле какой-нибудь фабрики. По тем временам это, наверное, производило на него впечатление не меньшее, чем на нас покушение на Байкал или на Амазонку. Во всяком случае, видеть калечение природы человеком было его, так сказать, профессиональной обязанностью.

И все же без широкого, панорамного — с высоты — взгляда на всю историю человечества и природы, без этапа руссоистских мыслей и эмоций, без переживания результатов недавней Великой революции и как духовно-нравственного поражения человека не мог бы он сделать свой печально-иронический вывод. «Можно, пожалуй, сказать, что назначение (!) человека как бы заключается в том, чтобы...»

А еще, вероятно, это была натура художественная (это видно и по его стилю, по вниманию к композиции своих произведений, недаром в молодости он собирался стать профессиональным музыкантом, увлекшись скрипкой и флейтой). И это позволяло видеть и слышать явления в их живой цельности, гармонии, а потому и зорко, больно отмечать всякую дисгармонию, разорванность.

Представьте себе живого французского Дон Кихота, работающего в поте лица своего. Он увлекался конхиологией (наукой, изучающей раковины), был и геологом, и метеорологом, но, главное, всю жизнь путешествовал, путешествовал мыслью своей среди флоры и фауны, а под конец — и среди людей. Искал идеала, гармонии. Верил, что есть. И вот это последнее путешествие принесло ему самую большую неожиданность. Оказалось, что развитие животных и растений упирается в человека. Вся природа живая, вся жизнь споткнулась вдруг на человеке...

Вдумаемся в путь мысли Ламарка. Вот основные вехи этого пути.

1778-й: «Флора Франции» (три тома).

1782—1784-й: два тома «Ботанического словаря».

1809-й: «Философия зоологии».

1815—1822-й: «Естественная история беспозвоночных животных» (7 томов).

1820-й: «Аналитическая система положительных знаний человека».

Флора. Фауна. Человек. Около двадцати томов сочинений и всего только одно примечание — абсолютно отрицательный итог «положительных знаний человека», чуть смягченный словами — «пожалуй» и «как бы».

Что это — досадная случайность? риторика? классическое французское «мо»?

Или прозрение и отчаяние?

Родоначальник самого термина «биология» (одновременно с Г. Р. Тревиранусом, в 1802 году), предшественник Лайеля, Геккеля, Гексли, Дарвина, создатель концепции трансформизма, теории эволюции органической природы, говоривший о столь же необъяснимом, сколь и очевидном «стремлении организмов к прогрессу» как о законе, и вдруг — конец всякой эволюции, всякого прогресса? И вдруг — человек, плод и венец этого прогресса, высшее воплощение его — убийца и самоубийца? Тоже закон?..

Почему все-таки столь сильная и трагическая мысль, мысль-кредо, оказалась спрятанной в уголке примечания? Не надеялась быть услышанной? Или испугалась самое себя? Или еще что?

Убийство природы, самоубийство человечества — в примечании (!), как примечание ко (!!) всей истории природы, ко всей истории человечества? Нет, тут какая-то тайна.

Чувствуется, что эта мысль мучит Ламарка. Взгляните на эти слова в контексте всей его жизни, всей его книги или хотя б в контексте одной главы и даже страницы. Есть тексты, которые надо читать и как научные, и *как художественные*.

Вот начало Второго раздела «Аналитической системы» — «О человеке»: «Человек, это подлинное произведение природы, этот абсолютный предел всего наиболее совершенного, что она могла создать на нашей планете...» [1]

Звучит как торжественная увертюра. Но мы не поймем смысла этих слов, еще несущих в себе заряд, энергию Возрождения, если не будем судить о Ламарке по законам того мировоззрения, которое он исповедовал.

Ламарк — деист. Казалось бы, навсегда установленное — «Богу — богово, кесарю — кесарево» — вдруг взорвалось в эпоху Возрождения еще одним требованием: человеку — человечье, а тем самым: науке, ученому — свое (а искусству, художнику, писателю — свое). Взорвалось, но и умерилось в новом мировоззрении — в деизме.

Бог сотворил природу, дал ей «первотолчок», а уж потом природа сотворила человека. Признание всемогущества высшей силы — лишь бы она не вмешивалась в дела земные, лишь бы не проявляла здесь свое всемогущество. Конституционная монархия мышления, пришедшая на смену религиоз-

[1] Жан-Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах, т. II, М., 1959, с. 439.

ному абсолютизму и таящая в себе неистребимую тенденцию к самостоятельности, свободе. Сделка со своей философской совестью во имя чистоты совести научной. «Стыдливый материализм» (К. Маркс). Самообман, догадывающийся, что он — самообман, и надеющийся потом от себя избавиться. Компромисс, чреватый взрывами.

Деизм — это война с религией внутри религии, то сопровождаемая мирными переговорами, обменами письмами, встречами парламентеров и даже «сердечными согласиями» о разделе познаваемой «территории», то прерываемая яростными реваншистскими контрнаступлениями церкви, инквизиции и не менее яростными штурмами, налетами атеистических партизан. И тогда деистам доставалось с обеих сторон. А нередко эта война вдруг как бы сосредоточивалась и развертывалась в душе одного мыслителя...

Не забудем обо всем этом, когда читаем: «Человек, это подлинное произведение природы...» Это написано вместо: человек — божье создание... И еще скажу, забегая вперед: не забудем обо всем этом, когда дойдем до трех строчек о «назначении человека» (может быть, потому они и оказались в примечании).

Читаем дальше — это уже наша, 442-я страница: «Властелин земли, на которой он обитает, властелин даже среди индивидуумов своего вида, их друг — при одних обстоятельствах, враг — при других, он представляет по своим свойствам и по развитию своих способностей самые удивительные крайности, самые резкие контрасты. Действительно, это до некоторой степени непостижимое создание одновременно является носителем как самых лучших качеств, так и самых дурных, ибо человек показывает такие образцы доброты, благожелательности, великодушия, подобных которым невозможно найти ни у одного другого существа, и наряду с этим он обнаруживает примеры черствости, злости, жестокости и даже варварства, с которыми не могли бы соперничать самые свирепые животные».

Удивительно читать это сегодня. Есть какое-то странное обаяние в этих трогательных старинных строках, принадлежащих, в сущности, по своему стилю, риторике, неторопливости и основательности, по своей как бы органной музыке еще к XVIII веку. Наивность и мудрость вместе. И даже контрасты, кажется, еще составляют здесь необходимое условие вечной общей гармонии и умиротворения. И как трудно (даже мыслью) переходить в век XIX и XX...

Однажды человек говорил о XVIII веке, пытаясь определить, описать его:

— XVIII век — это... В России — Петр, Екатерина, Павел... Ну, конечно, Ломоносов. Пугачев. Державин... Кто еще? Радищев... Ну в общем, это до Пушкина... Во Франции — сначала просветители, потом революция, конечно, термидор, книги, улица, площадь... В Германии — собор, кабинет, театр. Бах, Кант, Шиллер...

А потом вдруг тихо-тихо, шепотом, сказал:

— XVIII век, это... Понимаете: это когда еще не было XIX. Не было. Просто — не бы-ло. Он же не всегда был...

Меня поразило это ненаучное определение. Тут весь смысл, вся убедительность и даже неопровержимость были в самом тоне. И, странное дело, вдруг действительно както все стало яснее. Потом я часто представлял себе века, сравнивал их — так: то сколько в каждом было народу на Земле, то каким оружием мы убивали друг друга и сколько убивали, то как, на чем передвигались (транспорт), то по музыке, живописи, по оборудованию и размерам лабораторий, по научной периодике, то по фабрикам, городам, то по детям, школам, студентам, университетам, то по больницам (в том числе для душевнобольных), по состоянию кладбищ, жилищ, по ночным фонарям, а еще — по книгам, по хорошим, надежным, классическим книгам. Мы в своем XVIII веке жили без Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова... Французы — без Стендаля, Бальзака, Гюго, Флобера... Можно было бы каждому веку отвести отдельную залу в библиотеке (и Восток не забыть). Представим себе хотя бы только три: XVIII, XIX, XX... А рядом, в таком же порядке, оружие... Что такое XVIII век? Это когда не было кровопускания века XIX и века XX. А что такое XX?..

Но вернемся к Ламарку. Вот непосредственно то рассуждение «О человеке», к которому и делается таинственное примечание: «Что касается его склонностей, то в одних случаях, руководствуясь рассудком и высокоразвитым умом, он обнаруживает самые благородные из них: непоколебимую любовь к истине, к положительным знаниям всякого рода, к добру во всех его проявлениях, к справедливости, чести и т. д., но под влиянием эгоизма...»

И вот тут-то и наше примечание.

Это примечание к слову «эгоизм»!

Однако дочитаем: «...но под влиянием эгоизма его наклонности приобретают грубый и низменный характер, у него развивается постоянное стремление к обману и насилию, злорадство от сознания причиненных им неприятностей, огорчений и даже жестокостей».

А теперь — примечание полностью: «Человек, ослепленный эгоизмом, становится недостаточно предусмотрительным даже в том, что касается его собственных интересов: вследствие своей склонности извлекать наслаждение из всего, что находится в его распоряжении, одним словом — вследствие беззаботного отношения к будущему и равнодушия к себе подобным он сам как бы способствует уничтожению средств к самосохранению и тем самым — истреблению своего вида. Ради минутной прихоти он уничтожает полезные растения, защищающие почву, что влечет за собой ее бесплодие и высыхание источников; вытесняет обитавших вблизи них животных, находивших здесь средства к существованию, так что обширные пространства земли, некогда очень плодородные и густо населенные разного рода живыми существами, превращаются в обнаженные, бесплодные и необитаемые пустыни. Подчиняясь своим страстям, не обращая внимания ни на какие указания опыта, он находится в состоянии постоянной войны с себе подобными, везде

и под любым предлогом истребляя их, вследствие чего народности, весьма многочисленные в прошлом, мало-помалу исчезают с лица земли. Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания».

Это медленное рассуждение написано с болью. От него веет бесконечной грустью и каким-то сиротством (как и у деиста Версилова из «Подростка», когда он рисует картину последних дней богооставленного человеческого племени).

Это уж как бы встреча XVIII века сразу с XX.

Тут самое время вспомнить о Кювье (1769—1832). Ему принадлежит гениальная идея — закон корреляции частей организма, благодаря чему он и сумел воссоздать некоторых вымерших животных по их ископаемым остаткам и благодаря чему сам вошел как бы в научную поговорку. «Как Кювье» — говорят о том, кто воспроизвел целое по части, животное по косточке. Но восстановить все великое целое живой природы по сохранившимся ископаемым частям, восстановить это целое на основе закона эволюции («как Ламарк»),— тут его мысль струсила, и ее страх обратился в озлобление, и аргументом в научной полемике стал донос на оппонентов в «ереси», в «богохульстве». Непримиримый (и неблагородный) враг эволюционных идей в биологии, убежденный сторонник постоянства органических видов (в силу их божественного происхождения), он, будучи палеонтологом, все же вынужден был объяснить качественные различия геологических слоев и видов ископаемых животных. Выход был найден в создании теории катастроф. Дескать, земной шар периодически подвергался катастрофам, результатом которых было, как правило, полное уничтожение животного мира. И тогда следовало новое божественное творение. Факт исторической, естественной эволюции отражался в исступленном религиозном сознании Кювье как серия не связанных между собой, сепаратных актов божественного творения. Церковь, сам папа были в восторге, потому что «научно» доказывалась уже не однократная, а многократная мощь творца. А смешное внутреннее противоречие этой теории не замечалось. Оно состояло в том, что совершенствование каждого нового, созданного после катастрофы вида (а этот-то факт был неоспорим) оказывалось, в сущности, совершенствованием самого творца, который постепенно научался творить все лучше и лучше, то есть сам эволюционировал! Ради отрицания эволюции на земле прибегли к признанию эволюции на небе. В борьбе с земными ламаркистами сделались ламаркистами небесными и, сами не ведая того, обоготворили ненавистного Ламарка. Эта победа религии была в полном смысле слова Пирровой, и церковь довольно скоро от нее отказалась. Но в интересующий нас момент теория катастроф была в зените своего могущества, поддержанного властями святыми и мирскими (и Бурбонов после своих катастроф, и Наполеона после своих — особенно прельщала идея «нового творения»). Все это было бы смешно, если бы Кювье не организовал настоящую травлю Ламарка (даже речь на его смерть написал издевательскую). Я не знаю, прочитал ли Кювье примечание Ламарка, но ведь совершенно очевидно, что эта — Ламаркова — теория катастрофы была посерьезней и пострашнее всех катастроф Кювье, вместе взятых. И уж кто-кто, а Ламарк не мог не отдавать себе отчета, какую «ересь», с точки зрения Кювье и церкви, он произнес в своем примечании (опять-таки, может быть, поэтому он и произнес ее именно в примечании).

Но есть и такой радостный, почти ликующий комментарий к трем строчкам: это не пессимизм! это Ламарк просто противоречит себе!..

Тут серьезнейшая проблема, и от нее отпиской не отделаешься.

Конечно, противоречит, но противоречит не только себе, а всей той тенденции европейского Просвещения, которая представляла себе дальнейший прогресс человечества обеспеченным и прямолинейным. И как можно было остаться оптимистом и не сделаться пессимистом, придя к такой мысли о «назначении человека»? Пессимизм здесь неизбежен, но это — шаг вперед, и в мысли этой не только отчаяние, но и мужество.

Это явление смысла и масштаба, скажем, Гойи, который, кстати, жил в те же годы, что и Ламарк: родился 30 марта 1746-го, умер 16 апреля 1828-го. Посмотрите на его картину «Праздник в Сан-Исидро» (1788). Тысячи людей, благожелательных друг к другу. Розовые тона. Беззаботность. Историческая пастораль... Взгляните на его ранние картины-шпалеры «Зонтик», «Завтрак на лужайке»... Правда, и в те времена он бросал порой недоверчивый, тревожный, суровый взгляд на мир, но общее мироощущение все равно было праздничным и солнечным. И сравните с этим серии «Капричос» «Бедствия войны», «Диспаратес», «Заключенные», картины «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде», «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», «Колосс», «Чужие» (два крестьянина бьют друг друга дубинами, а сами утопают в болоте), «Сатурн», наконец, «Процессия в Сан-Исидро» (1820—1823). Снова Сан-Исидро. Снова масса людей. Но какие это лица, какие краски! Озверелая толпа. Извивается, как многоголовая гидра. И все это — в черно-кровавом отблеске... И хотя в последний период жизни Гойя пишет и «Молочницу из Бордо», и «Летящих людей», хотя заканчивает серию «Бедствий войны» офортом «Это и есть истина!» (прошла гроза; поле; лужи; проблеснуло солнце; крестьянин с мотыгой и рядом женщина...),— все это говорит скорее о жизненной силе самого Гойи, о его мужестве сопротивления злу...

За тридцать лет человечество узнало о себе больше, чем за многие века, и все девятнадцатое столетие лучшие умы его будут размышлять над этим опытом. То ли еще узнает оно о себе в веке XX...

В трех строчках Ламарка, если приглядеться, можно увидеть весь путь Гойи (которого он, по-видимому, не знал) и всего Просвещения. В трех строчках этих сконцентрировались века самопознания человечества.

Ламарк уловил страшную *весть* — страшнее уж и быть не может. И эти три строчки — тихий стон его *со-вести*.

Но сам Ламарк этих слов своих не только не писал, но даже и не читал: к этому времени он ослеп и, слепой бедняк-старик, диктовал их своей дочери. Получилось буквально: слепой духовно прозрел и увидел в своем «Доме Слепого» то же самое, что и Гойя в своем «Доме Глухого». Том «Аналитической системы» вышел при его жизни, он держал его в руках, быть может, кто-нибудь читал ему этот том, эти слова. Может быть, он просил дочь делать пометки на полях (а вдруг — на полях и этой страницы?). Вряд ли, однако, мы будем когда-нибудь держать в руках этот том. Даже могила Ламарка — неизвестно где...

Можно ли все это увидеть в голой цитате со сноской или без оной? Чего лишаем мы себя со своим ложным знанием, со всей своей премудростью, заставляющей относиться даже к великим людям как к поставщикам умных цитат для удовлетворения нашей тщеславной и часто бездельнической эрудиции?

Но так или иначе факт есть факт, и он говорит сам за себя.

И не этот ли факт отразился — совершенно неожиданно — в стихотворении Мандельштама «Ламарк» (7—9 мая 1932 года)?

Был старик, застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх.
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь.
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: «Природа вся в разломах,
Зренья нет,— ты зришь в последний раз».

Он сказал: «Довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил».

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех.

Это ведь прямо к примечанию Ламарка. Не правда ли? Жуткий ритм нисхождения.

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны...

Но как бы ни хотелось, чтобы это было правдой, по-видимому, это не так. Я почти уверен, что Мандельштам примечания этого не знал. Возьмите стихотворение и сравните его со «Вступительной лекцией, прочитанной 27 флореаля 10 года Республики в Музее естественной истории» (17 мая 1802 года) [1]. Ее-то он читал бесспорно. Эта лекция для него — словно «подстрочник» представлений Ламарка о природе. Здесь говорится и о «лестнице животных», и о «продольном мозге» насекомых, и об отсутствии зрения и слуха у некоторых из них, о панцире ракообразных («роговая мантия»), есть разделы о кольчецах, усоногих, пауках и т. д. и т. п.

Мандельштам много читал Ламарка и о Ламарке, но вряд ли заметил то примечание. Однако вдумаемся: ведь это, если угодно, еще лучше! Выходит, его слух еще точнее, еще тоньше, чем нам представлялось вначале. Он уловил то, чего почти никто не уловил даже из специалистов, даже из тех, кто читал, издавал Ламарка, кто комментировал само примечание. Он уловил страшную тревогу всей мысли Ламарка, которая потом спрячется и взорвется в примечании, он услыхал апокалипсический гул тех бездн, которые встретились на долгом пути «неуклюжего, робкого патриарха».

Перед нами еще один, тоже, так сказать, физический эксперимент, который, мне кажется, должен и последних скептиков убедить в невероятной и естественной силе поэтического прозрения.

Не зная примечания Ламарка, не зная, к какому слову оно было сделано, Мандельштам догадался и о том и о другом.

А еще это стихотворение — словно его собственное «примечание» к слову «эгоизм», к слову «эгоизм» образца уже 1930-х годов. Ведь почти одновременно с «Ламарком», чуть раньше, написано:

Мне на плечи кидается век-волкодав...

Его стихотворение кажется лучшим и почти прямым «переводом» Ламаркова примечания, а на самом деле — это «лишь» гениальная догадка о трагичности мысли Ламарка и выражение своей собственной трагедии. Он словно поднялся по лестнице Ламарка, был низринут оттуда на последнюю ступень, и он, мысленно, образно обернул ее, эту лестницу, как грозит обернуть ее наше время уже на самом деле: превратить восходящую лестницу в нисходящую, в человеческое небытие.

Вот, кстати, еще странные совпадения. Ламарк уже после своего вывода о «назначении» человека заканчивает «Естественную историю беспозвоночных животных». Казалось бы: зачем? для кого?.. Семь томов «Естественной истории беспозвоночных» на обезлюдевшей, пустой Земле. Для Мандельштама в его стихотворении мир насекомых — это мир без человека, вместо человека. А в книге Дж. Шелла «Судьба земли» (1982) мир в результате ядерного апокалипсиса так и называется «Республика насекомых и трав»...

Ну, а если все-таки Мандельштам знал Ламарково примечание? Скажу опять: тем лучше! Будем надеяться, что специалисты во всем разберутся, а пока напомню и такие слова поэта об ученом: «В обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данта» [2].

[1] Жан-Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах, т. I, М., 1955, с. 37—80.
[2] О. Мандельштам. Стихотворения. Л., 1973, с. 290.

И такие: «Ламарк чувствует провалы между классами. Он слышит паузы и синкопы эволюционного ряда» [1].

А паузы и синкопы в текстах, в голосе самого Ламарка? Ведь все его примечание и особенно последние три строчки — в контексте его книги «Аналитическая система», в контексте всей книги его жизни — и есть такая синкопа — шепот, который сильнее всякого крика, и есть такая пауза — пауза, как бездна.

Он сказал: «Довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил»...

« — Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством воскликнул Раскольников.

— Справедливее? А почем знать, может быть это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе...»

На него повеяло холодом и глухотой небытия. «Комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая...» — и есть заброшенное человеческое жилище, а пауки — вместо человеков...

Вспомните Свидригайлова перед самоубийством. Дрянная, почерневшая деревянная гостиница — «Адрианополь». Грязная клетушка, в углу, под лестницей («эдак вроде деревенской бани»). И он там долго-долго ловит муху (как паук).

А «красный паучок» Ставрогина? А слова Лизы Ставрогину: «Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост...» И он сам — в комнате, на чердаке, в петле.

Все это не случайно, конечно: в образной системе европейского искусства паук — в качестве наиболее типичного, «выдающегося» представителя насекомых — и есть знак, воплощение адовых, бесовских сил, знак небытия. Но вот вдруг и по науке оказалось, что в случае гибели жизни на Земле наилучшие шансы выжить как раз у насекомых.

Естественно, что когда я впервые прочитал цитату из Ламарка (а тем более потом, когда постепенно начала раскрываться ее тайна) она «замкнулась» прежде всего на снах Раскольникова, Версилова, Смешного, где как бы и осуществляется предсказанное Ламарком «назначение человека» (хотя скорее всего Достоевский Ламарка не читал: я искал следы — не нашел).

«Ему грезилось в болезни будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной и неслыханной моровой язве...»

«О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились, и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. (...) Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. (...) чувство самосохранения стало быстро ослабевать...» Две войны ведут люди: друг с другом и с природой, две войны против бытия, за небытие.

Вспомним о 20 пометках Достоевского на полях Апокалипсиса, о том, что этой темой пронизаны все его романы, что он страстно выслеживал такие же мысли и в специальной научной литературе, что опубликовал же он в своей «Эпохе» статью М. Лисовского «Гипотеза о будущей судьбе человечества», что в черновиках к «Подростку» есть такая заметка: «Картина земли под снегом через 100 000 лет», что и в «Братьях Карамазовых» Иван беседует с чертом о «геологическом перевороте» и о спутнике-топоре над Землей...

1919-й год: «Решающие наступления против рода человеческого ныне начинаются с чертежных досок и из лабораторий» (Альфред Дёблин).

1921-й: «Можно сказать, что мы живем на острове, сделанном из пироксилина. Но, благодарение богу, мы пока еще не нашли спички, которая подожгла бы его» (Вальтер Нернст, физик, нобелевский лауреат). Но благодарить бога оставалось совсем недолго: очень скоро «спичку» не только нашли, но еще скорее, в невероятных и все возрастающих размерах, организовали изобретательство и производство таких «спичек».

1939-й, 11 октября: Рузвельт прочел и одобрил письмо Эйнштейна от 2 августа о необходимости скорейшего создания атомной бомбы, чтобы опередить Гитлера, если тот готовит такое же оружие.

1941-й, 6 декабря: финансирование Манхэттенского проекта. Этот проект был, конечно, уникален. Лучшие ученые разных стран, вдохновленные великой идеей — спасти человечество от фашизма, прекрасно организованные, заражающие друг друга своими идеями, соревнующиеся друг с другом, создали такую «критическую массу» разума и чувств, что сотворили, казалось, абсолютно невозможное.

1945-й, май: изыскательская группа Манхэттенского проекта выбирает объекты для первого применения атомной бомбы. В группу входили математики, физики-теоретики, специалисты-взрывники и метеорологи (ни философов ни писателей, ни художников, ни историков, ни представителей церкви почему-то не было). Хиросима, Кокура, Ниигата, Нагасаки, Киото (древняя столица Японии) — таков первый список первых кандидатов в смертники. И вот поразительное свидетельство А. Сусловой, помеченное 17 сентября 1863 года (она была в то время с Достоевским в Италии, в Триесте): «Когда мы обедали, он смотря на девочку, которая брала уроки, сказал:

«Ну вот представь себе такая девочка со стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «Истребить весь город». Всегда так было на свете»...

Из «Преступления и наказания»:

[1] Там же.

«Прав, прав «пророк», когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже и объясниться...»

Только теперь — поперек страны, а скоро — поперек планеты, поперек космоса...

Один американский эксперт по Японии, случайно узнав о кандидатуре Киото, со слезами на глазах вымолил через своего шефа согласие пересмотреть заочный приговор, вынесенный этому городу (тому самому, где у Акутагава происходит действие в «Воротах Расёмон»). Особенно упорствовал генерал Л. Гровс, руководитель Манхэттенского проекта: его прельщало именно то, что в Киото было так много (около миллиона) жителей и что город находился в очень «удобной» (для оптового убийства) местности.

1945-й, 11 июня: семь чикагских ученых во главе с Джеймсом Франком представили военному министру США доклад, в котором говорилось: «Наилучшая атмосфера для достижения международного соглашения была бы создана, если бы Америка могла сказать миру: «Вы видите, какое оружие мы имели, но не воспользовались им. Мы готовы отказаться от его применения и в будущем, если другие нации присоединятся к нам и согласятся на установление эффективного международного контроля».

Доклад был сочтен «идеалистическим». «Реализм» взял верх.

Величайший исторический шанс был упущен.

Повторяю: кто сомневался в том, что, будь на то его воля, Гитлер увел бы с собой в могилу все человечество? Но Гитлер, по словам Адамовича, не сдох, а юркнул в Бомбу и спрятался там, злорадно хихикая. Антифашистское оружие превратилось в античеловеческое. Угодили в самую страшную западню — в западню самообмана, чреватого самоубийством. Непереименованное преступление непереносимо, переименованное — даже вдохновляет. И переименовали. И вдохновились. Вдохновились идеей «обороны», «защиты», «превентивности», «равновесия страха» и пр., и пр., и пр.

Когда будет воссоздан весь «хронотоп» рождения и гонки ядерного оружия, воссоздан по дням и часам, многое еще прояснится и удивит до неправдоподобия. Но вот что надо сказать, нельзя не сказать. Как хотелось бы, чтобы моя страна была во всем всегда и абсолютно права. Но ведь так не бывает. Зачем себя обманывать? Я не о «теории равной вины» говорю («равная вина» за Хиросиму и Нагасаки? Или за отказ от предложений чикагских физиков?). Я о том, что в конце концов более правым оказывается тот, кто сам себя чувствует и признает более виноватым (если даже его вина несравненно меньше). И о таком еще факте, который не может не мучить. В 40-х, в 50-х и даже в 60-х годах Нильса Бора, со всеми его мирными инициативами и особенно с «Открытым письмом к Организации Объединенных Наций», на Западе считали «агентом коммунизма», а на Востоке — «агентом империализма». Черчилль над ним издевался, Рузвельт обманул, для Сталина вообще «Дон Кихот» был ругательным словом, а Хрущев обещал принять Бора, назначил день, Бор ждал в Москве, в гостинице «Украина», и — не дождался...

1945-й, 16 июля, 5 часов 30 минут: первое испытание атомной бомбы в Тринити, близ Аламогордо, штат Нью-Мексико.

1945-й, 6 августа, 8 часов 15 минут 30 секунд: убийство Хиросимы (погибло сразу 240 тысяч человек).

1945-й, 9 августа; 11 часов 02 минуты: убийство Нагасаки (погибло сразу 63 тысячи).

1949-й, 30 августа, 7 часов 00 минут: испытание первой советской атомной бомбы.

1952-й, 1 ноября, 7 часов 14 минут: испытание первой американской установки на пути создания водородной бомбы.

1953-й, 12 августа: испытание первой советской водородной бомбы.

Широко известно, что Ферми, один из создателей первой атомной бомбы, на вопрос, как совмещается работа над ней с совестью, ответил: «При чем тут совесть? Это просто хорошая физика!»

Меньше известен другой эпизод, случившийся перед самым испытанием бомбы. Генерал Л. Гровс свидетельствует: «Накануне вечером я был несколько раздражен поведением Ферми, когда он вдруг предложил своим коллегам заключить пари — подожжет ли бомба атмосферу или нет, и если подожжет, то будет ли при этом уничтожен только штат Нью-Мексико или весь мир» [1].

Нельзя не думать: а могли бы такие пари предлагать Бор и Эйнштейн? Могла такая мысль шевельнуться у Ламарка и Достоевского: «При чем тут совесть? Это просто хорошая физика!» Мог ли Христос убить Хиросиму? Но ведь те, кто ее убил, сделали это «во имя Христа»...

Весть о социально-политических и просто физических последствиях взрыва Бомбы мучила и Эйнштейна, и Бора, и Дж. Франка. Это было рождением новой совести. Не она ли шевельнулась, наконец, перед ноябрем 1952-го, когда вдруг создатели водородной бомбы спросили себя всерьез: а если цепная реакция, порожденная «супербомбой», превратит всю Землю в пылающую звезду? не будет ли перейдена черта, из-за которой нет возврата?

Смысл этого факта почему-то ускользнул от нас. Я ничего не нашел об этом ни у кого, кроме Р. Юнга в его книге «Ярче тысячи солнц»: «Изучение этой чудовищной идеи поручили двум физикам-теоретикам — Эмилю Конопински и Клойду Марвину. Оба пришли к успокоительному ответу, но никого им не убедили. За окончательным решением обратились к Грегори Брейту, физику, известному своим глубоким и точным мышлением».

После долгих расчетов Брейт дал отрицательный ответ.

Вот сюжет, до которого не додумались фантасты и даже не взяли готовым.

Нужны ли еще доказательства истинности мысли: действительность превышает всякое воображение?

Впервые за всю историю человечества возникла абсолютно беспрецедентная служба — *служба последней черты.*

---

[1] Л. Гровс. Теперь об этом можно рассказать. М., 1964, с. 248.

Брейт ответил: нет, цепная реакция локализуется. Но главное-то ведь в том, что этот вопрос и этот ответ уже и сами по себе были в ряду другой, еще раньше начавшейся, цепной реакции — реакции абсолютных беспрецедентностей, заключающихся в снятии таких духовно-нравственных и практически-технических запретов, которые еще недавно казались абсолютно незыблемыми.

Наш род явно перестал быть бессмертным.

«Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания».

Только уже хочется выкинуть эти две оговорки: «пожалуй» и «как бы».

Можно, пожалуй, сказать, что идет как бы соревнование, отчаянное соревнование между двумя способами убийства-самоубийства.

Земля, крохотная свечечка во Вселенной, и грозится сгореть сразу с двух концов. С какого раньше?..

Если бы на Земле действительно появился инопланетянин и спросил бы нас: «Чем вы главным образом заняты? Воспитываете детей в духе человеколюбия? удлиняете сроки жизни человека? раскрываете бесконечный потенциал духовной жизни личности?» Что бы ответили мы ему? «Мы ведем две войны за свое небытие: друг с другом и все вместе — с природой...» И что бы он сказал нам? — «Племя самоубийц!»

Примечание Ламарка и сны Достоевского — это всего лишь две точки в апокалипсическом пунктире, два момента в становлении апокалипсического — *уже очень обмирщенного* — самосознания человечества (апокалипсис — откровение, откровение об угрозе самоубийства, но и о возможности самоспасения).

Примечание Ламарка, сны Достоевского и расчеты Брейта — это уже практический переход от апокалипсических догадок, предчувствий к последней черте (или переход за нее?), к неотложному выбору между жизнью и смертью, между бытием и небытием человечества.

Вот еще одна точка этого апокалипсического пунктира, еще один момент становления этого самосознания, еще одно откровение о двух войнах человечества за свое небытие: «На земле всегда будут происходить опустошительные войны... И смерть нередко будет уделом всех борющихся сторон. С беспредельной злобой эти дикари уничтожат множество деревьев в лесах планеты, а затем обратят свою ярость на все, что еще найдется вокруг живого, неся ему боль и разрушение, страдание и смерть. Ни на земле, ни под землей, ни под водой не останется ничего нетронутого или неповрежденного» (Леонардо да Винчи). Наш век добавил: и над землей...

Спрятанное, забытое примечание Ламарка и сны Достоевского вдруг стали осуществляться — беспрецедентно быстро, грубо, широко, деловито и, кажется, неумолимо.

Манхэттенский проект осуществили меньше чем за пять лет.

А теперь и водородную бомбу изготовляют быстрее, чем Ламарк диктовал свою «Аналитическую систему», и даже быстрее, чем Достоевский писал какой-нибудь свой рассказ.

Путь к Бомбе стал короче, чем путь рукописи до типографского станка и до книжного магазина.

Но есть еще путь самой Бомбы к своей цели, и этот путь — к любой цели — исчисляется уже всего несколькими минутами. За это время еще можно прочитать страничку о последних снах Раскольникова, но уже не успеть дочитать до конца пятнадцать страниц «Сна смешного человека», не успеть ни произнести, ни выслушать Пушкинскую речь о тайне всепримирения.

Какому Брейту сегодня под силу вычислить, к чему все это приведет? Какая *служба последней черты* здесь нужна?

Возможен ли новый Манхэттенский проект, только, так сказать, с обратным знаком, чтобы остановить ту цепную реакцию смерти, которая была развязана первым, чтобы начать цепную реакцию спасения жизни? Сколько их нужно, таких проектов, не тайных, засекреченных, а открытых, интернациональных и интерпрофессиональных, где люди работали бы с удесятиренной энергией даже по сравнению с той, прежней, ведь тоже героической поначалу?

Поистине, все человечество загнало себя в небывалую «ситуацию незнания», потому что слишком долго пребывало в ситуации «всезнания», «всепонимания», то есть «вседозволенности».

Многое потрясает нас сейчас. Но, может быть, сильнее, неотложнее всего нам предстоит поразиться такой тихой информации академика Н. Моисеева: «Мы сейчас нащупываем определенную систему методик которая претендует пока только на одно — как найти ту черту за которую человечество переступить уже не может» [1].

Если мы не знаем — где черта, если нет еще методики ее определения, то, может быть, мы уже и перешли черту, не зная об этом? Может быть, мы как раз и находимся уже в зоне мертвого времени?

«Найти черту»...

Но ведь такая черта — не одна, их несколько: военная, демографическая, энергетическая, экологическая... Причем экологическая буквально за считанные годы уже явно переместилась с последнего места на второе и перемещается — на первое! Перемещается — на первое. Перемещается — в нашем сознании. Объективно же она давным-давно на первом месте, просто раньше мы этого не видели, не сознавали. То, что вчера было ясно единицам, сегодня — тысячам, завтра станет ясно уже миллионам, а именно: **без признания абсолютного (и навсегда) приоритета экологической проблемы в ряду, в иерархии глобальных проблем — вообще невозможно никакое новое мышление, невозможно разрешение всех этих проблем.** И вот самое, самое главное, что предстоит нам понять в ближайшее время: **именно неотложный «перевод» экологической проблемы на первое место не только не отодвинет решение злободневнейшей военной проблемы, проблемы разоружения, а как раз наоборот: небывало резко**

[1] Н. Моисеев. Черта, через которую не может переступить человечество («Век XX и мир», 1984, № 10, с. 17).

ускорит ее радикальное решение. Нам всем предстоит ужаснуться той западне, в которую мы попались и страшнее, глупее которой не может и быть: **соревноваться в гонке вооружений, когда всем одинаково грозит экологическое удушье, когда задохнуться мы рискуем даже раньше, чем убьем себя Бомбой.** Так и задохнемся «недовооруженными», в спорах о «паритете» и «контроле», так и не успеем нажать на «кнопки» ракетно-ядерной войны, так и опоздаем проломить друг другу черепа или сжечь друг друга живьем,— опоздаем, к величайшему сожалению для карьеристов военной смерти человечества. И задохнемся именно потому, что все время без устали нажимали на «кнопки» экологические, на «кнопки» другой войны — с природой, на «кнопки» безоглядной, безответственной гонки вооружений...

Представьте: люди на сплошном минном поле, а еще с каждым днем и все больше отравляются воздух, вода, пища,— и что они делают, эти люди? Продолжают минирование! Продолжают отравление! А тем, кто говорит — остановимся, оглядимся, выясним, что делать, чтобы не взорваться, не отравиться, определим границы, не перешли ли мы их,— отвечают: вот заминируем все, заминируем еще и космос, тогда и посмотрим...

Да, на наших глазах совершается всемирно-исторический прорыв в деле обуздания гонки вооружений. Становится очевидным, что это обуздание (а в конечном счете — мир без войн, без насилия) вещь вполне реальная. Но тем более вырисовывается вся непостижимая пока огромность и неотложность проблемы экологической. Тем более становится очевидным, **что если мы еще промедлим с решением проблемы военной, то нам может просто не хватить сил (материальных и духовных, интеллектуальных и физических) для серьезного начала решения проблемы экологической.** Решающее слово в деле спасения человечества, в деле спасения жизни земной должно принадлежать не военным штабам, а штабам экологическим, не генералам (пусть самым миролюбивым), а экологам. И можно быть уверенным, что на будущих встречах в верхах экологи получат, наконец, такое слово.

Экологическая проблема, в отличие от военной, дана нам *навсегда,* на все время нашего бытия, как и соответствующая *служба последней черты.*

Мы можем удлинять сроки жизни человека, сроки жизни поколений, но в гарантированно бессмертном мире нам практически уже больше не жить. История навсегда стала борьбой за историю, жизнь рода человеческого — борьбой за самое эту жизнь, борьбой за жизнь природы (что одно и то же). Будущее нам отныне не дано-даровано — его всякий раз придется добывать, защищать, завоевывать. Нам (всем будущим поколениям, начиная с нашего) предстоит все больнее обжигаться простой мыслью Достоевского, все глубже ее постигать: «Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие».

Две войны за небытие. Падение цены человека и падение цены жизни.

История нашей войны друг с другом как падение цены человека — на виду, но еще далеко не понята и даже далеко не описана. История же нашей войны с природой как падение цены жизни, в сущности, еще неизвестна, еще и не начиналась писаться.

И еще — из Достоевского: «...эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтоб это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем... Самое простое принимается всегда лишь под конец, когда перепробовано все, что казалось мудреней или глупей».

Однако мысль эта относится уже не только к жизни отдельного человека, но и к жизни всего нашего рода. Здесь тоже понадобилась встреча со смертью, чтобы постигнуть бесконечное счастье живой жизни.

«А истинная ценность жизни и смерти определяется только тогда, когда дело доходит до жизни и до смерти. Нам до того и до другого далеко» (А. Блок, октябрь 1909 года).

Нам сейчас, восемьдесят лет спустя, до того и до другого так близко, что ближе уже и нельзя, некуда. Мы буквально накануне небывалого взрыва-прозрения — ужасного, но и возвышающего, спасительного. Этот взрыв-прозрение должен произойти вот-вот: ведь счет пошел, может быть, уже не на дни, не на часы, а на минуты. Прозреть или погибнуть.

Именно отсюда, из таких встреч со смертью и рождается «самое простое», и рождаются вечные истины гуманизма — западного и восточного, религиозного и мирского, старого и нового. Именно отсюда родились как отчаянное примечание Ламарка, так и видения Иоанна Богослова и Будды, как сны Достоевского, так и концепции Н. Федорова и Циолковского, Чижевского и Вернадского, Тейяра и Швейцера... Для всех для них истинным назначением человека было:

постигнуть смертельную опасность, источником которой оказался он сам, человек;

постигнуть, что нельзя спастись, не возвысившись духовно;

свершить духовный подвиг спасения — самаспасения и спасения жизни как таковой;

благоговеть перед живой жизнью, лелеять, совершенствовать, расселять ее во Вселенной;

оживить, очеловечить, одухотворить сам Космос;

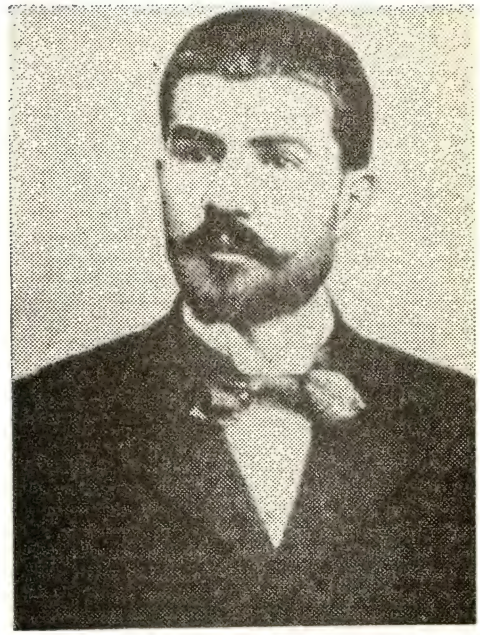
утверждать бытие — против небытия и под угрозой небытия;

открывать и открывать заново — с болью и счастьем: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества» (из «Идиота», слова князя Мышкина).

Сострадание — закон бытия человечества. Стало быть, закон его небытия — нелюбовь и жестокость.

И, как ни странно, как ни страшно, но бытие человечества еще только начинает быть — именно потому, что ему загрозило небытие.

Константин Брынкуш /1876–1957/



Константин Брынкуш. Фотография 1905 г. (Париж).

В визуальном искусстве XX века Брынкуш — явление на редкость самобытное и цельное. Уроженцу небольшого олтенского (Румыния) села Хобица после трудных лет детства, побегов из дому, горьких плодов ученичества в красильной мастерской, а позже едва ли не круглосуточной работы в трактирах ради куска хлеба наконец повезло: в 1894 году хозяин лавки в г. Крайове, куда Брынкуш нанялся служить, оценил недюжинный талант своего приказчика и помог ему поступить в городскую Школу искусств и ремесел. Желание продолжать учебу привело Константина в Бухарест, в Национальное училище изящных искусств, где его педагогом стал признанный мастер Ион Джорджеску. Выполнив несколько студенческих и заказных портретных работ, тридцатилетний скульптор «разом» обрел свою пространственную геометрию, свой пластический язык. «Карпатскому крестьянину», летом 1904 года пришедшему пешком в Париж, суждено сказать важное слово: «Искусство — не бегство от реального мира, а полет в новую действительность, единственную, отныне имеющую значение». Парадокс Брынкуша, разгаданный философом и этнографом Мирчей Элиаде, заключается в прыжке из прошлого в будущее — обратившись к примитиву, к архаике, ваятель в глуби веков открыл самого себя. От роденовской фактуры он уверенно переходит к морфологическому синтезу, простоте форм, славящей обручение человека с первоэлементами. На протяжении многих лет Брынкуш разрабатывал сравнительно малое число мотивов, из двухсот с лишним сохранившихся вещей почти треть — варианты дорогих ему тем.

«Спящая муза» (1910), выполненная в бронзе (2-я страница обложки), сохраняет утонченные черты модели — Рене Ивонны Фрашон, дочери французского писателя Р. Мезеруа, но одновременно показывает, сколь стремительно шла у скульптора эволюция формы. Созданная годом раньше «Баронесса Р. Ф.» вполне реалистична. Муза с нежно прикрытыми веками и черной патиной гладких волос — уже не женский портрет, а метафора. Линейная основа произведения породила в творчестве Брынкуша 10—20-х годов поистине блестящий каскад стилизованных яйцевидных форм — от «Прометея» и «Новорожденного» до теплой, матовой «Скульптуры для слепых» и «Первого крика». К этому ряду относятся алебастровая «Спящая муза», удивительная чистотой абриса, отчасти — знаменитая «Леда», версию которой Брынкуш позже выставит в Москве [1]. Поиск высшей простоты венчает «Начало мира» — связующее звено древней и новой космогоний, родственное «мировому яйцу Брахмы». Уместно вспомнить и о национальной символике: в румынских селах крупный камень-яйцо ставят у ворот как украшение или — по окончании постройки дома — как охранительный знак благоденствия обитателей.

Всю жизнь Брынкуш стремился к созданию функциональных вещей, подобно предкам, горжским крестьянам. Самым любимым материалом в предгорьях Трансильвании было, конечно, дерево. «Только африканцы да румыны знают секрет резьбы по дереву!» — друзья рассказывают, что скульптор охотно повторял это шутливое изречение. «Адам и Ева» (1916—1921, 3-я страница обложки) — двухступенчатая рабо-

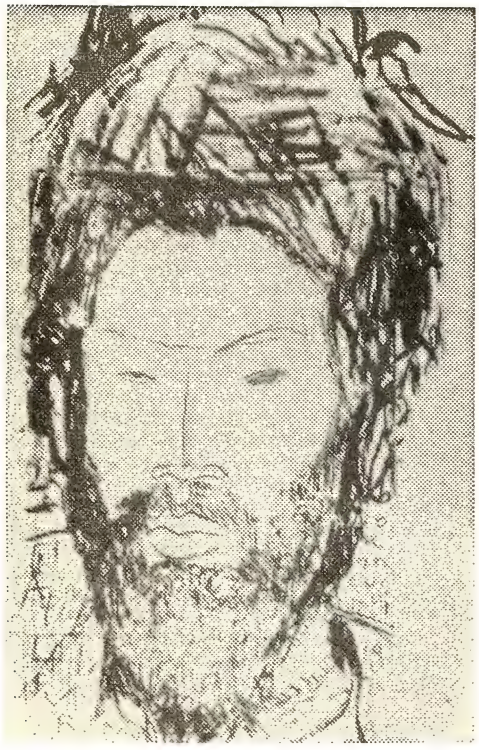
[1] В мае—июне 1928 года в Москве проходила выставка «Современное французское искусство», где были показаны и работы Брынкуша, в том числе «Леда». *(Прим. авт.)*

та, отмеченная влиянием народных элементов. В олтенских домах Музея села (Бухарест) можно увидеть на крыльце, у входа в сени, столбы с аналогичными ромбовидными мотивами. Нижняя часть скульптуры — «Адам» — «старше» верхней на несколько лет. Ранее мужская фигура завершалась толстым дубовым бруском, символизировавшим бремя земного существования. Потом эта массивная деталь обернулась подставкой для «Евы» — легкой, вытянутой ввысь комбинации рассеченных шаров. Так претворил Брынкуш в своем искусстве мудрость родной Олтении: «Мужчина всегда должен быть для женщины опорой».

Животный мир Брынкуша достаточно скуден — птица, рыба, пингвин, петух, тюлень, черепаха, плюс таинственный «ночной зверь». Главное — то, что эти животные не застыли в бронзе и мраморе, они одарены неожиданной способностью движения, полета. Птица здесь мыслима только «в пространстве», черепаха — только «летающая», в динамике даны даже увальни-пингвины и мощный тюлень. Сияющая «Рыба» (1924—1926, 4-я страница обложки), кажется, секунду назад метнулась в прозрачной струе, плеснула хвостом... Блеск огненной «чешуи» усилен световым рефлексом от «водной глади» — металлического диска, на который водружена скульптура. Из четырех версий «Рыбы» эта наиболее ярко передает чувство полноты жизни, торжества природы.

Зрелым мастером, глубоким мыслителем

Амедео Модильяни. Портрет Брынкуша. Уголь (1909).



Маргит Погани. Фотография 1910 г.

является нам Брынкуш в одном из самых совершенных своих произведений — «Барышне Пóгани» (1931, 1-я страница обложки). С молодой венгеркой Маргит Погани он познакомился в 1910-м, дружба их длилась почти полвека, и долгие годы скульптор не уставал воплощать ее облик. Цикл, включающий тринадцать вариантов «Барышни Погани» в мраморе и бронзе, свидетельствует о естественности таланта художника, о близости его земным корням: намеренное обнажение реальных примет лица ни разу не привело к абстракции. Зато скульптор подтвердил свое умение концентрировать внимание зрителя на важнейшем элементе структуры — в этом цикле им стал глаз, взгляд, как средство сопряжения внешнего мира (космоса) и внутреннего мира человека.

Много лет ваятель прожил в Париже, общался и дружил с крупнейшими представителями современного искусства, но не ослабил и не потерял связей с Румынией. Он создал на родной земле, в г. Тыргу-Жиу, грандиозный скульптурный комплекс под открытым небом и стал выразителем подлинно румынского духа в истории скульптуры. Брынкуш говорил, что его произведения нужно не почитать, а любить, ибо он хотел «дать людям чистую радость». Сегодня работы «гения из Хобицы» известны во всем мире, и тысячи людей, глядя на них, ощущают радость бытия.

И. ИСТРАТОВА

Среди книг

Издано в СССР

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И КУЛЬТУР

Pr. Mérimée — А. С. Пушкин. Составитель З. И. Кирнозе. Статьи З. И. Кирнозе, О. С. Муравьевой. Москва, «Радуга», 1987. С. Великовский. В скрещенье лучей. Групповой портрет с Полем Элюаром. Москва, «Советский писатель», 1987.

Издательство «Радуга» обычно публикует параллельные переводы иноязычных и русских авторов, не ставя перед собой задачу ввести читателей в лабораторию художественного перевода. Сборник «Pr. Mérimée — А. С. Пушкин» в этом отношении существенно отличается от предшествующих изданий. Он снабжен двумя обстоятельными статьями, посвященными проблеме взаимного прочтения великих писателей, а также проблеме культурных связей России и Франции, и прокомментирован группой известных исследователей творчества Мериме.

С этой целью использованы классические работы А. Монго (H. Mongault), Л. Б. Модзалевского и Б. В. Томашевского комментарии одного из самых основательных советских знатоков творчества Мериме А. Д. Михайлова а также комментарии О. С. Муравьевой, В. Э Вацуро, О. В. Смолицкой и С. А. Фомичева.

Читатели этой интересной книги познакомятся со взаимными переводами Пушкина и Мериме. Она открывается сборником Мериме «La Guzla». Французский прозаический текст этих «подлинных» песен славян, как утверждал при их публикации в 1827 году Мериме, был до сих пор малодоступен для широкого круга читателей. Между тем «Песни западных славян», которые являются переводом лучших песен сборника Мериме, давно уже стали нашим общенародным достоянием.

Вопрос о том, поверил ли Пушкин в «подделку» Мериме, «попался» ли он на мистификацию, как шутливо определил это сам Мериме все еще остается открытым. Ведь Пушкин перевел далеко не все песни сборника, дополнил его другими своими переводами. Можно считать, что он принял участие в игре, предложенной Мериме но добился более значительных результатов.

Сопоставив французский и русский тексты «Гюзлы», читатели без труда обнаружат с одной стороны, поражающую близость Пушкина к тексту Мериме, с другой — не менее поражающую свободу его поэтического изложения в балладах «Видение короля», «Феодор и Елена» и в песнях «Влах в Венеции», «Похоронная песня Иакинфа Магдановича», «Бонапарт и черногорцы» «Вурдалак», «Конь».

А. С. Пушкину и Просперу Мериме не довелось встретиться, обменяться письмами (они общались в основном через А. Соболевского), а между тем каждый из них открыл талант своего иноземного современника, по-видимому отнюдь не случайно.

И если Мериме который был всего на четыре года моложе Пушкина, по справедливости считают первооткрывателем гения А. С. Пушкина во Франции, то и у Пушкина есть немалая заслуга. Ведь именно он увековечил анонимный труд Мериме благодаря своему переводу сборника «Гюзла».

Не меньший интерес представляет и прозаический перевод поэмы Пушкина «Цыганы», изданный в 1852 году. По словам биографа Л. Н. Толстого, чтение этой поэмы в изложении Мериме позволило ему оценить «всю силу поэтического гения Пушкина».

В статье «Александр Пушкин» (1868) чи-

татели найдут философские стихи Пушкина «Пророк» и «Анчар», переведенные Мериме тоже прозой.

В сборнике сопоставляются также тексты и переводы повестей Пушкина «Пиковая дама» и «Выстрел»; стихотворений «Гусар» и «Будрыс и его сыновья», исторические работы Пушкина и Мериме об эпохе Петра I.

Проза Пушкина и ее переводы Мериме заставляют задуматься над чертами общности двух великих современников. Этому вопросу уделяется много внимания в предисловии. Помимо стилистической общности, которую прямо или косвенно в своих различных высказываниях признавали оба писателя, исследователи отмечают их приверженность к определенным повествовательным формам, их интерес к анекдоту в построении сюжета. «Сквозь сходные принципы сюжетостроения проглядывает — пусть и не полная — близость их философии бытия, признание жизни игрой, ставкой в которой является любовь»,—пишет З. И. Кирнозе.

Множество точек пересечения выявляется и при сопоставлении исторических изысканий Пушкина и Мериме. «Чтение Карамзина,— считает Кирнозе,— наталкивает Пушкина на идею «Бориса Годунова». Чтение «Бориса Годунова» укрепляет у Мериме, по его собственному признанию, интерес к истории. В 1852 году появляется его исторический очерк «Лжедмитрии» (Les Faux Démétrius). Пушкин называет Степана Разина самым поэтическим персонажем русской истории и посвящает ему песни. Мериме в 1864 году публикует «Бунт Стеньки Разина». И наконец, особое место занимает в их творчестве тема Петра».

Исторические взгляды Пушкина Мериме подробно излагает в уже упоминавшейся статье «Александр Пушкин». Он отмечает, что в форме «Бориса Годунова» Пушкин близок к драмам Шекспира (близость к Шекспиру мы можем усмотреть и в «Жакерии» Мериме). Полемизируя с Пушкиным Мериме замечает: «У меня есть веские причины полагать, что самозванцем был не монах-расстрига Григорий Отрепьев... В моей исторической работе на эту тему, как мне кажется, доказано, что Лжедмитрий был казаком или поляком».

Можно пожалеть, что в сборник не вошло это исследование Мериме о Лжедмитрии, как и его драма на ту же тему, ранее не публиковавшаяся на русском языке.

Обращает на себя внимание удачное художественное оформление сборника, но хотелось бы видеть в нем и рисунки пером Мериме и Пушкина, обнаруживающие интересующее нас сходство двух писателей. Письма Мериме к Рекьену, историку Н. Г. Устрялову и А. Соболевскому могли бы быть дополнены другими не менее важными письмами Мериме, свидетельствующими о его интересе к русской литературе.

Сборник «Pr. Mérimée — А. С. Пушкин» систематизирует многие разрозненные сведения. Он содержателен и будет интересен по своему составу почитателям А. С. Пушкина и П. Мериме не только в нашей стране, но и за рубежом.

И. ДЮШЕН

Жанровое определение рецензируемой книги заимствовано у живописцев — групповой портрет. Групповой портрет — добавлено — с «Полем Элюаром». Так Поль Элюар оказывается «в пересечении смысловых лучей, отбрасываемых как прошлым французской лирики, сравнительно давним или совсем недавним, так и элюаровским окружением, непосредственным или отдаленным». Для этой цели автору книги приходилось удаляться от своего героя, чтобы к нему приблизиться и — не для красного словца скажу: приблизиться, чтобы удалиться. Удалиться с целью увидеть общие планы историко-литературного процесса, взглянуть на них с высоты прошедшего времени.

В работе над книгой «В скрещенье лучей» С. Великовскому помог опыт составителя и автора предисловия антологии «Французская поэзия XX века» (1985). Как составитель он, естественно, вновь опробовал все имеющиеся переводы французских поэтов на русский язык от старых до нынешних, и это тоже пригодилось для книги «В скрещенье лучей». Ее стихотворные примеры выразительны, они подписаны надежными именами М. Волошина, Б. Лившица, М. Цветаевой М. Лозинского, Г. Шенгели, Б. Пастернака, С. Маршака и других. Не менее интересен изобразительный ряд книги. Здесь рисунки А. Матисса, П. Пикассо, М. Вламинка, Ф. Валлотона, А. Гофмейстера и, что особенно ценно и неожиданно,— самих поэтов: Поля Верлена, Альфреда де Виньи, Макса Жакоба.

Содержание книги, определяющее ее композицию и манеру, раскрывается не вдруг. Как бывает роман в новеллах, так случается монография, составленная из звеньев эссе. Каждое из них автономно, и каждое из них в цепочке, связано с другими. С. Великовский владеет тем, что в музыке принято называть «голосоведением». Так, в разделе, посвященном Полю Элюару, звучит голос Аполлинера. Элюар не успел с ним познакомиться, но смерть его в 1918 году оплакал как личную утрату. То было время кровавого лихолетья, когда солдат Элюар мечтал сменить винтовку на лопату. Прометеев огонь созидания вошел в стихи. Багрянец рукотворного костра как бы противопоставлялся горней лазури, томившей некогда Малларме. Так автор отсылает читателя к главе о Стефане Малларме — «Подвластно ль выраженью невыразимое?». А далее вплетаются голоса Рембо с его «повелительным завещанием потомкам: «Любовь надлежит изобрести заново», Бретона, Десноса, «Гюго, зовущего к оружию». Последний возвращает нас к начальной главе книги «Исповеди «Сыновей века» и ее подглавке «Неистощимое чудо по имени Гюго». Оживают образы тираноборцев, и происходит перекличка голосов, разделенных столетием.

Эпоха Сопротивления потребовала от поэта четкости, ясности, патетики, и столь, казалось бы, несхожие — Гюго и Элюар — сопрягаются. Естественно с Элюаром перекликается Арагон. Брат по Сопротивлению. В ту трагическую пору, когда, казалось бы, было не до реминисценций и книжных сопоставлений, становятся насущ-

но необходимыми Ронсар, д'Обинье, Пеги, которому посвящена глава «Назад к благодати». Перекличка поэтических голосов прослеживается во всех разделах и главах книги. Это и есть «скрещенье лучей» — несомненное ее достоинство, хотя, повторяю, в «голосоведении» автора нет преднамеренности, тем более назойливости приема. Историк литературы знает свое дело.

Читатель же должен знать: драматургическое правило — если в первом действии на стене висит ружье, оно к концу пьесы должно выстрелить — в книге литературоведа неуместно. Индивидуальная, личная, общественная судьба одного поэта вовсе не обязательно отзывается в судьбе другого. Должны быть сходные обстоятельства, чтобы эта перекличка случилась. С. Великовский тонко улавливает эти обстоятельства. У Альфреда де Виньи, Шарля Бодлера, Поля Верлена, Поля Валери безусловно можно найти общие черты, но куда продуктивней говорить о различии между ними, об индивидуальном или, как сейчас говорят, личностном вкладе во французскую поэзию. В конечном счете каждый из названных показывает свою, им открытую грань галльского поэтического гения, свою личную лепту в насчитывающую без малого тысячелетие историю французской музы.

Но ценность книги не только в этом групповом портрете, в центре которого — любимец автора книги (да и автора настоящей рецензии), Поль Элюар. Книга дает также портреты французских поэтов двух веков — XIX и XX. Это не главы истории французской поэзии, а именно портреты. Обращают на себя внимание принципы изображения своей модели, избранные С. Великовским. Автору книги знакома русская традиция литературного портрета от Пушкина до Горького. Но не меньшее влияние оказали на него французские «портретисты», от Лабрюйера до Моруа.

В своем «Дневнике» Сент-Бёв пишет: «Я лишь рисовальщик, создающий портреты великих людей. Я всегда полагал, что перо окунать следует в чернильницу того автора, о котором намереваешься писать».

Это не утратившее своей силы высказывание старого мыслителя озадачивает. Надо ли создавать портрет средствами портретируемого? Не скажу, что С. Великовский окунает перо в чернильницу французского автора, о котором пишет. Скорее он заглядывает в эту чернильницу, но пишет своими «чернилами», пользуясь обширными познаниями во французской литературе. Он не заигрывает с беллетристикой, не пытается писать свое эссе в стиле данного автора. Его манера свободна от предписаний академической школы истории литературы, от шаблона популярных очерков на тему истории литературы. С. Великовский дает необходимые биобиблиографические сведения об авторах (не всегда вначале, а по ходу действия), раскрывает основные творческие принципы каждого из них. И делает это с той непринужденностью которую диктует ему знание предмета и любовь к нему.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАДЕЖДЫ

Джойс Кэрол Оутс. Делай со мной что захочешь. Роман. Перевод с английского Т. Кудрявцевой. Москва, «Художественная литература», 1983.
Джойс Кэрол Оутс. Венец славы. Рассказы. Перевод с английского. Составление и предисловие Н. Пальцева. Москва, «Известия», 1986.

Джойс Кэрол Оутс. Ангел света. Роман. Рассказы. Перевод с английского. Составление и предисловие Н. Пальцева. Москва, «Радуга», 1987.

«В идеале назначение писателя — быть совестью тех, кто его окружает»,— воспитанный на русской классике читатель воспримет это высказывание Джойс Кэрол Оутс как нечто знакомое и привычное. Нам со школьной скамьи известно, что литература есть служение что литератор — не словесник просто, но совесть общества, учитель, пророк. Гоголь, Белинский, Некрасов, Толстой, Достоевский... Но прервем перечисление и спросим, как любознательные школьники: а что означает слово «совесть»?

«Совесть — чувство нравственной ответственности за свое поведение перед другими людьми, обществом» (С. И. Ожегов. Словарь русского языка). Формула вроде проста, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что каждый из ее членов лишен смысловой определенности. «Чувство», как известно, отличается полнейшей субъективностью — так существует ли объективная «нравственная ответственность»? Ведь единственный, по сути, критерий — «нравственный закон внутри нас». И совпадают ли «ответственность перед людьми» и «ответственность перед обществом»? И перед какими людьми — родными по крови? близкими по духу? братьями по вере? по нации? по цвету кожи? по классу? или вовсе по Адаму? И перед каким обществом — реальным и поэтому весьма несовершенным? или перед своими представлениями о справедливом обществе?

Все эти вопросы имеют в данном случае отнюдь не праздный характер. Ибо в отличие от тех писателей — учителей жизни, проповедников и пророков, которые выбрали путь, ведущий в «царство совести», и стремятся наставить на него читателя, Оутс ответов не дает. Она не наставляет на путь, но ставит проблему. А проблема — это уже компетенция не столько чувства, сколько разума. И тут самое время вспомнить, что слово «conscience» означает не только «совесть», оно имеет второе значение, едва не потерявшееся при переводе на русский: «сознание — способность мыслить, рассуждать и определять свое отношение к действительности». И если теперь снова прочесть фразу, с которой мы начали, то получится, что назначение у писателя двойное: пробуждать «чувство нравственной ответственности» и одновременно провоцировать «способность мыслить». К чему Оутс и стремится. Вместо однонаправленного пути она предлагает поиск, который ведется, кажется по всем возможным направлениями, поиск, приобретающий

характер своеобразной ревизии ценностей. «Великая американская мечта»; служение Богу, служение музам, служение людям; любовь земная и небесная; затворничество, уход от общественной жизни — и активное участие в ней политическая борьба; позитивизм и мистицизм — все известные Оутс мировоззренческие концепции одна за другой выносятся на суд сознания и совести.

Именно в этой многонаправленности поиска и кроются, на наш взгляд, истоки разностильности, даже эклектичности, в которых часто — и небезосновательно — обвиняют писательницу. Ее упрекают в подверженности несходным, едва ли не взаимоисключающим влияниям, в отсутствии собственной эстетической системы. Отмечают, что каждая новая ее книга оказывается «не столь жанрово-тематическим продолжением, сколь резким, на сто восемьдесят градусов, разрывом с образно-эстетической системой предыдущей» (Н. Пальцев). Однако гибкость эстетических принципов Оутс перестанет казаться чрезмерной, если поставить ее в зависимость от идеологических и этических построений. Ведь художественное воплощение и проверка разных концепций бытия естественно требуют различных образных средств.

«Сад радостей земных» (1967; русск. перев. 1973) — один из первых романов Оутс— критики относят к «драйзеровской» традиции. Перед нами своего рода вариация на тему «американской трагедии». Клара Уолпол, дочь сезонного рабочего, выросла в нищете, духовной и материальной. Ее главная цель — забыть, что она «голытьба». Она добивается этого, став сначала содержанкой, а потом женой богатого землевладельца. Она счастлива? Нет: счастья в ее жизни было четыре дня, которые она провела с любимым. Довольна ли? Да: она дорвалась до «радостей земных», сын растет в достатке и в холе. Счастлив ли он? О нет! Клара четко знала, чего хочет. Кристофер не ведает, что ему делать с собою. Он смотрит на мир широко раскрытыми, ищущими глазами — и не находит оснований для жизни. «Простое» существование скучно и бесцельно; страсть к собственности бесперспективна; книг слишком много,— всех не перечтешь, и в них такая разноголосица! Любовь к женщине, даже к той, которой понятны его стремления, безрадостна: две тоски, соединяясь, усиливаются, две пустоты проваливаются друг в друга. Надежды нет. Смысла нет. Самоубийство — логически оправданный выход. Единственный.

Действие «американской грагедии» оказывается перенесено из пространства социума в пространство человеческой души; главным ее вопросом становится вопрос самоопределения личности. То есть опять-таки вопрос сознания и совести: по Оутс, если мысль бездействует, то и нравственное чувство оказывается без надобности. Однако обратной связи нет: зрячесть разума вовсе не гарантирует от этической слепоты. Причина гибели Кристофера еще и в том, что его поиски были чисто интеллектуальными, что, стремясь «во всем разобраться», он не чувствовал ответственности ни перед кем. Только жажду «освободиться» — неведомо от чего. И ненависть — к той непонятной силе, что забросила его в мир.

Сейчас, когда мы уже знаем дальнейшее развитие Оутс, можно увидеть в ее раннем романе своего рода вступление к тому самому поиску, который и стал главным содержанием ее книг. Их герои — люди, сознание которых так или иначе оказывается пробуждено. Это может произойти рано или поздно, внезапно или постепенно — не суть важно, существенно то, что человек отбрасывает автоматизм восприятия и выбирает путь. Для Джека Морриси, героя романа «Делай со мной что захочешь» (1973; русск. перев. 1983), пробуждение началось с семейной драмы: отец совершил убийство; предстоит суд. Но дело не в этом, а в адвокате Мервине Хоу, который потряс подростка своим умением манипулировать другими людьми. Джек решает стать таким же — и становится. Внешне, правда, все несхоже: Хоу — откровенно правый, ведет дела сильных мира сего и, соответственно, богат; Морриси — крайне левый, защищает «униженных и оскорбленных» и, соответственно, беден. Но в главном они одинаковы: обоим совершенно не важно, виновен ли подзащитный,— важен лишь успех дела. Оба виртуозно владеют словом, блестяще играют на чувствах и насилуют истину ради своих целей. Цель у Джека благородная — социальная справедливость. Но можно ли достичь ее неправедными средствами? Можно ли оправдывать убийц и бандитов тем, что общество перед ними виновато? Жена Джека, которую он называет «своей совестью», убеждена, что да: угнетенные имеют право на преступление. Для Оутс такая позиция явно неприемлема. А какая — приемлема?

Путь Элины — пробуждение к земной любви. Юная жена пожилого Хоу, приобретенная им как вещь, она и чувствовала себя вещью, даже, пожалуй, была вещью— дорогой, красивой, изысканной. Пустой, как сосуд, который может принять любое содержимое. Эта пустота, которую она годами непотревоженно несла в себе, постепенно начинает томить: у Элины возникает ощущение, что она не существует вовсе. Случай — или фатум — сводит ее с Джеком в тот момент, когда треснула безупречная броня, охранявшая вакуум ее души. В трещину хлынула любовь — и завладела всецело, не оставляя места ни для чего более. Ни для жалости к мужу с его безумной, испепеляющей страстью и внезапной, такой непривычной беспомощностью. Ни для сострадания к жене Джека, к их маленькому приемному сыну. Ни для зарождающейся чистейшей — «святой» — нежности к юному Мереду Доу, проповеднику святой и всеобъемлющей божественной любви. Нет, Оутс не может принять ее путь — «путь всякой плоти», нерассуждающей и неподвластной совести.

Меред Доу идет путем духа. Противник всякого насилия, он полагается единственно на силу слова. Но не того, изощренного, при помощи которого можно преступника представить жертвой, а простого и ясного «божественного глагола». Его проповедь любви и космического единения душ возвышенна и прекрасна; его уверенность

в том, что призывами к добру можно тронуть сердца, закосневшие во зле, наивна и губительна. В первую очередь для него самого: полиция заманивает его в ловушку, бессмысленный подонок проламывает череп. Осужденный на 10 лет тюрьмы, помещенный в больницу, где его подвергают кошмарному лечению, Доу принимает свою судьбу как приговор высшей необходимости. «У меня есть возможность обрести отрешение от своего «я» с помощью Вашего закона»,— пишет он судье. И заканчивает буддийской притчей. Учитель дзэна держит над головой ученика палку и говорит: «Если ты скажешь, что эта палка реально существует, я ударю тебя ею. Если ты скажешь, что она не существует реально, я ударю тебя ею. Если ты не ответишь ничего, я ударю тебя ею...»

Так что же, нет пути и выхода нет? Но чтобы творить, художнику необходимы основания для жизни. И Джойс Кэрол Оутс не оставляет поиска.

Герой романа «Сын утра» (1978) — христианский подвижник, аскет и мистик. Ему являются видения, он слышит голоса и верит, что устами его гласит Бог. Он уверенно призывает сонные, заблудшие души: «Брось все и иди за мной!» Его любовь к человечеству чиста, яростна и губительна. Его Бог — Христос? Но возможно ли в столь неправедном мире служить Христу, не служа притом «сыну утра» — сатане?.. Герой романа «Кибела» (1979) правит «черную мессу» плоти. Его бог — это даже не Эрос, светлый и радостный язычник,— это Кибела, символ темных глубин подсознания, примитивное жизненное начало, приобщение к которому возможно лишь в надличном мире, расположенном «по ту сторону добра и зла», нравственности, мысли... Все меньше остается «неопробованных вариантов», и все чаще звучит в прозе Оутс тема заведомо неверного пути, ложного прозрения, пробуждения — в другой сон, в обман и самообман. Люди, смутно ощущающие бессмысленность своей жизни, хватаются за первую попавшуюся иллюзию — и оказываются в еще более темном тупике; уверенные, что идут по дороге восхождения,— низвергаются в бездну. Разочарование и крах — к такому итогу приходят поверившие лжепророку герои рассказа «Путь паломников»; тоска и безумие — такой конец ждет героиню рассказа «Тела», пытавшуюся подменить жизнь своим холодным и совершенным искусством. Безумие и гибель — финал героев романа «Ангел света» (1981), этой «современной Орестеи», разыгранной в фешенебельном районе Вашингтона.

Морис Хэллек, председатель Комиссии по делам министерства юстиции, погиб вскоре после того, как вынужден был уйти в отставку. Официальная версия — самоубийство. Однако его дети, 20-летний Оуэн и 17-летняя Кирстен, убеждены, что отец был убит. Убийцами они считают свою мать, Изабеллу, и Ника Мартенса, ее любовника и лучшего друга Мори. Убийцы должны быть наказаны. Трудно поверить, что они способны осуществить свое намерение — погруженная в отчаяние, почти теряющая рассудок девочка и флегматичный, поддавшийся настроению сестры юноша. Они бы и не смогли ничего, если б не Ульрих Мэй. Идеолог терроризма, считающий себя «пробужденным». Он завладевает сознанием Оуэна, отчаянно ищущего опоры в опрокидывающемся мире, вовлекает его в «Революционную армию американских серебристых голубей» — организацию в духе «Красных бригад». Изабелле и Нику выносится смертный приговор; Оуэн и Кирстен уполномочены привести его в исполнение.

Потрясающие сцены «казни» написаны с такой пластической конкретностью, что некоторые критики обвиняли Оутс в излишней жестокости, в натурализме. Однако ужасающие натуралистические подробности нужны писательнице не эффекта ради — они нужны, чтоб вызвать безусловное (подобно безусловному рефлексу) отвращение к насилию, показать совершенную неприемлемость той «справедливости», которой жаждали Кирстен и Оуэн. Недопустимость ее — даже и в том случае, если бы их отец был убит.

Между тем Мори Хэллек действительно покончил с собой. Писательница прояснит это только перед самым финалом, когда читатель уже поймет, что Изабелла и Ник не виновны в убийстве. Блестящая дама и высокопоставленный чиновник, они слишком дорожат своим благополучием, чтобы так рисковать. Да к тому же Мори и не мешал им — он лишь самому себе был в тягость. Морис Хэллек — чистый, благородный, великодушный. С ранних лет — бодрствовавший, напряженно ждавший призыва, гласа. Сознающий свою нравственную ответственность за все на свете, мечтавший молитвой облегчать страдания людские. Но не разверзались небеса, и глас не звучал. И Мори поступил в Гарвард, стал юристом, женился на красавице Изабелле, преуспел — оставшись притом честным и безупречным, верно служа достойному делу. А его жена стала одной из первых дам Вашингтона и любовницей его лучшего друга Ника. А Ник, вместе с которым Мори когда-то пытался решить вечные вопросы бытия, стал взяточником, торгующим ' правосудием. Но хотя картина «упадка и разложения» вашингтонской верхушки прописана вполне отчетливо, она занимает Оутс лишь побочно. Да и что может всерьез интересовать ее в обществе, которое, по признанию одного из его членов, населяют одни мертвецы. Это общество имеет значение постольку, поскольку на его фоне и при его участии развивается трагедия живой души, жаждавшей призвания, а нашедшей гибель. «Я умираю, чтобы расчистить дорогу другим. Я умираю, чтобы стереть позор. Чтобы, ужаснувшись, они вновь обрели первозданную душевную чистоту...» Какое горькое заблуждение! Ибо его смерть ничего не искупит и никого не очистит, а лишь повлечет новые смерти. Прежде такой разумный и флегматичный Оуэн убьет свою мать, красавицу Изабеллу,— тридцать семь ран, лужи крови на полу, кровавые сгустки на стенах и потолке... И, не в состоянии принять ответственность за содеянное, его сознание отключится, уснет навсегда под мерное тиканье бомбы. А «малышка» Кирстен будет в отчаянии снова и снова всаживать нож в тело хрипящего Ника: «Да умри же, почему ты не умираешь»... И, не в силах нести ответственность за содеянное, ее

сознание отключится, провалится в безумие. Так что же, значит, нет пути и выхода нет?

«В идеале назначение писателя — быть совестью тех, кто его окружает. Серьезное искусство часто понимают превратно, ибо в нем немало яростного и непривлекательного. Мне бы хотелось, чтобы мир был более совершенен, но, начав игнорировать существующие в нем реальные условия, я изменила бы своей писательской честности». Христианство и буддизм, любовь земная и небесная, политическая борьба и уход от общества... Все известные Оутс концепции бытия, пройдя жесткую проверку реальностью, обнаруживают так или иначе свою теневую сторону. Что же остается художнику, не намеренному изменять своей честности? Остается его дар, изобильная творческая сила, которая сама по себе может быть основанием для жизни. Конечно, недостаточным, неполным. И тем не менее: «Во мне живет до смешного бальзаковское стремление вместить в книгу целый мир». А пока дело обстоит так, пока творец исполнен энергии, остаются хотя бы основания для надежды...

Е. ЗЛОБИНА

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ УТОПИИ

Марио Варгас Льоса. Война конца света. Перевод с испанского А. Богдановского; предисловие И. Тертерян и Е. Костюкович. Москва, «Радуга», 1987.

«Войну конца света» легко, казалось бы, определить как роман-эпопею. Мало того, что книга обладает общими признаками этого жанра — такими, как панорамный охват исторического материала или множественность героев, ни один из которых не является «главным»; она и фабулой своей ассоциируется с самой знаменитой эпопеей в мировой литературе — «Илиадой» Гомера. Перед нами еще одна история «осады Трои», кровавой, беспощадной борьбы с заранее предрешенным трагическим исходом. Перуанский писатель обратился к истории другой латиноамериканской страны — Бразилии. В 90-х годах прошлого века несколько тысяч восставших крестьян во главе с бродячим проповедником по прозвищу Антонио Наставник захватили в бразильском штате Баия поместье Канудос и сделали его своим оплотом, который стойко оборонялся от правительственных войск и пал лишь после долгой борьбы против целой армии с пулеметами и тяжелой артиллерией.

Об этих эпических по духу событиях Марио Варгас Льоса написал роман. Действительно, в эпосе суть конфликта борющихся сил изначально ясна, всякого рода загадки и разночтения — область уже романа. А книга Варгаса Льосы полна нерешенных вопросов и разноречивых ответов на них. Что все-таки произошло в Канудосе, каков исторический и нравственный смысл разыгравшейся там трагедии? Персонажи романа судят об этом по-разному.

С точки зрения тех, кто подавлял восстание, Канудос — часть широкого монархистского заговора против недавно провозглашенной в Бразилии республики; этот заговор якобы инспирирован баиянскими помещиками-сепаратистами и получает тайную поддержку со стороны Англии. На самом деле версия об «английской помощи» цинично сфабрикована республиканскими политиканами, которые, не стесняясь в выборе средств, пытаются обставить ее «доказательствами». А вот что касается монархизма — отчасти правда, и насчет сепаратизма — тоже, прямого сговора между крестьянами и помещиками нет, но латифундисты, при всей ненависти к повстанцам, склонны к компромиссу с ними, пытаются от них откупиться и вообще до какой-то степени находят с ними общий язык; все они — земляки-баиянцы, связанные общими традициями, а республиканцев воспринимают как враждебных пришельцев из других краев. Так в повествовании звучит тема местного, «почвенного» своеобразия, сопротивляющегося давлению буржуазной цивилизации больших городов.

Иную версию проповедуют Антонио Наставник и его соратники — версию мифологическую и оттого неотразимо убедительную для неграмотных и религиозных крестьян. Согласно ей, происшедшая в стране смена правления означает близкий конец света; республиканцы суть «масоны и протестанты», прямые слуги Антихриста, которых следует безжалостно истреблять, как бешеных собак. Правоверные католики должны готовиться к Страшному суду, к скорой и избавительной смерти, удалившись вместе с Наставником в священный город Бело-Монте (переименованный Канудос) и защищая его от дьявольского воинства. Так в романе возникает тема религии со свойственным ей эсхатологическим мироощущением, верой в грядущее светопреставление.

Наконец, третью версию событий высказывает всего лишь один персонаж — правда, именно он больше других мог бы претендовать на роль главного героя книги, если бы не исчез из нее в середине повествования. Это шотландец-революционер, живущий в Бразилии под именем Галилео Галля и пытающийся пробраться в Канудос, чтобы связать его защитников с «революционным движением во всем мире». По его мнению, в степях штата Баия происходит революционное выступление крестьян, которое хотя и отягощено религиозно-фанатическими формами, но по существу преследует прогрессивную цель — «уничтожение экономического, социального, военного оплота классового общества». Так в романе ставится проблема революции, политического творчества масс.

По своим политическим взглядам Галилео Галль не марксист, а последователь Бакунина, и все же его соображения о сути событий в Канудосе — это попытка самого настоящего классового анализа, и к ним нельзя не прислушаться, тем более что и человек он во многом привлекательный—самоотверженный, мужественный, бескорыстно преданный революционной идее. Однако в романе и идея и личность этого персонажа безнадежно скомпрометированы той плачевной, трагикомической участью, которая его постигает. Попытка Галля отвезти оружие для восставших заканчивается полным крахом, а сам он, не добравшись до Канудоса, бесполезно гибнет — главным образом из-за своего непонимания латиноамерикан-

ских нравов, неумения и нежелания с ними сообразоваться. Втянувшись по стечению обстоятельств в бессмысленную, с его точки зрения, борьбу из-за женщины, он уклоняется от священного в здешних краях долга — защиты своей мужской чести, за что местные жители его презирают и фактически выдают алчущему крови сопернику. По иронии судьбы даже письма-отчеты о бразильских событиях, регулярно посылавшиеся им в Европу, шли, как выясняется, в пустоту: французская анархистская газетка, для которой они предназначались, уже давно закрылась...

Никчемная, дурацкая смерть Галля многое объясняет в проблематике романа. В «цивилизованной» Европе Галль — отважный заговорщик, боец Парижской коммуны — был героем; в «дикой» Латинской Америке он оказывается в роли нелепого паяца. Его готовность к самопожертвованию ни на кого не производит впечатления, ибо здесь в с е готовы к гибели, и грандиозный символ этой эпической жертвенности — Канудос. Действительно, религиозное движение Антонио Наставника основано на культе смерти. Начиналось оно с благочестивого дела — ухода за могилами и кладбищами; в своем городке Бело-Монте последователи Наставника также превыше всего заботятся о соблюдении похоронных обрядов — а над телами убитых врагов дико глумятся. Они живут в ежечасном напряженном предощущении конца — личной смерти и всеобщего светопреставления. В ожидании этого близкого конца, а также и из-за постоянных военных действий они практически не занимаются производительным трудом (не считая рытья окопов и возведения божьего храма). Съестные припасы они получают извне — как приношения местных жителей, как контрибуцию с помещиков, как трофеи, взятые при налетах на войсковые обозы. Военизированный, ничего не производящий, умерщвляющий других и сам готовый к гибели город-государство Антонио Наставника безвозвратно засасывает из внешнего мира стада скота, оружие, боеприпасы, человеческие жизни.

Ошибкой было бы видеть в этом царстве смерти искаженный, тенденциозно нарисованный писателем образ народной революции. На такую мысль, казалось бы, наводят политические взгляды Варгаса Льосы — в последние годы он активно участвует в политической жизни Перу, выступая с позиций отчетливо консервативных; однако к его роману это отношения не имеет. То, что изображается и исследуется в «Войне конца света», вообще нельзя назвать революцией; скорее это у т о п и я — своего рода попытка осуществить утопию в действительности.

Подобная проблема уже затрагивалась в романе Варгаса Льосы «Капитан Панталеон и Рота добрых услуг», вышедшем в 1974 году, за семь лет до «Войны конца света». Один из его персонажей явно предвещает Антонио Наставника — это некий брат Франсиско, глава секты, устраивающей ритуальные распятия на крестах (поначалу распинали всякую мелкую живность, потом добрались и до людей...). Параллельно же с рассказом об этой секте развивался и собственно утопический сюжет — гротескная история армейского публичного дома, который благодаря служебному рвению своего командира сделался идеальной обителью порядка и справедливости. Судьбы бродячего проповедника и сверхстарательного военного администратора комически отражались одна в другой. В «Войне конца света» ситуация изменилась: между религиозной сектой и армией — не насмешливый параллелизм, а трагический конфликт, и военные заняты не легкомысленными заботами о специфическом «обслуживании» личного состава, но своим прямым и жестоким делом — они воюют, уничтожают утопию Антонио Наставника.

Утопия эта изначально обречена на поражение: замкнувшись в себе, встав на путь самоизоляции, ухода из мира, она не желает знать, отвергает как сатанинское наваждение весь этот большой мир с его историческими законами и проблемами (здесь-то и коренится утопизм). Более того, такая историческая самоизоляция оборачивается и отказом от принципов гуманизма. Правда, Бело-Монте не полицейское государство, существующий в нем порядок основан на равенстве и набожности и соблюдается всеми жителями добровольно; но порядок этот осенен смертью, зиждется на полном безразличии к ценности человеческой жизни. Изуверская жестокость канудосских воинов, ничуть не уступающая жестокости правительственных солдат,— прямое продолжение все того же культа смерти, когда жизнь человека совсем не ценится, тем более если речь идет о «чужаках». В этой темной враждебности к окружающему миру религиозная вера причудливо соединилась с баиянским сепаратизмом, тягой к «почвенной» обособленности—залогом физической и моральной гибели движения.

Однако парадоксальная, трагическая логика общественной борьбы такова, что даже исторически обреченное, ложное по своим целям народное движение может словно по волшебству преобразить человека. И мрачная утопия Антонио Наставника, со своим средневековым, фанатическим духом («раскольничьим», сказали бы мы, пользуясь аналогией из русской истории), на практике все-таки возвышает людей, дает им идеал — пусть иллюзорный, предоставляет им возможность стать героями — пусть не в жизни, но в смерти. По словам одного из участников восстания в Канудосе, «тамошних людей осенила благодать»: как в житиях святых грешники внезапно делаются праведниками, так и тут кровавые убийцы, отпетые бандиты и насильники обнаруживают способность к подвигу, самопожертвованию, благородно-рыцарскому отношению к женщине; из отверженных, изгоев мира сего получаются блестящие военачальники, талантливые организаторы, вдохновенные ученики Наставника. То, что последователям проповедника кажется чудом и благодатью, на самом деле объясняется вполне рационально: самостоятельно определяя свою судьбу, люди и сами изменяются, распрямляются внутренне. «...Это не мистическое преображение, это взрыв человеческого достоинства, превращение «угнетенной твари» в творящего историю человека»,— сказано в предисловии к советскому изданию

книги[1]. В нравственном возрождении людей Канудоса проявились неисчерпаемые потенции человека, огромная духовная энергия, заключенная в народе. Трагедия состоит в том, что эта революционная по сути энергия на практике вылилась в нереволюционные, религиозно-утопические формы.

Из резни, устроенной солдатами после разгрома восстания, мало кто выбрался живым. Уцелел нескладный невзрачный газетный репортер, который провел в Канудосе последние, самые страшные месяцы осады и намеревается, вопреки складывающемуся заговору молчания, написать о происшедшем правдивую книгу; для него и для его подруги (той самой женщины, из-за которой понапрасну погиб Галилео Галль) путешествие в «царство смерти» явилось как бы очистительным паломничеством, оно сделало возможным и освятило их союз. Из самих же защитников городка случайно остались в живых лишь два тезки Наставника — неудачливый торговец Антонио Виланова, ставший в Бело-Монте главным хозяйственным распорядителем, и пиротехник Антонио Огневик, который вместо карнавальных шутих изготовлял для участников обороны ручные гранаты. Среди уцелевших нет крестьян: патриархальная крестьянская утопия стерта с лица земли, и свидетельствовать о ней дано уже людям другой, буржуазной цивилизации — журналисту, торговцу, ремесленнику. Им предстоит донести трагический опыт Канудоса до широкого мира, от которого сам Канудос столь яростно отгораживался. Этот опыт заставляет вновь задуматься о нравственных целях и средствах революции, которая способна обрести свое величие не в фанатичной замкнутости под знаком смерти, а лишь в уважении к свободным творческим способностям живого человека.

С. ЗЕНКИН

[1] В основу вступительной статьи легли материалы, оставшиеся после безвременной кончины видного советского испаниста И. А. Тертерян, которая много сделала для издания романа Варгаса Льосы на русском языке.

Издано за рубежом

«БИЕНЬЕМ ПУЛЬСА ИЗМЕРЯЯ ВРЕМЯ...»

Manuel Alegre. Babilônia, Lisboa, O Jornal, 1986.

Мануэл Алегри. Вавилон.

В середине 60-х годов в португальскую литературу пришел поэт Мануэл Алегри. В скором времени ему, студенту Коимбрского университета, автору стихотворных сборников, пришлось стать солдатом в Анголе. Служба в армии сформировала антифашистские взгляды Алегри. Он принял участие в антиколониальной борьбе и оказался за решеткой салазаровской охранки ПИДЕ. После тюремного заключения Алегри жил в эмиграции во Франции и Алжире, где стал активным членом Португальского фронта национального освобождения. Его оружием в борьбе с фашистской диктатурой была песня:

Есть светоч, который тлеет
Внутри затаенной воли
Есть тот, кто песни посеет
По ветру в пустынном поле.
Но даже в ночи смиренья
И рабского молчанья
Есть слово сопротивленья
И слово для отрицанья[1].

Музыку к его стихам писал известный композитор Фернандо Лопес Граса. Песни исполнялись со сцены и по радио. Слово отрицания и слово сопротивления стало делом, делом революции, которая победоносно завершилась в апреле 1974 года. Теперь, на пороге своего полувекового юбилея, когда пройден сложный путь борьбы и разочарований, сомнений и надежд, написаны десятки книг, Мануэл Алегри обращается к читателям с новой поэмой «Вавилон». Ей присущ эпический размах, объединяющий историю жизни поэта со всеобщей историей, соединяющий опыт поколения с опытом предшествующих эпох.

Я проникнуть хочу в подсознанье земли.
Слышать песнь поездов, пролетающих рельсами строк,
Гул толпы в лабиринтах подземной души,
Ухо режущий свист на платформах метро...
Мы спешим в пустоту своего естества.
С нами — письма казненных с «Марсельезой» в простреленном горле,
Поколенье мое — порожденье военного пекла:
В нашей памяти вечно Хиросима жива —
В каждом сердце стучит чья-то горсточка пепла...

Основная тема поэмы — человеческая разобщенность, непонимание, которое может вновь привести к разрушению Вавилонской башни — современного мира. Название поэмы отчасти раскрывается в самом эпиграфе: «Вавилон — это место вашего бытия».

Борьба добра со злом пронизала всю историю человечества. Поэтому поэт берет себе в собеседники и спутники великих творцов прошлого. Не прибегая к прямому цитированию, автор строит образы и ассоциации на фундаменте классических произведений. Его спутники по кругам жизни и времени — герой шумерского эпоса Гильгамеш и библейский пророк Моисей, Вергилий и Данте, Шекспир и Камоэнс. Он просит совета у великих предшественников, вступает с ними в полемику, пытаясь найти истину. М. Алегри синхронизирует разрозненные веками события, имена, факты. Действие поэмы разворачивается одновременно в прошлом, настоящем и будущем. И как гигантские вехи на стыке эпох, высятся ве-

[1] Здесь и далее перевод автора рецензии.

ликие произведения. Поэт усматривает историческую преемственность в ряду бессмертных творений духа. Он вместе с Гильгамешем отправляется к древнему старцу Утнапишти, прообразу Ноя, пережившему всемирный потоп. Не он ли, спасшийся от мировой катастрофы, знает тайну бессмертия? Автор возражает Вергилию, предсказавшему в знаменитой IV эклоге «Буколик» наступление нового золотого века — «начала нового строя времен»: «Я не уверен, о Вергилий, потечет ли мед, как роса, по стволу дуба».

Языком метафоры поэт пытается вызвать к жизни «зеленый город», внутренний мир человека, погребенный под камнями равнодушия. В экологическом крахе, грозящем человечеству, Алегри видит и крах культуры, нравственности, морали.

Остались лишь цветы из пластика —
Так истребляет себя человек! И нет
Монет, чтобы опустить в автомат
И получить в обмен живую душу...
Моющие средства чистят одежду, но
Кто нам отмоет сердца?

Автор разрабатывает подробный сценарий «последних дней» в предельно емких и зримых образах:

Слышишь, варвары входят в город?
Это ты отворил им ворота души:
Легионы римлян крадутся неслышно
По автостраде твоей печали,
Или, может, Аттила проходит с войском
На конях из мечты и металлолома?..

Слышится грозное предостережение, заставляющее вспомнить пророчества русских поэтов-символистов начала века о неумолимо надвигающемся нашествии «грядущих гуннов» (Брюсов) или «скифов» (Блок). Новый Аттила, высящийся на коне из металлолома,— несомненно поэтическая находка М. Алегри, в чем-то перекликающаяся для русского читателя с видением, столь ярко представшим в знаменитом стихотворении «Конь блед» Валерия Брюсова, с которым Алегри сходен рядом черт — русскому поэту не в меньшей, если не в большей степени был присущ «всемирно-исторический», «вселенский» взгляд на вещи.

Но Алегри в его поэтическом странствии ведет надежда, отчасти просто свойственная природе человека, отчасти основанная на знании, что и прежде человечество переживало метания на краю пропасти. В истории, сколь бы ни были темны и запутанны ее лабиринты, нет и не может быть безысходности, граничащей с обреченностью. Железные кони Апокалипсиса вряд ли смогут растоптать росток жизни, если этому противостоит человеческий разум. Поэт призывает: «Ищи в народе слово истины!»

Опираясь на свой жизненный опыт, опыт своего поколения, веря, что слово может изменить мир, Мануэл Алегри мужественно подводит итог прожитому:

Не напрасны лишенья, поверь!
Скажут: «Истина — это мечта».
Скажут те, кто нужнее теперь.
Мы другие — романтики боя,
говорили мы «нет» с тобою
в пору неоспоримого «да»!..
Остается лишь прочная дружба —
нерасторгнута и чиста.
остаются гитара и песня,
что сражаются до конца!

М. БЕРЕЗКИНА

ПРИБЛИЖЕНИЕ К ГЕРОЮ

Maria Ester Vázquez. Borges, sus dias y su tiempo. Barcelona, Javier Vergara Editor, 1986.

Мария Эстер Васкес. Борхес, его дни и время.

Хорхе Луис Борхес был поэтом и прозаиком, критиком и литературоведом. Писал произведения приключенческие и детективные, фантастические и философские, составлял антологии. Но картина получится неполной, если не отдать должного еще одному, очень своеобразному, но несомненно полноправному направлению его художественной деятельности — тому, что условно можно назвать «устным творчеством» Борхеса. Его лекции, пресс-конференции, выступления, интервью, циклы бесед, собранные воедино, составили бы многотомное издание. И самый большой раздел этого собрания можно было бы озаглавить «Борхес о Борхесе».

Писателя часто спрашивали, почему он дает столько интервью. «Потому что я очень одинок...» — обычно отвечал он. Вероятно, речь шла об одиночестве особого рода, одиночестве человека, много лет назад потерявшего зрение и остро сознающего ограниченность своих связей с окружающим миром. В такой ситуации общение с людьми, любые человеческие контакты приобретают огромное значение. Они помогают заполнить образованный слепотой вакуум и становятся важной частью повседневной и творческой жизни.

Отношение Борхеса к интервью не было однозначным. С одной стороны, он с видимой охотой, случалось, по нескольку раз в день, принимал репортеров, мог часами, не утомляясь, беседовать с ними, бывал искренне тронут любыми проявлениями внимания к себе. В то же время не раз заявлял, что считает интервью болезненным наростом на теле современной литературы. Погоня за дешевой сенсационностью, поверхностные, набившие оскомину своей похожестью и рассчитанные на определенные ответы вопросы, тщеславная развязность интервьюеров — все это заставило писателя применять свои приемы в общении с журналистами. Он легко брал инициативу в свои руки, незаметно ломал традиционные схемы, уверенно направлял разговор в нужное ему русло. При этом гостю отводилась роль слушателя.

Иное дело — долгие и неторопливые беседы с друзьями-единомышленниками, с людьми, близкими по духу и по кругу интересов. Возникала возможность насыщенно прожить часы, не занятые писательским трудом. Свободно льющийся разговор, необязательность тем, глубокое взаимопонимание создавали ощущение покоя и раскованности. Но блистательная легкость и непринужденность диалога лишь на первый взгляд казались импровизацией. Чтобы добиться этого эффекта, Борхесу, ведущему за собой собеседника, нужен был весь его художественный опыт, напряженная работа ума. Присутствующие вовлекались в сложную игру и становились не столько партне-

рами, сколько соавторами. Поэтому подобное времяпрепровождение Борхес называл «праздным и одновременно активным». Беседы часто растягивались на многие вечера, а в записи образовывали циклы и даже складывались в целые книги. Назовем лишь некоторые из них: «Диалоги с Борхесом» Виктории Окампо, «Борхес всепомнящий» Антонио Каррисо, «Борхес о самом себе» Эмира Родригеса Монегаля, «Семь бесед с Хорхе Луисом Борхесом» Фернандо Соррентино...

Именно такие беседы составили ядро книги Марии Эстер Васкес «Борхес, его дни и время». Несколько слов об истории ее создания. Васкес познакомилась с писателем в 1959 году, помогала ему в работе, сопровождала в поездках. С середины 60-х начали выходить в эфир Буэнос-Айреса подготовленные с ее помощью радиоинтервью Борхеса. Передачи транслировались ежемесячно в течение нескольких лет. Приход к власти в Аргентине в 1973 году Х. Д. Перона положил конец этой серии. Прекрасной иллюстрацией того, каким было официальное отношение к писателю в те годы, может служить следующий факт: был отдан приказ уничтожить все архивные записи, где звучал его голос. Лишь счастливая случайность помогла М. Э. Васкес сделать и сохранить копии с них.

Деловое знакомство постепенно переросло в прочную дружбу. Теперь уже не в радиостудии, а в квартире писателя на улице Маипу текли их разговоры — «только ради удовольствия разговаривать», как вспоминал он. Но не следует воспринимать его слова буквально. Постоянно включенный магнитофон фиксировал каждое слово и не давал забывать, что рано или поздно все сказанное здесь станет достоянием гласности. Эти дружеские беседы были еще и формой общения с читателями.

За двадцать лет Мария Эстер Васкес накопила богатейший материал. Мысль создать на его основе отдельную книгу возникла не сразу. Естественно, приступая к работе над ней, исследовательница не могла не отталкиваться от опыта своих многочисленных предшественников. Что же позволило этому изданию занять особое место в ряду почти двух десятков сборников подобного типа? Васкес решила попытаться из отдельных элементов составить цельный портрет писателя и человека; взяв на себя роль посредника, дать Борхесу возможность на сравнительно небольшой печатной площади максимально полно рассказать о себе. Цель определила принцип отбора текстов Нельзя было игнорировать уже сложившийся, ставший привычным образ, и в то же время важно было не только подтвердить, подкрепить традиционные представления о нем но и обогатить их, придать резкость новым, порой неожиданным чертам.

Материалы, которыми располагала Васкес — по объему, по тематическому и хронологическому охвату,— сориентировали ее на создание книги, в какой-то степени итоговой. Кстати, волей судьбы для Борхеса этот сборник явился одним из последних прижизненных То, что в результате получилось, можно назвать «избранными интервью и беседами» Яркая значимость и информационная насыщенность каждого включенного сюда эпизода сделали их звеньями одной цепи, сняли опасность возникновения эффекта «случайного присутствия».

Подробно, неторопливо отвечает Борхес на вопросы собеседницы. Он рассказывает о своих славных предках, чьи имена вписаны в историю Аргентины. Об отце, который зародил в нем любовь к книге. О матери, прожившей без малого сто лет и до последних дней сохранившей влияние на сына. О друзьях и литературных учителях, о странах, где приходилось просто бывать или подолгу жить. Писатель высказывает свои взгляды на историю, политику, культуру, искусство. Выстраивает шкалу нравственных ценностей, своеобразно распределяя на ней человеческие добродетели и пороки. Но о чем бы он ни говорил, каких бы тем ни касался, стержнем всегда оставался пристальный взгляд на себя.

Что же заставляло Борхеса — человека, по его собственному определению и по свидетельствам друзей, крайне робкого, застенчивого, бегущего от суеты и равнодушного к внешним атрибутам популярности,— столько энергии и времени отдавать разговорам, центральной темой которых неизменно являлся он сам? К тому же, предназначенных для печати? И еще, как объяснить тот факт, что при такой подчеркнутой открытости для общения с публикой (количество данных им интервью исчисляется не десятками, а сотнями), настойчивом стремлении объяснить себя, впустить посторонних в свой внутренний мир — Борхес был и остался одной из самых загадочных фигур мировой литературы нынешнего века: писателем-мифом, человеком-легендой?

«К тому, что человеком написано, мы, как правило, должны прибавить нечто более важное: образ этого человека, запечатленный в памяти поколений»,— сказал однажды Борхес. И неустанно, целенаправленно, на протяжении всей творческой жизни он создавал такой образ. Образ писателя Хорхе Луиса Борхеса. Это был сложный и многослойный процесс. Он во многом определял жизненную и эстетическую программы, становился объектом художественного и философского анализа, литературной темой. Произведения Борхеса очень личностны, им никогда не суждено существовать обособленно, заслонив собой автора, знаменуя лишь результат творческого акта. Щедро рассыпанные по их страницам автохарактеристики, автокомментарии властно привлекают внимание к писателю Интерес к нему провоцируется всей логикой построения его литературного автопортрета, в котором изначально заложена незавершенность, недосказанность, открытость.

И устные рассказы Борхеса, как нам кажется, есть необходимое продолжение этой линии. Только здесь она становится главной, определяющей. «Люди ждут от меня откровенных признаний, и у меня нет причин обмануть их ожидания». Явная ирония этих слов отражает характер признаний писателя Ревниво оберегая свою частную жизнь от любопытных взглядов («я не хочу, чтобы обстоятельства моей жизни были видны в моих произведениях»), он творит предназначенный для публики, для «грядущих поколений» образ этой жизни. Его герой-двой-

ник — персонаж из Зазеркалья. Он — отражение оригинала, но, оказавшись в ином мире, начинает жить по его законам.

Лишь попытавшись понять суть этих законов, мы сможем приблизиться к разгадке феномена интервью Борхеса. Нечто, разделяющее и одновременно связывающее его жизнь и ее образ, весьма изменчиво и подвижно. Инструментом преображения может стать и увеличительное стекло: оно породит известный максимализм оценок и суждений. И кривое зеркало с его гротескными метаморфозами, когда скромность оборачивается тщеславием, застенчивость — склонностью к эпатажу. И знаменитые борхесовские «игры со временем и пространством». И конечно, ирония.

В изменчивости отраженного мира можно увидеть знак его нетождественности миру реальному. Изменчив и герой Борхеса. Случалось, что в разных интервью, разделенных незначительными по времени промежутками, он высказывал противоположные точки зрения. Трудно было предсказать, например, какое из собственных произведений в какой момент он назовет лучшим, кого из классиков или современников произведет в гении. Когда писателю указывали на противоречия, он не смущался. Напротив, создавалось впечатление, что ему было как раз и нужно подчеркнуть это явление, парадоксальность — утвердить ее как принцип. В каждом отдельном эпизоде его рассказов была своя внутренняя правда. Выстраивая очередной сюжет, Борхес подчинялся прежде всего логике художественного мышления, шел за писательской интуицией. Вероятно, именно это имел он в виду, когда говорил о свойственной ему «эстетической безответственности», считая ее одним из основных своих достоинств.

На непостоянство борхесовского двойника можно посмотреть и под иным углом. Высшая степень развития «интеллектуального инстинкта», по Борхесу, проявляется в том, что человек неустанно ищет истину, зная, что найти ее невозможно. Прекрасен сам поиск — с ошибками, заблуждениями, промежуточными победами. А импульсом в движении вперед является сомнение — самое ценное из всего, чем наделены люди.

Художественный автопортрет Борхеса — открытие нового типа героя, воплощающего в себе развернутую модель конкретного мировосприятия, миропонимания. Явленная в сгущенном виде духовная сущность прототипа.

Один известный латиноамериканский поэт сказал, что для него Борхес всегда был книгой, произведением. Он имел в виду, вероятно, уникальную гармоничность сплава жизни и литературы, которую он собой представлял. Борхес не строил свое бытие по эстетическим канонам, не делал из него иллюстрации к своему творчеству. Наоборот, он шел к искусству от собственной природы, от себя. Поэтому в его позиции не было надрыва, насилия над собой. Его тезис «Моя жизнь служит моей литературе» следует понимать не как жизненную, а как эстетическую установку. Жизнь не подчиняется литературе, жизнь — ее прообраз, единый творческий стимул.

Не трудно увидеть, что, восстанавливая в интервью какие-то эпизоды собственной жизни, писатель ослабляет их бытовой смысл (который, естественно, изначально в них присутствовал). Он высвечивает лишь те их стороны, что обращены к литературе. Так, в рассказах о детских и юношеских годах прослеживаются моменты зарождения и развития отдельных тем и мотивов: зеркала, лабиринты, тигры, ножи и т. д. Фактически рисуется не череда событий, но фиксируются этапы обретения эмоционального, эстетического и нравственного опыта. Выстраивается не просто биография человека, а биография творчества, развернутый комментарий к нему.

Не случайно Борхес неоднократно повторял: «Каждый писатель одновременно творит два произведения: первое — «что», «о чем», второе — «как» он это делает». И для него самого это «как» не было лишь совокупностью определенных художественных средств и приемов. Оно выходило далеко за рамки чисто литературной сферы. В творческий круг вовлекалось прежде всего такое понятие, как стиль жизни. То, что определяет способ видения мира, в чем ярче всего проявляется индивидуальность творца. По большому счету это «как» и очерчивает жанровую границу борхесовского устного творчества. В нем «произведение о том, как он пишет свои произведения», обретает материальную оболочку. (Кстати, вспомним, что Габриэль Гарсиа Маркес давно вынашивает идею написать роман о своих романах.)

Сборник «Борхес, его дни и время» помогает читателю увидеть представленный ему материал как целостную систему. И в ее контексте отдельные элементы обретают новое звучание. Иначе взглянем мы теперь на парадоксы Борхеса, на его склонность «дразнить публику», на нарочитую повторяемость некоторых тем. Не ставя перед собой подобной задачи, Мария Эстер Васкес тем не менее всем составом своей книги доказала, что интервью и беседы Борхеса действительно являются самостоятельным прозаическим жанром. Вообще, слово «устное» применительно к творчеству Борхеса обретает особый смысл. Последние тридцать лет все свои произведения он творил устно. Это повлекло за собой и известные стилистические изменения, о чем сам писатель неоднократно говорил. В интервью он вводил заранее сделанные заготовки, из раза в раз повторяя отдельные сюжеты, оттачивал заключенную в них мысль, шлифовал форму Нельзя забывать, что Борхес был редактором большинства сборников собственных бесед и требовательно работал над ними.

Все, писавшие о Борхесе, как правило, приходили в выводу, что приблизиться к его личности можно лишь через его произведения. Расширив границы литературного наследия писателя, Мария Эстер Васкес помогла поклонникам его творчества сделать еще один шаг в этом направлении.

Н. БОГОМОЛОВА

◆

Из месяца в месяц

Австрия

РОМАН О «ВЫТЕСНЕННОМ ПРОШЛОМ»

В этом году Австрия отмечала 50-летие «аншлюса», присоединения к гитлеровской Германии. Этот печальный юбилей заставил многих в стране вновь обратиться к теме ответственности как рядовых граждан, так и руководителей страны за происшедшее.

Внимание критики привлек вышедший недавно в мюнхенском издательстве «Нимфенбургер» роман Герберта Розендорфера «Четыре времени года в Ирвентале».

«Даже нам, не имеющим представления о том, что значит двенадцать лет маршировать с именем Гитлера на устах и при этом и мысли не допускать, что участвуешь во всемирно-историческом преступлении, даже нам приходилось в недавнем прошлом убеждаться, сколь нечеловечески хитры бывают именно насильственные режимы, умеющие скрывать свою подлинную природу...— пишет в швейцарском еженедельнике «Вельтвохе» критик Юрг Рамшпен.— Видно, до сих пор многим не пошли впрок «уроки немецкого» на темы «совесть», «вина», «вытесненное прошлое». Такой урок дает нам сейчас человек, которому в конце войны было одиннадцать лет, однако он помнит все... Новый роман Розендорфера — образец злой и точной сатиры»

«Четыре времени года в Ирвентале» — это череда событий в местах, где переход от империи к республике, затем «коричневый период» потом американская оккупация и наступление века туристской индустрии так же естественны, как смена времен года, отмечает Ю. Рамшпен. Ирвентальцы в романе обладают способностью превращать все, что им ни преподносит история, в свою выгоду — и при этом оставаться безупречными католиками. Даже миллион рейхсмарок, полученных за донос на борца-антифашиста, оборачивается для них выгодой.

«Люди, которых изображает Розендорфер, вовсе не злодеи,— продолжает рецензент,— они просто привыкли воспринимать мир так, а не иначе и не хотят отступать от заведенного порядка. Сам автор вырос среди этих людей, и его роман — отчасти «скрытая автобиография...» Бесчеловечность происходящего в этом мире как бы не ощущается, о принципах или убеждениях здесь нет речи. Теперь ирвентальцы живут лишь ожиданием туристов, которые должны принести им благоденствие».

Подобное стремление забыть о неприятном прошлом Розендорфер отнюдь не считает чисто австрийским явлением. «В Шлезвиг-Гольштейне дело обстоит точно так же,— цитирует его слова рецензент «Вельтвохе».— Я написал эту книгу для того, чтобы сказать: каждый знал, что происходит. «Гляди не то попадешь в Дахау» — так говорили в ту пору даже дети: Дахау вовсе не был тайной. Мне особенно противна ложь малая, смещающая наше представление о том, как люди воспринимали происходящее. Не случайно австрийский писатель Хаймито фон Додерер говорил: «Большая ложь менее опасна, потому что ее можно разоблачить; малая же ложь, не противоречащая фактам, но лишь искажающая их,— вот что опасней всего в духовном смысле, потому что именно ее выдают за правду».

Издательство «Штемле» выпустило альбом фотопортретов известной киноактрисы Роми Шнайдер (1938—1982), выполненных Робертом Лебекком, одним из лучших, по определению журнала «Культуркроник», немецких репортеров послевоенного времени. «Оценивая его работы, — отмечает рецензент журнала, — хочется вспомнить древнюю китайскую пословицу: «Изображение говорит нам больше, чем тысяча слов».

На снимке: Роми Шнайдер. Фотография Р. Лебекка.

(Журнал «Культуркроник»)

Болгария

В БОРЬБЕ ЗА НОВУЮ БОЛГАРИЮ

В предисловии к книге воспоминаний видного болгарского социалиста Димитра Братанова «Волна Народного фронта» старейший деятель Коммунистической партии Болгарии Цола Драгойчева так определила замысел автора: «Воскресить людей, факты и события первой половины века, связанные с борьбой за сплочение здоровых и прогрессивных сил нации во имя свободы, демократии и социальной

справедливости, во имя светлого социалистического идеала». На протяжении всей истории Болгарии судьбы лучших представителей национальной культуры всегда были тесно связаны с героической борьбой болгарского народа за свою независимость, поэтому на страницах книги часто встречаются имена выдающихся болгарских поэтов, писателей, журналистов, издателей и просветителей: Димитр Братанов, бывший на протяжении многих лет сотрудником, а затем и редактором ряда молодежных прогрессивных изданий, встречался со многими выдающимися деятелями болгарской литературы XX века — Елином Пелином, Н. Вапцаровым, Л. Стояновым, А. Страшимировым, Мл. Исаевым, Б. Божиловым.

Живо и увлекательно рассказывает Д. Братанов о своей встрече с классиком болгарской литературы Елином Пелином в кафе «Болгария» — здесь он, представитель молодежной газеты «Сигнал», взял интервью у писателя-гуманиста. Первая встреча Братанова с замечательным болгарским поэтом-коммунистом Н. Вапцаровым состоялась ранним январским утром 1938 года в одной из келий Рильского монастыря. Несколько часов он беседовал с серьезным и сосредоточенным молодым коммунистом о создании Народного фронта, о необходимости борьбы с фашизмом, сам Братанов был одним из руководителей Союза социалистической молодежи и сразу поддержал призыв Г. Димитрова к единению с коммунистами перед лицом фашистской угрозы.

Уходя от Вапцарова, Димитр получил книгу Жюля Верна «Капитан Немо», под обложкой которой был спрятан текст выступления Г. Димитрова на VII конгрессе Коминтерна. Димитр Братанов отмечает большой интерес молодежи тех лет к литературе — как к отечественной, так и к зарубежной. Для его поколения, пишет он, «литература была тем волшебным оазисом, к которому стремились все наши мечты, где звучали боевые призывы Ботева, Петёфи, Гейне, Смирненского». Его ровесники зачитывались книгами крупнейших писателей-антифашистов — А. Барбюса, Р. Роллана, Э.-М. Ремарка, М. Шолохова, М. Горького. В трудные годы наступления фашизма Д. Братанов и его единомышленники — молодые социалисты — обменялись письмами с Ромэном Ролланом и Эптоном Синклером. Ответ Роллана, опубликованный во многих прогрессивных изданиях, был основательно «отредактирован» цензурой, особенно абзацы, где была высказана антифашистская позиция писателя.

Рекомендуя книгу самому широкому кругу читателей, газета «Отечествен фронт» называет ее «важным документом эпохи, предшествующей рождению новой Болгарии».

Великобритания

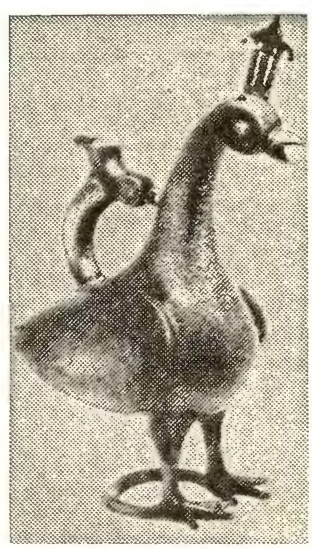
САМАЯ ДОРОГАЯ ПТИЦА В МИРЕ

Редкая птица была продана с молотка на лондонском аукционе Сотби, сообщает французский журнал «Экспресс». Сумму, соответствующую двум миллионам двумстам тысячам французских франков, выложил за нее покупатель из Саудовской Аравии, иранец по происхождению. Он стал обладателем этого великолепного произведения искусства — бесхвостого павлина, который больше похож на разозленного гусака, чем на птицу, славящуюся своим роскошным опереньем.

Сосуды для питья в виде птиц были очень распространены в исламской культуре XII века, такими сосудами могли пользоваться и в Европе при исполнении различных обрядов, отмечает обозреватель журнала. Подтверждение этому — автограф, оставленный на зобу павлина. Надпись сделана на арабском языке. Одна из версий перевода дает возможность утверждать, что создатель сосуда — христианин. Глаза птицы отлиты «на испанский лад», но в форме клюва сказалось сирийское влияние. Все это позволяет понять, продолжает критик, почему эта вещь вызвала на аукционе огромный ажиотаж, почему цена на нее взлетела так высоко и почему шла борьба за обладание бронзовой птицей, чье тело несет на себе следы трех культур двух частей света.

Самая дорогая птица в мире.

(Журнал «Экспресс»).



«БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ»

«Проза известной английской писательницы Маргарет Дрэббл, — пишет рецензент еженедельника «Тайм» (США), — развивалась от камерных психологических этюдов (например, «Год Гаррика») к панорамному роману, где реалистически обрисованные типы героев были помещены в узнаваемые социальные обстоятельства». В этом смысле, подчеркивает рецензент, «эволюция Дрэббл была как бы движением вспять: образцом для подражания для нее стали Диккенс, Троллоп, Джордж Элиот, Арнольд Беннет». В традициях классического реализма были написаны ее поздние романы — «Ледяной век» (1977) и «Дойдя до середины» (1980).

Десятый роман — «Блистательный путь» — появился после семилетнего молчания писательницы. Однако, считает рецензент, эти годы не были периодом «творческого застоя». Просто Дрэббл терпеливо ждала, когда жизнь предоставит ей достаточно материала для новой книги. «Блистательный путь» — это не просто жизнеописание трех подруг, а очерк современной британской истории, «эпохи Маргарет Тэтчер». Судьбы трех героинь Дрэббл — психиатра Лиз Хедленд, преподавательницы английской литературы в исправительной колонии Эликс Боуэн и специалиста по итальянскому Возрождению Эстер Бройер — отражают характерные приметы жизни английского среднего класса, тех интеллигенток, чья сознательная жизнь пришлась на 50-е годы. Эти женщины принадлежали к лучшим представительницам поколения, и основной вопрос, заботящий Дрэббл, рецензент формулирует так: «Что сделало с ними время и жизненные обстоятельства?»

Второй брак Лиз на грани распада: муж уходит от нее, чтобы жениться на состоятельной женщине из «большого света». «Мужской мир, мир костюмов и галстуков, речей, званых обедов и денег. Вот Чарльз и покорил его, — невесело размышляет Лиз. — Сначала он его высмеивал, потом разоблачал, а потом вступил в этот мир и прижился в нем».

Терпит поражение и Эликс. Она теряет работу, как ей представляется, крайне необходимую для общества. Ее муж Брайен, тоже познавший участь безработного, уже не верит, что сможет выкарабкаться на поверхность... Для Эстер, одинокой женщины, единственным смыслом существования было любимое дело. Но в условиях проводимой консерваторами политики «жестной экономии» никто не хочет финансировать ее искусствоведческие штудии.

Заглавие книги, повествующей о крушении трех жизней, проникнуто горькой

иронией. Дрэббл, отмечает рецензент, помещает свой рассказ в широкий контекст английских будней. Растущая безработица, фолклендский кризис, общенациональная забастовка шахтеров, разгул насилия и расовые волнения — таков мрачный фон этих трех биографий. В них писательница развенчала миф о благоденствии страны.

Венгрия

«БУЛГАКОВ И ДРУГИЕ»

«Дьерская балетная труппа вновь поразила публику необычным, дерзким спектаклем, замысел которого — показать на сцене в танцевальной драме историю России, русской интеллигенции», — сообщает журнал «Фильм, синхаз, мюжика». Главный герой танцевальной драмы «Булгаков и другие» — Художник. Это не сам Булгаков, пишет обозреватель журнала, но кто-то похожий на Булгакова, на Гоголя, Достоевского, Чехова, Пастернака, хотя за точку отсчета взят все-таки Булгаков, именно его художественная концепция определяет радиус охвата русской истории, именно его глазами увидены ее драмы, взлеты, борьба, ошибки. В соответствии с замыслом Ивана Марко, режиссера и исполнителя главной роли, Художник попадает в разные исторические эпохи — Ивана Грозного, Николая II, в 30-е годы нашего столетия.

Музыка спектакля, представляющая сплав произведений Чайковского, Мусоргского, Стравинского, Прокофьева и Альфреда Шнит-

Барбара Бомбиц и Иван Марко в спектакле «Булгаков и другие».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ке, искусно соединяет воедино эпохи и стили, считает обозреватель журнала.

Исландия

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ СЕВЕРНОГО СОВЕТА

Литературная премия Северного Совета за 1988 год присуждена исландскому писателю Тору Вильямсену за роман «Горит серебром оперение чайки», который возглавил список бестселлеров года в Исландии, а затем был переведен и выпущен в свет норвежским издательством «Гюльдендаль».

Тор Вильямсен, пишет норвежская газета «Фрихетен», дебютировал в 1950 году сборником прозаических миниатюр «Человек всегда одинок». Затем появились его романы «Скорей, скорей, сказала птица» (1968) и «Звон колокола» (1970).

Роман «Горит серебром оперение чайки» написан в традиции исландской прозы: в фантастических и метафорических сценах, в ярких красках возникает сложный образ современного мира.

Тор Вильямсен известен также как поэт, эссеист, публицист, переводчик. Он принимал активное участие в издании литературного журнала «Биртингур», сыгравшего важную роль в развитии жизни Исландии в конце 60-х годов. В переводах Тора Вильямсена исландский читатель познакомился с романами Умберто Эко «Имя розы», Исабель Альенде «Дом привидений».

Сцена из спектакля «Булгаков и другие».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

Куба

«КОНКУРС КРАСОТЫ» — ДЛЯ КНИГ

Празднование Дня кубинской книги с проведением национального конкурса лучших изданий года стало традиционным. Конкурс, проводившийся уже в шестой раз, убедительно показал, что для издательств страны прошедший год был плодотворным, а в книгопечатании произошли заметные перемены к лучшему, считает литературный обозреватель газеты «Хувентуд ребельде» Энрике Диас.

Бесспорно, главное достоинство книги — ее содержание, продолжает Э. Диас. Но не менее важно и оформление, а именно эта техническая сторона до недавнего времени была «ахиллесовой пятой» кубинского издательского дела. Частичному решению этой проблемы и должен, по замыслу его организаторов, служить национальный конкурс — стимул развития творчества художников, редакторов, полиграфистов, всех тех, кто участвует в процессе создания книги.

Судя по результатам конкурса, на который было отобрано около 60 книг (из числа 700, публикуемых в среднем за год), замысел удался. Как отмечает газета «Гранма», представленные работы отличались красочностью и высоким художественным уровнем оформления, хорошим техническим исполнением. Победителями признаны: по внешнему и внутреннему оформлению — книга «Хромой бес» (которая, кроме того, отмечена особым призом за компановку текста); по иллюстрациям — «Сакунтала» и «Мама Чилиндра». Специ-

ального приза удостоена книга «Поэт в Гаване». После церемонии награждения состоялось торжественное открытие выставки книг-призеров.

«Пусть в следующих конкурсах борьба будет все упорнее, — высказывает в заключение свое пожелание рецензент Э. Диас, — ведь это более чем весомое доказательство совершенствования книжного дела на Кубе».

Люксембург

ВЗГЛЯД НА ГРУЗИНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Один из номеров журнала «Европа», выходящего на французском языке в Люксембурге под руководством итальянского поэта и деятеля культуры, члена правления «Всемирной организации поэтов» Миммо Морины, знакомит читателей с многовековой грузинской литературой. Номер открывается большим (39 строф) отрывком из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Во вступительной статье автор перевода, литератор Гастон Буачидзе, рассматривает произведение Руставели, современника Бертрана де Борна, Вольфрама фон Эшенбаха и Кретьена де Труа, в контексте европейской рыцарской литературы. Журнал сообщает, что в 1988 году выйдет в свет полный текст перевода поэмы в совместном советско-французском издании — это сделает ее достоянием франкоязычной аудитории.

«Европа» публикует также стихотворения другого грузинского классика, Ильи Чавчавадзе, 150-летие со дня рождения которого отмечалось в 1987 году во всем мире. Переводам, выполненным Серго Цуладзе, предпослана статья Серго Турнавы, профессора Тбилисского Института грузинской литературы, сотрудника Культурного центра имени Артюра Рембо в Грузии. Автор статьи напоминает о том, что творчество Чавчавадзе отражало глобальные проблемы его времени и было связующим звеном между грузинской и французской литературами. В журнале «Иверия», которым руководил Чавчавадзе, печатались переводы из В. Гюго, А. Шенье, О. Бальзака, Э. Золя. На страницах люксембургского журнала воспроизведены фронтисписы «Стихотворений» Чавчавадзе, вышедших в 1987 году в грузинском издательстве «Мерани», и «Витязя в тигровой шкуре» издания 1712 года, а также портрет Руставели работы юной художницы Русудан Петвиашвили. Публикацию завершает небольшая статья Серго Турнавы о творчестве современного писателя и литературоведа, председателя

Шота Руставели. Портрет работы Русудан Петвиашвили.

(Журнал «Европа»)

Союза писателей Грузии Георгия Цицишвили. Произведения Г. Цицишвили переведены на европейские языки, он выступал с лекциями по истории грузинской литературы в Англии, Франции, ГДР, США и Румынии.

Нидерланды

«ЧЕВЕНГУР. РОМАН ОБ ОДНОМ ГОРОДЕ»

Под таким заголовком амстердамское издательство «Мёленхофф» представляет читателям свою новую книгу — нидерландский перевод полного текста одного из наиболее значительных произведений Андрея Платонова. Большой роман, написанный в 1927—1928 годах, за прошедшие пять с лишним десятилетий увидел свет лишь в нескольких подвергнутых цензуре отрывках, сообщает издательская аннотация, опубликована была также повесть «Происхождение мастера», в действительности являющаяся начальным фрагментом «Чевенгура», экспозицией повествования. (Роман напечатан в журнале «Дружба народов», 1988. № 3—4, публиковался в Париже, в 1972 г.— Прим. ред.).

«Представляется вполне объяснимым, — говорится далее в издательской аннотации, — почему долгое время предпринимались попытки «замолчать» и эту книгу, и ее автора: с беспощадной, неумолимой логикой автор этой причудливой сатиры показывает первые послеоктябрьские годы, чуждых реальности идеалистов-управителей, «возводящих» коммунизм с помощью оглушительных лозунгов, и идеалистов-угнетенных, ставших их жертвами».

Судьба Захара Павловича, слесаря-самоучки, работающего в железнодорожных мастерских (в его образе нашли отражение многие автобиографические черты, считает автор аннотации), и судьба его приемного сына Саши Дванова вплетаются в «панораму кипящих страстей» этого странного города, «запечатленного прихотливой кистью мастера с насмешкой, с иронией, но без ненависти и злобы». «Современной русской версией «Дон Кихота» назван платоновский «Чевенгур» в издательском проспекте.

Кроме полного текста романа в переводе Лоуренса Реедейка в издательстве «Мёленхофф» уже был выпущен сборник рассказов «В прекрасном и яростном мире». Ранее нидерландские издательства публиковали и другие произведения Андрея Платонова: повести «Котлован», «Происхождение мастера» и «Джан».

Норвегия

ФОТОЭСКИЗЫ ЭДВАРДА МУНКА

«Корни моего искусства уходят в размышления о том, как лучше объяснить размолвку между мною и жизнью... Живопись для меня — болезнь, дурман. Болезнь, от которой я не хочу излечиться, дурман, который мне необходим»,— эти слова Эдварда Мунка, «певца отчаяния и одиночества», дают, пожалуй, наиболее точную характеристику его творчества. Жизнь художника была единственным «материалом» его искусства, пишет западногерманский еженедельник «Цайт» в статье, посвященной вернисажу на мюнхенской вилле Штук. Здесь было представлено 130 картин, акварелей и графических работ знаменитого норвежского художника из коллекции музея Мунка в Осло. В экспозицию также включены 95 подлинных фотографий, сделанных самим Мунком в разные периоды его жизни.

Искусством светописи Мунк начинает заниматься зимой 1902 года, во время своего пребывания в Берлине, рассказывает «Цайт». О своих любительских опытах он вскользь упоминает в письмах к родным, его «темы» — портрет и автопортрет, интерьеры. Мунк умело пользуется несколькими источниками света, экраном-отражателем, создавая на снимке драма-

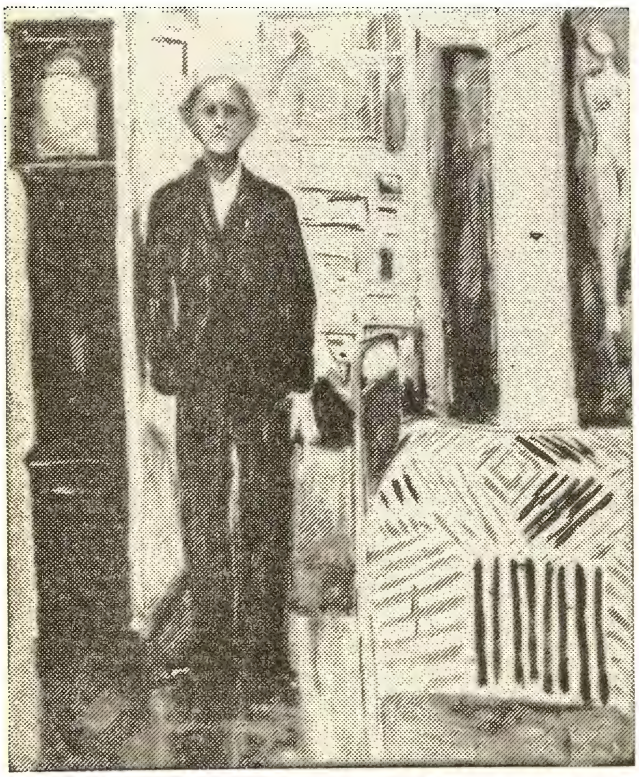
Эдвард Мунк. Фотопортрет в мастерской.

(Приложение к еженедельнику «Цайт»)

тичный контраст бликов и теней. Примечательно то, полагает «Цайт», что мастерское следование лиричной проникновенности «субъективной фотографии» сочетается у Мунка с тщательной продуманностью композиции, соотношения переднего плана и фона. Все его фотоработы обнаруживают точную проработку сюжета, все они «инсценированы» до мельчайших деталей. Нельзя не обратить внимание на то, что у некоторых картин Мунка есть «фотодвойники». Любителям искусства хорошо известна рыжеволосая зеленоглазая красавица, героиня картины-аллегории Мунка «Грех». «Грех», как и многие другие полотна, воплотил роковое чувство Мунка к Тулле Ларсен. Эта женщина предстает на картинах то мадонной, то вампиром, «исчадием тьмы». Однако мало кто знает, что «рабочим этюдом» «Греха» была фотография профессиональной натурщицы Розы Майснер, которая пришла по газетному объявлению в берлинское ателье безвестного тогда норвежского художника. Сходство двух изображений безусловно, несмотря на то, что на картине немного изменен ракурс. Идентична композиция снимка и разворот фигуры на фотографии Розы Майснер (1906) и на созданной в тот же год картине «Плачущая девушка» (художник работал тогда над декорациями для «Призраков» Ибсена в постановке Макса Рейнхардта). Так же несомненна аналогия, прослеживающаяся в фотопортрете Мунка, сделанном в день 75-летия (1938) в ателье художника близ Осло и написанном несколькими годами позже «Автопортрете с часами и кроватью». Одинаковы позы обеих фигур, изменен лишь интерьер, «антураж заднего плана», зато величественный «грансеньор» с фотоснимка, пишет «Цайт», на картине превращается в дряхлого, убогого старика. «Фотографический аппарат никогда не сможет конкурировать с живописью», — так оценивал Э. Мунк свое увлечение, отводя ему место подсобного средства.

Эдвард Мунк. Автопортрет с часами и кроватью.

(Приложение к еженедельнику «Цайт»)



Польша

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ВИТКЕВИЧА

Польская печать сообщает о перенесении на родину праха Станислава Игнацы Виткевича (1885—1939). Без малого полстолетия прах выдающегося писателя, художника и философа покоился на земле Украины, на кладбище села Великие Озера Дубровицкого района Ровенской области. 11 апреля 1988 года здесь состоялась эксгумация останков Виткевича, 12 апреля — торжественно-траурный митинг его памяти и акт передачи праха польской стороне. В Великоозерской средней школе открыт мемориальный музей, которому от имени общественности Польши передана в дар коллекция фотоматериалов и книг Виткевича. На прежнем месте погребения вместо установленного в 1971 году базальтового надгробия укреплена выполненная польским скульптором Романом Околовичем металлическая памятная плита с надписью на польском и украинском языках:

СТАНИСЛАВ ИГНАЦЫ ВИТКЕВИЧ — ВИТКАЦИЙ ВЕЛИКИЙ ПОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ХУДОЖНИК ПРАХ ЕГО ПЕРЕНЕСЕН 14 АПРЕЛЯ 1988 ГОДА НА КЛАДБИЩЕ В ЗАКОПАНЕ

Останки С. И. Виткевича преданы земле на закопанском Старом кладбище, рядом с могилами его отца и матери. Покоится здесь и горсть полесской земли, с которой судьба связала его навеки. История связей Виткевича с этим краем, беседы с местными жителями, свидетелями последних дней его жизни, запечатлены в фильме, снятом в апреле 1988 года лодзинскими кинематографистами под руководством режиссера и сценариста Яцека Шмидта. По данным журнала «Пшекруй», замысел перенесения праха Виткевича возник более 40 лет назад. Попытки добиться этого предпринимались не

раз — в конце 40-х, 50-х, потом 70-х годов (надгробие было сооружено на средства, собранные в Польше), однако лишь зимой 1988 года была достигнута договоренность по этому вопросу между Национальным советом культуры ПНР и советским правительством. Перенесение праха Виткевича, отмечает журнал,— выражение новой, открытой культурной политики, выражающей волю наших народов Это событие знаменательно для нового периода в развитии связей между двумя странами, который должен стать этапом конструктивных, систематических контактов без пауз, умолчаний и белых пятен.

Румыния

СТОЛЕТИЕ АТЕНЕУМА

Сто лет исполнилось величественному зданию румынского Атенеума, который является не только выдающимся памятником архитектуры, но и важным центром культурно-просветительской работы, местом выступлений видных ученых и артистов. Под его куполом, пишет газета «Ромыния литераря», проходили исторические общественно-политические мероприятия, имевшие большое значение для судеб страны,— сессии парламента, съезды коммунистической партии, торжественные собрания и заседания.

В середине прошлого века были основаны Бухарестский университет, консерватория, Национальная картинная галерея и музей древностей, стал издаваться ряд газет и журналов. Группа демократической интеллигенции, в которую входили художник Н. Григореску, писатель А. Одобеску, общественный деятель М. Когэлничану, образовали «научное, литературное и артистическое общество «Румынский Атенеум». Название его было призвано напоминать о древнегреческом храме богини Афины, где ученые и поэты представляли свое творчество.

«Наш Атенеум обращается к наименее привилегированным слоям народа и приглашает их воспользоваться благами культуры и образования»,— говорил на учредительном собрании ученый-естествоиспытатель, вдохновитель просветительского общества К. Эсарку. Устав Атенеума гласил: «Цель общества — распространение культуры всеми средствами — путем чтения лекций, издания газет, журналов и книг». В Атенеуме выступали такие известные деятели культуры, как И. Л. Караджале, В. Ефтимиу, Л. Ребряну, М. Садовяну, Г. Галактион, Ч. Петреску, И. Жаля, а также многочисленные зарубежные ученые и артисты. Были специально разработаны курсы лекций, предназначенные для неимущих слоев населения, созданы филиалы Атенеума в провинции.

Для возведения Атенеума потребовалось менее двух лет. Он был построен по проекту молодого французского архитектора А Гальерона при участии румынских зодчих — И. Минку, А. Орэску, Г. Соколеску. Впечатляющее здание с восемью ионическими колоннами, с элементами древнегреческой и древнеримской архитектур обошлось в огромную сумму — 1,2 миллиона золотых лей. В феврале 1888 года состоялось его торжественное открытие.

Во время войны гитлеровская авиация, подвергшая Бухарест жестоким бомбардировкам, нанесла Атенеуму большой ущерб. Однако усилиями жителей столицы за короткий срок здание было отремонтировано, и уже в мае 1945 года здесь возобновились концерты симфонического оркестра под управлением Дж. Энеску. Сегодня в здании находится государственная филармония, за последние несколько десятилетий на ее сцене выступали Б. Барток, И. Стравинский, М. Равель, А. Рубинштейн, И. Менухин, Д. Ойстрах, Д. Башкиров.

США

«ВОССТАЮЩАЯ ИЗ МЕРТВЫХ»

Исполнилось 25 лет со дня смерти талантливой американской поэтессы и прозаика Сильвии Плат. Многие литературные еженедельники США и Великобритании откликнулись на это событие, к которому был также приурочен выход в свет биографии поэта, написанной Линдой Вагнер-Мартин. «Нью-Йорк таймс бук ревью» и «Филадельфия инквайрер» поместили восторженные отзывы: по словам американского поэта Дэвида Игнатова, книга напоминает о «силе, красоте, радости и муке, воплощенных в последних стихах Сильвии Плат». Эта биография — не первое знакомство американского читателя с личностью поэтессы: широко известен ее автобиографический роман «Под стеклянным колпаком» (1963), «Воспоминания о Сильвии Плат» Нэнси Х. Стайнер, опубликованные в начале 1970-х годов. «Феномену Сильвии Плат» посвящена и обширная лекция ирландского поэта Шеймаса Хини, перепечатанная в «Таймс литерари сапплмент».

Судьба Сильвии Плат — судьба подлинного поэта. При жизни — автор мало кому известного сборника стихов «Колосс» (1960), Плат была оценена по достоинству лишь после смерти. Слава пришла с посмертным

Сильвия Плат.

(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)

сборником «Ариель» (1965), в котором, по словам Роберта Лоуэлла, Плат, «словно мастер-горнолыжник, летящий от одной смертельной ловушки к другой», достигла совершенного владения стихом. А стихотворными сборниками «Сквозь воды», «Деревья зимой», изданными ее мужем, английским поэтом Тедом Хьюзом, Сильвия Плат вошла в число лучших поэтов послевоенной Америки.

По мнению Шеймаса Хини, в становлении поэтессы прослеживаются три этапа. С его точки зрения, ранние стихотворения 1950-х годов, составившие сборник «Колосс», основаны либо на личном опыте, либо на смешении «автобиографического» и «мифологического» начал. Об этом периоде «ученичества» Тед Хьюз писал: «Над своими ранними стихами она работала очень медленно, положив на колени раскрытый словарь, выводя крупные, странные, похожие на иероглифы буквы — каждая стояла особняком, сама себе знак... Каждое стихотворение вырастало из своего собственного корня, писалось кропотливо, медленно, словно Сильвия решала математическую задачу...» Но уже в этих ранних стихах виден поэт со своим собственным миром — свидетельством тому стихотворение «Ловец мидий в Скалистой гавани», проанализированное Ш. Хини в его статье. Лучшими стихотворениями, написанными между 1960 годом и октябрем 1962-го (второй период творчества поэта), критик считает «Луну и тисовое дерево» (см. «ИЛ», 1974, № 1) и «Вяз» — они «рождены точно по велению какой-то непредсказуемой, но поистине неотразимой силы».

В стихах последнего периода (октябрь 1962 — февраль 1963), вошедших в сборник «Ариель», критик находит «объективность, совершенную экономию строки», «ту смелость перед чистой страницей», которую Пастернак считал одной из составляющих таланта». Ш. Хини полагает, что

«большая поэзия рождается тогда, когда поэт забывает о себе», и именно таковы, по его мнению, лучшие стихи Сильвии Плат. Хотя поэтесса порой слишком сосредоточена на проблемах своего «я» и нередко «сужает миф автобиографическими деталями», как, например, в стихотворении «Восстающая из мертвых» (опубликовано на русском языке в книге «Американская поэзия в русских переводах»), критик оправдывает этот недостаток молодостью Плат, подчеркивая, что именно «личностное начало дает ее лирике эмоциональный накал и остроту».

В целом же, заключает Ш. Хини, поэзия Сильвии Плат — «большого поэта, рано ушедшего из жизни,— уже принадлежит традиции...»

Франция

МАРИЯ БАШКИРЦЕВА — «МУЗА ДЕКАДАНСА»

«Человеческая жизнь во всей ее полноте, поведанная без прикрас и лжи, всегда значительна и интересна». С этой цитаты из «Дневника» Марии Башкирцевой (1860—1884) обозреватель журнала «Магазин литтерер» Анн-Мари де Вилэн начинает свою статью, посвященную самобытной, талантливой личности — «музе декаданса» (по определению современников) и ее «Дневнику», написанному на французском языке.

Первая публикация «Дневника» в Париже через три года после смерти автора, равно как и последующие издания 1901, 1955 и 1980 годов, вызвали большой интерес у читателей, продолжает А.-М. де Вилэн. Но, как обнаружила последний биограф М. Башкирцевой Колетт Конье, которая сверила опубликованный вариант с оригиналом из 84 тетрадей и записных книжек, хранящихся ныне в Национальной библиотеке, текст «Дневника» оказался сильно урезанным и искаженным. А ведь по замыслу самой М. Башкирцевой, первейшее в «Дневнике» — «предельная искренность и только правда, иначе он просто не имеет права на существование». Когда готовились издания, исповедь Марии «смягчалась» и «подслащивалась» по указанию ее матери, желавшей сохранить семейные тайны, свою репутацию и представить дочь «вечной девочкой», поясняет обозреватель. Кроме того, цензура изъяла те части «Дневника», в которых наиболее ярко отразились смелость и независимость суждений автора, критика общепринятых понятий того времени, протест против неравноправия женщин в обществе. Круг интересов М. Башкирцевой (а ее волновали и политические и социальные вопросы) по воле цензоров оказался суженным. «В результате подлинный «Дневник» еще не издан», — констатирует А.-М. де Вилэн. Но и в таком сокращенном варианте ясно видны широкий кругозор и одаренность М. Башкирцевой: она страстно увлекалась живописью и сама хорошо рисовала, любила и понимала музыку, глубоко знала произведения античных авторов (Геродота, Платона Плутарха, которых читала в оригинале) и современников (Э. Золя, О. Бальзака, Ги де Мопассана), разбиралась в архитектуре.

Однако, напоминает в заключение «Магазин литтерер», личностный портрет Марии Башкирцевой после подобного «ретуширования» требует «реставрации». Иначе мы, как и предыдущие поколения читателей, не зная подлинного содержания «Дневника» так и не разгадаем загадку «музы декаданса».

Мария Башкирцева.

(Журнал «Магазин литтерер»)

ФРГ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ КЛЕЙСТА — ТОМАСУ БРАШУ

В годы Веймарской республики литературная премия имени Клейста была одной из наиболее почетных. Несколько лет назад «Общество Клейста» решило ее возродить. Финансовую поддержку этому предприятию оказали издатели и книготорговцы ФРГ и Австрии. Первым лауреатом восстановленной премии стал известный западногерманский кинорежиссер Александр Клюге, затем — писательница Диана Кемпф. И вот — новый лауреат: им стал Томас Браш, перу которого принадлежат сборник прозы «Сыновья умирают раньше отцов», пьеса «Очаровательная Рита», томик стихов «Прекрасный день — 27 сентября» и два киносценария.

Кандидатура Томаса Браша была предложена Кристой Вольф. Журнал «Культуркроник» опубликовал выдержки из ее выступления на торжественной церемонии вручения премии.

«Чем больше я вчитывалась в книги Браша, — сказала Криста Вольф, — тем ощутимее для меня становилась его связь с клейстовской традицией: тот же трагический конфликт со временем, то же неприятие однозначности, то же стремление максимально выразить себя и вместе с тем сохранить сдержанность и неназойливость. Браш, так же как и Клейст, прежде всего — философ, но Клейст, запутавшись в тенетах субъективного идеализма, разуверился в возможности познания мира. В произведениях же Браша больше оптимизма и веры в жизнь. Интересны его эксперименты с формой и структурой текста, которые, по мнению автора, могут независимо от содержания нести собственный эмоциональный и смысловой заряд».

Криста Вольф вручает премию имени Клейста Томасу Брашу.

(Журнал «Культуркроник»)

Авторы этого номера

УМБЕРТО ЭКО (UMBERTO ECO; род. в 1932 г.) — итальянский ученый, профессор, читает курсы лекций по семиотике и эстетике в Болонском университете, директор Института зрелищных искусств, почетный доктор университетов США, Дании и др. Автор книг «Эстетическая проблематика у Фомы Аквинского» («Il problema estetico in Tommaso d'Aquino», 1956), «Открытое произведение» («Opera aperta», 1962), «Поэтика Джойса» («Le poetiche di Joyce», 1966), «Трактат по общей семиотике» («Trattato di semiotica generale», 1975), «Lector in fabula», (1979). Его статьи по вопросам современной культурной жизни часто публикуются в итальянской прессе. Роман «Имя розы» («Il nome della rosa». Milano, Bompiani, 1980), который публикуется в журнальном варианте,— первое художественное произведение Умберто Эко. Писатель удостоен за него крупнейшей итальянской литературной премии «Стрега» (1981) и французской премии «Медичи» (1982).

КОСТЮКОВИЧ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА Советский переводчик, литературовед. В ее переводах публиковались стихотворения итальянских, испанских, французских поэтов.

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ (DENISE LEVERTOV; род. в 1923 г.) — американская поэтесса. Дебютировала в 1946 году сборником стихов «Двойное отражение» («The Double Image»). В последующие годы вышли поэтические сборники «Здесь и сейчас» («Here and Now», 1957), «Через континент к островам» («Overland to the Islands», 1958), «Печальный танец» («The Sorrow Dance», 1968), «Заново учу алфавит» («Relearning the Alphabet», 1970), «Поэт в мире» («The Poet in the World», 1973) и др., а также две книги прозы.

Публикуемые стихи взяты из сборников «Лестница Иакова» («The Jacob's Ladder», 1962) и «Жизнь в лесу» («Life in the Forest». New York, Directions Publishing Corporation, 1978).

КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1928 г.)— советский поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Пристань» (1954), «Возраст» (1967). Переводил стихи Б. Брехта, В. Незвала, Ц. Норвида, В. Броневского, Аттилы Йожефа, Петра Негоша и др.

ЧЖАН СЯНЛЯН (род. в 1936 г.) — китайский писатель. Начинал в литературе как поэт. В конце 50-х годов, после резкой критики в печати его стихов, был репрессирован. Вернулся к творческой работе лишь через двадцать лет, в 1979 году, после реабилитации. Автор сборника рассказов «Душа и плоть» (1981), нескольких повестей, напечатанных в журнале «Шиюэ», в том числе «Сыновья реки» (1983) и «Мимоза» (1983), отмеченная премией «Альманаха повестей».

На русском языке публикуется впервые. Журнальный вариант перевода повести «Мимоза» («Люйхуашу») выполнен по одноименному «Избранное» (Фучжоу, 1986).

СМИРНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1948 г.) — советский переводчик и исследователь классической и современной литературы Китая, кандидат филологических наук. В «ИЛ» печатались его переводы из средневековой китайской поэзии (1986, № 10).

БРЕЙТЕН БРЕЙТЕНБАХ (BREYTEN BREYTENBACH; род. в 1939 г.) — южноафриканский поэт, прозаик, публицист. Автор многих поэтических сборников: «Железный бык вспотеет» («Die ysterkoeimoet sweet», 1964), «Гангрена» («Kouevuur», 1969), «Лотос» («Lotus», 1970), «Стило/стилет» («Skryt», 1972) и др., сборников новелл. Опубликован также его тюремный дневник. Б. Брейтенбах известен и как художник, график.

Предлагаемые стихотворения взяты из книг: «Дом глухого» («Het huis van de dove», Amsterdam, Meulenhoff, 1976), «Другими словами» («Met anderewoorden», Meulenhoff, 1977), «Одно лето в раю» («'n Seizoen in die paradys», Meulenhoff, 1980), «Затмение» («Eklips», Meulenhoff, 1983) и нидерландского журнала «De Gids», (1977, N 8).

ВИТКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1950 г.) — советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались произведения Д. Китса, Р. Киплинга, Р.-М. Рильке, Г. Бенна, А. Рембо, Л. Арагона, южноафриканских поэтов Э. Криге, Д. Й. Оппермана, И. Йонкер и др. Выступает также как историк художественного перевода.

ПЕТЕР ШЮТТ (PETER SCHÜTT; род. в 1939 г.) — немецкий поэт, публицист, историк. Секретарь Демократического культурбунда (ФРГ). Живет в Гамбурге. Автор книг стихов, публицистических очерков, в том числе «Книги о Нижней Эльбе» («Mein Niederelbebuch», 1976), сборника стихов «Разоружайтесь!» («Entrüstet euch», 1982), книги «Южный Крест» («Das Kreuz des Südens», 1985), путевых очерков о Вьетнаме, СССР и США. В «Иностранной литературе» печатались стихи П. Шютта из книг «К вопросу о положении нации» и «Политическая лирика ФРГ и Западного Берлина» (1977, № 9), главы из публицистических книг «Мавр сделал свое дело...» «Существует ли расизм в ФРГ?» и «Насос для материнского молока. Картины другой Америки» (1983, № 3).
Публикуемые главы взяты из книги «...А где-то там, за Турцией, вдали, народы режутся и бьются». Рассказ о поездке в Иран» («...wenn fern hinter der Türkei die Völker aufeinanderschlagen». Bericht einer Reise in den Iran». Köln, Weltkreis, 1987).

БРУН-ЦЕХОВОЙ ВАЛЕРИЙ АВГУСТОВИЧ (род. в 1950 г.) — кандидат исторических наук, специалист по проблемам развития демократической культуры в ФРГ. Автор ряда статей в советской периодике.

МОТЫЛЕВА ТАМАРА ЛАЗАРЕВНА — советский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Автор книг «О мировом значении А. Н. Толстого» (1957), «Иностранная литература и современность» (1961), «Зарубежный роман сегодня» (1966), «Ромен Роллан» (ЖЗЛ, 1969), «Роман Анны Зегерс «Седьмой крест» (1970), «Достояние современного реализма» (1973), «Первый антифашистский роман» (1974), «Война и мир» за рубежом. Переводы. Критика. Влияние» (1978), «Роман — свободная форма» (1982), «Анна Зегерс — личность и творчество» (1984), «Литература и фашизм» (1987).

КАРЯКИН ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. в 1930 г.) — советский литературовед, публицист, историк. Автор книги «Самообман Раскольникова» (1976) исследований, посвященных творчеству Ф. М. Достоевского: «Антикоммунизм, Достоевский и достоевщина» (журнал «Проблемы мира и социализма», 1963, № 5), «Зачем хроникер в «Бесах»?, «Лишь начинаю...» (1981), статей «Стоит ли наступать на грабли?» (1987), «Ждановская жидкость, или Против очернительства» (1988), а также инсценировок по произведениям Достоевского — «Преступление и наказание», «Записки из подполья», «Сон смешного человека» и «Бесы».

◆

В 1989 году

«Иностранная литература» предлагает опубликовать:

Художественная проза

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Улисс

Ни один роман, созданный в нашем столетии, не вызвал таких споров, как «Улисс», произведение, которое по праву называют «мифом XX века». Роман будет печататься полностью на протяжении всего года.

ЖАН-ПОЛЬ САРТР

Тошнота

У нас в стране известны пьесы Жан-Поля Сартра, автобиографическая повесть «Слова», рассказы. Продолжая знакомить читателей с творчеством Сартра, журнал напечатает его роман «Тошнота» (1938) — вершину художественной прозы писателя.

ЮКИО МИСИМА

Золотой храм

Первая публикация на русском языке из литературного наследия знаменитого японского писателя, чье харакири в 1970 году после неудавшегося государственного переворота наделало много шума. «Золотой храм» — лучшее из произведений писателя — философский роман, раскрывающий внутренний мир послушника дзэн-буддистской обители, который совершает чудовищное преступление.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Один из романов, написанных на английском языке.

АЙЗЕК БАШЕВИС СИНГЕР

Подборка новелл старейшего прозаика США, пишущего на идиш, лауреата Нобелевской премии.

ГРЭМ ГРИН

Монсеньор Кихот

Этот роман — произведение в известном смысле итоговое, вобравшее сумму идей, которые многие десятилетия волновали знаменитого писателя. Священник из Эль Тобосы и коммунист, бывший мэр городка, пускаются в путешествие по Испании. Их острый, но дружеский диалог затрагивает много актуальных вопросов современности и недавней истории.

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА

Камень, который был Христом

В этом романе-притче венесуэльский писатель, используя библейский сюжет — последние дни и часы жизни Христа,— поднимает животрепещущие проблемы современной жизни и политической борьбы.

ВЕРНЕР ГАЙДУЧЕК

Прегрешение

В центре повести — любовная драма. Героев разделяет граница между ГДР и ФРГ, граница, которая пролегла и в сознании окружающих их людей...

ДЖОН ФАУЛЗ

Даниэл Мартин

Роман крупного английского писателя, известного советским читателям по повести «Башня из черного дерева» и роману «Подруга французского лейтенанта». Его герой — литератор, который стремится к осмыслению философских, социальных и этических проблем окружающего его мира.

ИСМАИЛ КАДАРЕ

Генерал мертвой армии

Роман албанского писателя, переведенный во многих странах, рассказывает о том, как через много лет после войны итальянский генерал приезжает в Албанию разыскивать тела погибших солдат оккупационной армии.

РАЙМОНД ЧАНДЛЕР

Долгое прощание

Роман мастера американского детектива. В центре повествования — частный сыщик Филипп Марлоу.

В жанрах публицистики и документальной прозы

АРТУР МИЛЛЕР

В наплывах времени: история одной жизни

Несколько бурных десятилетий XX века, преломившихся в судьбе знаменитого американского драматурга, запечатлены на страницах его исповеди, автопортрета.

РЭЙ КОННОЛИ

Джон Леннон: 1940—1980.

Биография

Страницы жизни одного из участников квартета «Битлз» Дж. Леннона и его жены Йоко Оно.

АКИО МОРИТА

Сделано в Японии

Фрагменты мемуаров одного из основателей и нынешнего президента корпорации «Сони». Это рассказ о становлении компании, о сложившихся в ней методах стимулирования научно-технического прогресса, анализ японской и американской моделей управления.

ИНГМАР БЕРГМАН

Laterna magica

Главы из новой книги — автобиографического повествования всемирно известного шведского кинорежиссера.

ДЖОНАТАН ЛИНН, ЭНТОНИ ДЖЕЙ

Да, премьер-министр

Герой сатирической книги английских авторов, знакомый советскому читателю по публикации «Да, министр» («ИЛ», 1983, № 8), на сей раз ведет свои дневники уже в качестве премьер-министра.

Н. П. ШМЕЛЕВ

Очерк **«Третий раз в Америке».**

Редакция рассматривает для публикации в 1990—1991 годах:

ГЕРМАН ГЕССЕ

Нарцисс и Гольдмунд

Роман, синтезирующий идейные и поэтические искания знаменитого немецкого писателя в период его творческой зрелости.

ГОР ВИДАЛ

Линкольн

Роман из историко-политического цикла американского писателя Г. Видала посвящен фермерскому сыну, который в лихую пору общественного бедствия логикой обстоятельств стал президентом страны, и его великому делу.

МИХАЭЛЬ ЭНДЕ

История, которой нет конца

Роман-сказка западногерманского писателя. Путешествие в страну Фантазию одиннадцатилетнего Бастиана Букса и его трудное возвращение домой.

ЧИНУА АЧЕБЕ

Муравейники в саванне

Молодой, либерально настроенный офицер, в результате военного переворота пришедший к власти в вымышленной африканской стране Канган, постепенно превращается в кровавого диктатора, уничтожая своих вчерашних соратников и друзей — такова тема романа известного нигерийского писателя.

КЛОД СИМОН

Георгики

Роман, принесший автору, известному французскому писателю, Нобелевскую премию. Труды и дни мелкопоместного дворянина, осмысливаемые его дальним потомком, нашим современником.

ТАХАР БЕН ДЖЕЛЛУН

Священная ночь

Новый роман марокканского писателя, удостоенный Гонкуровской премии 1987 года.

РОБЕРТ ШЕКЛИ

Хождение Джоэниса

Социально-фантастическая повесть знаменитого американского писателя о будущем, стилизованная под древние предания и легенды.

ПЕДРО ХОРХЕ ВЕРА

За деньги пляшет и собака

Роман о взлете и падении финансиста. Действие происходит в Эквадоре в наши дни.

КАРОЙ САКОНИ

Французская ферма

Повесть о судьбе молодого венгра, возвращающегося после плена на родину.

БОГУМИЛ ГРАБАЛ

Сатирические и юмористические рассказы одного из крупнейших писателей Чехословакии.

ЛУИ АРАГОН

Гибель всерьез

Лирико-экспериментальный роман, считающийся лучшим из последних произведений писателя.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Роман бразильского писателя ЖОАНА УБАЛДО РИБЕЙРО «Сержант Жетулио». «Этот роман,— говорит в своем предисловии Жоржи Амаду,— одна из лучших бразильских книг, которые мне довелось прочитать».

Стихи английского поэта ДЖОНА ДОННА в переводе Иосифа Бродского и статья Виктора Ерофеева «Поэта далеко заводит речь... (Иосиф Бродский: свобода и одиночество)».

О французской прозе рассказывают Робер Андре и Тамара Балашова.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47

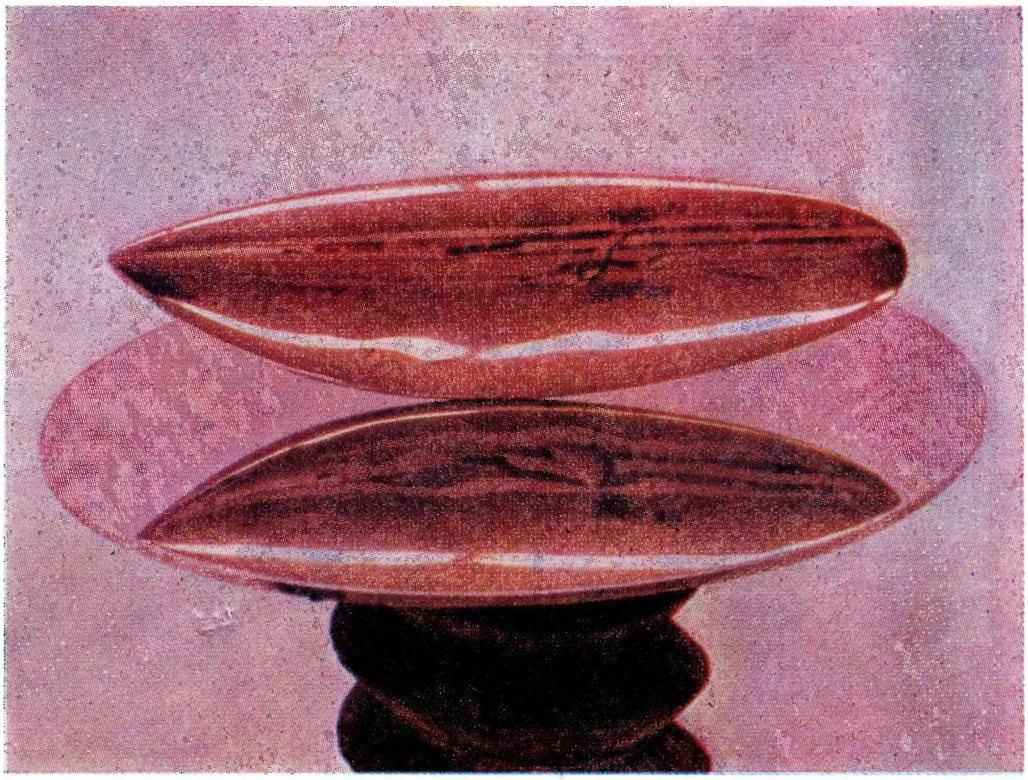
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

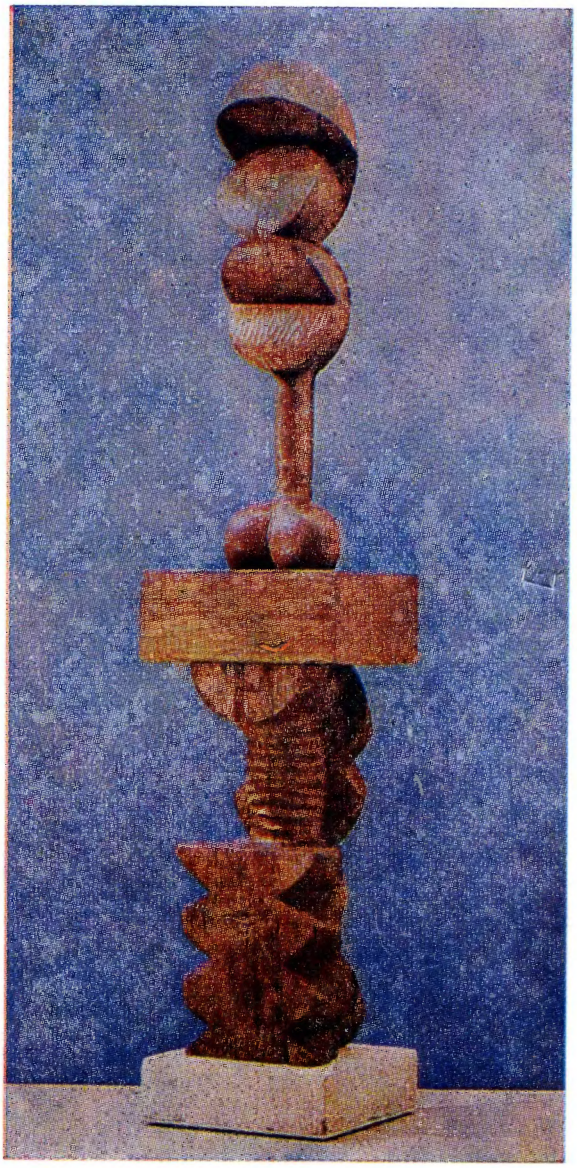
Сдано в набор 30.05.88. Подписано в печать. 05.07.88. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая Объем 16 п. л., 22,4 усл. п. л., 26,89 уч.-изд. л.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.). Зак. 1842.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



«Рыба» (1924—1926). Полированная бронза на металлическом диске.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394